



ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

Издается с января 1966 года
САРАТОВ

9-10 (482)

2019

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Ирина Котова. Поэма дистиллированной воды.....	3
Каринэ Арутюнова. Простые вещи.....	10
Илья Данишевский. Медведь и маятник. Часть II.....	24
Алексей Виноградов. Денгер. <i>Повесть</i>	27
Артем Новиченков. Коробка Шредингера. <i>Стихи</i>	58
Евгений Стрелков. «Утро в Богучарове» и др. <i>стихи</i>	62
Игорь Масленников. На пристани. <i>Рассказ</i>	69
Данил Файзов. «жало лежит в земле» и др. <i>стихи</i>	72
Саммер Ленц. Плавающий универсам доктора Фитца. <i>Рассказ</i>	75
Юлиана Новикова. «Мы живем обособленно...» и др. <i>стихи</i>	91
Владимир Шапко. Переезд. <i>Повесть</i>	94
Рафаэль Шустерович. Сарабанда. <i>Стихи</i>	204

В СВОЕМ ФОРМАТЕ

Сергей Боровиков. Запятая – 3 (<i>В русском жанре – 63</i>).....	209
---	-----

ПРОСТРАНСТВО ТЕКСТА

«Лучше, чтобы премия для критиков была, нежели чтобы её не было – критики ведь тоже люди»: **Дмитрий Бавильский, Ольга Бугославская, Евгения Вежлян, Анна Голубкова, Данила Давыдов, Наталья Иванова, Владимир Коркунов, Сергей Костырко, Александр Марков, Лев Оборин, Юлия Подлубнова**.....218

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Дмитрий Бавильский. К востоку от Востока <i>О кн.: Матиас Энар. Компас</i>	234
--	-----

Ольга Бугославская. Ничего святого <i>О кн.: Лев Гурский. Корвус Коракс</i>	238
---	-----

Борис Кутенков. Одна великолепная цитата <i>О кн.: Олег Дозморов. Уральский акцент</i>	240
--	-----

ЖИЗНЬ ХУДОЖНИКОВ

Алексей Голицын. «Худтехникум съест вас»: Разгром Корнеевской школы в Саратове.....	246
--	-----

Ирина КОТОВА

ПОЭМА ДИСТИЛЛИРОВАННОЙ ВОДЫ

*

по утрам я пью две чашки черного чая
потому что у птицы – два глаза

потом прохожу мимо лавки
где много соленой рыбы
кристаллы соли очень прожорливы
это объясняет причину
отсутствия зрения и слуха у антибога

несмотря на ширину и длину улицы
взлететь не получается
притяжение шнурков и травы непреодолимо

птицы сбрасывают кроссовки

улетают

оставляют
соленые боли суставов
соевому соусу сухой травы

*

для хорошей работы суставов – говорит загорелый травматолог костя
надо пить дистиллированную воду

aqua destillata – чистая вода без посторонних включений
без вкуса и запаха
главное свойство воды – растворение

пей из моих коленных чашечек
ешь птичьи глаза моего желудка –
отвечаю я –

Ирина Котова поэт, прозаик, эссеист. Родилась в Воронеже. Окончила Воронежский государственный медицинский институт и Литературный институт им. Горького, доктор медицинских наук. Стихотворения публиковались в журналах «Вестник Европы», «Воздух», «Волга», «Дружба народов», «Зеркало», «Интерпоэзия», «Литература», «Новое литературное обозрение», «Новый мир», «Новый берег», «Цирк "Олимп" + TV», «Артикуляция», TextOnly, Slavica Tergestina (Италия) и др., ряде антологий и коллективных сборников. Автор трех сборников стихотворений. Поэтические тексты переведены на итальянский, румынский языки. Лауреат премии журнала «Подъем» (2003), лауреат Литературного конкурса им. М.А. Булгакова (2009), лауреат Малой премии «Московский счет» (2018).

ты полюбишь мои дистиллированные почки?

не юродствуй – говорит кость –
вода сделала из людей христиан

*

даже если мы биологические роботы
насквозь пропитанные горючим дистиллированной воды
хочется о любви

*

пока нам не проломили головы
не забрали печень почки сердце на пересадку
рукастые рьяные мальчики группы забора внутренних органов
можно посмотреть
небритую в интимных местах порнушку начала двадцатого
или какую-нибудь мелодраму восьмидесятых

у нас всего двадцать минут – говоришь ты
ставишь фильм – «андалузский пёс»
у нас всего двадцать минут
чтобы не успеть навсегда
погрузиться в свои сновидения
чтобы запомнить вскрытое бритвой чрево земли
истекающее густой нефтью глаз
стать частью движения мертвых монахов на рояле
чтобы научиться дышать и плавать в песке
встречать и провожать людей
в строгих ошейниках татуировок
раскрыть материю происходящего
под девственной плевой дистиллированной воды
не убить любовь
насилим

над муравьями

*

автозамена понятий
стала привычной частью дистилляции

автозаки перекрашиваются под теплушки
для раздачи кофе

дистиллированные тела занимаются дистиллированной любовью костей мамонтов

в булькающем опаринском бульоне вновь и вновь
зарождается дистиллированная жизнь
слепая жизнь
слипается рецепторами с пространством
простые рефлекс самосохранения

замещаются
бессвязной игрой мимических мышц на телеэкране
удушливыми химическими соединениями
непреодолимым желанием самосожжения
желанием бить очередями по беременным животам

давай-ка проверим твои рефлексy
вытяни обе руки вперёд закрой глаза
попади кончиком правого указательного пальца
по кончику тёплой части своего подсознания
смелее смелее

но ты не помнишь –
где право где лево
проваливаешься в чёрное чрево чёрное месиво тоннеля мертвого
метро
без рефлексов

препарат из лягушачьей лапки растворяется в
aqua distillatae
как в серной кислоте

*

но хочется о любви

*

лидия выходит из подъезда в красном костюме –
бледное одутловатое лицо
росчерк яркой помады
двойкой из ученической тетради

выходит
будто из гроба
по вертикали –
так много пудры

сорок лет она разливает дистиллированную воду
в сосуды из школьной формы
думает –
девочки становятся игрой в резиночки
рыбьей икрой размножения
не занимаются любовью в мусорных баках
обдолбавшись

вслед за лидией в дверь вылетает ее погребальная музыка:
человек ассиметричен
кособок и схематичен
беспричинно истеричен
историчен обезличен
педантичен ограничен

мазохичен и циничен
о _____ е

интересно
у кого из нас
с возрастом
выражение лица станет самыми
дистиллированным
etc

самым безумным

*

в зимних садах
дистиллированные статуи бесстыдно расставляют ноги

дистиллированная нимфетка лукш-маковской
выстраданная перегонкой в дистиллятах макаренко
манит пуховой невинностью половой щели

в неё как в автобус набиваются люди
портят воздух микробами
мочатся в дистиллированную воду ругаются матом

делают девочку тестом
жадно едят хлеб

изнасилованные статуи оживают

проходящие мимо китайцы
все фотографируют

*

вот он –
возлюбленный
в арке ночью
под его чёрным длинным пальто – пусто
если протереть линзы глаз – все равно пусто
лицо – посмертная маска
так и кажется – вот-вот сорвёт ее
все закричат: чума чума чума

ты с нежностью притягиваешь его к себе –
он рассыпается утренними газетами

*

если мир создан из ничего
как ничто может себя взорвать?

это похоже на
дистиллированное прикосновение кожи и кожи без запаха
ревности
на изучение гениталий под микроскопом вместо секса
искусственную синхронизацию либидо под иглой энтомолога
гипофиз без эндорфинов
потерю памяти без памяти

как ничто может любить?

мужские гениталии стекают дистиллированной водой
со струн виолончели

*

в каждом секретике маленькой девочки
закопанном под деревом
есть блестящие гинекологические зеркала унижения и страха

иногда я кажусь себе внезапно родившим римским папой

(кого ты хочешь - мальчика или девочку?)

вместо этого –
меня сажают на дефлорированный стул для овации-дистилляции

все вокруг кричат – наш господин

может
там действительно что-то есть –
из металла

*

иногда думаю:
теперь
столько детей
рождается через непорочное зачатие
но никто не хочет ходить по воде

иногда кажется
что стою под проливным дождем
а это всего лишь плюётся кондиционер

иногда думаю:
если дистилляция – упрощение
ее суть – смерть
её суть – самообман

потому
тысячи людей набирают в рот много-много воздуха
и говорят что хотят умереть

*

посмотри на мертвых мух в лужах после дождя

это кто-то выбросил дистиллятор в утиль

*

на самом деле я – пудель
только мой пудель и я знали как переключать кнопки кондиционера
чтобы не было холодно
это была одна-единственная настоящая большая любовь –
булькающая вода вокруг белых телец яиц
никакого проникновения внутрь
лишь тепло и ожег потери – снаружи

но
иногда игла входит в плоть
и возвращает жизнь

*

у тебя сегодня подозрительно-чистые ноги

архитектура дистиллированной воды
разрушает сложную архитектуру мозаичности пространства
поглощает цвет свет звук настоящего
бесконечным мытьем ног

стерилизованные животные чувств
ничего не знают о чувстве
спят сном фарфоровых слоников на полках

*

Он был чемпионом районного шахматного клуба. Никогда никого не пускай в дом – говорили родители. После их ухода с утра до ночи он крутит винил. Музыка не согревает, лишь выпадает сухим остатком пыли на мамином умершем пианино. Однажды к нему подходит соседка, предлагает жить вместе. У неё семеро детей от разных мужчин. Они все будут звать тебя папой и любить – говорит она. Тем временем соседка ждет из тюрьмы виртуального возлюбленного – рецидивиста, двадцать два года отсидки. Познакомились через переписку. Вскоре он возвращается. Теперь рядом со мной настоящий мужчина – говорит она. Бывший рецидивист бегаёт за ней по лестнице с топором. Несколько месяцев они живут на квадратных метрах шахматной квартиры. Потом – шахматист становится бомжом. Я очищаю тебя от всего лишнего, делаю для тебя пользу – голосом дистиллированной воды говорит соседка и выкидывает его книги. Первый месяц он громко читает свои стихи под окнами. Окна многоквартирного дома загораются и хором выкрикивают ругательства. Спит то в подъезде, то возле мусорных баков на своих книгах. Потом превращается в сломанный палец. Перестает решать шахматные задачи.

Холодает. Сломанный палец покрывается изморозью. Его пускают пожить в подвал шахматного клуба.

Две крысы приходят греться.

Две крысы каждую ночь залезают между его тряпьем и кожей

с двух сторон. Прижимаются животами. Пульсируют. Как будто у него ещё два сердца.
Две крысы становятся его лимфой. Лимфа отделяется от дистиллированной воды,
выпадает солью и крошками печенья.

Однажды вновь просыпается в своём подъезде. Как надоел – говорит соседка.
Рецидивист выносит крысиный яд – котлеты под соусом, подсовывает ему под одеяло
из картонных коробок. Соседка идет в церковь.

Когда я переступаю через безжизненное тело в подъезде
мои ноги просыпаются от укусов соли.

Дворник шахматного клуба выбрасывает двух мертвых крыс на помойку.

Соседка сдаёт шахматное тело в мединститут – для пользы людям.

*

парализованная старушка узнает
о смерти последней подруги детства
больше никто никогда не придёт к ней поиграть в куклы не принесёт пирожные
они никогда не будут пятками толочь виноград
для отцовского вина
скребёт серебряной ложкой по дну ковша прошлого
царапает ее пустотой
цепляется за львиную гриву вечного не существующими руками

взрослая женщина мать двух детей
внезапно понимает что в юности ее тело
использовали как тренажёр в физкультурном зале
может быть даже изнасиловали
тогда казалось – первая любовь
теперь
ищет старые тапочки тех времён

пятидесятилетний девственник
копит деньги –
мечтает о пышных похоронах собственной матери

два тела в одной постели
закатаны тугими коконами одеял
между ними – горные реки дистиллированной войны

что общего в этих обыденных историях – спросишь ты

хочется о любви – отвечу я

правда меня не интересует

ПРОСТЫЕ ВЕЩИ

Казалось, их души давно вселились в старые кофейники, заварники и кожаные штиблеты, а обладатели этих душ живут себе и живут, раскрашенные в синее, лиловое, бирюзовое, салатное. Длинная медоточивая нота, грациозная, как поступь идущего по пустыне верблюда.

А ведь жили почти рядом, возможно десятки раз проплывали мимо, как рыбы за толстыми стеклами аквариума.

Я вижу сидящего на карнизе голубя, и в этом благая весть. Она в подступающем грозном облаке, во влаге, которой должно разрешиться оно. В ветре, пригибающем деревья, в близости речной воды.

Река пахнет настоящим. Плывет себе и плывет, без всяких видимых причин и усилий. Может, и мы можем так? Часами можно сидеть у реки, отпустив свои мысли по течению.

Птицы летают низко. Воздух напоен будущими грозами, влагой, жаром, щебетом. Подходим к середине лета. К сердцевине его. Точно косточка абрикоса. Плоть вокруг нее смята, упивается собственной сладостью, брызжет соком, источает соблазны. Время подвисает в паутине, течет по проводам, напоминает о себе неслышными толчками, точно сеть кровеносных сосудов, опутывает с ног до головы.

Как будто кто-то наводит театральный бинокль, взятый напрокат у тетеньки в гардеробе. Такой, в уютном сафьяновом футлярчике того же вишневого оттенка, что и тяжёлый пыльный занавес.

Картинки прошлого, приближенные бесхитростной оптикой, обретают ясность и завершенность. Наконец-то, становится очевидным замысел! Случайная подробность оказывается неизбежаемой. Масштабное, значительное – меркнет, сворачивается по мере приближения. Тут и там вспыхивают светлячки воспоминаний, душа сама выбирает, чему быть близкой.

Память это не увешанная планками грудь юбиляра, не пыльный альбом с черно-белыми снимками. Это нежное свечение изнутри. Звук аккордеона из колодца чужого двора. Спотыкающаяся гамма из окна напротив. Уголок тюлевой занавески. Пыльный фикус на подоконнике. Мелодичный перезвон посуды. Топот обиженных ног. Его запрокинутое лицо. Его честные слезы. Ее наивный триумф. Лёгкость обожания. Дыхания. Походки. Восторг междометий, пожатие сведенных робостью пальцев. От батареи идёт ровное, будто от печки, тепло

Так хорошо засыпать под шорох дождя. Слышен звук сдвигаемой каретки, суховатое покашливание, одинокий голос ребенка, напуганного сном. И чей-то бубнеж за стеной – четверть алоэ, четверть каланхоэ, по капле в чайную ложку молока...

Каринэ Арутюнова родилась в Киеве, жила в Израиле с 1994 по 2009 год. Автор книг «Пепел красной коровы» (СПб, 2011), «Скажи красный» (М., 2012), «Дочери Евы» (Ridero.ru, 2015). Публикации в журналах «Зарубежные записки», «Сибирские огни», «Крещатик», «Полутона», «Интерпоэзия», «Иерусалимский журнал», «ШО» (Киев), «Новый мир», «Знамя» и др. В «Волге» публикуется с 2013 года.

Простые вещи

Все вернётся на круги своя, и люди вновь начнут радоваться бесхитростным вещам. Луковице, прорастающей в двухсотграммовой баночке из-под майонеза, первому огурцу и первой редиске (когда-то у всего были сроки, дети мои, и у редиса, и у огурца, и, не про нас будь сказано, у клубники).

Все цело, плодоносило и увядало в законные, отведенные для этого Создателем сроки.

Я помню сводящий с ума запах первого весеннего огурца, хруст настоящей редиски, я помню (сквозь створки рам и ставен) чью-то недостроенную дачу, даже не дачу, а так, участок, сидящих за наспех сколоченным столом детей (среди них вижу себя), мятый картофель в стеклянной банке, благоговейно разрезанный (вдоль брюшка) огурец, неспешные беседы взрослых (о, таинство далёких миров), нас, ошавевших от обилия воздуха (такого же свежего, как огурчик на блюде), света (впрочем, солнце клонилось к закату, но и это было дополнительным бонусом к долгому счастливому дню).

Как вновь обрести утерянное очарование повседневности, тривиальности даже (кивают пупырчатые малосольные огурчики из кем-то закатанных банок), и кем-то сваренное варенье (о, будь трижды благословен вяжущий вкус кизила) покоится себе в хрустальном своем обрамлении, уютно так, точно в детской ладони, – янтарные складки желе таят в себе неразгаданные секреты ушедших миров.

Подумать только, эка невидаль – огурец. Да у нас, господа, этих огурцов... каких хочешь. Как и варенья, и джема, – в нарядных баночках-упаковках – рядами теснятся на полках, ждут своего часа. Быть съеденными. Не все, не наспех. Ведь, если задуматься, никакого смысла в этом обилии всего, если нет спроса. Желания то есть. Вождения. Дрожащей от нетерпения руки, срывающей запретный плод.

Как хороша яичница (с подрагивающими яркими желтками посередине), – после ночи любви в общежитии имени Бертольда Шварца на продавленной поколениями койке и с туалетом в конце коридора, как божественен сладкий чай в подозрительно мутном стакане, как изнурительно прекрасен начинающийся за оборванными шторами весенний день.

Господи, мир был открыт и светился (не экраном айфона, а собой) – без фильтра и ретуши, без добавления яркости и контраста, – контрастов хватало идущим в обнимку нам, – мимо цветущих деревьев, затрапезных кафешек с нечистыми стаканами, мимо костела и пока ещё незыблемых постаментов – свидетельств эпохи, которая, казалось, будет всегда.

Яичница, жареный картофель, разрезанный вдоль огурец.

Чем призрачней собственное существование, тем ярче потребность восстановить (хоть как-то, по крупицам) картину мира. Вернуться к скудости (обретая яркость) вкусов, желаний – начать с негативов, с набросков углем, черной тушью, по дюйму (осторожно) добавляя резкости, растирая границы, – отходить, любясь сотворенным – бедностью, тишиной, вспыхивающим в ней, тишине, смыслом. И только потом браться за пастель, акварель, темпера.

Оставляя главное – на потом. Чтобы не растерять окончательно. Тот самый, вылепленный с божественной смелостью мир, в котором каждый штрих и звук подобен бесхитростной трапезе за наспех сколоченным столом. Где все настоящее. Редиска с грядки, блистающий гранями огурец, чертополох, растущий у забора, ты сам, сидящий у стола.

Стоит только замереть, позволив «внешнему» обтекать вас, как все внезапно складывается в вашу пользу. Где ещё я могла увидеть эту мирную картинку из прошлых жизней? В последний раз я наблюдала это окраине Еревана и в окрестностях его. Тогда мне объяснили, что это курды. Вытряхивают, сушат стеганые одеяла, перины, овечью шерсть. На крышах домов, во двориках, – такая себе повседневность, уклад многодетной семьи, похожей на разноцветный улей, в ко-

тором каждой особи уготовано место и достойное занятие. Древние старушки, уж никак не лишние в этой веками выверенной системе координат, проворно перебирают пряжу своими темными руками, властно покрикивают на младших, даже если младшим этим далеко за...

Здесь нет места пустоте, вялости, клиническим расстройствам – этому бонусу современной жизни – в обмен на насыщенное суетное и комфортное существование, за рамками которого неизбежно оказываешься на границе миров.

По двору ползают младенцы, пахнет овчиной, козьим сыром, помётом, пылью, жарой.

Речь, разумеется, не только о курдах. Однажды двоюродная папина сестра привезла из Кафана такое вот классическое одеяло. Какой армянский дом без овечьей шерсти, скажите на милость? Смутно припоминается картинка – распоротое по швам, вывернутое наизнанку, распростертое на выгоревшей августовской траве...

Ау, где это я? Неужели здесь, в обычной городской квартире, из окна которой – ну вот же он, тот самый сюжет из далёких лет. Женщина, девушка, подушки, перины, дети. Те самые курды, которых с окраин Закавказья занесло в наш двор. В те самые девяностые, потом двухтысячные. Вместе с перинами, овечьей шерстью, стегаными одеялами, женщинами, детьми...

Вы думаете, утро – это трели соловья? Или пышное цветение бузины в огороде? Берите выше. Вот уже несколько часов из стоящего под окнами авто доносится включенное на полную катушку радио – сплошная реклама средств для повышения сексуальной активности, – то мужской голос – излучающий обещанную активность, то вдруг женский – дрожащий от радостного предвкушения, – и вдруг – ляляля – «костер давно погас», – это уже реклама переходит в концерт по заявкам, – «в цыганский табор я попал мальчишкой, ляляляля», – потом странный выхлоп, похожий на локальный взрыв, чей-то ошарашенный полувсхлип-полукрик – ой, бя, – и становится тихо, совсем тихо, – как в первый день творенья, – ни тебе скороговорки, ни бравурных маршей, ни таблеток от бессилия и изжоги, – «и земля была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился», а потом вновь – по атому, по кирпичику вырастают девятиэтажки, сушится белье, в подвале травят тараканов и мышей, и женский голос с певучими интонациями «розповидае» про кабачки, – «таки уродили, велики та жовти», пахнет каленой кукурузой и горячим асфальтом

Тем летом нас поливали из шланга. Прохладные струи хлестали по ногам, и можно было сколько угодно визжать, увертываясь от брызг и топая босыми пятками по лужам. На веранде уже все было – блюдо с глянцевой черешней и бидон с бражкой, ее разливали половником по шербатым разнокалиберным чашкам. Черешня заканчивалась вмиг, всего-то и доставалось по несколько ягод, зато хмельной напиток можно было пить и пить, длить и длить, что мы и делали, поспывая от удовольствия.

Ах, что за чудо это лето!

Вот и сейчас. К лавочке (ну, тут все в курсе, что лавочка у нас особенная, двадцать четыре часа в сутки вам обеспечены прохлада, тень, пение африканских птиц) ближе к вечеру подтягивается народ. Позвякивание склянок, бульканье, поспывание, в поздних летних сумерках слышны голоса, – господи, сколько правды жизни и витальной грубой силы в них! Простые вещи. Палка колбасы, торопливо разрезанный (вдоль) пупырчатый огурчик, – заботливый мужской голос – густой, как летний зной, – с придыханием, – Михалыч, налей женщине! Ну, вздрогнули! Пауза, жемчужное журчание струй, процеживание огненных капель, – райские, я вам доложу, моменты!

Охваченные заботой женщины блестят глазами, сверкают скулами, коленями, локтями, их грубые молодые голоса прорывают пленку духоты, – шлёпки, майки, смуглые щиколотки, – нет,

жизнь положительно прекрасна и многообещающа, – какие Канны, какие Антибы, – отпуск нужно проводить среди плакучих ив и стройных тополей, – вот и новую партию подогнали, – возьмите еще колбаски, хлопцы, – нет, всё-таки, женщина не должна быть трезвой, решительно не должна, – и не то чтобы пьяной, но – томной, размягшей, умиротворённой, – сколько исконно женского, глубинного в этом – «возьмите колбаски», – ну, как же не взять? Ну, как же не взять этой самой колбаски, и не накрыть ее сверху огурчиком, и не отхлебнуть из пластикового стаканчика?

Женщину с бидоном звали уже не вспомню как – Поля или Надя, или может быть даже Мария, – как знать? Не помню её лица, но помню движения полных белых рук, статичность позы. Зимой она наливала суп, летом – компот и бражку, не знаю, была ли она доброй, наверное, все же да, если принять во внимание некоторое количество сморщенных груш, съеденных не без греховой тайной радости, в довесок к тем, что были в порции, но сколько всего, я вас умоляю, груш в баке густого черносливового компота? Некоторое количество «дополнительных» груш и мятой черной сливы выуживалось со дна бака – там, если хотите знать, самое вкусное и питательное для ребенка образца хрущевской оттепели, возвращенного на манке и киселе.

Добрая женщина с большими руками и круглым лицом, – под белой косынкой обнаруживалась дуля, скрученная из бесцветных гладких волос, – не помню имени этой женщины, не помню лица, но помню силу больших белых рук, ладони, обхватившей затылок, – ей невдомёк было, что именно это останется в моей памяти, и вынырнет из глубин ее, – всего одно движение оставит воспоминание о лёгкости унижения большим человеком маленького, полной свободе первого и абсолютной бесправности, беззащитности второго, – ошеломленная, я даже не заплачу (плакать стыдно), и уж конечно, не доем ненавистный суп, в который меня только что окунули

На то, детское ощущение наложило множество других – длинный коридор, по которому ташат упирающуюся меня – все те же руки – с одной и с другой стороны, – о, сколько их было, – царапин, бороздок, все давно зажило и больше, знаете ли, не тревожит и не беспокоит, вот только чувство хтонического древнего – не то чтобы страха, а знания – о простом и, казалось бы, добром человеке с невыразительным лицом, – сегодня он добр и благодушен, и даже щедр, и ты можешь, в принципе, рассчитывать на выловленную со дна бака грушу...

Но я совсем не о том. Я о лете, зное, повторяемости сюжета, о лицах, выражение которых не всегда различимо, – особенно если темно, – я по привычке сжимаюсь, а потом выдыхаю с невыразимым облегчением, приветливо кивая незнакомцам, которые мирно себе трапезничают в районных джунглях, и голоса их шелестят и переливаются, сообщая миру о простых, знаете ли, и вечных истинах.

Подумала о том, что у меня ни одной фотографии студенческих времён, ни одной! Как мы жили вообще в такой крошечной темноте? Без единой вспышки? Как? Как будто все, что происходило тогда, должно было быть погребено под завалами памяти, которая тасует колоду, как придется, выуживая то одно, то другое.

Самое удивительное, что эти годы так и остались провалом, – я ровным счётом ничего не вспоминаю, хотя все помню. Помнить и вспоминать это такие разные категории. Как будто «та» часть жизни проходила в глубоком сне, а котором не было ни единой зацепки. Точно так же я не вспоминаю школьные годы, которые принято с умилением.

Воистину, душа долго блуждает в потемках, пока не обретает самое себя. У каждого свои сроки.

Нет, порой, конечно, мелькают некие обрывки (как будто не моей) жизни, на которые я смотрю с осторожным отстранением – все ещё ранит? Накрывает мутной волной? Сколько же щепок, пустот, воронок, сколько не востребованной энергии в этом странном облаке, именуемом жизнью! Как много заколоченных наглухо дверей, которые не то что отпирать, к которым подходить

боязно, – а ну как попрут польются все эти слезы, страхи, муки подсознания, и я вновь исчезну, пропаду, иссякну.

Воистину, лучший из всех видов мести (как справедливо отметил Борхес в своем апокрифическом евангелии) – забвение. Тотальное, полное, безоговорочное. Даже если на кону твоя собственная жизнь.

Театр у микрофона

В детстве (а оно не всегда было солнечным, бывали и пасмурные, как, допустим, сегодня, дни и даже годы), я любила стоять у окна под вкрадчивый говорок радиопередач. Конечно, не рабочий полдень и не жизнерадостные передовицы о надоях и трактористах. Я слушала радиоспектакли. От одного только сочетания звуков – «МХАТ» или «на сцене Малого театра», сердце мое, наконец, начинало биться в унисон с реальностью, – не то чтобы я ее абсолютно отвергала, но зачастую отторгала, – многое в этом новом (в тот момент) районе и времени жизни было немило и чуждо мне, стоящей у окна, – долгие зимы, вороны, соседи, одноклассники и этюды Черни, стопкой лежащие на фортепиано.

А театр у микрофона я любила, – мне нравились голоса, интонации, истории, – как будто свиток живой и яркой жизни разворачивался внутри скучной и обыденной моей, – подперев ладонью щеку, либо же скрестив ноги по-турецки, уносила я в иные миры, – конечно, кое-что меня всё-таки смущало, и уж будьте покойны, я умела отличить фальшивый пафос «сталеваров» от «странной миссис Сэвидж», и голос Плятта или Яншина распознавала с первых слов. И уж, конечно, Розов (пьесы которого были подарены тетей в очередной день рождения), их я глотала и перечитывала, и сама ставила домашние бумажные спектакли из нарисованных фигурок, о, благодарю провидение за этот восхитительный досуг, немало сладостных часов и минут было потрачено на исполнение режиссерского замысла и удовлетворение едва ли не главной страсти).

Арбузов. Сколько невидимых слез пролила я, вслушиваясь в голос великой Марии Бабановой. Сострадая неспособностям, кротости и детской хрупкости, восхищаясь мужеством и стойкостью, и этой глубинной красотой отвергнутого, но любящего глубоко (хоть и безответно).

У меня есть сын, – вот этот нежный детский голосок (о, сколько боли в нем и невысказанного потаенного счастья), – у меня есть сын... повторяла я вновь и вновь, стоя уже перед зеркалом, пытаюсь разглядеть в себе крупницу этого достоинства и красоты. Наверное, ещё до конца не понимая, что фраза эта – простая, на первый взгляд, окупает все и вся, – она, именно она – венец, и гордость, и смысл всей твоей в общем-то обыкновенной жизни, в которой ты, как все, родившись, вырос, пошел в школу, прятал дневник, влюблялся, грыз ногти, плакал от неразделённой любви, ходил в походы, сдавал экзамены и нормы ГТО...

И вдруг это, библейское совершенно. Из других, знаете ли, миров. Сводящее на нет все прочие достижения. Альфа и омега. Как «в начале было слово». Так в начале был спектакль, и чудный дрожащий голос из динамика возвестил мир о главном.

Рыба

В тот день папа принес рыбу. Не просто рыбу. Рыбину. Не знаю, где он ее достал (в те времена настоящую еду именно что «доставали» или добывали, как трофей). Уж во всяком случае, не на удочку. И не в рыбном (там такие сроду не водились). Это была огромная красная рыба, необыкновенно вкусная (я такой больше нигде и никогда не ела), какого-то специфического посола, – казалось, я могу ее есть всегда, длить и длить это блаженство, которое так и тает на языке, оставляя солоноватый вкус счастья.

К слову сказать, явление этой особенной рыбы пришлось как раз в тот период, когда я обожала соленое. Все соленое. Допустим, соль из солонки я могла есть, нанизывая крупинки на влажный палец, и слизывая их по одной.

Рыба, повторюсь, была особенной, редкой, и слишком... роскошной, что ли, для нашей небольшой кухоньки на втором этаже обычной пятиэтажной хрущевки. Несоразмерной, должно быть, обстоятельствам, чувствовала себя и она.

Не тот масштаб, – наверняка думалось ей, уныло лежащей на столе, с которого пришлось убрать все лишнее. Чувство вселенской несправедливости, вероятно, теснило ее перламутровую грудь, незаметно переходящую в серебристый животик.

Господи, какой прекрасной она была. Упругой, скользкой, благоухающей. Надо ли упоминать о том, что холодильник наш был соразмерен квартире, но уж никак не прекрасной гостье?

Боже, – выдохнула мама, – склонившись над страдальцей. Бедная юная мама, она вообще не понимала, с какой стороны подступиться у этому фантастическому явлению. И даже бабушка, которая в жизни не видела ничего крупнее карпа или леща, заметно сникла.

Что же касается добытчика – главы, так сказать семейства, то он тоже, в общем, был не очень искушен в рыбных вопросах, – скажу больше, – он не только не ел ничего рыбного, он его на дух не переносил. Одному создателю известно, как удалось ему донести это самое рыбное до дома. С трудом представляю папу, всегда со вкусом, с иголки одетого, – в трамвае, среди кошелок, авосек и корзин, – с увесистым пахучим свертком в руках.

На семейном совете решено было поделиться рыбой с Верочкой, которая жила неподалеку. Это была интеллигентная женщина неопределенного возраста и миниатюрного роста, кажется, мамина сотрудница, переводчик.

Но для начала ее нужно было разрезать. Не Верочку, разумеется, а рыбу. Вооружившись острым ножом, мама сделала тонкий надрез вдоль жемчужного брюшка. Папа предпочел удалиться, не вынеся благоухания и вида беспомощно распростертого на столе существа. Ах, что за жабры, что за плавники, какой немислимый хвост и чешуя на нем!

Воображаю, как обрадовалась маленькая Верочка такому королевскому дару.

Не помню, сколько длилось рыбное благоденствие нашей семьи – казалось, даже оставшейся половины хватит на долгую-предолгую жизнь.

Собственно, именно таковой она и является, особенно если дело происходит в тесной кухоньке, окнами выходящей на бульвар. За которым – школа, но об этом потом, возможно, через месяц или два, а пока же солонка полна отборной чуть сероватой крупнозернистой соли, она не закончится никогда.

Натюрморт

Когда человек голоден, он не разбирает дороги.

Чем прекрасна зима, так это разнообразием. За окном – все оттенки белого (а также серого и черного). И еда. Вся еда мира, все яства вселенной проносятся пред взором спешащего домой человека. Ах, чего бы я только не съела!

Чем ближе к дому, тем настырней желание. Ну, вы поняли. Чревоугодие мой страшный и тайный грех.

Берем тяжелый монастырский (прибалтийский, украинский, белорусский, бородинский) с тмином, кориандром и без, нарезаем то-о-оненько-претоненько (как папиросную бумагу). И в тостер (сковородка тоже хорошо). Пока ломтики хлеба достигают совершенной поджаристости, быстренько варганим зимний давно забытый салатик. Плавленный сырок, сваренные яйца, зеленый лучок (попробуем воспеть эти бледные зимние побеги, утешение на исходе долгой, долгой зимы). Немножко чесночка, совсем немного. Всё мелко рубим, крошим, крошмеем, любимея тем, как зелень оттеняет белизну плавленого сырка и яичного белка, как многозначительно проступает желтизна, как невинность белка и нежность желтка соперничают друг с другом в этой божественной композиции, не уступающей многим изысканным блюдам в величии замысла: вкушая сей натюрморт, вы вольны предаться давним воспоминаниям – тому способствует унылое освещение за окном, чавканье подошв, – совсем как тогда, в далекую пору

скудных и прекрасных времен, когда родители еще не вернулись, допустим, с работы, а чувство голода не уступало ощущению покинутости (и как волнующе одно дополняло другое), и утешение было безыскусным и доступным, на расстоянии протянутой руки. Яйцо, сырок, лучок. И хлеб, бородинский, прибалтийский, белорусский, серый либо же украинский (с той самой корочкой, которой сегодня не отыщешь с огнем), а в общем – любой.

Арифметика

В феврале особенно ощутим предел.

Кажется, ну всё, сколько можно в конце концов, мироздание тоже устает, чахнет, покрывается сизым налетом. Зимние лица, замёрзшие окна, за окном опять скребут. Шарканье подошв по ледяным наростам. Срывающий крыши ветер нападает из-за угла.

Но не будем забывать о равновесии. Он отнимает, но и воздает. Только лови.

Преимущество марта – в его переменчивости, уязвимости, оглушительной пустоте, незаполненности ячеек и сот. Все запасы прожиты, выжаты, все ушло на обогрев, тотальное выживание. Только бы не исчезнуть вовсе, явив вселенной свою опустошенность. Так в тысячах зеркал отражаются вестники новой жизни, так нежно и значительно оповещают они о важном. Любое начинание (накануне) оборачивается крахом. Не стоит суетиться. Ты не родился ещё, не жил. Затаись, приготовься к родам. Мелодичный перезвон будто новая точка отсчёта. Не сожалей об ушедшем, принимай новое.

Божественная бухгалтерия. Счёты клацают, костяшки сдвигаются, то вправо, то влево. Черные, белые.

В первом классе нам велели принести счёты (как же это забавно слышать, должно быть, – из сегодняшних реалий).

Так вот, мне купили счёты. Небольшие, в рамке натурального дерева, такие... интеллигентно компактные, в мягком чехле из темно-вишневого бархата.

С какой важностью я доставала их из ранца! Лучше моих счёт не было ничего, поверьте. Очарованная мягким клацаньем костяшек, я напрочь отказывалась постигать тайный смысл процесса. Арифметические действия оказались за пределами моего распаленного новым предметом воображения. Загадка бытия весело тарахтела в руках, костяшки плавно перекатывались из угла в угол, но таинство сложения, вычитания... оно было чуждым, невнятным, бесполезным в моей системе отношений с миром.

Разве можно сосчитать количество солнечных лучей? Дней – да, пожалуй... но лучей? А степень восторга? А глубину отчаянья? А тяжесть, шершавость дерева, мягкость звука, гладкость его, подробность. Всё самое важное не поддается счету. Никогда.

Не то чтобы я раздражалась подобными сентенциями – конечно же нет, но, отодвинув прекрасный тяжело деревянный и бесполезный предмет, смотрела мимо доски, окна, парты, учебника, раскрытой и заляпанный чернилами тетради. В них было нечто большее, нежели плюс–минус, отнять–прибавить. И я не в состоянии была это постичь.

Ну всё же предельно ясно! Количество темных и светлых костяшек одно и то же. Всегда. Как бы ты ими ни гремел. Какие бы подсчёты ни производил, в исступлении прибавляя, отнимая, умножая, шевеля губами, морща лоб.

С чем ты пришел, с тем и уходишь.

Вслушайся, как мягко перекатываются они.

Ноябрь, декабрь, январь, февраль. Это безусловный минус.

Март, апрель, май, июнь. Это только плюс.

Всё остальное в подарок.

Орхидеи

Эти утонченные создания живут своей жизнью, не связанной с курсом валют или сегодняшним ураганным ветром. Полные изящества и непринужденного достоинства, они, словно существа высшей касты, не размениваются, не суетятся. Их дело – тянуться к свету.

Являя себя миру. Повторяя форму иероглифа, вспыхивать, ошеломлять бархатистой изнанкой цветка, изломанной линией стебля. Хочу вспомнить нежную силу красоты, ее недосказанность, щепетильность, хрупкость, уязвимость – возможно, через год или два. Раннюю, капризную весну, похожую на меланхоличные шопеновские ноктюрны.

Дар небес

Май. Мучительно прекрасный месяц. Такой щедрый дар небес не всякому по силам. Из-за обильных дождей много свежей, гибкой, молодой травы, пахнет подгнившей древесиной и подольским подвалом. Всюду пух (тополей? облетевших в одну ночь одуванчиков?) – в ноздрях, носоглотке, в ушах, под ногами. Лужи в пуху, крыши в пуху, глаза в слезах, в носу щекотно. Безудержная влюбленность всего и вся. Беспорядочное совокупление лягушек, иступлённое кваканье, щебет, внезапный и наполняющий благодатью запах благородного лавра, – за ним шлейф других запахов, земель, берегов, иного бытия-жития, – это такой тонкий всепобеждающей аромат, источающий терпкие масла, – а тут и бергамот загадочный, и мерцающая нота жасмина, и каких-то острых луговых трав, – все это снится мне, возможно, идущей по ночному городу, – и точно вспышки – блики (тени) прошлых весен, отчаянно-прекрасных, зыбких, временных, точно снятый в аренду дом, и в нем живущая на чемоданах семья, готовая сорваться с места, но время идёт, и дом обживается потихоньку, – уже и занавеску купили, и шкаф, и новый диван, и вроде бы все более-менее, но чемоданы никто не прячет, не заталкивает в глубь антресолей, – здесь все кричит и взывает о непостоянстве, о сиюминутном, – смотри, как облетают они, улетають, слетают, и вот уже постоянство дачных участков, электричек, нескончаемых забот, эмалированных тазов, в которых вспучивается клубничная масса, сахарится абрикосовый джем, сохнет от избытка влаги перина. И крытая марлей корзина, в которой долгий густой (почти вечный) дух летних широт, и долгий зной, в котором тонут вчерашние сны и обещания.

В тени склоненных ив

Над городом взошло африканское солнце. Дух пустынь и саванн воцарился в наших краях, и, похоже, чтобы увидеть голого человека, никому из нас не придется прибегать к помощи, допустим, подозрной трубы.

Не то чтобы я настолько против голых, но всякому обществу я предпочту общество одетых, по крайней мере, не только в нижнее белье. Я так и вижу (в каждом окне) вяло передвигающиеся человеческие силуэты, и все это, увы, ассоциируется даже не с борделем (бордель – это, по крайней мере, некоторая динамика, образы, судьбы, порок, в конце концов). Порок – не самое ужасное из того, что мы можем случайно увидеть. Гораздо печальней вид жующего котлеты голого мужчины в носках из вискозы. Вот он задумчиво стоит у плиты, вот открывает холодильник, а вот и она, таинственная незнакомка из окна напротив – привет житомирской текстильной фабрике, – нет, эросом здесь не дышит решительно ничего, – она, повернувшись спиной, помешивает что-то в кастрюле, он, точно пребывающая в беспамятстве сомнамбула, курсирует между кухней и комнатой.

Вы думаете, я все же пользуюсь подозрной трубой? Признаюсь, имелась у меня такая слабость в далёком прошлом, ведь я была мечтательной отроковицей, и надеялась постичь тайны далёких

галактик, и даже прочла от корки до корки толстенный том Воронцова-Вельяминова. Родители, воодушевленные моими интеллектуальными запросами, поднатужившись, осыпали меня вожделенным подарком – подозрной трубой. Конечно, я мечтала о телескопе, но на телескоп, видимо, им все же не хватило – жили мы более чем скромно, и ещё эти уроки музыки стоили недешево, и рассрочка за немецкий концертный инструмент, – в общем, пришлось довольствоваться подозрной трубой, которая увеличивала, если мне не изменяет память, всего в 12 раз, и потому свет далёких галактик оставался по-прежнему безнадежно далеким, – нет, я, конечно, с превеликой важностью (с нетерпением дождавшись темноты) наводила фокус на звёзды, – о, в те времена ещё были звёзды, довольно крупные, яркие, мохнатые, – мне нравилось воображать себя первой женщиной-астрономом, в космонавты я явно не годилась с моим вестибулярным аппаратом (один вид трамвая, маятника и качелей вызывал неконтролируемые желудочные спазмы), – итак, я видела (или же думала, что вижу) Большую и Малую Медведицу, созвездие Ориона и Тельца, но вскоре мне это несколько наскучило, я не продвигалась в своих научных изысканиях ни на йоту, и ситуацию исправил гостивший у нас тем летом кузен – тощий носатый армянский мальчик лет тринадцати-четырнадцати. Павел был точной копией рыжего Варлаама из «Не горюй».

Балда, не туда смотришь, – приставив к глазу волшебную трубу, он замер, уставившись в одну точку. Все самое интересное, оказывается, происходило на расстоянии вытянутой руки, – мечтательные девушки в сиреневых лифчиках, распаренные зноем похожие на медуз домохозяйки, сутулые мужчины в растянутых майках и бесформенных трусах, – одним словом, перед глазами разворачивалась довольно обескураживающая картина бытия (Авраам родил Ицхака, и далее), повергшая в печальное раздумье относительно некоторых перспектив. Бедное, бедное, обречённое на каторгу совместного проживания в недрах совмещённых удобств человечество...

Несколько позже (десятилетия спустя) я окажусь в капелле Скровеньи, перед фресками Джотто, и ещё и ещё раз восславлю зоркий, но всё-таки бесконечно вдохновляющий взгляд художника, умеющего обращать обычную водопроводную воду в вино и другие напитки. Великая сила искусства и любви! (для меня это равнозначные величины).

Мой интерес к астрономии довольно быстро угас, и точно не скажу, что этому способствовало, – волшебная труба, которую вскоре утащили (безо всякой надежды на возврат) друзья моего кузена, такие же балбесы, жившие пятью этажами выше (потерю я, конечно, горестно оплакивала), – либо унылая панорама из дома напротив.

Звёзды всё ещё были огромными, но, похоже, никто из живущих вокруг давно на них не смотрел.

Парафраз

Не знаю, мне кажется, он был здесь всегда. Вот на этом углу. Я уезжала, он был. Я приезжала, он был. Я приезжала и возвращалась, а потом опять уезжала, а он как стоял, так и стоит. Все та же облупленная дверь с неровно приколоченной табличкой. На которой менялись только цифры. Восемь, двенадцать, двадцать пять.

Очередь. Под палящим солнцем, под дождем. В любую погоду. Асфальт в трещинах, – внутри – тяжёлая духота, на колченогом стуле охранник.

У этого места всегда была дурная слава. В девяностых кого-то подрезали, потом стреляли. С тех пор, поздним вечером, ближе к ночи, здесь всегда вооруженная охрана и бронированный черный автомобиль. Крепкие ребята в бронежилетах кучкуются возле киоска, напряжённо поглядывают на редких прохожих.

Господи, можно уехать на четверть века, вернуться, и упереться лбом в эту дверь. Можно слетать на Памир, Галапагосские острова – и все равно вернуться к этому окошку.

Разбитый асфальт, доска объявлений, грохот трамвая. В будке за перегородкой – взмокшее женское лицо. Я бы не назвала его счастливым. Я выйду, а она останется.

Я побегу к дому или к метро, уткнусь в экран или в книгу – точно страус, зарывающий голову

в песок. Конечно, в следующий раз я ни за что не встану в эту очередь, даже если в ней не окажется ни одного человека. В конце концов, есть другие места, более цивилизованные, без этого настойчивого рефрена из девяностых.

Как и тогда, я стою на углу с зажатой в ладони купюрой.

Мир был все еще цельным (или казался таковым), хоть и свистело со всех сторон, штормило, сквозило, грозило распадом – рятуйте, люди добрые, – девяностые надвигались развинченной приклатненной походкой, – руки в карманах, вихляющий зад, кривая ухмылка, прилипшая к нижней губе сигарета – страна сидела на баулах, – кто где, – на вещевом рынке, в ломбарде или в аэропорту. В результате четких и почти спонтанных действий я окажусь в другой очереди. ОВИР, если хотите знать, был бойким местечком, в нем завязывались знакомства, вершились судьбы, – я даже вспомню книгу, которую успею прочесть (от корки до корки) в скудно освещенном коридоре той далёкой зимой. Бертран Рассел, «Почему я не христианин».

Стоящий впереди мужчина переводил взгляд с обложки на меня, – за несколько дней мы почти сдружились, он выбегал покурить, я – подышать, – странное дело, очередь эта не удручала меня, здесь все были более менее свои, – потом, в новой жизни, мы вновь станем чужими.

В коридоре стоял равномерный гул, точно в оркестровой яме, – все инструменты звучали вразнобой, но партитура была написана, и главная тема торжествующе пробивалась сквозь многозвучный хаос. Война с Ираком. Ещё был жив (и даже относительно молод) Саддам, и бомбы летели в сторону Тель-Авива, но что такое бомбы по сравнению с заполошным воплем из киоска на углу.

Я знала, – даже если вернусь, то это буду не я, а совсем другая женщина, отстоявшая во всех очередях мира – там, тут, потом опять там, чертов механизм, набирая обороты, швырял то в один зал ожидания, то в другой, – таинственный шорох песков обернется довольно тривиальным сценарием – мисрад а пним¹, банк идуд, мисрад клита², битугах Леуми, в общем, опять очереди, очереди, лица, лица, чаще растерянные, нежели удовлетворенные происшедшим, – не так я представляла себе триумфальное шествие по новой жизни, но некая сущность в шубе и вязаной шапке (посреди бессрочного израильского лета) на остановке четвертого автобуса (в районе Феджи) произнесет уже знакомое до тошноты «леат-леат»³, «савланут»⁴, «ихие беседер»⁵

Здесь тоже были обменники, и, комкая в горсти очередную бумажку, я становилась в условную очередь, да, собственно, не было никакой очереди, и охранника не было, и страха не было совсем, – кому придет в голову бояться толстого рыжего Ицика в вязаной кипе или ушлого бухарца с тяжёлым золотым магендовидом на волосатой груди, и, если и попадался человек с оружием, то ничего такого в этом не было, никакого зловещего умысла, чаще всего это был невыспавшийся, припорошенный несмываемым загаром и пылью чей-то сын, – однажды, к слову сказать, я окажусь случайным свидетелем трогательной весьма сцены: средних лет грузный мужчина, порывшись в бумажнике, подсел к такому сонному и смертельно уставшему «чьему-то мальчику», и чуть ли не силой вложил в его ладонь несколько скомканных купюр, вся пантомима длилась секунды, но их хватило, чтобы остаться в памяти. Пятьдесят пятый автобус, старая тахана мерказит⁶, чужой человек, улыбаясь, сует деньги оторопевшему солдату. Возьми, сынок, тебе нужней.

Казалось, его вот-вот закроют, снесут, и, вообще, непременно случится что-нибудь эпохальное, в результате чего не будет хмурых лиц, очередей, охранников в бронежилетах, мата, ска-

¹ Министерство внутренних дел.

² Министерство абсорбции.

³ Потихоньку.

⁴ Терпение.

⁵ Все будет хорошо.

⁶ Автобусная станция.

нирующих глаз, развинченной походки и, главное, этой кривой ухмылки с налипшей к углу рта сигаретой. Восемь, двенадцать, двадцать пять.

Но грохочет трамвай, и некая могущественная сила (инерции? памяти?) подталкивает в спину, ведёт по мосту, и тут я, слава богу, просыпаюсь, и понимаю, что ничего этого в моей жизни нет. Ни моста, ни трамвая, ни зажатой в ладони скомканной купюры.

Война

В детстве война казалась почти фольклором. Либо документальными кадрами перед началом утреннего сеанса. Минутой молчания в День Победы. Патетика советского кино зачастую отодвигала реальность событий на непреодолимое расстояние. И, наверное, это было хорошо. Поколение, рожденное в относительно благополучные 60-е, могло судить о войне по воспоминаниям очевидцев, по несовершенным кадрам хроники, по книгам, фильмам. Парадоксально, но дети вряд ли испытывают страх перед войной. Да и что такое эта самая война? У каждого пережившего ее она своя. Для меня бабушкины рассказы об эвакуации были скорее занятыми, нежели пугающими.

Холодные поезда, голод, страх перед неизвестным, опять же выдернутые из контекста привычной реальности гражданские люди: дети, женщины, старики. Но существовала ли в нашей стране привычная реальность? И можно ли назвать привычной реальностью десятилетие спокойной жизни? Нить бабушкиных воспоминаний тянулась из времен гораздо более отдаленных, нежели сороковые. Спокойствия не было и до. Сытой жизни тоже. Хотела бы я знать, сколько безмятежных лет выпало на долю бабушкиной жизни? И была ли относительно спокойная старость вождленным островком благополучия? «Только бы не было войны», – любила повторять она. «Ну что ты, бабушка, какая война!» – снисходительно посмеивалась я в ответ на бабушкины сентенции.

Парадокс, чем старше я становлюсь, а стало быть, в определенном смысле ближе к моей бабушке, невзирая на расстояние в десятилетия, тем более условным кажется это самое расстояние и само понимание цикличности событий. Как и понятие мира и войны. Услышанное в детстве перестает быть фольклором.

И что такое, собственно, эта самая война? Это когда чёрное и белое? Когда стреляют? Бомбят? Убивают из-за угла? Громят? Когда выселяют из домов? Когда бегут? Спасаются? Голод? Холод? Неудобства? Где грань, отделяющая иллюзорное ощущение мира и реальное – войны?

Наверное, именно благодаря услышанному в детстве я не забываю об этой иллюзорности. И понимаю, что война – такое же естественное состояние человечества, как и мир, как и всё, что является характеристикой человеческой натуры: добро, зло, – и так же неизбежна, как жизнь или смерть.

Я знаю, как входит она под кожу (поселяясь там вечным ознобом), и да, нормальную, повседневную жизнь на фоне войны никто, знаете ли, не отменял. Вам надо платить за квартиру, ходить на родительские собрания, забирать ребенка из школы, вас увольняют (в очередной раз), у вас кризис среднего возраста, а на обратном пути после бессмысленной работы непременно заскочить в супер, купить то и это, а потом ещё в зубах принести горячую пиццу из пиццерии на углу – да, на том самом углу, напротив овощного, – там, если хотите знать, самая вкусная пицца и добавок не жалеют, а орегано сыпь сколько хочешь, – и вот вы бежите домой (с пиццей, пакетами из супера и прочей ерундой, – черт, хорошо бы ещё всё-таки в овощной, пока не закрыли, потому что конец недели, и завтра всё будет забито людьми, тележками). Пока вы прикидываете, сжимая в ладони последние сто шекелей, больше банкомат не даёт, придется идти в банк разбираться, – и вот вы бежите по улице, сворачиваете за угол, и вовсе, знаете ли, не думаете о том, что рядом – война. О ней вовсе не надо специально как-то думать. Потому что

она у вас под кожей, в крови, в клетках и нервных волокнах. Сколько процентов войны в каждом из нас? После того как куплена пицца, сделаны уроки, вы включаете новости и забываете обо всем, потому что – господи, как можно, они совсем дети, эти лица, эти имена, а вот это лицо мне знакомо, как будто знала его всегда, – по всем каналам одно и то же, и вы стоите (сидите) навывтяжку, потому что этажом ниже, и выше, и под домом из чьей-то машины – одно и то же, имена, имена, имена. И уже не важно, как их звали, не важно, сколько им лет, – важно одно: война входит в дом, караулит под окнами, и ей, войне, совершенно неважно, что бомбоубежища в вашем ветхом амидаровском¹ доме нет и никогда не было, что вас увольняют с работы, в банкомате застряла карточка, а банк закрыт на шабат.

Сквозняк

По району, застроенному пятиэтажками, бродил высокий белобородый старик с холщовой сумой через плечо. Помню, был он слеп, и я замедляла шаг, стараясь быть поближе к взрослым, – осознание чужой беды ранит и оставляет ощущение сквозняка в теплом и несколько рыхлом (безразмерном) летнем дне, в котором все вроде бы ясно и предсказуемо, – и тут внезапная смена декораций – беспечное тепло сменяется пыльной бурей, слезятся глаза в ожидании бед, раскачиваются фонари, и этот старик, высокий, прямой, наверняка красивый, – это я сейчас понимаю, – а тогда слепой, слепой, одинокий, – почему он один, мам? – вдоль трамвайных путей, давно, по всей видимости, идёт, становясь всё ближе и ближе, и кто-то (наверное папа) подталкивает меня: иди – и я, онемев (сквозит ведь, из всех щелей сквозит), делаю шаг, чтоб осторожно (зажмурившись, в ладонь? в холщовую суму?) опустить монету, увидеть сомкнутые плотно коричневые веки, выбеленные волосы, впалые щеки, лёгкую тень улыбки (не тень даже, а рябь), ощутить сухое тепло на макушке – не касание, а так, шелест, дуновение, – я долго смотрю ему вслед, не помню насчёт вышиванки, а длинный плащ (до пят) помню, возможно, она была, под плащом или пальто (или даже шинелью) не в этом, так в другом дне, в других декорациях, сложенная аккуратно на дне чемодана, пахла чем-то забытым, из детства, – компотом из черной сливы, вареньем из крыжовника, летним днём, райскими яблочками, тополиным пухом.

Не знаю, была ли на нём вышиванка, а если и была, не думаю, что это была дизайнерская модель, скорее всего, была она чистой, ветхой, застиранной до прозрачности и оттого глубоко подлинной, сохранившей на сгибах и швах дух долгой жизни, – среди множества сохранившихся чёрно-белых снимков, увы, нет ни одного, запечатлевшего долгий летний день (один из многих), сквер, трамвайные пути, чужую девочку, сквозняк небытия, слепого старика, идущего сквозь время.

Смысл

Воскресный день, наполненный плотно – ничем, либо же всем сразу, – допустим, тривиальными заботами, которые преодолеваются легко, потому что подступающее лето оставляет иллюзию многих возможностей, о которых если и думаешь, то как-то вскользь, с ленцой, – главное – здесь, сию минуту, – густой воздух (в нем разряды близких молний, свежесть трав и деревьев, выхлопы с трассы – тот самый коктейль, который не спутаешь с иным, так пахнет ночь в Борисполе после приземления), тропинка между соснами, лежащие впадалку в высокой траве некоторые мужчины. Ещё брезжит что-то там, впереди, – длинные летние вечера – просто так, ни для чего-то важного, они для медленного проживания жизни, проступающих из сумерек звуков и голосов.

¹ Амидаровские дома – государственные квартиры в Израиле, чаще всего в старых домах.

Свет далеких окон

Как будто все осталось прежним – еще с давних времен, с первой моей поездки, к которой и не готовилась вовсе, а собиралась по-спартански, – каких-то два дня, два дня каникул, – джинсы, майка, цветастый сарафан, – признаюсь, самой дороги я не помню, зато помню свое ошеломление от неизмеримости всего – проспектов, улиц, домов, – от разности лиц, – в Киеве моих семнадцати все-таки было уютно-провинциально, не было этого вселенского сквозняка, в котором очутилась я, влюбленная девица, сбежавшая от самой себя и объекта влюбленности так неожиданно и удачно, – киевские дворы и тополиный пух остались позади, а впереди – вкус московского пломбира, – мы ели его весь день, я и папа, пренебрегая общепитом, – зачем, спрашивается, люди вырываются на свободу, не столовскими же котлетами давиться, – точно заговорщики, надкусывали, посмеиваясь от удовольствия, как в детстве, когда съеденный пончик с горохом или повидлом приравнивался к серьезному правонарушению, ведь дома был суп, безусловно, полезный и сваренный с любовью, но какая тяжкая безысходность повседневности, предсказуемости, – а тут – контрабандный пончик, Крещатик, красный берет, дух свободы и вседозволенности, – но вернемся же в Москву, к высоткам и площадям, я иду рядом с папой, уже почти взрослая, семнадцатилетняя, и все то же чувство праздника, яркости и неповторимости момента, так всегда было с папой – феерия, праздник, искра, никаких надо или положено, – не знаю, сколько километров отмахали мы в этот день, – помню мосты, плавные ленты дорог, пьянящее ощущение бесконечности всего – лета, дня, жизни, но вот уже и сумерки, усталость, гул шагов, – влюбленность моя таяла, точно сливочный брикет, – таяла, тускнела, отцветала, плавилась от безумной московской жары.

Казалось, еще день, второй, третий – от нее не останется следа, только зыбкое напоминание, укол, царапина, бороздка, – а в Киеве все то же – теплый дождик, по обочинам толпятся старушки с пучками редиски и укропа, пахнет огурцом, клубникой, землей, влагой, грозой. Все та же, но другая я, – повзрослевшая на целое лето. Потому что лето, казавшееся безразмерным, закончилось.

Я помню этот город, в нем все так и останется узнаваемым и чужим одновременно, – это здесь я разрыдаюсь посреди торгового зала с расходящимися в разные стороны потоками очередей, – уже в другом году, в другое лето мой жизни (назовем его черныбыльским) – там буду другая я, тоже влюбленная, немного израненная, а потом, конечно же, исцеленная – Арменией. Дилижанским воздухом, очертаниями гор, небес, лиц.

В памяти останутся орлами восседающие, поигрывающие цепями дети братских народов – на Щелковской я насчитаю их с десяток. Там самые гостеприимные в мире дома и самые теплые люди, румянощечные певуны и плясуны в кокошниках, звук разудалой гармонии, свет окон в начинающихся сумерках, эхо в огромных дворах, отчуждение всех и каждого, одиночество движущейся во тьме электрички и шум приближающегося к станции поезда.

Это здесь, в вагоне московского метрополитена, грустноглазый таджик с ликом такой древности, и красоты, и сложности – точно некий виртуоз соединил все линии в божественный пазл, и крошечная девочка-сфинкс, сидящая на коленях таджика, не сводит немигающих глаз с сидящего напротив, и любоваться ею странно и неловко – такие лица прячут от посторонних – за толстыми стенами, за плотной тканью, – такие лица пробуждают неясную тревогу – уж слишком много света источают они для нашего темного суетного мира.

Подвешенное время

Что ты ковыряешься в этом самом детстве, точно в остывшем пюре? Что тебе там?

Да я его переписываю, если хотите, смещаю акценты, вырезаю кадры и целые серии. Например, школу. Безжалостно кромсаю пленку. Выбрасываю метры, рулоны. Там, на месте этих

кадров, черные дыры. Космические пустоты. У меня, у девочки из в целом приличной семьи. Конечно, иллюзию безопасности создавали родители. Дома, среди книг. Зарыться, отсидеться, отогреться (на потом, навсегда) на низком топчане у коротковолнового приемника, за папиной спиной, под клацанье печатной машинки («Эрика», «Мерседес»), или на Подоле, у тети. Весь мир, выстроенный, обжитый исключительно для тебя – вот он, поток безграничной любви. Что было до того (слезы, потери, страхи) – не важно, ты всего этого не знаешь ещё: ни про эвакуацию, ни про соседей, ни про самое страшное, о чем не принято вслух: тебе на фарфоровом блюде – вся мощь и сила добра, в котором ты расцветаешь и плависься, – на вырост, на потом. Двор с необъятной акацией, кошачья свора (у каждого своя индивидуальность, имя), радио на стене, сдвинутые ставни – вот пробивается полоска света, вот ходики с гирькой, подвешенной руками деда Иосифа – поворот головы, наклон ее, полузакрытый глаз (след от казачьей нагайки), мерный звук, мерный и мелкий, – такое подвешенное на цепочке время, и вторит ему утробный бас настенных, напротив, часов. Подушка-думочка под щекой, дыхание где-то там, в тазах клубящегося, зарождающегося варенья – вишневого, допустим, с крепкими, мелкими, твердыми, очень сладкими ягодами. Всё это для тебя, весь этот волшебный по кирпичику выстроенный мир – как будто сказочный джинн одним щелчком породил запахи, вкусы, звуки, плотность стен, торжество уюта (торшер, блюдо, подстаканник, плед, раскрытая книжка, струение голоса, голосов, они обтекают тебя, разглаживают, насыщая теплом, защищённостью, – впрок, на все времена, но ты не знаешь ещё, полагая, что навсегда этот крепкий детский сон, байковое одеяльце, заботливо подоткнутое (не дай бог раскроется, простудится). Не навсегда. Но в тебе. С тобой. Этот дар на дрожащих вытянутых руках – сок, чай, не важно, – главное донести, не расплескать.

Иногда я прохожу мимо этого дома. Точнее, мимо того, что было им. Ворота, массивная цепь, замок. Напротив ресторанчик, довольно, впрочем, уютный, как многое на Подоле. Военная часть. Стена. Провожу рукой. Ладонь вспоминает каждый бугорок, трещину, выступ. По сантиметру можно добраться до главного. Они там. Всё ещё там. Ждут меня у стола. От печи мерное тепло – на века, на века, в глубоком тазу – ах, какой таз! (вы хоть помните, как покупался, как обжигался?) – вскипает варенье. С кислинкой. Кизил, клубника, смородина. За кадром – речитатив радио, голоса со двора. Кто-то месит тесто, руки по локоть в муке. До золотистой корочки обжаривается вермишель, получается «бабка», такое смешное лакомство. Люблю, задрав голову, смотреть, как зажигаются огни, как движутся тени. Неважно, что снаружи: осень, зима, весна. Внутри – лето. Оно навсегда. Так отчего же ты медлишь, сорви замок, разорви цепь, иди, ничего не бойся.

Илья ДАНИШЕВСКИЙ

МЕДВЕДЬ И МАЯТНИК. ЧАСТЬ II

*просто такая сильная любовь ты еще не знаешь
что говорил заратустра на этот счет*

Весной у нас было две жизни счастливые липкие ивы
худые люди ковши диких машин поднимали снег к высоким заборам
камео бело-желтых голов дыры собачьих нор и глазницы желаний
старый снег поднимался над нами городами вокруг и смыкал
мокрый глаз правды и прятал от нас его белоснежный взгляд

у нас было распорото надвое предметы расставлены по часам
отделяя берега гортаней не переходя пороги
каждый день мы говорили друг другу «здравствуйте»
как свивали мойры в случайном двоичном порыве и джинны
исполняли наше отсутствующее желания гаснущие очаги сердец
болезненные повороты донской монастырь монастырское поле
каменные хребты овец молитвенный синий огонь в кулаке

что ты влагал себе в горло соматические спазмы слов вместо члена
отказ воровать у вечности не колоть хуем лед и не ждать утренних звезд
ударом в високосные звенья виска затылка липкий прибой коричневатая
пена шанкр луной слюдянистая смега пса

вот – отхаркивать это вместо соматических слов любви
достаточно? недостаточно? здравствуйте

Илья Данишевский родился в 1990 году в Москве. Поэт, прозаик, книжный издатель. Учился в литературном институте им. Горького и на историка религий в РГГУ. Руководитель проекта «Ангедония» (издательство АСТ), посвященного вопросу легитимации насилия в современной России, куратор отдела литературы Snob.ru и литературной программы Центра Вознесенского. Публиковался в журналах «Зеркало», «Носорог», «Воздух», «Новый мир», «Дружба народов» etc., автор книг «Нежность к мертвым» (2015) и «Маннелиг в цепях» (2018). Финалист премии Андрея Белого (2017). Предыдущая публикация в «Волге» – рассказ «Гомотопическая эквивалентность алая и апатии» (2017, № 9-10).

глубоководная подсветка коттеджей крест-накрест
бесполезно просвечено и дети таскают чугунную лодку
паруса кровь сома ожидание оттепель на краю
на обочине к осени того года горло вскипало
первым письмом fall in love крест-накрест
от северной ложины освещенной зарницей
к южному краю дорогих домов где осы свиты в железные нити
измороси но потом возвращенье сочная мель травы в свете фар
детство-онлайн и любовь-онлайн и домой-онлайн

все шевелилось назад и струпья выветривались весной
а потом эта весна прошла
и всё – о другом чугунная лодка
сползает по трахее к паху струпья и кожу взлохмачивает гибким винтом

что потом?
утренняя молитва сперма и рембрандт
что я скажу тебе вечером? что любовь что время и глубокие воды
и что скоротечно с северного окоёма к южному острову
все укрывает шелестом и все запечатано вечером
к утренней лодка таранит зубы глазное дно темное прошлое
омывает КРП ручная работа избыточно дорого избыточно долго
что за порогом я расскажу тебе вечером а что говорят каждый вечер
знает только тот детский ветер чугунный запах ожидание будущего

бархат шмелиного кладбища темные дыры под лестницей
там где начнется нерест винт и артерия винт и вечность
что глубокие воды и что говорят о времени
как молчат крест-накрест любовь ожидание слов бога как ожидание вечера
– или ожидание вечером?

it's not expensive
погоня и альбертина убер х фул транзишен
гладкая шерсть липкая окайма
поднимаясь языком и назад
дорогой тритоньего следа
с кем ты делил это утро угрей и устье
чьи слова липко свивали волосы

связав наши седые волосы ничего
ничего не взростало
кроме подозрения гладкая шерсть
липкая шерсть и вслед –
перевитые волосы и волос разрывы
(нам кроме как бы и ничего)
недорого гематомы троичные нервы
парно свитые влево и свет любви
покрывают
линию роста шерсти вдоль линии роста трещин

И когда вода поднимется до груди это будет вина воды
как могла быть виновата война темный лакричный свет змеиноного сада
перевитые корни вместо изгиба липкого слова
в мутном ящике детства поцелуи углом отложат яйца под кожу
глухой невинности перед водой и перед войной и той
что падает навзничь зеленая пена липкие сваи ритмичная ебля сигналов
потом ритмичная ебля ударов потом
фонари просвечивают луну до дыр ее свет невинно на клетчатые удары
и блики на вмятинах невинных

ДЕНГЕР

Повесть

Душа табунищика, я к тебе обращаюсь камлани-ем. Душа табунищика, ветер сделай себе конем. Душа табунищика, превращайся ты в ветерок. Итак, душа табунищика, приходи на гору Кызыл-Дат. Он такой табунищик, у кого много малых детей. Он такой табунищик, у кого жизнь еще впереди. Пусть он будет жить спокойно и благополучно, под луной и под солнцем пускай он еще живет. Его душа приходит. Спешите выловить ее. Спешите взглянуть на нее. И ты, потерянная душа, ветерком сюда прилетай. Табунищик, вот твоя душа, скорее поймай её. Табунищик, храни свою душу, превращенную в волос. Табунищик, я тебе вернул твою душу-бродягу. Табунищик, я нашел твою душу в небе Денгер.

Шаманский алгыш

Кресло 7А. Долгий рейс с пересадкой «Петербург-Москва-Абакан». Помнишь, ты спрашивала, что за амулет пришел бандеролью из поселка Верхнеусинское? Пятнадцать лет назад. Он лежит у нас на полке в гостиной. Такой... кнут, вырезанный из кости.

Я отшучивался, но теперь расскажу.

I

Абакан... да... Пятнадцать лет назад я случайно оказался в Абакане. Ну, или я так думал, что случайно. У них это называется «таварылга». Один ничего не значащий случай – и все меняется. Это даже не судьба. Просто так легли карты.

Не планировал это делать. Скажу больше – вообще ничего не планировал и не хотел знать. Я был то ли жив, то ли мертв – и сам понять не мог. *Прошла всего неделя с того дня, как я увидел тебя, лежащей... Нет, постой. Я не с того начал.*

В тот день я развернул «Из рук в руки», она валялась на кухонной табуретке, – таварылга, – порылся в главе «Работа». Неплохие деньги для умных людей, – всего одно предложение. Я позвонил. Да, это могла быть сетевая дрянь, но я позвонил.

Алексей Виноградов родился в 1974 году в Ленинграде. Закончил факультет журналистики СПбГУ. Возглавляет Благотворительный фонд «Софья», занимающийся социальной и трудовой адаптацией людей с инвалидностью. Публиковался в поэтических сборниках «Птица книг» и «Хлопоты», выпущенных в галерее «Борей» в середине девяностых. Проза публикуется впервые.

Работодателя звали Юрий Иванович, и предлагал он дело простое и нужное: закупать в Сибири кедровый орех. Я согласился. Мне нужно было забыть... Уехать на край мира. Сменить обстановку. Хакасия? Ок. Да и деньги неплохие.

Встретились. Юрий Иванович сразу подsunул договор.

– Так сразу? – удивился я.

– А чего время терять? – возразил он. – Сезон на носу.

Я заосторожничал:

– Деньги на закупку... билеты, опять же.

– Будьте уверены, деньги есть, – отрезал он. – В Абакане вас встретит партнер, он с деньгами.

Просто за ним... как бы это помягче... контроль нужен. Провинция, одно слово.

Следует получасовой боевой инструктаж. Я ставлю на договоре закорючку, а через день в аэропорту уже получаю билеты из рук Юрия Ивановича. Он вообще странный тип: высокий, лысый, сухощавый – в льняном костюме, дорогая обувь – видно, что никуда не спешит, но с другой стороны – как капля ртути, перекачивается туда-сюда в поисках свободы. Я узнал, где лучше в Абакане обедать, куда ходить и как себя вести, узнал, что селиться выгодней в гостинице «Хакасия», – недорого, но с комфортом. На вид моему работодателю было лет шестьдесят, доверие он внушал и пообещал премию в конце сезона. Это помимо зарплаты и карманных расходов. Сумму он не назвал, но я тогда не придал особого значения и этому, и многому другому. Мне надо было уехать – и я уехал.

II

В Абакане воздух теплый и сухой. Вроде осень, но... другая какая-то осень. Низкие сопки, степь на все четыре стороны, докуда хватает глаз.

Аэропорт, обглоданный временем, торчал приветом из 80-х – когда империя, еще живая, рождала в пространство кубы из бетона и стекла, разукрашенные наивным пластиком. Все казалось игрушечным: пассажиры – пластмассовые солдатики – со взлетной полосы тащились к выдаче багажа, толкались в ожидании, вертушка крутилась, тюки ползли на выдачу. Через полчаса аэропорт опустел. Меня никто не встретил. По номеру, данному Юрием Ивановичем, не отвечали. Ладно, подумал я, – лиха беда начало. Подхватил сумку, вышел на стоянку.

Таксисты замельтешили, наперебой предлагая недорого и быстро. Я выбрал парня попроще, отозвал в сторонку, потолковал. Таксист не очень донимал, но пару дежурных вопросов задал: кто я, да откуда. Ответил вежливо, но так, чтобы не лез больше. Он это понял.

Пока ехали, удалось немного рассмотреть город – выдающегося ничего, метод строительства квадратно-гнездовой, а так... чем не Питер. Район Московского. Те же панельки, только поменьше этажей, те же сталинки, желтые и с колоннами. В парках – деревья. В фонтанах – вода. У людей – две ноги и две руки.

Гостиница – обычная серая пятиэтажка с вывеской «Хакасия». Таксист помог достать сумку из багажника, получил две сотни, еще пятьдесят на чай. Одобрительно пробурчал что-то вроде «спасибо». Я направился ко входу.

Завещал мобильный. Звонил тот самый партнер, который должен меня встретить. Имя – простое, ровно настолько, чтоб дважды переспросить – Эюб. Он жаловался на сломавшийся автомобиль, племянника, который чего-то там обещал, но не смог, тут же уверял, что через час машина будет на ходу... Это он вовсе не извиняется, – понял я вдруг, – просто порядок такой. Договорились встретиться в «Хакасии», а потом осмотреть базу, на которой предстоит работать.

Они явились ровно через час. Эюб – азербайджанец с усталыми, огромными глазами, жесткие черные волосы, залысины, выпуклый лоб, манера говорить, наклонив голову вперед и пристально смотреть в глаза собеседнику. Взгляд Эюба был ясен, без этой вечной азиатской хитрецы, – хороший, спокойный взгляд. На вид лет сорок – так и оказалось, когда позже, на базе, я пере-

писывал его паспортные данные, чтобы оформить доверенность на автомобиль. Красивое слово: доверенность. Да, мы друг другу доверяли. Но это уже – потом.

С Эюбом прикинул художавый, жилистый мужичонка с гладко выбритым до синевы лицом отчаянного пропойцы – тот самый племянник? – решил я, но вовремя одумался. Константин. Голос на редкость не соответствовал заурядной внешности – хорошо поставленный, глубокий, чуть с хрипотцой. Вещал Константин отчетливо, расставляя акценты и делая умные паузы в словах.

В общем, эти двое явились ко мне в гостиницу. После взаимных рукопожатий – руки я им пожал чуть сильнее, чем обычно, чтобы не сойти за столичную штучку, правда, не уверен, что получилось, – обменялись общими словами про погоду и поехали на базу.

База оказалась как все базы. Промышленный район. Называлась громко, по-советски: «Облпотребсоюз». От союза остались холодильники, которые растаскивали на цветмет. В свое время Эюб с Костей пришли к директору с предложением отдать им в аренду склад, тот готов был заплатить, только избавиться от головной боли. Случилось это, по словам Эюба, два года назад. С той поры они на базе и обитают. Закупают кедровый орех для партнера в Питере.

– Для Юрия Ивановича? – зачем-то уточнил я.

Эюб вздрогнул, будто не ожидал моих слов. Кивнул. Но при этом как будто сник, стал мельче, ссутулился.

– Давай лучше чай пить, – сказал он. – Я свежие булки принес.

Расположились в вагончике, у ворот. Вагончик служил на овощебазе сторожкой и офисом одновременно. Эюб вытащил из шкафа сдобу в фарфоровой, расписанной глазурью конфетнице, разлил в стаканы чай. Костя все это время меланхолично смотрел в окно и повернулся к нам лишь когда речь зашла о деньгах.

– Стало быть, за орехом приехал? – спросил Эюб, стуча ложкой о стакан.

Я промолчал. Надо сказать, что роль закупщика мне далась легко. В орехах я ничего не смыслил, но мне было пофиг. Как я уже говорил, я хотел *все забыть*.

И вот я в Сибири. С кем-то знакомлюсь, куда-то езжу. Сажу среди незнакомых людей, киваю головой, пью чай. Отлично. Начало положено.

Эюб и не ждал ответа. Важно покачал головой:

– Приехал – и хорошо. Тут земля богатая. Все есть. Пушнина есть, дикоросы есть, даже золото. И все дешево. Только покупай. А конкретно по поводу ореха – вот что: я уже тут в одну деревню съездил, кое с кем переговорил. Деревня далеко, почти у самой тайги. Ну, и это не проблема. Мы в прошлом месяце японца взяли, пятитонник. Кантор. Пойдет для таких целей. Зато раз далеко, то и в деньгах выйдет полечче.

Тут Костя встрепенулся:

– Тебе Юрий Иванович какую цену на орех дает?

Я назвал. Костя присвистнул, потер руки. Потом, переглянувшись с Эюбом, наклонился ко мне и прошептал:

– В Отроке, куда завтра поедем, на десять рублей дешевле. Понимаешь, к чему клоним?

Я сообразил быстро:

– Десять на три не делится.

Эюб крикнул от неожиданности:

– Ладно, нам по три. Тебе четыре. За сообразительность. Идет?

– Идет, – ответил я. Роль закупщика мне уже нравилась.

Так и решили – назавтра ехать в Отрок.

III

Чаепитие на овощебазе завершилось. Я поймал такси, добрался до гостиницы. Стемнело. Теплая осень, встретившая днем, уже стала неосенью, обрушившись с окрестных предгорий холодом. Абакан же, словно назло природе, рос в пределах этой температуры, расширился на холоде

светом теплых окон. Я думал: как я быстро оказался за тысячи километров от дома. Может, потому что и дома-то не было. Так... бестелесная память.

В кармане хрустели банкноты, выданные Эюбом на карманные расходы – плотно так хрустели. А может, и здесь – дом? – подумал я, снова набирая Эюба. Он, тонкая ниточка человеческого, связывал меня с этим новым городом, а город, судя по всему, ждал меня сегодня в гости.

Хотя, когда он поднял трубку и выдохнул свое столетнеуставшее азиатское «да», я понял, что рассчитывать на него сегодня не могу. Он из другой версии этой игры. Он на другом уровне. Он не со мной. Поэтому я обменялся парой фраз с Эюбом, – ничего не говорящих, но фраз, – подтвердил время завтрашнего отъезда в Отрок и просто вышел из гостиницы... просто запер дверь... просто спустился по лестнице.

В квартале от «Хакасии» манило неоновой вывеской кафе «Незабудка». Народу мало. Присев за столик у окна, я огляделся. Девушка через три столика привлекла внимание. *Она не могла не привлечь внимание.* Высокая, одного со мной роста. Одета как школьница – короткая юбка в клеточку, гольфики-чулки и белая блузка, на спинке стула небрежно накинут плащ. Она читала книгу – надо же, – отхлебывала кофе, изредка поднимая глаза. Наконец, посмотрела на меня. Я улыбнулся. Из-под копны русых волос на меня взирали озорные, огромные серые глаза. Смотрит на меня, улыбается, а улыбка – как тонкая, юркая змейка. Вот-вот ускользнет.

Я подошел, кивнул на свободный стул

– Можно?

Она вполне по-деловому вскинула руку, посмотрела на часы.

– Еще десять минут можно.

– А потом что?

– А потом на работу.

– Ночная смена на заводе? – съязвил я.

– Ну, как-то так. Хотя заводов в Абакане давно нету.

– Алексей, – представился я.

– Стася, – отозвалась она. Надо же, какое редкое имя.

Помолчали, разглядывая друг друга.

– Командировка? – спросила она. – Где остановился?

Я улыбнулся.

– В «Хакасии».

Она вдруг перестала улыбаться, поправила волосы. Глядя прямо мне в глаза – я чуть не завяз в ее сероглазости – выговорила:

– Ясно. Значит, вышел между делом прогуляться. Девчонки, клубы, то-се, позажигать? На самом-то деле ты совсем о другом думаешь. О чем? Боишься? Жена дома ждет?

Улыбка сползла с моего лица. Я даже разозлился.

– Жена не ждет.

Ты знаешь, почему я так сказал. И даже не соврал ни разу.

– Ждет. Отпустить не хочет. – Стася захлопнула книгу, я успел увидеть на обложке что-то про историю степных народов. – Это сразу видно. Когда мужик совсем один – он другой. Я чувствую.

– Ведьма, что ли? – усмехнулся я.

– Может, и так, – опять по ее губам проскользнула улыбка. – Ладно. Пора мне.

– Может, завтра встретимся? – я все еще не терял надежду.

– Завтра отсыпаться буду.

– А потом?

Она еще раз меня оглядела, закинула в сумку книгу, встала, подцепила плащ и вздохнула.

– Может, и встретимся... по работе. Шутка. А может, и не шутка.

Стася походкой модели направилась к выходу, но – вот беда! – у порожка споткнулась и чуть не растянулась на полу. Вернув равновесие своему идеальному телу, она обернулась, улыбнулась мне и растворилась за дверью кафе «Незабудка».

Даже не знаю, что сказать об этом. В полутьме, на фоне унылой забегаловки, эта девчонка смотрелась как артефакт иного мира. Как она сюда попала? Для чего? Я вернулся в гостиницу. Не разбирая багаж, завалился спать, но еще долго в мыслях маячила чертова сероглазая аборигенка. Так отшила меня, и так улыбнулась напоследок. Я ворочался. Не спалось. Все было новым – город, люди, кровать. Пахла кондиционером жесткая наволочка, лежбище для тысяч лиц, проскользнувших через мой сто первый номер дальше во времени. Не об этом ли я мечтал еще недавно, *когда... ты была со мной...*

Помаявшись, я все же заснул. Мне снилась эта Стася. Она улыбалась, но вдруг улыбка юркой змейкой соскользнула с губ и шлепнулась на пол кафе «Незабудка», оставив нежно-перламутровый след губной помады на серой кафельной плитке... Сперва змейка замерла, а потом поползла прочь.

Я проснулся от шороха. Он раздавался рядом с кроватью. Зажег ночник, свесил ноги с кровати. В полуметре от прикроватной тумбочки шевелилась змея.

Ч-черт! Я подскочил, забрался с ногами на кровать. Змея шуршала, перемещаясь где-то вдоль плинтуса. Я опасался смотреть, где она, но, когда еще раз бросил взгляд на паркет, увидел, что змей уже несколько. Они сплетались в черный клубок, снова расплетались и тихонько шипели.

Телефон далеко, на столе. Ни швабры, ни палки. Черт-черт-черт. Тут я наконец крикнул. Тишина. Крикнул еще раз. Никто не отозвался. Я закрыл глаза, подобрал ноги и стал считать до ста. Не досчитал. Сам не помню, как выбрался в коридор. Там должна быть дежурная. Вот сейчас, за тридцать шестым, налево, и... Она там была. Спала, уронив голову на руки, прямо за столом. На-стоянная лампа выхватывала ее пергидрольные кудри из ночного сумрака.

– Эй, можно вас... – тихо позвал я.

Не слышит.

– Эй, – повторил я и ткнул ее в сдобный бок. Дежурная подняла голову и уставилась на меня слезящимися от сна глазами. Зевнула:

– Чего тебе?

– У меня в номере змеи.

– Какие еще змеи среди ночи? Тут отродясь змей не было. Ты че, обдолбался?

Я завелся:

– Я вам говорю: змеи. Везде.

Она еще разок громко зевнула, посмотрела многозначительно и полезла в каморку за шваброй и ведром. Вышла, шмыгнула носом:

– Ну, веда, змеелов.

– Сто первый.

Потом... потом мы вошли в номер. Она потянулась к выключателю, но мне и так стало все понятно. Никаких змей. Бодрую вспышку стоваттной лампочки встретил прибранный, чистый гостиничный номер. Ну, только растрепанная койка, едва распакованный чемодан...

– Не успел приехать, – шипела, как змея, дежурная – впрочем, так, чтобы я не слышал, – а уже обдолбанный... вот люди.

Утром я проходил мимо, она долго и тяжело смотрела мне в спину. Я это чувствовал. Спустившись по узкой лестнице, выбрался на залитую солнцем улицу. Киоск «Роспечати» ютился у входа, еще закрытый. Стояли такси – целых пять машин. Я выбрал авто, прыгнул на заднее сиденье и бросил рябому водителю: «База Облпотребсоюза».

IV

В Отрок прикатали вечером. Дорога шла через ручей, – там оборачивалась деревянным мостом, шатким и ненадежным, вливалась в деревню, раздваивалась. Направо жил староста Михалыч, налево, просочившись еще через пару десятков дворов, уходила в тайгу тропинка-не тропинка, а так, по чему ехать еще можно, но спотыкаясь. Так вот, за мостом, там, где путь раздваивался,

стоял колхозный двор с зерносушилкой и сараями. Там же была контора, торчали весы амбарные под навесом, и с десяток мешков каких-то семян прели прямо под небом. Образцовый колхозный двор.

Мы с Эюбом и Костей стояли посреди двора с Михалычем, терли за жизнь.

Эюб носком сапога поддел разорванный мешок. Мелкие семена вспорхнули в воздух, осели. Я тоже пнул кучку семян, и она тоже разлетелась в разные стороны. Михалыч недовольно буркнул:

– Ты это, осторожней. Добро ведь. Денег стоит. Пойдем лучше в конторку, потолкуем.

Мы прошелестели по высокой, пыльной траве, выжженной дожелта солнцем и устланной редкими опавшими листьями, пересекли двор и подошли к низкому сараю. Михалыч отпер амбарный замок; пригнув головы, мы гуськом вошли в полутемное помещение, где пахло сеном и стружками.

– Добро пожаловать в офис, – произнес хозяин, сгребая со крепкого дощатого стола пару бутылки из-под пива и неопознанные крошки. – Садитесь, гости дорогие.

Пока все расшаркивались да пыхтели, усаживались на скрипучие табуретки, я огляделся. На стене висел пастуший кнут, в углу приютилась пузатая кадушка, накрытая сверху плесневелой марлей, – огурцы, по запаху слышно. В квадратном оконце, ровно поделенном на четыре краешки, виднелось изжелта-белое солнце, да муха подзуживала в паутине. И все. Далее темной стеной вставала тайга, а над ней голубое небо протаскивало облака, будто перья через гребенку. Вот здесь было – «тут», а около стены таежной – уже было «там». Я чувствовал, как что-то ворочалось в ближайшей тайге, словно фиолетовые клубы чернил в трехлитровой банке с водой, ухало и ждало...

Михалыч, увидев, как я гляжу в окно, откашлялся:

– Да, дурная нынче тайга. Гхм. Дурная. Опасная.

– И давно она... такая? – я кивнул в сторону леса. Староста провел шершавой ладонью по лысине – щетина только что не заискрилась. Вздохнул обреченно.

– Так ить... второй день уже. Собаки в лес бегли раньше, а теперь и не пробуют. Вовсе не хотят бежать. Лошади упираются, не идут. Да что лошади. Вон Алтын-чай, старый хрен, и тот заперся в доме, все своему богу молится. А раньше ничего, каждый день по тайге шлялся. Я его Людку спрашиваю – мол, чего он. Она говорит: нет вовсе тайги. Все. Закончилась тайга. И Алтын-чай с ней закончился. Я ей: дура, чего врешь? Но и старики говорят – уж триста лет такой тайги не было.

– Сам-то в лес не совался? – поинтересовался Эюб.

– Не твое дело, – вдруг окрысился Михалыч. – Вы чего приехали? Кедрач покупать? Так и предлагайте свои условия. А то с вами сидеть – только время тратить.

Похмельный Константин, до того молчавший, встрял в разговор. Поморщил лоб для пушей важности и начал, не торопясь.

– Да кедрач-то мы купим – самой собой. А сколько ты его дашь?

– Прошлогодний? А те сколько надо? Столько и дам, – оживился Михалыч.

– Вон там, – Константин кивнул на дверь, – во дворе машина стоит, видел? Кантор. Туда пять тонн входит.

– Пять тонн? – восторженно ухнул Михалыч, – это где ж я тебе столько возьму? У меня есть только тонны полторы. По деревне поспрошать надо. Авось насобираем. Ну, а почем брать будете? Ты только учти, – у нас в этот год дешево не отдадут. Кедрача мало уродилось. Так что не обессудь.

Эюб поманил Михалыча. Тот подставил ухо, и Эюб шепнул цифру. Михалыч изменился в лице, задумался. Потом в себя пришел.

– Это чего это?

– Повторить, что ль? – нахмурился Эюб

– Не надо, мил человек. А почему цена такая?

– А вон, его спроси, – Эюб весело посмотрел на меня, – он и есть благодетель ваш, из Питера приехал. Говорит – острая нехватка ореха кедрового, выручайте. Так что, Михалыч, выручай.

– Ага, – смекнул Михалыч. – Ну, тогда выручим. Дело ясное. Только вот что... чтобы для ясности...

Он полез под стол, пошарил там, и на столе объявилась трехлитровка с чистым как слеза первачом, заткнутая вместо пробки газетным ошметком:

– Ну, за встречу, стало быть...

Через час Михалыч, Костя и Эюб, изрядно хлебнув самогона, катались по деревне – наши на канторе, Михалыч на служебном узике – и скупали что ни попадя, – азарт ведь приходит не сразу, – спустя полчаса сонные жители понимали, чего от них хотят, спустя еще час доходило, что выгадать на этом деле можно немало... потом торговались до слюней, а после грузили мешками, – я же просто сидел в конторке и глядел в окно. Первач растекался по крови благодатью, но в полудреме я видел темную и враждебную силу, что сидела за стеной леса и поджидала кого-то. Тайга. Я высматривал что-то в листовом частокле, на верхушках скалистых холмов – но там все было мерно и тысячекратно, – я высматривал что-то в жухлой траве под окном, я смотрел везде – но не мог высмотреть... не мог даже понять, что ищу, только все больше понимал, что я это видел где-то, давно-давно... А ветер все усиливался, и я проваливался в сон...

Вдруг хлопнула дверь. Михалыч, разгоряченный и запыхавшийся, ввалился в конторку.

– Слышь, это... Лексей... я чего хотел сказать-то. У Алтына, я тебе говорил про него, – тоже кедрача дохера. Тонны две в амбаре, чтоб ты знал. Только он не отдает. Людка стеной встала: говорит, не пушу. А тут он сам меня позвал и спрашивает: что за люди приехали? Я говорю: серьезный человек, из Питера. Алтын-чой говорит – зови его. Так что иди. Может, сторгуешься. У него дом второй отсюда. Сразу найдешь. Только это... осторожней там. Он шаман. Мало ли чего.

Хлопнула дверь. Зарычал узик, и опять все стихло.

Надо же, шаман. А что, может, сторгуюсь и с шаманом.

Выйдя на улицу, я почувствовал, что ветер усиливается – веет от тайги то ли теплом неземным, то ли холодом... вот как поздней осенью полыхнет не пойми чего – заморозок ли, оттепель, и все внутри перевернется от этой влажности, животной и ласково-неласковой, как в детстве очутишься, а потом бегом назад, в сиюминутность, чтобы только душа там не осталась.

Темнело. Я отыскал нужный дом. Собаки лаяли в дальних дворах – надрывно, – видать, наших закупищиков гоняли. Тарахтел двигатель вдалеке – по звуку я понял, что это наш движок. А здесь было тихо, как во сне. Только ветер трепал волосы и кружил листья. У калитки стояла женщина – приземистая, в коричневой кофте и спортивных штанах. Окликнула меня:

– Эй! Ты к нам, что ли?

Я приблизился. Она была раскоса и некрасива.

– Ты из Питера?

– Ну, я. А ты Люда?

Не ответив, она поманила в дом. От ее волос пахло полынью – я был охвачен этим странным для тайги запахом, как каким-то колдовством. Миновав горницу, сняв ботинки, она открыла глухую дверь и втокнула меня в комнату.

В сумеречном свете, падающем из окна, я увидел, что на кровати полусидит-полулежит старик. Лицо его иссохло, как печеное яблоко, кожа – оттенка песка, а волосы седые и заплетены в косу. Я стоял и смотрел на него, а он лежал с закрытыми глазами и, похоже, спал.

Нет, не спал. Скрипнули пружины матраца, старик заговорил, будто продолжая давно с кем-то начатый разговор:

– ...осенью совсем худо. Ноги ноют, спина ноет. Тайга не хожу – тайга сама ко мне ходит. Раньше так было, теперь нет. – Алтын-чой монотонно бубнил и жаловался, а потом вдруг спросил – негромко и внятно:

– К нам за орехом приехал?

Я запнулся от внезапного перехода.

– За орехом, да.

– А давно?

- Вчера в Абакан прилетел.
- И зачем тебе орех тот? – он прищурился.

Я пожал плечами. Помолчал, огляделся. Пламя керосинки еле-еле выхватывало реальность: убогая комнатка вся заставлена старой мебелью, как антикварный магазин, в буфете стоят громоздкие сервизы в цветочек и даже в благородную петербургскую клетку, торчат аляповатые балерины из гипса, глупо смотрят друг на друга раскрашенные зверушки. Топилась лежанка, и в четырех кружках на железной дверце плясал, уютно потрескивая, огонь. Тепло. Дом.

– Орех мне нужен, чтобы продать. Денег заработать. Так что, если у тебя есть орех, я куплю. По хорошей цене, – заявил я.

Алтын-чай не ответил. Старик задумался, его отрешенный взгляд скользил по тем же самым местам, что осматривал я. Только тревожен он был, словно искал что-то, губы двигались, шептали какую-то невнятицу еле слышно. Я кашлянул. Алтын-чай медленно перевел взгляд на меня, и бормотание его превратилось в связную речь:

– Вот что скажу тебе. Молчи, слушай. Ты говоришь так, а вот что скажу: знаю, что с севера пришел. Знаю: не за деньгами приехал. У тебя горя много было, и от горя ты здесь спасешься. Душа твоя – он похлопал узкой ссохшейся ладонью по груди, – не здесь. Правильно приехал. На небо тебе надо.

Я хмыкнул:

– Рано мне еще на небо.

– Слушай, не спорь. В Козино иди, про птицу спросишь. Душа твоя на небе Денгер. Ждет тебя... птица.

Я осторожно попятился к двери. Не хватало мне еще умалишенного тувинца. Поди, за ружье схватится да пальнет... вот, елки-палки, за орешками приехал. Алтын-чай расхохотался. По-стариковски тонко, почти визгливо, он проскрипел:

– Бояться не надо. И не тувинец я. Уйгур.

– А что, есть разница? – ляпнул я. Потом только до меня дошло, что я ведь его тувинцем вслух и не называл. Так, подумал...

– Есть, – кивнул он. – А ты сделай, что говорю. В Козино иди. Если успеешь – Макарку найдешь, он птицу видел. В Козино сходишь – орех твой. Услышал меня?

Я кивнул.

– Иди, – приказал Алтын-чай. – Люду позови, она орех тебе даст. Только не бойся ничего. Небо за тебя. Денгер. Ты это знай.

И тут он как-то весь обессилел и вжался в подушки, затих.

Я осторожно отворил дверь, выбрался во двор, где уже ждала Люда, притулившись к ограде, шепнул ей:

– Поговорили. Зовет тебя.

Она проскользнула в дом, пока я стоял и ждал снаружи. Через пару минут вышла, энергично размахивая руками, велела мне идти к сараю, после – приволокла весы. Потом мы перевешивали кедрач, потом подъехал Эюб с Костей, мы грузили мешки в грузовик... все шло своим чередом, но я думал и думал, не переставая, о странных словах уйгура. Все смешалось – и гнездовье какой-то птицы, и небо с чарующим названием «Денгер», что меня ждало, и Козино – последняя деревня перед нежитью, где дорога упиралась в никуда, – так я видел, – а больше всего не давала покоя его слова про то, что горе у меня, и не за деньгами я приехал... Откуда ты узнал об этом, Алтын-чай?

В девятом часу темень наконец сожрала Отрок, и под далекую, нездешнюю брехню собак мы уселись за стол снова – обмывать закупку. Только уже не в конторке, а по-людски, в доме у Михалыча. Гостиная у него не то чтобы велика была, но места хватило всем, и под новую бутылку самогонки начались беседы, теплые да греющие. Я все ждал момента, чтобы спросить про загадочную птицу – отчего-то это казалось мне особенно важным. Но Михалыч уже и сам про нее речь завел.

– А еще старики рассказывают, что в лесах саянских живет баба-не баба, птица-не птица, а не пойми чего. Лицо у нее да грудь женские, а все, что кроме – пухом и перьями покрыто. И будто

летает она над тайгой, да над Саянами, а где присядет – там желание исполняет тому, кто ее увидит. Вон, в Козино Макарка-чудодей живет – умишка у него мало, мамка в детстве уронила. Так он все на дальние кражи ходил, говорит – нашел гнездо ее. Раз ходил, два ходил, третий раз ушел – месяц его нет. Все уж и думать забыли – мало ли, медведь подрал, или еще что. Семьи-то нет, бобыль. В Козино всем обществом покумекали, да и решили его барахлишко поровну поделить, а избу под что-нибудь приспособить.

Жил он отшельником – в гости не звал никого, чего у него да как – никто не ведал. А я как раз в ту пору в Козино наведалься. Ну, поутру, стало быть, с Пантелеем-старостой собрались, участкового Евсюкова взяли для пущей храбрости – тот и акт составил, все по чину. Дверь топориком отжали, вошли.

Тут Михалыч сделал паузу и закурил.

– Ну, чего, не томи, – загорячился Костя.

Михалыч хитро попыхтел папироской, продолжил:

– Вся стена у него картинками завешана. Из журналов да газет вырезаны – а на них птица. Как он и сказывал – лицо бабье, тулово в перьях. Умишком Макарка тронулся, я же говорю. Поглядели мы что да как – изба у Макарки крепкая, а имущества никакого. Рукой махнули да по домам пошли. Я на узик прыгнул, и к себе в Отрок. Ну слушай дальше. Участковый наутро ко мне приезжает. А он парень молодой, да больно сурьезный какой-то. Замороченный весь. И в глазах горит чего-то... нехорошее... Слушай, говорит, – а чего Макара про птицу сказывал? Ну, думаю, и этот туда же. Рассказал ему, что знал – мол, на Саян Макарка ходил два раза, птицы той гнездо нашел. Он послушал, послушал да уехал. Я с той поры в Козино не захаживал, потому как здесь дела появились, а вчера Пантелей мимо проезжал, зашел. Говорит: Макарка третьего дня вернулся – живой, невредимый, хоть два месяца дома не было. Участковый его к себе вызвал, долго говорили, а потом в один день снялись, в узик прыгнули. Оба. Слух пошел, что за Хамаюном тем и ушли. Вот так вот.

Михалыч замолчал, и в комнате повисал тревожная тишина. Эюб смотрел на свечку, что стояла посреди стола, не мигая, думал о чем-то. Потом встрепенулся:

– Когда, говоришь, ушли-то?

– Три дня назад.

Эюб озадаченно потер лоб, посчитал: ну, день туда, день обратно. Должны уж вернуться.

– А в Козино же мимо Отрока никак не проехать? – с надеждой спросил он.

– Не-е-е, – протянул Михалыч, – что ты – тайга кругом. Только тропами. А на машине – мимо моста нашего не пройдешь, он у нас один. Так что – нет, в Козино мимо Отрока не проедешь. Хотя... мы ж за дорогой не следим. Не война, поди. А чего спрашиваешь? В дурь эту веришь, что ли, с птицей?

Эюб ничего не ответил, только усмехнулся и потянулся за стаканом. Я встрял наконец в разговор:

– Слушайте. Тут такое дело. Алтын-чой кедрач отдал с условием, что я в Козино съезжу. Макарку найду. Да и может, там кедрач есть? Давайте в Козино смотаемся.

Михалыч замахал руками – зря время потратите, кедрач там никто не берет уже. Потому как скурились все – коноплю сеют и балуются. Не ездите, – советовал Михалыч, – народ там лихой. Да и ночь уже.

И тут я увидел, что Эюб внимательно смотрит на меня.

– Так и сказал – в Козино ехать?

– Так и сказал.

– А что еще сказал?

– Да так... из ума выжил, похоже. Говорит – птицу мне надо найти.

Эюб перевел взгляд на Михалыча, в его грустных глазах загорелись озорные чертики:

– Лихой, говоришь, народ в Козино? – он многозначительно покачал головой. – А давай и правда смотаемся. Двадцать километров – не крюк. Раз уж Леха наш Алтыну кое-чего обещал.

V

Выпив на посошок, мы кое-как собрались, натянули обувь и вывалили в темный двор. Однако старый добрый кантор отказался заводить. Михалыч зажег фонарь, а Костя, откинув кабину, поковырялся в движке, позвонел гаечным ключом и недовольно хмыкнул:

– Все, епта, накрылся... японский городской.

– Может, ну его? – предложил Михалыч, отиравшийся рядом. Эюб посмотрел на меня, – я только вздохнул: в Козино все равно надо, – и подытожил:

– Поедем. Михалыч, у тебя есть кто с машиной?

Староста задумался.

– Ну, тут шурин мой. Дядя Федор. Денег дадите – поедет. Только это... Камаз у него.

– Камаз?! – Эюб присвистнул. – погоди, а куда он на нем ездит? У вас же мост в Отрок деревня, тонн пять держит, не больше. А более другой дороги из деревни на шоссе нет.

– Ну, так, – засмутился Михалыч, – в Козино и ездит. Больше некуда.

– Зачем? – не отставал Эюб.

– А я знаю?! Может, баб ебать. Ездит – значит надо, – отрезал староста.

– Зови его, что ли, – приказал Эюб, а сам принялся нарезать круги вокруг кантора. – А ты смотри там, чини, – приказал он Косте. Самогонка разбудила в азербайджанце жажду деятельности – он готов был горы свернуть, только бы не стоять на месте.

Михалыч исчез. Через десять минут рев мощного движка прорезал тишину, вдалеке фары показались, фура подкатила к дому старосты и ухнула, остановившись. Из кабины вылезли Михалыч и мужик, здоровый и неповоротливый как медведь; физиономия его, словно вырубленная топором, была непроста, ох, непроста... у сибиряков я часто такие видел: увальень увальнем, а мозг что компьютер работает.

– Вот, шурин мой, Федор, – представил Михалыч владельца фуры. – А это гости, за орехом приехали.

Мы поздоровались, пожали друг другу руки – моя ладонь почти утонула в лапище дяди Федора. Михалыч объявил:

– Хотят, стало быть, в Козино. Довезешь?

– Так ить... – согласился дядя Федор. – Пять сотен – и вперед.

Я сунул Феде дензнак, мы залезли в кабину – я спереди, Эюб сзади. Костя решил остаться в Отроке, вызвавшись чинить кантор, но я почему-то был уверен, что до ремонта дело не дойдет, пока не кончится самогон Михалыча.

Тронулись, проехали пару километров. Эюб толкнул меня в плечо и попросил, чтобы я еще раз рассказал про Алтын-чоя. Я рассказал. Азербайджанец только покачал головой. Ничего не сказал – хотя видно было, что на языке у него что-то вертелось. Смолчал. Чуть позже протянул охотничий нож и угрюмо произнес.

– На, возьми. Тут места лихие.

Я удивился, но взял. Молча положил в карман куртки. В конце концов, не помешает. Неспешно, покачиваясь на ухабах, мы пробрались по грунтовке через тайгу, а уже через полчаса уперлись в ворота, перегородившие въезд в Козино.

– Чужих бояться, вот на ночь и запирают, – пояснил дядя Федор, показывая пальцем на деревянную изгородь, высеченную фарами; ее концы уходили из темени в темень.

– Так ты знал, что ли? – спросил я. – А чего не сказал?

– Не спрашивали, – улыбнулся тот.

Да, ну и дела. Себе на уме дядька.

– Подожди, я вон помигаю, побибикаю, придут-откроют. А пока – проголодался я чего-то. Супчика хочешь? – он полез под сиденье, достал примус и кастрюльку. – Давай сварганю, поешь. Я озлился на него: какой на хер супчик.

Эюб похрапывал на заднем сиденье. Я решил его не будить, пока в деревню не въедем. Выпрыгнул из кабины размять кости, поехал. Стояла ночь, и край леса вываливался на дорогу пугающей чернотой – между этим миром и тем, как стена, вставала тайга. Я подошел к воротам, освещенным фарами.

Там, впереди, лежало Козино, избы перемигивались огнями. Вдруг налетел ветер, подмывая верхушки деревьев, с каждой секундой он становился все сильнее и сильнее. Между воротами и нашим камазом листья взвихрились над дорогой, пыль поднялась столбом. Но это было только начало. Фары вдруг стали тускнеть, – что было странно, ведь мы даже не глушили мотор, – и ночь, что окружала нас, ночь, которая казалась чернее черного, стала... еще темней. Лес налился такой густотой, что уши заложило – я почувствовал страх, животный неописуемый страх, вместо деревьев в нашу сторону выгнулись сгустки тьмы, – она заполонила всю ближнюю тайгу, превратила ее в сплошное месиво. Между деревьями и дорогой была поляна, где росла трава, так вот, по этой поляне чернильная тьма выпускала отростки, как осьминог, – *ты даже не можешь представить, как это – чернее ночи, а я видел, видел...* Потом полыхнул огонь, загорелась трава, и осветилось все вокруг. Пламя разгорелось широким покровом от ворот, что были заперты, до ближних холмов, – пожар все охватил. Только горел он как-то... вяло, что ли, как занялся, так и остался – ровным, голубоватым светом, и при этом плясал по верху, по траве.

Я мигом проскочил от ворот к камазу, заколошматил в дверь кабины. Оттуда высунулся сонный Эюб:

– Ой, что такое? – вытаращил он глаза. Потом сунулся было обратно, чтобы скомандовать дяде Федору: разворачивай фуру, сваливаем, – но не успел. Лесная чернота взбесилась и принялась насадить на огонь, ее щупальца слизывали траву, как кнуты, оставляя горячие следы. Исполосованная земля кое-где дымилась, огонь пошел на убыль.

Сейчас я вспоминаю ту картину, но она так и не укладывается в голове. Холодный огонь, что покрыл все пеленой, и черная тьма. Это как татуировка – не свести ничем. Так не бывает – все, что я могу сказать. Ничем рациональным не объяснишь внезапный ночной пожар, охвативший тайгу минуты на две, не больше. А тогда я схватил Эюба за грудки и заорал:

– Эюб, что это?!

Азербайджанец поморщился, терпеливо отодрал мои потные ладони от своей одежды и как ни в чем не бывало устроился на порожке водительской двери.

– Знать хочешь? Ладно. Ты про Алтын-чоя спрашивал. Он ведь шаман. Все про всех знает. – Эюб хмыкнул и неожиданно спросил: – В Абакане вчера не случилось чего?

Я замялся.

– Ну, так...

– Давай, давай, – нетерпеливо потребовал Эюб.

– Сон дурацкий увидел. Будто змеи у меня в комнате. В гостинице. Дежурную вызвал, ну а там... В общем, не было ничего. Никаких змей. Глупость.

Азербайджанец энергично ударил тыльной стороной ладони о другую ладонь, пробормотал что-то вроде: «таварылга». Я не стал переспрашивать. А он задумчиво поскреб залысину:

– Тайга тебя испытывает, вот что. Змеи черные, пожар черный. Все черное, не дает тебе на небо пойти, птицу увидеть. А тебе надо. Вижу, что не простой ты человек, ой, не простой. Не просто так тайга дурная второй день. Темень на тебя зуб точит.

– Эюб, ты в своем уме? Какая птица? Мы орех должны покупать по деревням. Зачем мне эта птица? С какого рожна?

– Душу свою найти. На том самом небе, о котором Алтын говорил. Я тебя отведу.

– Ты?!

– Я, кто ж еще... Вот скажи, что у тебя в жизни такого случилось?

Я прикусил язык. Эюб внимательно посмотрел на меня, поцокал языком.

– Вижу, что случилось. Сам не свой.

– А если ничего не случилось? Если... я не пойду?

Эюб, сухо хохотнув, встал с приступка. Он ничего не ответил. Но я понял, что «если» не получится. По его, Эюбовой, правде.

– Таких много было. Приходят парни вроде тебя, здоровые, крепкие. Тащишь их через всю тайгу – вначале не понимают, тоже думают, что за орешками приехали. Потом доходит. Все по-разному. Ты вон на принцип пошел, драться полез. Другие бежать норовят. Только от судьбы не убежишь. Возвращаются. Я их через перевал отвожу, потом под Верхним Усом забираю. Это тебе не хер собачий: кто сидит, дрожит, обоссанный, и слезы льет, кто молчит, кто зверем кидается. Всякий по-разному ведет. Но все назад возвращаются.

– Зачем ты их водишь-то? – не понял я.

– Ну как зачем, – усмехнулся Эюб. – Птица эта, на небе Денгер, она ведь – того... душу забирает. Вот сам не свой человек. Значит, душу у него птица забрала. Как ты сейчас. Сходишь за душой – заберешь назад. Но только туда с желанием надо идти. С самым заветным, что у человека есть. Как тебе сказать? С последним желанием. Люди думают – ну что такое, желание исполнится, хорошо же, чего лучше? А все не так. Это не награда. Это испытание. Если душа темная, плохо дело.

Птица, исполняющая желания, – думал я. Что за хрень... о чем он мне тут толкует? Не-ет. Из тайги выйдем, позвоню Юрию Ивановичу. Мы на такое не договаривались. Только бы до сети добраться.

Эюб осмотрел меня, оценил с ног до головы.

– У тебя душа не темная. Была бы темная – шел бы ты по тайге как по маслу.

Из кабины вылез дядя Федор. Он протянул мне армейский котелок и добродушно пробасил:

– Ну, это... суп готов. Держи. Смотри, горячо.

Офигеть. Тут тайга полыхала, мы с Эюбом чуть на подрались, а этот медведь еду готовил. Вот народ. Двуглавый. Я осторожно взял котелок, где услужливо плавала деревянная ложка. Поглядел на лес. Залез на переднее сиденье и принялся, обжигаясь, есть суп. Черт с ними со всеми. Пожрать и валить отсюда, чем быстрее, тем лучше.

VI

– В Абакан идем. Точка. – Я примостил котелок с ложкой на торпедо и поудобнее устроился в кресле. Федор тут же смахнул посуду лапшей, упрятал под сиденье.

– Подожди, – попытался применить дипломатию Эюб, – а в Козино как? А? – он кивнул в сторону закрытых ворот, за которыми лежала так и не поддававшаяся нам деревня.

Я хмыкнул.

– Разворачивай, дядя Федор, в Отрок. Костю подхватим, машину починим, и в Абакан.

Азербайджанец замахал руками:

– А как же... небо?

– Э-э-э, – я изобразил презрительную мину, – кончай меня сказками кормить. Давай, дядя Федор, заводи.

Дядя Федор, облокотившийся на руль, разглядывал через лобовое стекло освещенные фарами ворота, но как только я скомандовал, воткнул заднюю передачу и тронулся с места. Эюб взвился сзади, схватил водителя за руку: стой, не надо. Дядя Федор добродушно, но крепко и уверенно отодвинул его назад.

– Сиди там, чего уж. Паря денег заплатил, он и командует. Уразумел?

Чертыхнувшись, азербайджанец откинулся на спинку заднего сиденья, зашипел: «Эх, шайтан, что за жизнь. Не знаешь, чем закончится». Потом затих. Я слушал, как недовольно, зло скрипело пружинами кресло под ним, а сам думал: вдруг он правду сказал? Вдруг вся эта ерунда закончится чем-то... чудесным?

Проехав полчаса в тишине, мы добрались до крайней избы Отрока. Эюб смотрел в окно, провожал глазами огни, что выливались из окошек в темень, что-то шептал на своем наречии и изредка поглядывал на меня.

Через час, сердечно попрощавшись с дядей Федором и его медвежьими ухватками, – он прогудел «если чо, заезжай», опять утопив меня в крепких лапах, – я вытащил пьяного Костю из дома старосты, усадил в кантор, дал ключ Эюбу и велел: рули. Эюб молча сел за руль, машина неожиданно быстро завелась. Переваливаясь на ухабах и рытвинах, мы покатили, груженные пятью тоннами кедрового ореха, в сторону Абакана.

Отрок отпустил нас.

Возвращались под утро. Я разлепил глаза только при въезде в город. Солнце едва взошло, Абакан тонул в прохладной росе и тумане. Подкатив к железным воротам, Эюб погудел, ворота стали отъезжать, обнажая заасфальтированный двор овощебазы. Посреди двора стоял еще один азиат, по росту совсем мальчик, но по лицу – достаточно взрослый мужчина.

– Это кто? – спросил я Эюба.

– Тамир, – под глазами у азербайджанца лежали темные круги от недосыпа. – Я его базу сторожить оставил.

Кантор вкатился на территорию, остановился. Я выпрыгнул на темный от влаги асфальт, потянулся. Эюб вылез вслед за мной. Солнце сверкнуло на жестяной крыше овощехранилища, и зайчик забегал по лобовому стеклу машины. На заднем сиденье послышалось ворочанье, в боковом окне показалась взлохмаченная голова Кости.

– А? Где мы? – испуганно озибался он по сторонам.

– Опять водка пил? – презрительно прищурился Тамир. – Вылезай.

– Ага, – Костя поспешно вывалился из кабины, но споткнулся и растянулся на грязном асфальте. Тамир расхохотался, Эюб же подхватил товарища, помог встать. В сторожке мы сели пить кислый кофе из банки, растворенный в пузырящемся кипятке. Эюб расспросил Тамира:

– Все в порядке?

Тамир загадочно усмехнулся – узкие глаза, казалось, стали еще уже и вовсе стерлись с лица.

– Менты приезжали, спирт привезли. Тебя спрашивали – я сказал, ты за кедром поехал. Они спирт оставили – глянь, в пятом холодильнике.

– Угу, – буркнул Эюб, – посмотрю. Еще что было?

– Ну, так, – неопределенно пожал плечами Тамир. Эюб выжидающе молчал. Тамир продолжил:

– Шалава одна приходила. Стася. Говорит – мне Алексея надо. Кто такой этот Алексей? Я не знаю, – я ее обратно отправил.

Эюб посмотрел на меня, потом на Тамира. Кивнул в мою сторону:

– Вот Алексей. Он позавчера из Питера прилетел.

– Да?! – бровь у Тамира вздернулась, он с интересом ко мне пригляделся, – значит, к тебе приходила? И когда успел?

Я пожал плечами.

– Что успел?

– Стасю оприходовать.

– Поясни, – кровь ударила мне в голову, я сжал кулаки.

– Пришла, прям собачонка, – вызывающе заявил Тамир. – Мне, говорит, Алексей позарез нужен. Вы все такие, из Питера, борзые? Приезжаете наших девок ебать, да?

Я не понимал, о чем он говорит.

– Что ты смотришь, – еще больше завелся азиат. – Скажи еще, что не знаешь. Она блядь в «Хакасии» подрабатывает.

Твою мать... Я, кажется, так и сказал, глядя в глаза Тамиру, – «твою мать».

После этих слов он молниеносно рванул меня к себе, выбив табуретку ногой из-под моего сиденья. Я этого не ждал. Растянулся на полу, отполз в угол сторожки, тяжело дыша. Тамир шагнул ближе, навис надо мной. Я увидел, как его глаза покраснели.

– Ты мою маму не трожь.

Я нащупал нож в кармане и сгруппировался, но Тамир процедил сквозь зубы:

– Даже не думай.

Все произошло почти мгновенно. Уже через секунду вскочивший Эюб оттащил Тамира, усадил на табуретку, потом протянул руку мне. Я схватился, встал. Отряхнулся.

Эюб строго взглянул на Тамира.

– Язык попридержи. Это гость мой. А ты, – это уже предназначалось мне, – лишнего не болтай.

Попили кофе в неловком молчании, стали разъезжаться. На базе по-прежнему оставался Тамир. Эюб и Костя двинулись по домам, я отправился в гостиницу – искать Стасю и звонить Юрию Ивановичу. Голова гудела от недосыпа, шатало, но я твердо решил разобраться сегодня во всем. Когда выходили из ворот, Костя нагнал меня, тихо шепнул:

– Ты это, с Тамиром поосторожней.

Никак не ожидал от вечно молчащего Кости, что он будет давать советы. Остановился даже, но он потянул меня дальше за рукав, заговорил, дыша перегаром и страхом:

– Это в прошлом году было. Хрен один товар на посту потерял – ну, менты покуражились, отобрали. Такое часто бывает. А Эюба как раз не было, он на родину ездил. Тамир вместо него оставался. Ну, у хрена этого денег, чтобы расплатиться, не было, поручителей тоже не нашлось. Ладно, если бы все так и осталось. Так он грохнул своего напарника и пустился в бега. Где-то под Красноярском его нашли, привезли обратно в Абакан. Здесь, на овощебазе закрыли – я как раз дежурил. На следующий день Тамир приехал. Не один приехал, привез жену и сына того бегунка. Как шас помню. Этот Тамир на капот ниссана присел, сигарету покурил, сосредоточенно так, потом на небо поглядел – уж не знаю, зачем. Потом с бедолагами этими в хранилище зашел. К ихнему отцу. А они... только хныкали. Через час вышел – такой же задумчивый... – Костя замолчал, сплюнул зло на асфальт, процедил сквозь зубы. – А то, что в овощехранилище осталось, пришлось нам увозить... Так-то, Леха.

Костя, похлопал меня по спине и как ни в чем не бывало громко заявил:

– А я домой. Меня Машка ждет. Баню затопит... эх-х-х...

Он протянул руку, я пожал ее на ходу, и Костя веселой походкой бодро пошагал к дому, что-то насвистывая. А я тогда стоял, смотрел ему вслед и снова думал: не пора ли уже завтра свалить отсюда?

Эта мысль была предательски ясной. Но оставалось еще кое-что.

Абакан между тем проснулся. Утро выдалось необыкновенно теплым для осени, солнце ласково поглаживало сухие улицы и невысокие дома. Добравшись до гостиницы, я отыскал дежурную – та же тетка, что в день приезда, сидела за унылым темном-коричневым столом, листала дамский роман. Увидев меня, она встрепенулась:

– Доброго утречка, – голос ее был полон ехидства и желчи. – Сегодня опять хорошо погуляли? Да, вот чего мне не хватало, подумал я. А вслух бросил коротко:

– Девочки есть?

– Значит, не хорошо, – протянула администратор. – Даже не знаю, чем помочь-то.

– Да вы не приbedняйтесь. Знаете. Есть тут одна такая... высокая, с серыми глазами. Стася зовут. Вот ее надо.

– Не рано ли? – вкрадчиво поинтересовалась тетка, многозначительно взглянув на часы.

Я изденулся в ответ:

– Шестнадцать уже есть.

Она задумалась, примирительно пробасила:

– Ладно, подожди, – и стала лихорадочно названивать кому-то. Кнопки мобильного терялись под ее пальцами-сардельками, абонент не отвечал, дежурная злилась, но попыток не оставляла.

– Я в номере, если что, – заявил я.

Тетка, не отрываясь от телефона, кивнула: ясно. Вот и отлично. Едва я вошел в номер, бросился на кровать, не раздеваясь, и закрыл глаза, раздался стук в дверь. На пороге обозначилась дежурная.

– Это... Стася будет через час.

Я сунул ей сотню, она вроде даже подобрела от такого. Молча приняла. Вот ведь – рыба рыбой, а как потеплела, когда наживу почуяла.

Захлопнув дверь, я стал названивать Юрию Ивановичу. Никто не отвечал. Как бы свинтить из этого чудесного городка, чтобы без последствий, – размышлял я. Без Юрия Ивановича никак. Уеду, не предупредив – на меня еще какие-нибудь чужие косяки повесят.

Я набрал еще раз... опять безрезультатно. Все сегодня через одно место, через чудеса какие-то. Поплелся в душ. Вода, слава богу, была обычной. Без чудес.

VII

Через полчаса раздался стук. В дверь просочилась Стася. Я сидел на кровати без штанов. Без всякого повода, конечно.

– Ты как меня на базе нашла? – спросил я, как только она сняла туфли и прошла в номер. Стася замерла, не решаясь покинуть прихожую, готовая снова надеть обувь и выскочить в коридор. Белая блузка туго обтягивает грудь, на лице – выражение покорности и отваги. Вот ведь.

Стася поправила челку и, глядя в пол, быстро-быстро заговорила:

– У Пашки рябой спросила, куда он вчера утром тебя отвез. Я заехала... А что, нельзя было?

– Кто такой Пашка рябой?

– Таксист.

– Странная ты, – пожал я плечами. – А зачем искала?

– Беспокоюсь за тебя.

– Слушай, мы с тобой один раз виделись в кафе. Ты хвостом повиляла, ушла. Теперь говоришь, что беспокоишься. У вас это нормально, в Абакане?

– Не надо было тебе в Абакан прилетать, – вместо ответа пробормотала Стася.

– Это еще почему? Тебе-то откуда знать – надо, не надо? Почему все в этом городе говорят мне, что надо делать? Вы все здесь больные на голову?

Она подняла глаза, и я увидел, как в них сверкнула ненависть. Покорности как не бывало.

– Я поняла, – кивнула Стася. – Мы все больные. А ты здоровый. И бабки в лопатник не влезают. Сейчас ты меня на час взял или на два? – бросив сумочку на кресло, она стала расстегивать блузку. Я схватил ее руку.

– Подожди...

– Руки убери! – она вырвалась и упрямо продолжила возиться с пуговицами. – Синяки остаются.

– Стася, заканчивай выступать, – я развел руками. – Здесь не абаканский драматический театр. Все, говорю, хватит. У меня не самый удачный день.

Она перестала раздеваться, постояла в нерешительности, глядя на стены и не зная, куда деть руки, сцедила пальцы, расцепила, принялась крутить пуговицу на блузке, пытаясь отвинтить зеленую перламутровую кругляшку, потом спросила с усмешкой:

– Так что, ложный вызов?

– Не ложный, нет, – заверил я. – Так почему мне в Абакан прилетать не надо было?

– Что, не слышал? Темень у нас тут гуляет. Тайга черным пламенем горит. Люди исчезают. А ты неместный, и с деньгами. Мало ли чего, – грубовато ответила она.

А сама продолжала зачем-то крутить пуговицу.

Я смягчился:

– Пойдем по городу прогуляемся.

– Со мной? – она казалась обескураженной.

– Я же не местный. Репутацию себе не испорчу. Хотя... Вон, азиат один, на овощебазе, так за тебя встрял...

– Тамир, что ли? – насторожилась Стася. – Давно вокруг меня крутится. Жестокий он, неприятный. Он всех девчонок ревнует, с кем спит.

В воздухе повисла неловкость.

– Ты не сказала... что тут работаешь.

– Зачем? – поморщилась Стася. – Хвастаться? Мог бы и догадаться.

Я молча натянул джинсы, проверил кошелек. Туго набитый. У Стаси острый взгляд.

– Ладно. Закроем тему. Куда в Абакане можно сходить?

– Прямо сейчас? Да вроде и некуда. Детское время, – Стася задумалась, потом вдруг оживилась. – Можно в музей! Давай сходим.

Я хмыкнул.

– Неожиданно.

– Я на исторический поступала, – призналась Стася. – Сочинение провалила.

– Пойдем, – я открыл дверь. – Раз время детское, значит, в музей.

Стася порылась в сумочке, достала жвачку и, сунув в рот пару подушек, деловито поправила сползший чулок.

– Докатилась, с клиентом в музей иду. Ты только девчонкам не рассказывай, а то засмеют. Ладно, – придирчиво осмотрев меня, она закинула сумку на плечо, – хочешь – рассказывай... Все равно не поверят...

Да я и не буду, – подумал я.

Мы шагали по абаканским улицам, под ярким сибирским солнцем, в рабочий день, чуть за полдень, и болтали – ну, как болтали: я расспрашивал, Стася рассказывала. Я узнал, что родом она из деревни с загадочным названием Червизюль, жила с бабушкой, приехала в Абакан поступать, не поступила, осталась работать, хочет очень-очень обратно, но денег мало.

По дороге я не оставлял попыток дозвониться до Юрия Ивановича. Трубку никто не брал.

– Кому звонишь? – ревниво поинтересовалась Стася.

– Так, человеку одному, – ответил я.

– Командировочные обычно как начнут жене названивать. Или жены – им. Проверять, все ли в порядке.

– Нет жены, – оборвал я ее, – сказал ведь.

Она замолчала. То ли успокоилась, то ли обиделась. Хрен поймешь эту Стасю. Перед очередным перекрестком справа показалось серое трехэтажное здание, собранное из панелей, будто какая-то недоделанная хрущевка, застекленная сверху донизу. На входе красовалась табличка «Хакасский национальный краеведческий музей».

– Да, не впечатляет, – пробормотал я.

– Ничего, это снаружи только, – сообщила Стася и потянула меня внутрь.

Музейный работник оказался хакасом – в честь таких и гостиницу назвали, – шепнула мне на ухо Стася, посмеиваясь. Среди этого народа найдутся люди и посимпатичнее, – вот что подумал я тогда. Это определенно был мужик, в брюках, но с обвисшим пузом, да и лицо было каким-то мягким, бабьим. Неопределенности добавляли длинные волосы, завязанные сзади хвостом, и противная привычка облизывать губы. Я прокашлялся:

– Можно экспозицию осмотреть?

Хакас кивнул. Взглянул мне прямо в глаза, – смотрел достаточно долго, почти нетактично. Я выдержал, глаз не отвел. Он опять облизнул губы. Но голос его оказался басовитым и приятным:

– В кассу пройдите.

Мы заплатили за входной билет, надели войлочные тапочки поверх обуви и углубились в прохладные безлюдные пространства музея. Я ходил по полутемным залам, осматривал экспонаты, читал надписи. Какие-то каменные бабы. Гражданская война в Сибири. Природные недра. Надо бы про шамана спросить, думал я. И про птицу вешую. В конце концов, я же простой турист, зашел узнать побольше о гостеприимной хакасской земле. Могу расспрашивать о чем угодно.

Стася тихо шла рядом, потом взяла меня за руку.

Неожиданно из соседнего зала появился тот самый музейщик, что повстречался на входе.

– Ищите что-то конкретное? Из какой области?

Я замешкался:

– Ну, в общем, из этнографии... В деревне встретил одного уйгура. Шамана. Уйгуры – кто они вообще такие?

Экскурсовод кивнул. Скупое улыбнулся:

– Понимаю. Это хорошо, что вы интересуетесь нашей историей. Редкий случай для гостей...

Кстати, меня зовут Артас.

Я представился. А тот продолжал:

– Знаете, Хакасия и Тыва – котел, где варилась история. Самое сердце Азии, ее суть и душа. Сотни народов прошли через эти земли, кто-то сгинул бесследно, кто-то основал могучие империи и правил половиной земли. Одна волна накатила, схлынула, пришла другая. Через эти земли прошел Аттила. Тюрки. Потом – уйгуры. Еще – Чингисхан. Многие здесь побывали. Уйгуры, которые вас так занимают, дали этой земле многое. Они дали местным жителям – кыргызам – письменность. Удобный алфавит, который потом использовал даже Чингисхан. И города. Вместо войлочных шатров – крепости из глины и камня.

Артас, похоже, оседлал своего любимого конька и углублялся все дальше и дальше в историю, в детали, да так, что даже Стася слушала, затаив дыхание. Его речь лилась свободно и легко, и по-русски он говорил получше многих моих питерских друзей. Я простил ему и обвисший живот, и косичку.

– При хане Элетмише одно из многих кочевых племен стало главным в Степи, ему покорились обширные земли на севере. Уйгурский каганат возвысился, стал равным соседом Китаю. Это как резкий эволюционный скачок – вот уйгуры тихо живут на задворках истории, и вот уже – владельцы мира, подпирающие страну желтолицых. Элетмиш слыл всемогущим каганом, и по поводу этого всемогущества ходили легенды. Кстати, хотите кофе?

– Ага, – закивала Стася. Вот странно: ей не хотелось уходить.

– Пойдемте ко мне в каморку. Я вам много еще чего расскажу.

Стася взяла меня за руку и потащила вслед за Артасом. Открыв дверь, прямо из выставочного зала мы просочились в узенькую комнату, заваленную книгами. Посередине громоздился письменный стол, тоже служащий перевалочной базой для толстых фолиантов, рядом, на треноге, стояла небольшая, метр на метр, грифельная доска, а в желобке валялся мел разных расцветок. Запах, несмотря на обилие книг, был свежим, пахло кофе и какой-то пряностью... шафраном, что ли?

Хакас выудил из кучи книг две табуретки и пригласил нас сесть. Сам включил электрочайник и устроился в своем кресле возле доски с мелом.

– Знаете, я ведь библиотечно-справочным фондом заведу. Все книги, книги, сам на местность не хожу. Это археологи да фольклористы все сюда несут, я только сортирую. Но вот читаю много, и много занятного вычитываю. То, что в музеях рассказывают... одну минутку... – он сходил куда-то за ближний стеллаж, принес френч-пресс, насыпал вдоволь молотого кофе, залил кипятком, – да, так вот, то, что в музеях рассказывают – это научно подтвержденные факты. А есть еще масса догадок и легенд, – они пока в факты не выкристаллизовались, – он произнес это слово без малейшей запинки, разлил вкусно пахнущую тягучую жидкость в чашечки, отхлебнул глоток. Потом стянул лежащий на тумбочке плед – ярко красные клетки перемежались с белыми, оттеняя друг друга черными полосами, – накинул себе на плечи:

– Тут зябко.

Я осмотрелся. Было даже не тепло, а жарко.

– Так вот, о легендах. Элетмиш в переводе с уйгурского означает «неборожденный».

– Как-как? – перебил его я.

– Неборожденный. Этого кагана, – Артас выдержал несколько театральную паузу, помешивая сахар в кофе ложечкой, – считают не родным сыном хана Пейло. В Степи, где родство – первая

благодетель, такое немыслимо. И когда хан Пейло скончался, нового правителя не приняли. Поднялось восстание. Но на стороне Элетмиша выступила уйгурская дружина, ветераны, громившие с его отцом еще тюрков. Так что восстание подавили... А потом Элетмиш основал Пор-Бажын и еще семнадцать крепостей вдоль реки Кем. Считается, что у уйгур было две столицы. Одна – на Селенге. Другая – на Тере-Холь. Но я думаю, их было три. Третья – предположительно на границе Саян и тувинских степей. Самая северная точка уйгурского каганата, самая высокая точка. Но археологи эту столицу не ищут. Ее нет... в прямом смысле. В нашем, человеческом. Смотрите, – взяв мел, он, не вставая с кресла, наклонился к доске и стал рисовать. – Вот треугольник, – на доске появился треугольник. – Одна точка, – он ткнул в нее, – Орду-Балык. Вторая, – он переместил мел, – Пор-Бажын. Третья, – он ткнул в третью точку треугольника, – город икс. У него нет названия, но он должен быть. Знаете почему?

Он торжествующе поднял палец вверх:

– Потому что Элетмиш, увлеченный идеями пророка Мани, хотел властвовать не только на земле, но и на небе, – рука Артаса четко, уверенно обозначила еще точку снаружи треугольника, и прочертила прямые от нее к вершинам треугольника. Получилась пирамида.

– Вот здесь, – заключил хакас.

Наступила тишина. Артас любовно разглядывал нарисованную пирамиду. Стася робко попросила:

– Можно еще кофе?

Музейный работник порывисто поднялся, – мелькнул черно-красный плед, – наполнил ее чашку, поглядел на меня:

– А вам тоже кофе? Или местного чаю?

– Нет. Нельзя ли про «неборожденного» поподробнее? – попросил я вдруг.

Артас взглянул на меня с нескрываемым интересом.

– Я знал, что вы спросите, – сказал он. – Так вот... Многое я почерпнул из надписи на стеле Бильге-кагана, на его посмертной стеле. Он умер очень странно, если не сказать – таинственно. Нет ни одного свидетельства его смерти. Ну, то есть есть одно сообщение, но... В общем, он просто пропал – и все. При нем голову начали поднимать манихеи, а после него каганат принял эту религию за государственную. Некогда согдийцы принесли эту заразу в степи, и бывшие воины-кочевники, степняки, стали сажать овощи и заниматься бог весть чем. Каганат исчез, сметенный кыргызами, потомками хакасов. Моими потомками, – Артас гордо вскинул голову. – Все облегченно вздохнули – и китайцы, что боялись этих степняков пуще огня, и согдийцы, и тибетцы. И кыргызы, что правили степью после уйгур.

Я глотком выпил кофе, на губах осела крупинчатая гуща. Артас словно выдохся и смотрел в одну точку на столе. Стася молчала. За короткий промежуток времени на меня вывалилось столько информации, что хватит на пару дней и на десяток человек.

– Уйгуры не хотели, чтобы третью столицу нашли случайные люди. Но в поверьях шаманов про нее сказано. Сказано в их алгышах. Это место, где земля соединяется с небом. Оттуда и можно на небо попасть... опять же, по поверьям, – сделал Артас важное уточнение.

Небо Денгер! Меня осенило: Денгер – это то место, о котором Алтын-чой говорил. Это и есть та самая столица, третья столица уйгур. К ней водит Эюб скупщиков кедрового ореха.

– Вы сами откуда? – неожиданно спросил Артас.

– Из Питера, – ответил я.

– Значит, до вас не дошло.

– Что не дошло? – я даже обиделся.

– Да как вам сказать. Вы не поверите. Аномальщина всякая. Но факты таковы: здесь у нас в Хакасии люди исчезают. Вот уже больше недели. В местных газетах почитайте криминальную хронику – был человек, ушел из дома и не вернулся. И все бы понятно, но так происходит каждый день. И по два случая в день бывает. Что с людьми стало? Никто задумываться не хочет. А я уверен, это с той историей как-то связано. С тем миром. Понимаете?

- С каким – тем – миром?
- Великое ничто, – произнес Артас.

Я вздрогнул:

- Что это такое?

Музейщик уточнил:

– Это то, чего уйгуры ждали. И то, что пришло к ним. В виде учения пророка Мани – с тем самым манихейством. Эта зараза сделала их цивилизованными, но навсегда отняла корни. А народ без корней – что перекасти-поле. У уйгуров пословица есть: бойся даже козы, побывавшей в городе. Так что один раз это «великое ничто» уже приходило. Теперь снова его черед, и какой мир оно слижет с этой земли – одному Богу известно.

Артас умолк. Допил кофе, всем свои видом показывая, что экскурсия на сегодня окончена.

Я засобирался, помог Стасе подняться с табуретки, но когда мы были уже у дверей, решил задать еще один вопрос:

- Артас, а можно вопрос еще один?
- Да, – кивнул хакас.
- Что за птица такая – Гамаюн?

Он внимательно посмотрел мне в глаза и снова облизнул губы.

– Этого вопроса я тоже ждал. Не знаю, почему. Ну, что же... Гамаюн – вещая птица. Древнеиранский мифологический образ. Говорят, там, где она появляется и летает, рождается великий человек. А там, где она сядет – исполняются желания. И кстати... В одном из китайских источников, небесспорном, конечно, есть любопытное упоминание о птице Гамаюн. Там говорится, что хан Элетиш... неборожденный... он, как бы это помягче сказать... был похищен этой птицей и вознесен на небо. И по сути, это единственное объяснение его исчезновения, встречающегося в рукописях. Самое главное, – не забывайте – Гамаюн исполняет желания. Но теперь я спрошу – зачем вам это знать?

- Да так, – отшутился я, – есть одно желание.

Говорить больше было не о чем. Я аккуратно сунул Артасу в карман рубашки, выглядывающей из-под пледа – а он так и не снял его – пятьсот рублей за занимательный рассказ, и потащил Стасю за собой к выходу.

Мы вышли на залитую солнцем улицу. Абакан жил своей жизнью и знать не хотел ни про какую третью столицу. Но в моей голове была полная неразбериха.

Стася отстала на шаг. Я обернулся, она обняла меня. Я опешил.

– Мне пора, – сообщила она, поправила воротничок моей рубашки и махнула рукой, чтобы остановить такси.

Остаток дня я промаялся в гостинице, складывая по полочкам все, что услышал в музее, в Отроке и от Эюба. Понятнее не стало. Вечером не выдержал, рванул на овощебазу. После всех этих краеведческих историй было неспокойно на душе. В сторожке Эюб возился с посудой.

- Ты чего не дома? – спросил я.
- Он молчал, тер губкой фарфоровую конфетницу.
- Эюб?
 - Что хочешь? – не оборачиваясь буркнул он.

Я сел на стул прямо у входа.

- Поедем завтра.

Он повернулся ко мне, с кухонной губки капала пена, конфетница блестела намытыми боками.

- Что ты там у Козино сказал? «Таварылга». Что это?
- Судьба. По-ихнему.
- Где ты этих слов нахватался, – я улыбнулся, встал, забрал у него конфетницу и поставил на полку, – ты же не местный?

Эюб хитро прищурился, бросил кухонную губку в раковину и отряхнул ладони.

– Я и другие многие слова помню. А по жизни так тебе скажу. Я вот тебя не знаю и знать не могу. Но вижу: салым-чаян у тебя хороший. Добрый.

– А это что за хрень? – спросил я.

– Ну, как бы это... В русском языке слов не подобрать. Вроде дар, но не судьба. Это как бы... будущее у человека. Ну то есть талант его. То, с чем он в жизнь рождается. Вот ты с этим и пришел.

– Объясни.

– Вот спички есть у тебя – хочешь лес подожги, хочешь – людей согрей. Что нравится – то и делай. Так и салым-чаян, как спички. У других тоже дар был. Да только распорядились они им неверно.

– А у тебя салым... какой?

– Не знаю, – пожал плечами Эюб. – Другим видней. Завтра выдвигаемся. Пойдем через Червизюль.

– Червизюль? О как. А место свободное в машине найдется?

– Даже знаю для кого, – отозвался Эюб.

VIII

В Червизюле обитала Стасина бабка Татьяна. Первым делом она натопила баню. С дороги, уставшие и голодные, мы побрели париться. Ну, то есть я побрел. И немного Эюб. Посидев с минутой в парилке как на иголках, он выскочил со словами «эй, шайтан-баня...». Костя вообще куда-то запропастился со словами «я вчера мылся». Остался я один. Когда вернулся в избу – *париться я люблю не хуже деревянных, ты же знаешь*, – увидел картину маслом – за круглым столом, где стоял пухляк с мутным самогоном, сидели все трое. Эюб, с раскрасневшейся после бани лысиной, почти кричал:

– Да ладно!

Татьяна посмеиваясь, отвечала:

– Точно тебе говорю. Сама в Червизюле человечка одного знаю. Он на небо дыру проделал.

Эюб махнул рукой отчаянно:

– Да это сказки. Говорю тебе: сказки это все.

Татьяна повернулась к Косте, словно ожидая помощи. На ее лице застыло мечтательное выражение, она теребила краешек скатерти.

Костя спросил:

– Это как – дыру?

– Да просто, – усмехнулась Татьяна. Лицо у нее было такое же приятное, как у Стаси, нос с горбинкой, но морщин больше, а в глазах – то ли ум, то ли пьянь. Огонь горит. Бабкина внучка Стася, ничего не скажешь.

– На чердак лаз делал, выпилил ножовкой, вынимает доски, а оттуда свет неземной. Ты ж видишь, где Червизюль наш стоит – у самого неба. Вот, видать, и допилился до него.

Я с полчаса еще послушал пьяные разговоры, а потом вернулась Стася, тоже раскрасневшаяся, с чалмой-полотенцем вокруг головы. Налили, выпили. Раз десять или больше, не помню. Костя уже почти прилег на лавку у стены, разморенный первачком. Эюб подсел поближе к Татьяне, что-то ей на ухо мурлыкал, та хихикала. Я подмигнул Стасе, кивнул в сторону двери. Мы улизнули из избы и уже через полчаса сидели на склоне холма, провожали день.

Желтый свет переливался над горизонтом, угасал, но жил. Рядом сидела Стася, упругая, как тетива лука. Пыль играла на ее пушистых ресницах. Я смотрел на ее профиль, на ее нос с горбинкой, ясный лоб, а потом смотрел на ромашки, что расстелились вокруг, держали наши тела в ладонях белых лепестков: вот мы качаемся на этих стебельках, видим небо. Сейчас вспорхнем, улетим.

Стася сидела, зябко кутаясь в телогрейку, и глядела на солнце. Потом придвинулась ближе, стащила полотенце с головы – ее волосы, после бани пахнущие миндалем, рассыпались на плечи.

– Так почему ты один?

Да, вопрос. Так получилось, – что еще ответишь. Был не один, потом раз – и один. Волшебная палочка, Стася. Фея-колдунья. Вся в черном и с косой.

– Так получилось, – сухо ответил я. Но ответ мой не понравился Стасе.

Она заметила:

– Получается песню петь. На гитаре играть. Дерево посадить получается. Только хорошее получается. А плохое человек сам делает...

– О чем ты?

Она поникла, сорвала ромашку и потерев пальцем желтую подушечку, прошептала:

– Я говорю: если любви нет – сам виноват. Каждый зверь, человек, всяк себе пару ищет. И живет с кем-нибудь.

– Помолчала бы, – одернул я ее и в сердцах сорвал несколько ромашек. Покрутив в руках, бросил подальше. – Что ты понимаешь.

– Спасибо, что домой меня привез. И вообще... не могу я больше в этом городе... ну, ты сам знаешь.

– Вернешься еще, – усмехнулся я. – Оттуда так просто не уходят.

– Нет... Хватит.

– Хочешь, со мной поедем?

– Ха, а вдруг ты маньяк какой? Я же тебя не знаю. Хотя... – тут она улыбнулась. – Мы же даже не трахались ни разу.

– Да я не в этом смысле, – я улыбнулся тоже. – Я тебя в Саяны зову. С собой.

Она замолчала, чувствуя неловкость, сорвала еще одну ромашку.

Я пошарил в телогрейке и протянул ей пачку денег.

– Держи.

Она взяла пачку, потом протянула обратно, не глядя мне в глаза. Я мягко отвел ее руку.

– Возьми. Только в город не возвращайся. Хорошо?

Она спрятала деньги. Подняла на меня глаза. От нее так сладко пахло... будто скошенная трава грелась на солнцепеке. И миндаль. Аромат окутал меня с ног до головы, я прикоснулся к ее губам. Они были теплыми и влажными. Не сопротивляясь, Стася обвила мою шею руками. Это было... так странно. Через мгновение она отпрянула от меня и как ни в чем ни бывало сорвала ромашку.

– Стася, почему...

– Девочки на работе в губы не целуются, – глухо проговорила она. – Понимаешь? Пойдем. Ночи тут такие, знаешь... такие...

Ромашки белели до самого горизонта, наклоняясь вслед за светилом. Уже темнело. Сумерки проползали меж зеленых стеблей, вороша и лаская прошлое.

– Темные? – предположил я

– Ну да... будто грязь городская. Так и липнет. Нет, я с тобой не поеду. Я лучше тебя ждать буду.

Мы поднялись и пошагали по ромашковому полю, разбавленному дремотой и теменью, в сторону деревни. Дом стоял с краю. Уютно желтели окна, из трубы шел дым. Мы вошли, скинули калоши. Звякнул ковш, плавающий в железном ведре с колодезной водой, а на поверхности воды разбежались круги.

А утром... утром выпал снег. Вот так. Просто время шагнуло из лета в зиму. Снег лег на траву, словно молочная пенка, – и стало тоскливо на душе. В затихшем, промерзающем доме – печка у Татьяны не держала тепло – мы молча пили чай вирикусу. Завтракали. Потому что наступило завтра.

На блюдечке лежали конфеты «Коровка», сухари, и куски рафинада. Татьяна была деловита. Сурова. Стася – сонная, тихая, опустила взгляд в чашку, да так и не подняла, пока мы чаевничали.

Эюб макал сухарь в чашку, смотрел, как стекает с него жидкость с крошками, отправлял его в рот. Видимо, что-то случилось между ним и Татьяной ночью, чего я не знал. Но смотреть друг на друга – они не смотрели. Специально прятали глаза. Старый лис, – прищурился я, глядя на азербайджанца. – успел, что ли, хозяйку обиходить? Эюб макал сухарики. Ну, а Костя просто хлебал уже вторую чашку пустого чая, глядя прямо перед собой.

Наконец я встал из-за стола, громыхнул, отодвигая стул.

– Мы поедем?

– Ага, – согласилась хозяйка. И добавила поспешно: – Будете мимо, заходите.

Стася вышла нас проводить. Темные от недосыпа круги оттеняли ее искрящиеся тихой радостью серые глаза. Непривычный холод, похоже, заставил замолчать даже деревенских собак. В звенящей тишине, казалось, слышалось движение молекул воздуха. Во дворе, перед тем как я сел на пассажирское сиденье, Стася шепнула мне на ухо:

– Ты вернешься?

Я кивнул в сторону едва намечавшихся снежных шапок Саян.

– Увидим.

Она что-то сунула мне в руку – я раскрыл ладонь и увидел амулет. Амулет, каких никогда не встречал – кнут, вырезанный из кости. Я ничего не стал спрашивать, Стася лишь шепнула:

– Возьми, он тебе удачу принесет.

Я послушно взял, повесил на грудь. Украдкой поцеловал ее, и мы рванули по тракту к перевалу. Я облизывал губы, и ощущал ее вкус. Это все, что у нас было с тобой, Стася. Вкус ромашек, на которые утром выпал снег. Прощай. Не возвращайся в город.

IX

Ловлю мысли силком, словно птиц. Вот сейчас нужно собраться, чтобы описать все, что случилось в последний день путешествия к небу Денгер – но мысли порхают рядом и никак не даются в руки. Будто умение говорить я потерял в первом снеге Саян. С чего все началось? Черт, я уже не помню. Не помню.

Помню только, как мы шли через перевал на старом канторе, Костя – доселе молчаливый – необъяснимо трещал и трещал без умолку, рассказывая таежные байки. Сидеть рядом с ним, надо сказать, было сплошным мучением, при каждом повороте он наваливалась на меня, дыша похмельным перегаром, и даже не замечал этого. Я толкал его обратно, он послушно отодвигался и продолжал свой бесконечный рассказ... так вот, когда, пройдя перевал и спустившись на ту сторону, мы разогнались, Костя попросил остановиться.

Эюб дал по тормозам, и мы свернули на обочину. Выпрыгнув из машины и потянувшись, я прислушался. Стояла неимоверная тишина – такая бывает только в горах. Ни машины, ни птицы. Никого. Только журчал ручей неподалеку и пахло первым морозом. Еще листьями. Лиственницы, росшие вдоль дороги, усыпали обочину желтыми иголками. Костя пропал куда-то, потом объявился, вытирая лицо и отфыркиваясь.

– Тут это... ручей серебряный.

– Что значит – серебряный? – не понял я.

– А то значит, что сверху исток идет. А наверху, – он задрал голову к вершине горы, – рудник серебряный. Бутылка есть?

– Бутылка?

– Пустая, – Костя даже обиделся.

Эюб полез за бутылкой, но не нашел. Чертыхаясь, он перерыл всю кабину.

– Да ладно, – успокоил я его, – пойдем, так глотнем.

Мы спустились по склону к журчащему ручейку. Я зачерпнул пригоршней воду, умыл лицо. Потом, встав на четвереньки, пил, как зверь у водопоя. Вода была сладкой и какой-то невесо-

мой, – пить ее можно было бесконечно. Эюб, попробовав воды, стоял в сторонке и заворуженно глядел на камни у берега.

– Слушай, – услышал я его уставший, в миг постаревший голос, – вот так хочется лечь здесь и стать камнем – таким, как эти. И лежать здесь тысячу лет, и ничего не знать. А потом чтобы весенняя вода тебя смыла и перекатила на другое место. Вот это жизнь, а?

Я молчал и разглядывал горы. Что ответить этому человеку? Да и стоит ли вообще отвечать?

От дороги донесся свист. Костя махал руками:

– Эй, там, поехали, что ли?

Вздыхнув, Эюб поднялся и уверенно пошел к машине. Через два часа мы уже были в Верхнеусинском, но я навсегда запомнил этот серебряный родник. Это было самое нутро моей дороги на небо. Наверное, именно там, с первым снегом Саян, моя душа приучилась молчать. Что было до этого? До этого была жизнь, которую я уже не помню. После этого – жизнь, которую я еще не понимаю. И абсолютная вечность между.

Въехав в Верхнеусинское, я понял, что никогда не уеду отсюда просто так. Это понимание далось мне счастливо и беспрекословно. Словно щелчок тумблера – раз, и я не вернусь в ту, обычную жизнь. Кантор прошел через бор, на пологих склонах которого росли высокие лиственницы, и перед нами разлеглась долина Уса.

Река к тому времени обмелела, проехали через брод. Светлая глина на обнаженных склонах играла в лучах раннего солнца, матово проглатывая свет – он тек дальше, искрсясь на кончиках высокой травы. Снизу вверх каждый стебель казался хрустальным, покачиваясь на ветру, звенел и переливался росистым колокольчиком.

Поднявшись в гору, где разлеглась деревня, мы встали. Я вылез из кабины, прыгнул на пепельный проселок, – белая пыль взорвалась, но тут же осела, – и приложив ладонь козырьком, чтобы не слепило солнце, осмотрелся. Было на что посмотреть. Почерневшие от старости, но белесые от ветра, высушенные летом, покрытые будто коростой соляной, срубы стояли там да сям, заборы – казалось, стоявшие и не одну сотню лет – покосились, налегая на траву. Высокая трава. Кругом только она. Тайга стояла далеко, у гор, а здесь, в долине Уса царил сильный ветер и запах сена. Но трава стояла не скошенная. Странно.

И никого. Ни единого человека. Даже собаки не брехали. Я вопросительно поглядел на Эюба.

– Тут это... в каждом дворе ружьишко. Тувинцы шалят, – шепотом предостерег он, – так что осторожнее.

Я сделал три шага от машины. Казалось, за нами наблюдали – за воротами двора, у которого мы остановились, слышалась возня. Потом грубый мужской голос спросил:

– Чего надо?

Костя покряхтел, неуверенно пробасил в сторону калитки:

– Егора нам. Мы за кедром.

Калитка отворилась, а за ней высветился детина лет двадцати, рыжий, здоровый, метра под два ростом. Ни дать не взять – Алеша Попович. Или еще хрен знает из какой сказки. Грозно произнес:

– Бати дома нет. С утра еще в правление пошел.

Я спросил детинушку:

– А где все-то?

Он смерил меня взглядом, сплюнул сквозь зубы и, глянув в сторону, откуда мы приехали, буркнул:

– Там же. В правлении.

– А зачем? – вопрос мой прозвучал глупо. Хозяйский сынок хохотнул:

– Любопытный сильно...

Эюб возмутился:

– Ты это... со старшими-то повежливей.

Детина хмыкнул и запер калитку. Эюб предложил:

– Пошли в правление.

- И где оно? – просил я.
- Щас узнаем, – заверил Костя и громко постучал в ворота. Но дверь уже никто не открывал.
- Эй, – крикнул он, – правление-то где?
- Тишина.
- Вот сволота, – прошипел Эюб. – Ладно, пошли.
- Отойдя от ворот, мы заметили мужичка, что шел нетвердым шагом к реке:
- Правление где тут?
- Качаясь былинкой, мужичок сплюнул под ноги:
- Правление? Да какое на хер правление. Нет никого, уже года два как. Сами управляемся, без правления. – Махнул рукой и поплелся дальше
- А хоть почта есть? – бросил я вдогонку.
- Почта есть. Эвон, – не оборачиваясь, он указал на тряпку, что трепыхалась на избе метрах в ста от нас. – Там почтальон сидит.
- Мы оставили Костю сторожить кантор, а сами с Эюбом решили навестить почтальона.
- В просторной избе пахло стружкой и польнью. Сморщенный старик с острой клинышком бородкой, с залпывшими глазками и в форменной фуражке поприветствовал нас:
- Надо же, – крикнул он, завидев нас. – Дождались. Здоровы будьте, гости дорогие.
- Чего ж такие дорогие? – удивился я.
- Так тут уже давненько никого не приезжало. Вы первые. Письмо отправить хотите? Или позвонить? Ежели позвонить – линия оборвалась. Не получится. А письмишко можно. Через пару дней заберут.
- А где все? Начальство где? – осторожно поинтересовался я.
- Кто где, – начал рассказывать почтальон. – Семенов, староста наш, в Кызыл уехал. Матвейич в горы ушел с неделю как. Остальные, видать, дома сидят. Так что из начальства, – он крикнул и пригладил бородавку не без гордости, – только я.
- Ага, – протянул Эюб, – ладно. Тогда скажи, где орех взять можно.
- Орех? А нет ореха, – отрезал почтальон. – В позапрошлом месяце весь отдали. А вы, стало быть, тоже закупишки?
- Я пробормотал:
- Типа того.
- А что, мил человек, – Эюб обратился к почтальону, – как тайга тут? Дурная?
- Почтальон нахмурился, глазки его забегали.
- Ты слышь-ка... ежели письмо отправить – давай. А то некогда мне.
- Я про тайгу спросил. Темно в деревне ночью? Совсем темно?
- Почтальон пристально посмотрел на меня. На Эюба. Сдался. Вдохнул. Аккуратно снял фуражку и, примостив ее на дощатом буфете, доложил:
- Так точно. Темно стало. Потому народ и дома сидит. А вы почему спрашиваете?
- Надо нам, – ответил я. – Откуда темень приходит?
- Да знамо откуда, – протянул почтальон. – С Саян идет. С неба самого.
- Ну вот, – подумал я. Ну вот. Добрались, стало быть. Небо Денгер.
- Далеко?
- Так недалече. Верст пять.
- Я улыбнулся. Посмотрел на Эюба. Он молчал, понутив голову, – глухо молчал.
- Эюб, сердце родное, вот мы и пришли. Чего невесел?
- Потому и невесел, – буркнул азербайджанец. – Что пришли.

Х

– Что-то не так, – уронив эти слова, Эюб передал мне самокрутку, закрыл лицо ладонями, и я отчетливо видел даже сейчас, в полутьме веранды, как дрожали его пальцы, сухие пальцы с узловатыми суставами, с коричневой грубой кожей. Выдубленные сибирским временем.

Я докурил. Аккуратно отодвинул пепельницу.

Воцарилась тишина. Эюб сидел, спрятав лицо, я сидел напротив – на другом конце круглого, матерого дубового стола. Почтальон приютил нас в этот вечер – не бесплатно, конечно. На по-доконнике, в вечерующем пятне верандного окна, мерцала золотисто-живым початая бутылка виски. Странно выглядела она в сибирской деревне, но вот – стояла.

Я выпрямился, расправляя плечи. Позвонки хрустнули. Напала зевота – все побеждающая, все съдающая и неотвратимая сытая зевота. Я закинул руки за голову, зевнул, еще раз потянулся.

– А что – не так? – выдохнул и с этим вопросительным выдохом облокотился на стол. Эюб положил ладони на столешницу, принялся разглядывать свои пальцы. Демонстративно и скучно.

– Все не так. Ты, – он осекся, лихорадочно соскребая заусеницу на ногте, и если б я не знал этого азербайджанца, то сказал бы: волнуется. Или действительно волнуется? – Вот ты не такой, как остальные. Я так думаю, ты – тот самый.

– Что это значит?

Он устало посмотрел мне в глаза.

– Ничего это не значит. Но работа моя заканчивается.

– Почему? – все еще не понимал я.

Он вскочил, отмахнулся, повернулся в окно. Смотрел, смотрел. Выдал:

– Не знаешь, да? Ладно, что говорить. Пришел – значит, пришел. Все. Точка.

Ладно, подумал я. Было так спокойно на душе – отчего, и не знаю. Просто спокойно. Как после сделанной тяжелой работы. Я – тот самый, неведомо какой? Ну ладно, тот самый. Пусть так. Готов поверить тебе на слово, Эюб.

Встав из-за стола, я вышел на крыльцо. В воздухе пахло влажной осенней травой, ветер на-строился дуть с севера, словно выжидая добычу, он ходил все вокруг да около, смешиваясь то с теплом, то с холодиной, прячась по закоулкам тайги. Каменные утесы, что стояли неподалеку, а на самом деле – верстах в трех-четырех от крыльца, не пускали ветер к себе, и он обретался на равнине возле дома. На огороде. У яблонь. У высокой травы, чуть пожухлой, но все еще высокой. Ждал, когда можно убежать.

Я посмотрел на небо. Там, из-под низкого полога синих облаков, трепетало-полыхало солн-це раскаленным шариком. Облака, подсвеченные снизу, раздалились золотом – рыжим, грязным золотом, и плавно рвались за спину, распространяя необычный свет – словно жидкое золото раз-лилось, смешалось с дождевой грязью, с хмарью, а после убежало молоком из кастрюли. Сущее золото.

Выйдя за калитку, я вдруг увидел, что по ту сторону дома, от одного края к другому, раски-нулась радуга – настоящая, непрерывная, словно время в этой деревеньке – она сверкала всеми цветами, переливалась и празднично уходила ввысь. Тут же рядом образовалась еще одна. Я смо-трел как зачарованный, но никак не мог ощутить, что это здесь, сейчас, что это со мной. Но это было – вот, потрогать только. Радуга. Мигом спусть от края до края легла еще одна – третья. Я охнул. Не веря своим глазам, оглянулся. На крыльце стоял Эюб и улыбался, запрокинув голову. Ветер трепал его редкие волосы вокруг лысины на макушке. Почувствовав, что я смотрю на него, он кивнул в сторону радуги – смотри, мол, чудеса какие. Я улыбнулся ему. Да, чудеса.

Еще немного подумав, свет вдруг распался, и над двором повисли сумерки – едкие, тягучие сумерки. Я вернулся на веранду. Эюб прошел за мной и закрыл дверь. Мы снова сели за стол – тот стоял в самом углу веранды. Я спросил:

– Где твои родные, Эюб? Жена, дети? А?

Азербайджанец отвернулся к окну, смахнул с подоконника крошки и пыль, облокотился на него – доска скрипнула, прогнулась. Разлилась чернилами сибирская ночь, только сорокаваттная лампочка кое-как выхватывала траву на дворе.

Он вздохнул тягостно и безысходно, закрыл глаза ладонью и, давась памятью, словно сухим хлебом, рассказал мне:

– Я в этих краях еще в армии служил. Потом на родину съездил, думаю – чего там делать? Тесно. А здесь – простор. В армии помню, хакасы рыбу ловили – Енисей раскинется в половодье, потом уйдет вниз – а на отмелях сиг... вилами бей и клади. Но мама в Ширване болела, я ее выхаживал. Умерла – сюда рванул. Еще и братьев вызвал, они расселились. Семей обзавелся, детишками. Трое их было. Завел место на рынке – обувью торговать. А так еще спиртом приторговывал. Прямо из дому. Два года назад... Я за товаром ушел, вернулся – нет их. Дома нет. Жены нет. Детей нет. Все сгорело. Одна зола осталась. Хакасы за спиртом пришли – спирта нет. Они спичкой – цирк, сожгли все. А спирта не было. Кончился спирт. Здесь вот, – Эюб показал на сердце, – больно, а ничто сделать не могу. Живу. Костя свел меня с Юрием Ивановичем. С партнером нашим. Он работу предложил. Так и затянуло. Сам виноват, – он махнул рукой, – и ведь знаю, что уйти надо. А не могу. Вот таких, как ты, вожу.

Я перекачивал спичечный коробок с ребра на ребро, слушал, как спички шуршали и толкались в тесноте. Потом отбросил его. Он шлепнулся возле бутылки и намок.

– Чего молчал, не рассказывал?

Эюб смахнул память, словно утреннюю дремоту, повернулся ко мне, лицом в эту теплую и понятную горницу, кивнул на бутылку.

– Разливай.

Это был тот самый вискарь, еще одно чудо сегодняшней ночи. Ощущая в руках приятную тяжесть бутылка, вдыхая аромат дубовых бочек, я плескал жидкость по неудобным рюмкам с золотым ободком на тонкой ножке – их, видать, еще при Сталине в сельпо завозили – и думал: вот сейчас хорошо, как в последний час перед боем, а впереди... Не знаю, что впереди. Озноб покачивал меня, но только до первой рюмки. Потом его не стало. Жажнув, я прикрыл глаза. Эюб вернул меня в реальность. Он хрустнул соленым огурцом, резонно заметив перед этим:

– А ты разве рассказывал?

– Про что? – не понял я.

– Про семью свою. Про то, что нет у тебя никого...

– Откуда знаешь, что нет? Вон, Стася говорит, что есть.

– Баба – она баба и есть, – небрежно бросил азербайджанец, снова разливая виски по рюмкам. – Дома не ждут тебя, так ведь?

Я кивнул. Пропустив еще по одной, мы развалились на стульях, сыто погрузнели. Эюб закурил самокрутку – нет, сигар у нас так и не появилось, – и шуршил теперь через облачка дыма, глядя на меня. Ждал, что я скажу. Я меж тем качался на стуле, глядел в окно и потихоньку тупел. Половицы подо мной скрипели, а я не слышал – действительно тупел. *Говорить об этом я мог только так... отупев.*

– Жена была. Погибла. Совсем недавно. Я ей сказал, что уйду. Совсем уйду. Навсегда. Ночью разосрались в пух и прах. Утром прогуляться вышел, вернулся... а она. Мертвая в ванной. Врач сказал, сердце не выдержало. Вот и все, – громко стукнув передними ножками стула об пол, я перестал качаться. – Так вот получилось. Не я ушел, а она ушла. Говорить больше нечего.

Азербайджанец молчал.

Говорить и правда было не о чем. Но меня беспокоила еще одна мысль. И уже давно.

– Слушай, Эюб, – вспомнил я. – Скажи... Юрий-то Иванович знает, чем ты тут занимаешься?

– Знает? Он? – Эюб снова вздрогнул, как когда-то. Но сдержался. Даже улыбнулся. – Ха, Юрий Иванович. Да он же вас сюда и присылает. Набирает вас там, по столицам, а я возись... Смешно даже.

– Что смешного? Орех кедровый, все дела.

Эюб махнул рукой:

– Какой орех! Забудь. Это так, для отвода глаз. Юрий Иванович, он... такой, знаешь ли, человек. Большой человек. Он неборожденного ищет.

– Кого-кого? – переспросил я.

– Того, кто ушел тысячу лет назад через небо Денгер и больше не возвращался.

– Тысячу лет назад, – припомнил я лекцию Артаса в краеведческого музея, – пропал хан Элет-миш, уйгурский каган. Так он его ищет? Как же он его ищет, если это тысячу лет назад было? Мумию, что ли?

– Не знаю. Он человек ученый, а я так... Вожу вот.

– Но что там, а? – не вытерпел я, спросил. – На небе Денгер?

Эюб поскреб лысину.

– Так не знаю же...

– Брось. Знаешь, – я был уверен на все сто.

Он усмехнулся.

– Тебя не обманешь.

Немного подумав, азербайджанец мечтательно, глядя куда-то внутрь себя, произнес:

– Там ворота каменные. А за ними – небо. Большое небо, красивое. У меня на родине такое небо. Денгер. И во все стороны оно – куда ни глянь. Небо такое, что упасть в него хочется, как в колыбель. Понимаешь?

Азербайджанец вздохнул, улыбнулся, словно ребенок. Морщинки лучились вокруг печальных глаз. Все-таки ему сорок, – подумал я вдруг. В иные времена был бы совсем стариком.

– Только Денгер каждого по-своему встречает, – сказал Эюб. – Кому свинцом в глотку залетится, кому глаза залепит. У кого на что ума хватает. Или кто чего боится – то с ним и происходит. Они обратно все вываливаются. Боятся. А ты не бойся ничего. Иди себе вперед. Оно тебя по-своему примет. Салым-чаян у тебя хороший, помнишь?

Я кивнул – помню, да. Салым-чаян. И таварылга.

– А тебя оно как встретило? – спросил я Эюба. – Твое небо?

Глаза его миготали безжизненными, он потускнел и буркнул:

– Неважно. Ну, что – идешь?

Иду. Я иду, Эюб. Что бы там ни было впереди – оно всяко лучше. Наворачивая на себя рюкзак, я заинтересовался:

– А темень эта, что тайгу жрет – она оттуда же? Да?

Эюб кивнул. Поправил мне лямки.

– Да. Много людей туда вошло. Разных людей. Небо ведь не выбирает. И Юрий Иванович – он ведь тоже не отбирал особо, что на душе у человека. Не видел он. А я видел. – Эюб ожесточенно дернул последнюю лямку на моем рюкзаке. – Небо это, Денгер, оно душу берет, и само душой становится. Если душа черная, или серая даже – как капля мазута в чистой воде, все испортит. И потом обратно же через ворота и выльется. Так и случилось. Люди дурные, и с дурью пришли. Вылилась темень, а кому остановить – не знает никто.

Все, что Эюб говорил мне, пронеслось, словно гудящие в ночи поезда, шумом стальных колес о стыки рельсов, желтыми огнями окон и воздушной волной. Нет, это ветер был... как в детстве, когда я стоял у железнодорожной насыпи и смотрел, как в ночи пронесется скорый... за бетонной оградой что-то жило и несло с безумной скоростью, а я стоял в безопасном месте и смотрел. Теперь я чувствовал себя так, словно ступил на насыпь и пошел по рельсам. Вот-вот снесет.

Я тряхнул головой, отгоняя плохие мысли, залез за пазуху. Проверил амулет, что дарила мне Стася... Он висел на шее и словно стал горячим – или мне казалось – как уголек?

– Слышь-ка, – я дернул Эюба за рукав, – вот эту вещичку бандеролью отправь. Я тебе адрес дам, куда. Ага?

– Зачем еще?

– Не спрашивай. Сейчас все напишу.

Сбросив рюкзак, я схватил огрызок карандаша, выдернул газету «Советский спорт» из-под кучки лука-сеянца и накарбал на полях свой домашний адрес.

– Значит, вот что, – я сунул талисман Эюбу, – отправишь на этот адрес. В сопроводилке напишешь... пиши, ну, – и протянул карандаш Эюбу.

Тот посмотрел на меня, как на умалишенного, но послушно записал: «Я тебя очень люблю. Не уходи. Что бы ни случилось».

Возможно, я уже верил в чудо. Возможно, я был уже не здесь. А может, дело было в нездешнем вискаре и в самокрутках, я не знал. Тогда не знал. Теперь знаю.

– Сделаю, – пообещал азербайджанец.

Пожав руку Эюбу, обнявшись с ним по-братски, я, недолго думая, прихватил рюкзак и пошagal по дороге, уводящей из деревни. Стало совсем темно, и долина Уса встречала безмолвием и стоном ветра.

XI

Вначале... нет, не так. Начала нет. Только все, что вокруг. Все-ленная. Черт, я не могу подобрать слов. Понимаешь – это как... как – ты здесь и везде. И тебя нет. Как кошка в коробке – жил себе жил, везли тебя куда-то в громком поезде. А потом раз – и выпустили на даче. И все. Нет ничего – и есть все. То есть ты растворяешься.

Полная луна зыгралась ярко, разгорелась. Я стоял до ворот. Огромная арка, в три роста, будто сложенная ребенком из неотесанных камней. Ветер стонал, маленькие камушки, лежавшие у подножия, стучали друг о друга. Тук-тук. Тук-тук. В ногах путался черный песок. Вниз текли ручейки черного песка, как будто черные змеи шевелились... где-то я их уже видел. Прах к праху. А внизу, за пределами этой маленькой каменной площадки – черные саваны ущелий. Верхний Ус. Люди. Эюб.

Сперва я подумал, что ничего не изменилось. Ну да. Ничего. Я огляделся по сторонам, переминаясь с ноги на ногу – арка из камней стояла впереди. Сквозь нее я видел черную громаду большого камня на той стороне. Но тут камни застучали, как маленькие барабаны. Ритмично, отчаянно. Сквозь арку я видел, как за большим камнем заворачивалась тень. Луна на миг скрылась за облаком, все потонуло в неведении, но облако растаяло, обнажая холодное пламя ночного светила, и я увидел ее.

Я увидел тебя. Да, я увидел тебя... все началось с того момента, как я увидел тебя, упомогательную, недвижимую, мертвую. Из ванной, доверху заполненной водопроводной водой и одобренной солью из Мертвого моря, твоя душа тихо дрейфовала во всемирный океан.

День тогда выдался пасмурным. Осень, как это бывает в Питере, развезло, и все стало серым. Проснувшись около девяти, я лежал на боку и смотрел на тебя, еще живую. Из головы не выходил вчерашний разговор. Бог мой, как мне хотелось, чтобы ты проснулась. Я бы объяснил тебе все, спокойно, рассудительно, как я умею. Но в свете уличных фонарей ты видела сны, не видела меня. Легонько коснувшись твоих волос, я вылез из кровати. Ждать, пока ты проснешься, я не мог – ожидание хуже пытки, когда хочешь что-то объяснить, – поэтому сварил кофе и, одевшись, вышел во двор. Автомобиль услужливо пискнул и осветился фонарями – садись. Я сел. Провел рукой по торпедо, ощущая подушечками пальцев пластик, его шероховатость и прохладу. Прокатимся.

Полчаса спустя, после бесцельной гонки по питерским улицам, я припарковался на пустынной улице, прямо рядом с береговой линией залива. Линией это сложно было назвать: только серая тоненькая ниточка соприкосновения неба и земли. Поддерживаемые подпорками, зябли на влажном ветру чахлые деревья не выше человеческого роста, да собачники выгуливали своих питомцев – все, что чернотой выделялось на сером просторе. Я сидел, сжимал руль и смотрел в окно пассажирской двери. Засохшая грязь на стекле – нелепо брызнутая акварель – дорисовывала картину, что я видел, и мне совсем не хотелось вылезать. Я сидел и смотрел.

Потом я закрыл глаза и наступила полная чернота. Свет, свет, помоги мне... нарисуй новую жизнь. Новый мир. Пусть кто-нибудь войдет сейчас и скажет: это я, и я тебе все расскажу. Зачем я здесь? Что меня сюда привело?

Свет полыхнул и исчез: я видел, что берег, куда ходил когда-то купаться, исчез. Теперь здесь строили пассажирский порт – просто намыли песка, и воды не стало. Я видел, что изменилось все – небо, земля, вода, – и я изменился, потому что сидел в собственной машине и смотрел на все несколько с другой точки, когда, будучи студентом журфака, бродил здесь по песку и выискивал счастье, жившее неподалеку.

... все перевернулось – или нет, скорее вернулось. На какую-то другую вселенную. На какие-то другие круги. И по каким-то другим законам. А в том, прамире, я ковырял палочкой ракушек и вдыхал запах водорослей – кому-то отвратительный, кому-то родной. Толстые, оголенные водой бревна валялись на берегу, кое-где на них устраивались отдыхающие парочки... ворковали и целовались, как голуби... я бросал ракушки в воду. Я возвращал их домой. Они были благодарны мне. Если когда-нибудь ракушки тенями придут к царю морей, их спасибо станет мне спасением. Финский залив волновался, как невеста на выданье. Барашки кудрявили мутную воду, ветер рвался на берег и слизывал слезы с моих щек – они не от боли возникали, а просто так... резало глаза... Я сидел на вековом бревне и глядел на горизонт. Ракушки поблизости кончились. Точка на горизонте увлекла меня вечностью. Я смотрел на нее. Вечность смотрела на меня. Потом я поежился, встал и пошел к белопанельным кварталам, к бетонному безумию полуденного августа... туда, где ты жила.

Открыл глаза. Ничего не изменилось. Осенняя хмарь. Собачники и деревья. Только мелькнул кусочек той, прошлой жизни. Тонкой влажной струйкой он влился в аорту и, перемешавшись с кровавыми тельцами, наполнил меня. Выйдя из машины, я выскочил на слякоть, легкие ботинки мигом стали влажными, но это ничего... это мелочи. С блаженной улыбкой я прошелся туда-сюда, расправил плечи и встал, упершись глазами в расплывчатый горизонт. Как тогда. Но вечности не было – ее и не должно было быть. Она не смотрела на меня, а я не смотрел на нее – все было сейчас по-другому.

Вечность теперь была внутри. Не стоило и тратить силы, чтобы в нее заглядывать.

А потом... потом я вернулся в квартиру. Доставая ключ, чтобы отпереть замок, я случайно толкнул дверь. Она приоткрылась. Странно. Выходя утром на лестницу, ключ я провернул два раза – это точно. Осторожно протиснувшись в прихожую, я скинул мокрые ботинки и прошелся по квартире. Никого. Что-то кольнуло сердце, на загровке стало жарко. Уже чужой запах беды, я открыл дверь в ванную.

Ты была там. Плавала в наполненной до краев емкости, лицом вниз. Жар на загровке сменился холодом, я метнулся к тебе, перевернул тяжелое тело навзничь... понял, что мертва. Мертвее не бывает. Проверил машинально пульс, а потом сполз по стеночке, присел на табуретку, стоящую рядом, и закрыл лицо ладонями.

Вот ты и вышла опять, темень...

XII

Тревожно... дрожь проскочила внутри, заметалась вверх живота. Скользнула за загровку. Я зажмурился. Сел.

Успокоиться. Дышать ровно. Вдох-выдох. Не хватало только паники. Кое-как наладив дыхание, я шумно выдохнул и медленно поднял глаза. За воротами сидела – ростом метра в два – птица с женским лицом, *так напоминавшим...*

– Господи, ты здесь? – прошептал я.

Птица покачала головой. Легкой тенью по ее лицу пробежало беспокойство, но тут же взор ее снова стал безмятежным. Растягивая слова, не умея и будто учась говорить, она произнесла:

– При...шел.

Я теребил ремни рюкзака и понимал, что сказать нечего. Просить нечего. Пришел, да. Сюда. Где исполняются желания. А у меня нет ни желаний, ни слов, даже самых завалящих.

– О...дин? – произнесла птица.

Один. Да. Влага зашипала уголки глаз, как только я вспомнил лицо... *твое лицо*. Птица посмотрел прямо мне в глаза – взгляд ее, глубокий и светлый, как гладь платана под содранной корой, шарил в моих зрачках... *рукой, потерявшей кольцо на дне реки, лучиком карманного фонаря на ночном шоссе, вопросом посреди пустынной площади*.

– Хочешь быть... один? – произнесла она.

– Я хочу... разобраться, – выдавил я, пряча слезы за отчаянным скрежетом зубов, и вцепился в лямки рюкзака так, будто от него зависело, что будет дальше.

– Ты не виноват. Этого хватит? – спросила она.

Я молчал. Хватит ли? Чего? Хватит ли мне этого – знать, что я не виноват? Но ведь она была... *ты была столько лет со мной*. Живая. Я сбросил рюкзак и почти вцепился в камни, отчаянно вдыхая ночное, опущенное светлячок луны небо и не чувствуя гортани. Оно опускалось на меня холодным прессом, вдавливало в землю. Немного поборовшись, я застонал.

– Нет. Я... Верни мне ее.

– Посмотри, – оживилась птица, тихо прошелестела крыльями, складывая их на спине, горестный вздох огласил окрестности криками сотни воронов. Ветер поднялся, размывая небо. – Посмотри, как много всего ты узнал без нее. Разве тебе плохо?

– Верни, – упрямо повторил я и почему-то зашептал, горячо и отчаянно зашептал: – Я без нее – половина человека. Я так не смогу. Не в том дело, виноват я или нет. Она... она такая живая. Просто она должна быть, понимаешь? Она. А я нет. Она, понимаешь? Она будила меня по утрам запахами с кухни... она... так хохотала, когда мы вместе заправляли одеяло в пододеяльник. Она должна жить. Верни. Мне. Ее. – Я с шепота почти перешел на крик, я орал на вещь птицу. Это, верно, не по правилам – орать на вещей птиц.

Она внимательно смотрела на меня. Открыла рот – или клюв, не знаю, и спросила:

– Я верну. Что ты оставишь... взамен?

– У меня ничего нет, – я устало опустился на землю рядом с рюкзаком, провел рукой по холодным камням. – Возьми меня, если хочешь. Что ты там забираешь или отдаешь? Ну вот, возьми.

– Ты жертвуешь собой, чтобы она жила? – вопрос повис в воздухе, и уже через мгновение все исчезло. Птица, арка, ночь. Я обнаружил себя сидящим на корточках на берегу серебряного ручья – *когда-то это уже было со мной*. Я смотрел на свое отражение в трепетной водной глади – и не мог узнать. Волосы седы. Морщины истерзали лицо. Закрывая глаза руками, я видел борозды, что исполосовали ладони, – глубокие, стариковские борозды. Иссохшая, как пергамент кожа. Прожилки, утонувшие в дряхлости. В голове из ниоткуда зазвучал голос вещей птицы:

– Через много лет она умрет снова, и ты не вернешь ее. Дважды от смерти не спастись. Потом уже все.

– Верни мне ее, – прошептал я. – Пожалуйста.

Перо опустилось рядом со мной на воду. Круги разошлись, как от брошенного камня. Я поднял глаза. Птица сидела неподалеку. Ручей уже шелестел крошевом нарастающего снега на воде – *и этот снег я уже видел когда-то*. Ветер дул сильнее и сильнее. Птица повернула ко мне голову. Кивнула, издала яростный клекот, воспарила в небо и исчезла в непроглядной высоте. Как все-таки меняется погода здесь, – удивился я.

И снова оказался у ворот. Птицы не было. Внутри арки клубилась темень – та самая, что я видел в тайге. Ее края полыхали бледным огнем, освещая все вокруг. Я понял, что птица услышала мои слова, но теперь... я должен туда войти.

Достав из кармана бумажник, я вытащил твою затертую фотокартточку – маленькое яркое пятнышко на серой простыне моей жизни. Я глядел и вспоминал... всю-всю свою жизнь с тобой, такую бестолковую, но такую нужную. Для нас нужную.

Черт, а вдруг все не так? Что случилось в тот день? Именно в тот день, накануне. Я просто захотел уйти. Мне все к чертям надоело. Почему я не могу просто так – взять и уйти? Тысячи людей сходятся и расходятся. Ничего не происходит. Это же просто – уйти. Отпустить. Черта с два. Нечего меня во всем обвинять, слышишь?!

Что же такого я сделал, что у тебя не выдержало сердце? Нет, подожди. Так не может быть. Надо разобраться.

Эту мысль я не успел додумать.

...птицы не было. И никакого неба за воротами не было. Врал Эюб. Только темень. Я почувствовал, как по щеке поползла влажная дорожка. Я плакал. Плакал. Я не плакал с того дня, как ты погибла. Ни разу не плакал. Но теперь, в тысячах километров от своего дома, переставшего быть моим, я плакал. Впереди стояли ворота, через которые мне нужно было пройти. Я погладил подушечками пальцем шероховатую поверхность фотографии, бледный отпечаток на фотобумаге, положил обратно. Я пройду через это с тобой. Ты мне pomoжешь.

И я шагнул в самое нутро темени. Наступила тьма. После тьмы уже ничего не было. Она поднялась во мне – от кончиков пальцев до макушки – как чернила в мензурке, заполняя дюйм за дюймом, окрашивая все в черное. Я стоял на черном листе ночи, в час сердце выдавало по одному удару, но этого, хватало, чтобы гнать по венам не кровь, а темень. Я стоял, обездвиженный, я испарялся. Меня не было. Пустив в сердце темень, я ждал, когда оно впитает ее, словно губка – всю, до капли. Я хотел унести ее отсюда, насовсем, унести и не вернуться, чтобы меня, как клеща, напившегося крови, кто-то придавил ногтем. Эта темень была заражена. Я знал это, я хотел кричать – но слышать было некому. Я закрыл глаза и не видел окружающих меня гор и камней. В желудке этой ночи варился не только я сам, но и переваривал темень внутри, и когда дышать стало совсем нечем, я...

XIII

Открыл глаза. Ничего не изменилось. Снег был. Были собачники и деревья. Я дернул ключ в замке зажигания, включил вторую и рванул к дому. Только бы успеть, только бы успеть, – лихорадочно билось в мозгу. Как я доехал – не помню. Бросил машину, взбежал по лестнице одним махом. На лестничной клетке стоял запах жареной, чуть подгоревшей картошки, я ещё подумал – как можно завтракать картошкой? Пахло сыростью после влажной уборки. Я смотрел на коричневое полотно двери, боясь прикоснуться к нему. Наконец решился. Дверь была открыта. Я зашёл в прихожую. На кухне что-то жарилось. Потом я услышал твой голос, немного осипший от насморка и слез.

– Ты вернулся? Смотри, тут почтальон принес пакет – я еще не открывала. С какого-то Верхнеусинского. Что-то есть там внутри, может быть, ценное? И этот текст. Объяснения в любви какие-то нелепые. Даже не знаю... Хорошо все-таки, что ты вернулся.

Я вернулся, да. Вот и все. Через год на свет появился наш первенец. А через пятнадцать лет – вот, кресло 7А. Рейса «Москва-Абакан». Амулет в виде кнута, вырезанный из кости, лежит на откидном столике передо мной. Я пишу тебе. Рассказываю то, что никогда не рассказывал. И я снова лечу туда, в Саяны. Туда, где все началось или все закончилось – я даже не знаю. Вряд ли я найду Эюба, Стасю, Алтын-чоя и всех, кто был тогда рядом. Но я хочу побывать снова на небе Денгер. Может, оно ответит мне, как жить неборожденным?

Артем НОВИЧЕНКОВ

КОРОБКА ШРЕДИНГЕРА

I. живо́

как ты борешься с депрессией?
спрашиваю я виктора
я питаюсь детьми
отвечает и плачет
мои единственные
любимые
рассматривает их профили вконтакте
кликает мышкой
планирует новый праздник
улыбается зеркалу
занят

как ты разгадал меня?
спрашивает виктор
я проследил за тобой с работы
изучил
как ты заказываешь ситимобил до метро
держишься за поручень
протираешь глаза под очками
планируешь новый праздник
изобретаешь занятость
шепчешь имена детей
засыпая

Артем Новиченков родился в 1991 году в Москве. Работал учителем литературы в общеобразовательной школе и Высшей школе экономики. Читает лекции по литературе. Автор романа в ста предложениях «Синаксарион» (ПрессКод, 2015), «Кто-то Я» (2018), публиковался в журналах «Новый мир», «Знамя», на платформах «Полутона», «Дискурс», TextOnly, «Артикуляция» и др., поэт, драматург. Автор хип-хоп альбома «Негерой» (2019). Живет в Москве.

событие

на Проектируемом проезде № 4073
в 13:05
столкнулись Renault Logan и Hyundai Elantra
через час пятнадцать приехала машина ДПС

только мальчик пропускающий школу по болезни
в окне двенадцатого этажа одинокой новостройки
видел это

однажды директор московской школы сказал
я закрываю глаза
на ваши матерные стихи
потому что вы талантливый педагог

я представил
его закрытые глаза
видящие меня
талантливым педагогом

и вспомнил все матерные слова
которых не хватит описать
как стало охуенно
не разделяться
быть всем и сразу
языком

на третьем кольце мертвом
в тишине лефортовского зева
белый шум
и не ловят звезды
да и ты не совсем так-то
с работы не ждал_а другого
а впрочем
неплохо застрять до света
так-то и дома не ловят звезды
а завтра – новый рабочий
коллеги развитие кофе лайки

II. мертво

в лихом такси
как в коробке шредингера

либо жить не любя
не в себя
занимая пространство
аренда тела
теряющего смысл к тридцати

либо просто быть готовым закончиться
прямо сейчас

людям как и листьям
нужно время

вопреки расчетам
осень наступила слишком рано

тебе сегодня двадцать пять шесть семь
и с этим
бесконечно зимовать

вот и зима
обещает быть долгой

за двойной рамой
скребет холод памяти
неминуема встреча
но ты
не пускаешь себя за порог

хозрасчет
строго на одного
экономика жизни: количество/качество
(плюс надежда
что как-то само рассосется)

одно не учтено:
если умрет собака

на самом деле
знал всегда

с шестнадцати начал отключать
с двадцати пяти вспоминал в тоске
с тридцати по пьяни про себя
в сорок отпел последнюю мессу
и ничего

теперь
кто ты
что же было сделано не так

Утро в Богучарове

Дало ли много знание языков,
Любезный Хомяков?
Или как брат Языков,
Ты безъязык, а в
молчаливости своей расчерчен,
как станциями паровозный путь.
Европа? Азия? Бредёшь куда-нибудь
Ночной аллеей зябнущего парка.
И парка
Ткань плетёт, и свищет филомела,
несмело
мысль сквозит
о старом и о новом,
и о том, что за волною
мысленных морей земля есть
и над той землею
сияет дивной красотою
разумной жизни эмпирей...

Но вот меж ночью и днём
На небе бледно-голубом
Смешеньем пламени и хлада,
Слиянием небес и ада,
Где сплетены лучи и тьма.
Заря, волшебная прохлада
Разгорячённого ума
Восходит.
На тебя нисходит
покой.

Как сладко быть в природе
в громах, вихрях и непогоде
пространство неба прорезать

Евгений Стрелков родился на Урале в 1963 году, окончил радиофизический факультет университета в Нижнем Новгороде. Художник, литератор, редактор альманаха «Дирижабль». Публикации в журналах «Неприкосновенный запас», «Звезда», «Урал», «If» (Марсель), «Missives» (Париж), «Дружба народов», «Октябрь». Автор книги стихов «Молекулы» (2015); книги эссе «Фигуры разума» (2015), соавтор (вместе с Эдуардом Абубакировым и Вадимом Филипповым) книги краеведческих этюдов «Ниже Нижнего» (2014). Живёт в Нижнем Новгороде. В «Волге» публикуется с 2009 года.

мечту и радость осязать.
Там языков не нужно много
Единый для всего от Бога
Для всех явлений дан урок.
Стремясь к его припоминанью
Умом, дыханьем и гортанью
Трепещешь ты, как мотылёк.

И вот заря уже накрыла
Полмира...

Брюллов в Пулково

историческая фантазия

Плафоны в Пулково
– величественный вид!
В проёме купола
Стеклянный глаз блестит.
Система тросов управляет глазом.
Раз за разом
Обозревая небосвод.
Вот
Орион, вот Близнецы, вот Лира.
Над головой – полмира!

Здесь в Пулково прозрачна атмосфера
Почти Италия, любезная Брюллову.
Наш Карл, пожалуй, с лишним год
Штудировал небесную науку,
Пока любезный брат выводит свод.

И вот готово всё: цилиндры башен, колоннада
Лестницы, ступени, балюстрада,
лоджии, балкон, фронтон.
На потолках Брюллова Карла фрески:
Сквозь эпициклов арабески
Летят воздушные фигуры.
На каждый румб – своя.
Полупрозрачна кисея
воздушной нимфы – ткань расправлена в полёте,
а небо! небо! – твой Буонаротти.
Его касание божественной десницы
Цитирует наш северный пиит,
А телескопов спицы
Пальпируют зенит.

И кажется, что в северной Пальмире,
Словно стекло чердачное промыли.
Сам царь зашёл. В трубу глядеть не стал.
Обсерватория ему – как пьедестал.
Ведь если Пётр прорубал
окно, то Николай достал
И выставил на подоконник лампу
И закружился мотыльковый звёздный рой
Весь над тобой.

Вертится кавалькада звезд
И меркнут в сумраке расписанные своды.
И астроном занял свой пост
И пелена спадает с прелестей природы...

Дагеротип Попова

Замечательный образец светописи:
Ширь проточной воды
Отмель, склон – в полугоре следы
жизни горней: купола, купы дерев, покой...
В кронах – птицы небесные (далеко слышны над Окой)
Выше – туча, отражённая как фотостеклом, рекой
Приближенье грозы.

Наш герой
как раз по этому делу подкован
Уже год как запатентован
грозоотметчик, а теперь он сам
грозоотметчик, вот-вот по волосам, усам,
Потечёт вода, заземляя тучу
Впрочем, так даже лучше:
гроза,
зонт
над фототреногой,
а за:
– горизонт...

Наш герой одет в черное
– выходец из попов,
соответствует и фамилия:
Попов.
Семинария, флотилия
(Кронштадт, минные классы)
Но каждое лето с семьёй – на Оку
Дача, лодка... Как правило, на боку

фотокамера (любитель), по будням
ярмарочная электростанция (профессионал).

Но как знал!
Что будет кадр:
Амфитеатр неба во всей грозовой красе
Кулисы туч, солнца луч на кресте
блеснул, и спектакль вот-вот
Разразится первым действием
– сейчас польёт!

Гром и молнии!
Задрожит эфир
И депеши-молнии
электро-пунктир
наведёт мгновенно
в медном
проводе ток.
И как в театре: победно
зазвенит звонок.

РДС-Бездна

...С лицом переполненным думами. Он стоял <...> Он взглянул на людей...

А.И. Введенский

г.

...Где брошенные крестом,
Скрещённые под Его пятой
Разбитые, снятые с петель
створки врат
в Ад.
Нисхождение за душой
Адама, за душой Евы
(за нашими душами, в конце концов).

На полигоне в Семипалатинске
посреди перерывных пластов
земли, перекрытых плитами,
слоями брёвен, балками...
Там, в самом центре был ад,
Так говорят.
Те, кто видел.
После взрыва
Курчатов, Сахаров, Малышев, Ванников, Тамм
В открытом виллисе рванули в самый центр – там

Был Ад, но не было створок, лежащих крестом,
Чтобы поставить ногу,
Чтоб оказаться в том
месте, где Адам, где Ева.
Остекленела
почва, выгорел водород
– оглянись кругом:
небольшой оборот
одного человека – переворот для человечества...

2.

Собор в Сарове разобран
осталась одна стена
под особым углом
можно увидеть на
штукатурке фигуры,
истончённые до полупрозрачности
до целлулоида
до коконов плащей
– фоторентген мошей.

Фигуры, пронизанные лучами
темнеющие бедрами, ребрами, ключицами и плечами
фалангами пальцев, позвонками, суставами
словно пропитанные составами
солей урана и радия.
и чего ради? «Я, –
писал Сахаров в воспоминаниях, написанных в ссылке
в Горьком,
– был убеждён, что паритет необходим, как бы горько
не было осознавать нависшие угрозы...»

Деисусный чин, склонённые позы,
обращённые к центру, где теперь зияние
самега obscura.
Или познание,
пронзившее до костей,
истончив покровы.
Сотканное из пунктиров и полостей
равновесие пова.

3.

Так гигант Христофор, несущий Христа
изображался псоглавым. Так белая береста
расчерчена чёрными полосами.

Так и атомный свет
Зло ли? добро? ответ
не однозначен.
Лишь очерчен. Облучён.
Рентгенограмма, где световым лучом
пишется «мене текел фарес».
И период полураспада
этих слов меньше, чем надо,
чтобы задуматься.
Чтобы начать
действовать. Чтоб наложить печать.

4.

Там, в Семипалатинске
Сахаров осознал,
как положить створки,
где отыскать портал...

Шаг за шагом, теряя
статус, друзей, респект.
В итоге навсегда покинув Объект,
Он нащупал зыбкую, как во сне,
опору вовне – ремешок на былинной суме:
потянешь в четверть силы,
И ты уже в мать сырой земле
По колено. Потянешь сильнее – по пояс.
Потянешь в полную силу,
(что обрёл в Сарове, там, где заряд
срывал электроны с орбит, формируя ряд
реакций, в самой основе: рентген-лучи;
не лежал на печи – грыз калачи
науки, и вот пришла пора...)
Итак, потянешь ещё сильнее – и мать-сыра
земля у горла. И это вход
туда, в пустоту, где оторопело
застыла душа – Ева,
где Адама душа.
В конце концов, наши души
(ныне или потом).

5.

В Саровской пустыни на отшибе дом
Серафима – за сотню лет до того
как Сахаров появился тут, оттого
ему было легче? или нет?

Сам он уклончивый дал ответ:
«Третья идея пришла тогда нам, мне...»
Словно мелькнула тень в окне –
и тут же: вход в обрётённый (хотел–не–хотел) ад.
Так говорят.

Может быть, милосердие – это тот шест,
Тот балансир, когда усердие над РДС-шесть
выковало невидимый стержень внутри,

и дикари, а может не дикари
с плачем, похожим на шелест дубов
(дубами и вязами окружён Саров)
вышли... на немногочисленную землю

6.

держа на весу
дейтерий и литий
самую тяжесть су-
мы
и мы
все принимаем дамоклов дар.
А громовой удар
– это просто гроза.
Это – лето, июльский гром.
Пока.
Вот,
что
потом...

НА ПРИСТАНИ

Рассказ

Катер все еще стоял на пристани. Андрей лежал на свернутом канате на палубе и читал. Он устал от недосыпания и полярных дней, и все вокруг было замедленным и сделанным из ваты. Низкое солнце освещало реку, дома со спутниковыми тарелками, цистерны, вертолетную площадку и сараи, обшитые раскроенными бочками из-под бензина. Мужчины разбирали мешки с углем из общей большой горки. Между домами играли дети.

Он прожил в поселке два месяца и собирал материал для дипломной работы про малочисленный северный народ. Ночью в его комнату постучал матрос и сказал, что катер скоро отчалит. Он собрал рюкзак и пришел на катер, но через несколько часов корабль так и стоял на месте. Команда пила с тех пор, как они прибыли в поселок.

Он еще раз погулял по тундре: прошел мимо кладбища, разбитого и побелевшего деревянного капкана, большого оврага, озера, лиственничной рощи с подвешенным на ветвях гробом. Под ногами текли ручьи. Зелено-голубая плоскость однообразно тянулась до горизонта, но не казалась пустой. На древнем языке название этой земли значило «щедрость».

На обратном пути Андрей увидел большую лохматую собаку: наклонив голову, она что-то ела. Он подошел ближе, и собака убежала. Под кустом с красными цветами прямо на кочке было свито гнездо гагары, но яйца были разбиты и выедены, по скорлупе стекали остатки желтка. Андрей вернулся в поселок и на корабль.

Он попытался читать, но скоро на палубу из каюты поднялась Зоя – местная девушка, у которой он брал интервью. На ней был легкий пуховик и кроссовки, но не было штанов. Голубые вены проступали на худых ногах. Уголки ее губ всегда смотрели вниз, и лицо казалось грустным.

– Вы не видели мои штаны?

Она перегнулась через поручень и посмотрела, нет ли ее штанов в воде. Андрей сказал, что лучше бы она пошла домой.

– Помогите мне их найти, и я пойду домой.

Хотя она была пьяна, ее говор звучал странно и приятно. Андрей спустился в каюту. В крошечном темном помещении сидели матросы и женщины из поселка. На столе стояли бутылки, кружки и миска с сугудаем – нарезанной тонкими ломтями сырой рыбой с луком и перцем. Дизельная печка гудела из закутка камбуза и отбрасывала на стены быстрые красные блики. Матросы смеялись, курили и обнимали женщин. Когда крик стихал, из соседней закрытой каюты было слышно, как стонет женщина. Андрей взял с койки Зоины джинсы и вернулся наверх.

Игорь Масленников родился и живет в Москве. Закончил Институт международных отношений. Работал в СМИ. Аспирант Института этнологии и антропологии РАН. Рассказы публиковались в сборнике Союза писателей Москвы и сетевом журнале «Литература». Соавтор документального фильма «Люди Таймыра».

Зоя оделась. На палубу поднялся судовой радист, тоже из местных, с татуировкой на груди. Он снял запотевшие очки, и маленькие глаза потерялись на загорелом лице.

– Зайчик, давай возвращайся к нам. Все по тебе соскучились. – Радист взял Зоину руку.

– Ребята, слушайте, девочке семнадцать лет. – Андрей волновался. – Она совсем набралась. Уже утро, она хочет баиньки.

– Неа, ей девятнадцать, – без злости ответил радист, как будто назвал правильный ответ в викторине.

Зоя вдруг выдернула свою руку из его руки и ушла на баржу. Радист махнул на нее и спустился в каюту. Андрей пошел вслед за ней на баржу.

Она плакала. Они прошли на ближний к берегу борт и увидели, что трап сброшен вниз; его медленно уносило течение. Андрей прыгнул в воду.

– Подожди, я сейчас положу трап на место.

– Эээээх, – протянула она местное восклицание. – Нет, не надо. Я не пойду домой.

– Зоя!

– Я не хочу домой! Вы просто не понимаете...

Она села на корточки и рассказывала Андрею, стоящему по колено в воде, про свою семью. Отец почему-то не жил с ними, но время от времени приезжал и тогда бил ее мать. У матери были подработки в поселке. Сама Зоя два года назад закончила школу и не знала, чем заняться. У нее был младший брат. Андрею было скучно ее слушать, но он хотел помочь.

– Еще у меня женская болезнь. Не помню, как называется... Если забеременею, могу умереть.

Она снова заплакала. Андрей заметил, что капельки ее слез были очень маленькими, совсем как у ребенка. «Может быть, это из-за разреза глаз», – подумал он.

– Ты можешь уехать отсюда. Сначала в Дудинку, потом в Норильск. Подыскать что-то интересное.

– Не знаю, вряд ли, – ответила она и ушла на катер.

Андрей поднялся на борт, прошел в капитанскую рубку. Сердце быстро билось. «Сволочи, идиоты! И она сама такая же идиотка! Что мне делать? Ворваться в каюту, закричать, чтобы они отпустили ее? И что будет? Все замолчат, посмотрят на меня с угрозой. Радист скажет: “Она и без тебя решит, что ей делать”. Я скажу: “Нет, она вчерашний ребенок, она не в себе”. Сама Зоя скажет спокойно: “Я хочу остаться”. Я скажу ей: “Пока ты не уйдешь домой, я буду стоять здесь”. А радист скажет: “Пойдем”, – и возьмет ее за руку. Они уйдут в соседнюю каюту и закроют дверь на щеколду, вот и все... Или я могу ворваться туда и просто начать драться. Тогда меня побьют и ссадят на берег... Она ведь и правда совершеннолетняя и сама решает за себя... Никак я ей не помогу... – вдруг подумал он. – Но я действительно очень хочу, чтобы у нее все было хорошо. Чтобы она прямо сейчас пошла домой... Бог должен так все устроить. Это правильно. Пусть так все и будет».

Андрей поверил, что его желание сбудется и очень скоро он увидит, как Зоя поднимается по лестнице и уходит домой. Он обрадовался, достал из рюкзака сухую одежду и переоделся.

Прошло несколько минут. На палубе открылся и упал набок люк. Из каюты повалил табачный дым. Через люк в одних трусах вылез радист. Андрей смотрел на него через окно в капитанской рубке. Раскрасневшееся лицо казалось симпатичным. Ежась от холода, он делал все быстро – ковшом зачерпнул из бочки воду, напился, бросил ковш обратно, потянулся всем телом, слез в каюту и закрыл за собой люк.

Андрей смотрел на ковш, плавающий в бочке, и вдруг внутри него что-то протолкнулось, вскрылась какая-то внутренняя пробка. Всю ситуацию теперь обволакивало невидимое, благожелательное пространство – его самого, катер, матросов, Зою, других женщин. Его грусть

и усталость были внутри этого пространства. Ему казалось, что оно почти осязаемое – что он может протянуть руку и дотронуться до него, поиграть с ним. Вещи вокруг были как интересные игрушки. Из каюты доносился смех, а небо затянула тонкая серая пелена, в которой расплывалось солнце. Андрей так устал, что скоро спокойно заснул.

Через некоторое время женщины разошлись по домам; Андрея разбудили. Он спустился в каюту, расстелил на одной из коек спальный мешок и снова быстро заснул. В это время катер отчалил.

Андрей проспал остаток дня и всю ночь. Когда он проснулся, ощущение пространства было не таким ярким, но оставалось с ним. Громко гудел мотор. Через приоткрытый люк шел прохладный речной воздух. На койке напротив себя он увидел спящую Зою в обнимку с радистом.

Зоя встала после завтрака. Андрей спросил, зачем она села на катер.

– Я хотела уехать из поселка, – ответила она.

Еще через час с сильного похмелья проснулся капитан. Увидев Зою, он сразу спросил:

– Что это чудо делает на корабле?

Ее высадили на берег на первой остановке. Капитан договорился со своим приятелем, хозяином охотничьей точки, чтобы Зоя осталась у него, пока первый попутный катер не заберет ее обратно в поселок.

Данил ФАЙЗОВ

жало лежит в земле
жало таится в ранке
пчелы влетают в рамки
ведьмами на помеле

видимо будет жалко
солono и свежо
медная-медная кожа
солнцем порезана как ножом

нет времени уже не первый акт
а ружья эти траченные молью
у чеховых стреляют в головах
и отдается болью головною

тебе на сцену крылья за спиною
слова в устах и сцена на бровях
все движется любовью

Данил Файзов – поэт, драматург, режиссер. Родился в 1978 году в Игарке (Красноярский край). Жил в Вологде, в 1998 году переехал в Москву. Окончил Литературный институт им. Горького (семинар Татьяны Бек и Сергея Чуприна). Стихи публиковались в журналах «Арион», «Знамя», «Интерпоэзия», «Новый Берег», «Новый мир», «ШО» и др. Автор книг «Переводные картинки» (М.: АРГО-РИСК, 2007) и «Третье сословие» (М.: Воймега, 2015). В 2004 году вместе с Юрием Цветковым основал проект «Культурная инициатива», специализирующийся на проведении литературных мероприятий.

Елене Дорогавцевой

Тихонько так, пока все спят никто не слышит. Подумал тут, а может, нет любви уж никакой вообще, ее природа выкинула как ненужную функцию организма, а только влюбленность и всякое животное вообще. А может, исчезает результат? и раньше выжить и родить не помогали. теперь мешает, и случается, как хвост. Все прочее детали.

бывает день когда наоборот
дела паршиво мысли неказисты
но и броня крепка и танки быстры
их в бой ведут веселые таксисты
от минеральных вод

я их гляжу гудерианы добрых дел
неслыханное счастье
пока течет песок сквозь пальцы
оно проходит что-то не успел

ессентуки виновные в пропаже
секундой раньше ангел пролетел

не обернулся даже

это что ли святые стоят на помине
серу нервно теребя
в имени то что тебе в имени
если храм без гвоздя

а хворосту-то точно поднесут
духу сыну и отцу

любите бешеную рыбу
как вам за все сказать спасибо

за кислород и за еду
ты у кого на поводу

сжираешь червяка смешного
и безответственно и ново
выпрашиваешь бестолково
узду звезду
ну в лучшем случае беду

она не ловится и я ее клюю

потешные полки
и государю
преображенское подстегивает жизнь
семеново летит неудержимо
измайлово кричит держись

но улица протягивает розу
георгиевскую
великий ты остановись
и выплывай смеясь за жизнь держись
выплывай соленое веселье
остановись

ПЛАВУЧИЙ УНИВЕРСАМ ДОКТОРА ФИТЦА

Рассказ

Плавучий универсам доктора Фитца – это огромный пароход с четырьмя палубами, тремя трубами, двумя якорями и одним духовым оркестром. Попасть в этот универсам – заветная мечта каждого, но у пристани Фрюлингштадта он никогда не швартуется. Только в акватории Шённен-Блау владелец универсама, доктор Руперт Фитц, разрешает капитану бросить один из якорей, и тотчас десятки нарядных шлюпок с самыми богатыми жителями префектуры Ганцфогель устремляются к этому чуду науки и техники. В стоимость билета входит трансфер, обслуживание, развлечения, питание и любой товар, который вы сможете унести. Фирменные сумки, пакеты, корзинки и коробки тоже в счёт билета. Администрация универсама ни в чём не ограничивает своих клиентов. Можно хоть всю жизнь проплавать, прежде чем определишься, что выбрать.

В классе Магнуса Беккера все – и мальчики, и девочки – хотя бы раз в жизни видели плавучий универсам с пристани или издалека, в бинокль. Фридрих Цангер даже подплывал к нему на шлюпке – дедушка Фридриха работал одно время речным перевозчиком и взял внука в плавание. И хотя Фридрих был задирой, дружить с ним хотели все.

И лишь Магнус разглядывал детище доктора экономических наук Фитца только на рекламных проспектах. Нельзя сказать, будто Магнус был самым бедным в классе. Его мама, фрау Магда Беккер, и старшая сестра Элинор работали на ткацкой фабрике Фрюлингштадта, и мама даже подменяла несколько раз мастера. Магнусу до его совершеннолетия военным адмиралтейством выплачивалась небольшая пенсия по утере кормильца – папа Магнуса, военный моряк, погиб в бою. Беккеры могли позволить себе съездить к морю на курорт, провести в дом газ и электричество, исправно оплачивали счета, и даже хватало денег Элинор на вечерний колледж. Магнусу просто не везло. Он или болел, или мама с Элинор были на работе, или ещё какая-нибудь досадная накладка мешала им всей семьёй отправиться в Шённен-Блау, чтобы поглазеть на знаменитый на весь мир магазин всякой всячины.

Обычно Магнус не создавал проблем. Бывало, конечно, что он попадал мячом в чьё-нибудь окно, терял ключи, забывал заправить постель или вымыть ноги, но это, как считала мама, не повод для трагедии, это всё поправимо. И вдруг, накануне своего десятилетия, Магнус попросил у мамы и Элинор в подарок ни много ни мало, а билет в плавучий универсам.

Мама тогда сказала, что это очень дорого. Чтобы достать билет в плавучий универсам, нужно работать весь год, экономить на всём, и ещё неизвестно, хватит ли. Может, лучше велосипед? Магнус подумал и сказал, что если велосипед ещё не купили, то лучше эти деньги отложить на следующий год, чтобы проще было купить билет. Мама и Элинор удивились, но желание именинника – закон, и десятый день рождения Магнус встречал без подарков и именинного пирога. Карманные деньги по решению Магнуса тоже пошли в фонд билета.

Саммер Ленц родилась в 1984 году в поселке Жуланово Соликамского района, окончила факультет филологии и массовых коммуникаций Нижнетагильского социально-педагогического института. Участвовала в сетевых литературных конкурсах. Дебютировала в пермском журнале «Вещь». Живёт в Красноуфимске.

После летних каникул Магнус решительно налёг на учёбу, и в конце семестра заработал именную стипендию директора Фрюлингштадтской школы. Он вовремя делал уроки, бегал в лавку, сортировал бельё для прачечной, даже ужин готовил, чтобы мама и Элинор видели: Магнус достоин билета! Зимой он отказался от новогоднего и рождественского подарков.

Год пролетел быстро. Утром, когда Магнусу исполнилось одиннадцать лет, он проснулся за час до звонка будильника и тщательно обшарил всю комнату. Вожделенного подарка не было нигде. Мама и сестра ещё спали, будить их было нельзя, и Магнус изнемогал от нетерпения. Ведь плавучий универсам должен прибыть в Шённен-Блау уже завтра, как раз в выходной!

От отчаяния он прокрался на кухню и начал готовить завтрак. Замешал тесто на блинчики, нарезал сыр, включил плиту и поставил греться сковородку. Когда запахнет блинчиками, мама и Элинор обязательно проснутся.

Они и вправду проснулись, поцеловали Магнуса в щёки, поздравили с днём рождения и сели завтракать. О подарке никто не сказал ни слова. Магнусу кусок не лез в горло. Он ковырял вилкой в стопке политых клюквенным сиропом блинчиков и ждал, что сейчас кто-нибудь не выдержит и вручит ему билет.

В конце концов не выдержал он сам.

– Мама... – робко спросил Магнус, когда фрау Беккер встала из-за стола и начала собирать посуду.

– Да, капитан?

В день рождения она всегда звала его капитаном.

– А можно спросить?

– Про подарок?

– Да.

Мама убрала тарелки, кружки и вилки в мойку, сполоснула руки, тщательно вытерла их кухонным полотенцем и сказала:

– Капитан, тут такое дело... В этом году мы не смогли. Билет слишком дорогой, мы даже на половину нужной суммы ещё не заработали.

У Магнуса задрожали колени и запершило во рту. Мама с сестрой за всё это время не давали ни малейшего намёка, что может не получиться. Они подбадривали его, тоже строили планы, как поедут в Шённен-Блау и чем будут там заниматься, пока Магнус гуляет по универсаму...

– Магнус, только не реви! – предупредила Элинор.

Хорошо ей говорить! Он уже проболтался в классе, что ему подарят. Ему, разумеется, никто не поверил, все начали дразниться. Даже лучший друг Юрген покрутил пальцем у виска: больной, что ли? Скажи ещё, что пасхальный кролик яйца несёт.

– Капитан, миленький, ну, прости нас, пожалуйста, – сказала мама, сама едва сдерживая слёзы. – Мы собрали все деньги, Элинор вчера взяла отгул за свой счёт и специально ездила в Шённен-Блау за билетом. Там сказали, что детей без сопровождения взрослых в плавучий универсам не пускают, а взрослый билет стоит в два раза дороже, чем детский.

Это была катастрофа. Магнус мог ограничивать себя, но ограничивать маму и Элинор... Мечта умерла, и Магнус хотел горько её оплакать.

– Я кому сказала не реветь? – строго повторила Элинор.

– Отстань...

– Нет уж, Магнус, не отстану.

Элинор села перед братом на корточки и посмотрела ему в глаза. Глаза у Элинор красивые – большие, тёмно-карие, и сама она очень милая.

– У меня есть для тебя подарок, – сказала она. – Даже два, если честно. Посмотри в кладовке. Не смей бежать – это точно не билет. Но этот подарок тебе точно пригодится.

Магнус встал со стула и покорно отправился в кладовку.

Подарки он увидел сразу. Это были два больших свёртка, один – почти в рост Магнуса, другой – ему до пояса. Что внутри, понять было нельзя, потому что подарки были завернуты в белую

обёрточную бумагу так щедро, что это могло быть что угодно, даже якоря с плавучего универсама. Оба подарка были перевязаны нарядными лентами.

– Что это? – спросил Магнус, обернувшись на маму.

Мама, похоже, тоже не знала, потому что вопросительно смотрела на Элинора. Элинора почти не улыбалась. Она, наверное, боялась, что подарок Магнусу не понравится.

– Открывать?

– Подожди, капитан, я сяду, – сказала мама и присела на краешек стула.

В первом свёртке оказалась настоящая дворницкая метла. Такие стоят в углу скобяной лавки герра Шнитцельбаке и стоят четверть талера, потому что, как утверждает сам герр Шнитцельбаке, им сносу нет. Во втором свёртке Магнус нашёл совок на длинной ручке, тот, в который сгребаешь мусор, и он не вываливается. Такой совок стоит полталера. Ещё столько же – и получится велосипед, от которого Магнус отказался в прошлом году.

– Братик, ты только не торопись обижаться, ладно? – взмолилась Элинора. – Мы с мамой очень тобой гордимся. За прошедший год ты стал взрослее всех твоих одноклассников. И я подумала: если ты уже такой взрослый, может, тебе найти работу? В нашем колледже дворнику Михелю нужен помощник. Если хочешь, я договорюсь.

– А сколько будут платить?

– Немного. Всего талер в неделю. Но на следующий год мы точно сможем купить билет в универсам. С двенадцати лет уже положен взрослый.

Магнус шмыгнул носом, подошёл к Элиноре и обнял её. Элинора тоже обняла брата.

– Только не реви, – предупредил он.

Сказать, что в школе день прошёл ужасно – это ничего не сказать. Известие о том, что Магнус собрался в плавучий универсам, ещё вчера облетело все классы, и сегодня все только и ждали, чтобы увидеть Магнуса без билета. Все – и даже Юрген! – обзывали Магнуса хвастуном, говорили, что он завидует славе Фридриха. Девочки сложили из бумаги кораблик, написали на нём «Плавучая лавка хвастуна Магнуса». Фридрих несколько раз пребольно ударил Магнуса по щиколотке, а в конце уроков на ранце кто-то написал чернилами «подайте на билетик». Напрасно учителя пытались вразумить обидчиков Магнуса. Напрасно он сам пытался объяснить, что на самом деле накопил на детский билет, просто без взрослых туда не пускают. Никто не хотел слушать.

Сначала Магнус хотел отлупить всех. По счастью, он понимал, что даже Юргена вряд ли отлупит, хотя они и одного роста. К тому же за драку его вряд ли похвалят, а терять именную директорскую стипендию – три талера за семестр – в его планы не входило. Можно было зареветь и убежать, и несколько раз Магнус был близок к этому. Но тогда пиши пропало, и даже если произойдёт чудо и он внезапно окажется в универсаме, и фотографию опубликуют на первой полосе «Фрюлингштатт цайт», он навсегда останется в памяти школы как тот, кто заревел и убежал. Терпеть издевательства помогала мысль о подарке Элиноре. Как он вернётся домой, как сделает уроки и как вместе с сестрой пойдёт знакомиться с дворником Михелем.

После школы одноклассники и прочие, кому было не лень, шли за Магнусом, швыряли в него комки грязи, прошлогодние шишки, плевались жёванной бумагой. Фридрих, отчаявшись задеть Магнуса, назвал его маму и сестру нехорошими словами. Магнус назвал его говнюком, и это стало поводом устроить кучу-малу, в результате которой Магнусу оторвали рукав школьной куртки, поставили фингал и укусили за подмышку.

По счастью, дома никого не было. Магнус приложил к фингалу грелку со льдом, и в таком неудобном положении сделал уроки. Потом, уже без грелки, пришел, как умел, рукав куртки. До каблука не так далеко, за лето он вырастет и не влезет в куртку, так что мама, наверное, не заметит.

Элинора пришла со смены в пять часов вечера, наскоро перекусила бутербродом, обжигаясь, выпила какао и спросила Магнуса:

– Готов?

Готов он был уже давно. Нашёл в чулане старый рабочий халат Элинора, вытащил из сундука мамнины прохудившиеся ботинки – вот вам и униформа. Головного убора, правда, не было, но он

вспомнил об издевательском кораблике, и вытащил его из мусорной корзины, куда было записанул, вернувшись из школы. Пусть будет хоть какая-нибудь польза.

Внешний вид Магнуса Элинор не понравился, но она не сказала ни слова ни о синяке, ни о надписи на бумажном кораблике.

– Сними это и сложи в сумку, в колледже переоденешься, – сказала она. – И побыстрее, трамвай через десять минут отходит.

Тащить одновременно сумку, метлу и совок не получилось, поэтому Элинор взяла метлу. С ней она была похожа на молодую начинающую ведьму, которая накануне Вальпургиевой ночи отправилась сдавать на лётные права. Завидев её, вагоновожатая Брунгильда затрезвонила на всю улицу. Элинор лишь улыбнулась и помахала в ответ свободной рукой.

Трамвай шёл через весь город. Люди входили и выходили, и только Магнус с Эльвирой стояли на задней площадке, потому что им нужна была конечная.

Вечерний колледж, в котором училась сестра Магнуса, был не только вечерним. Днём в нём учились те выпускники Фрюлингштадтской школы, родители которых не могли оплатить высшее образование. Здесь преподавали слесарное и токарное дело, готовили обслуживающий персонал для ткацких станков и железнодорожных путей, и много ещё чего. Просто вечером здесь проводились платные курсы для тех, кто хотел поступить в институт, для рабочих, которым предложили стать мастерами.

Магнус здесь уже был однажды, когда потерял ключ и вынужден был просить у Элинор записной. Но тогда он думал, будто колледж – это только новое трёхэтажное здание, покрашенное в светло-лазоревого цвета. Оказалось, что зданий в колледже целых шесть, половина из которых – производственные, и вокруг каждого нужно убирать территорию. Ещё в обязанности дворника входило отпирать ворота утром и запирать вечером, стричь кусты и газоны, убирать опавшие ветки, не давать разрастаться тополям, поливать в тёплое время года цветы и убирать их на зиму в оранжерею. Раньше со всем этим управлялся старый дворник Клаус, но он недавно умер, а его помощник, Михель, немножко не успевал.

Об этом Элинор рассказала Магнусу, пока они шли к дворничкой – маленькой будочке у сквера, окружающего колледж со всех сторон.

– И за всё это всего один талер? – испуганно спросил Магнус.

– Балбес, тебе этого всего и не поручит никто, – сказала Элинор. – Тебя никто не трудоустроит, пока ты выше метлы не вырастешь. Просто Михелю нужна помощь, он тебе из своего жалованья платить будет.

– А не обманет?

– Михель-то? Сейчас сам увидишь.

Михеля они увидели издалека. Это был высоченный парень в белом фартуке, который сгребал в кучу прошлогодние листья. Когда Магнус с Элинор приблизились, стало ясно, почему он «немножко не успевал». Михель походил на сломанную куклу. Голова его смотрела вверх и вправо, будто шею заклинило, пальцы на руках скрюченные, левую ногу он подволакивал, правой же будто подпрыгнуть хотел.

– Михель, привет. Я тебе помощника привела.

Дворник повернулся всем телом и будто сломался пополам, потому что смотрящая вверх голова не давала увидеть то, что происходит внизу. Магнус увидел, что глаза Михеля тоже сломаны – смотрят в разные стороны, а правый уголок рта опущен вниз, отчего лицо дворника казалось злым.

– И это помощник? – с трудом сказал Михель. – Маленький.

– Ну что ты опять начинаешь, Михель? – Элинор будто и не заметила разочарования в голосе дворника. – Он справится, он смыслённый.

– Нет. Слабый.

– Значит, дашь ему другую работу. Только учти – не дольше, чем до девяти вечера. Он должен успевать на трамвай.

- Сущеглупая гусыня, – сказал Михель. – Он сбежит.
- А ты сделай так, чтобы не убегал. Клаус, поди, тебя не сильно гонял.
- Заткнись и проваливай, – огрызнулся Михель и перевёл взгляд на Магнуса. – Спецовка?
- Есть.
- Иди в будку. Барахло там оставь. Будешь тележку катать.

Магнус повернулся к сестре, но Элинор уже была на полпути к своему колледжу. Делать было нечего, и Магнус отправился переодеваться.

В дворницкой было прохладно, вдоль стен стояли лопаты, мётлы, грабли, вилы, на стенах висел всевозможный садовый и плотницкий инструмент. Магнус быстро переоделся и бросился обратно.

– Видишь листья? – спросил Михель, уже не глядя на своего помощника, а просто тыча скрюченными пальцами в гору жухлой листвы. – Их нужно в компост. За оранжерею.

- А где это?
- По дорожке. До конца. Потом налево. Там увидишь. Листья не ронять. Дорожка чистая.
- А вы что будете делать?
- Чай пить, болван! Видишь, сколько ещё?!

Грести и впрямь было много чего. Половина сквера, очищенная от прошлогодней пади, ярко зеленела свежей травой, а другая была будто пылью прибитая.

Михель дал Магнусу вилы, показал, как удобнее загружать листву в тачку, и ушёл с граблями в другой конец сквера. Магнус остался один на один со своей работой.

У дворника вилами орудовать получалось куда ловчее. Как Магнус ни старался, вся листва у него отчего-то высыпалась между зубьями. В конце концов, он так умучился, что бросил вилы и начал грузить листву охапками. Дело пошло быстрее. Магнус нагрузил тачку с горкой, схватился за ручки, и чуть не опрокинул. Ближе к ручкам надо грузить, догадался Магнус. Он перераспределил нагрузку. Поднимать тачку стало тяжелее, но зато она перестала вылетать из стороны в сторону. Осторожно развернувшись на месте, Магнус покатил тачку по гаревой дорожке.

Пару раз ему приходилось останавливаться от усталости, ещё три раза из-за лёгкого встречного ветерка, норовившего выдуть листья из тачки. Но с грехом пополам он всё-таки докатил тачку до компостной ямы, вывалил листву и налегке, чуть ли не вприпрыжку погнал назад.

Гора листьев как будто и не убывала. Магнус с тоской посмотрел на эту невероятных размеров гору, погрозил кулаком липам, сбросившим столько листвы, и принялся грузить тачку снова. Теперь он сразу развернул её в сторону оранжереи и трамбовал листья, чтобы влезало больше, а чтобы ничего не разлеталось – накрыл груз сверху халатом и придавил сверху вилами, не просто так же им валяться.

Рейсы до компостной кучи и обратно участились. Скоро Магнус сбился со счёта, сколько раз он ездил туда-сюда. Он грузил, отвозил, вываливал, возвращался. И вдруг листья закончились. Он сам не заметил, как всё увёз.

Гордый, Магнус покатил тачку туда, где Михель скрёб земли граблями.

- Я всё! – сказал он.
- Наконец-то, – сердито ответил дворник. – Думал, ты сдох. Убирай эту кучу.
- Эту?! – протянул в ужасе Магнус.

Оказывается, пока он воевал с первой кучей, Михель успел нагрести вторую, раза в три больше той.

- Шевелись!

Магнус тяжело вздохнул и принялся загружать тачку.

Занятия у Элинор закончились без десяти девять. Она вышла на крыльцо главного корпуса и огляделась в поисках брата. Магнус уже стоял у ворот колледжа, рядом с ним стоял Михель. Оба были мрачны и друг на друга не смотрели.

- В чём дело? – спросила Элинор, подойдя ближе.
- Не годится, – покачал головой дворник. – Слабый. Вот оплата. Больше пусть не приходит.

Михель отсчитал четыре медяка и протянул Элинора. Она исподлобья посмотрела на дворника и сказала:

– Во-первых, работала не я, а мой брат, и деньги будь любезен передать ему в руки, если не боишься. Во-вторых, где ты найдёшь помощника лучше за такие деньги? Может, в дирекцию пойдёшь? Они тебя мигом попросят освободить место тому, кто справляется. А в-третьих, дорогой Михель, ведёшь ты себя по-свински.

Михель яростно задышал, повернулся к Магнусу и буквально затолкал монеты ему в ладонь, после чего быстро, как только мог, уковылял прочь, повторяя «доннерветтер». Элинора как ни в чём не бывало пошла к остановке трамвая. Магнус поплёлся вслед за ней. Он ничего не понимал. Разве он не старался? Разве он не перетаскал все листья за оранжерею? Разве он оставил хотя бы листик на дорожке? Но Михель всё равно остался им недоволен, ворчал, называл бесполезным куском мяса и вот, получается, уволил. Видно было, что Элинора разочарована. Магнусу не хотелось разочаровывать сестру, тем более что она изо всех сил старалась ему помочь.

– Лина, – сказал он, когда они сели в трамвай. – Я не виноват, честно. Я всё делал...

– Глупый, – ответила Элинора и взяла Магнуса за руку. – Я уверена, что ты всё делал правильно. Михель, похоже, очень ревнует к своей работе. Он получил её недавно и очень боится её потерять. Ты же видел, какой он...

– Он воевал?

– Нет, что ты. Просто он таким родился, поэтому все думают, будто он ничего не может. Клаус всему его научил, хотя мог обходиться и без помощника. И теперь Михель боится: если дирекция увидит, что у него есть помощник, там могут подумать, что проще нанять кого-нибудь не такого... ну, как Михель. Ничего, мы найдём тебе ещё что-нибудь. На фабрике...

– Ой! – вдруг всполошился Магнус. – Метла! И совок! Я же их в будке оставил!

– Ерунда, завтра я их заберу, – успокоила его Элинора. – Ой, нет, у меня завтра смена...

– Мы завтра не учимся, я сам могу съездить.

– Хорошо. Вот тебе на завтрашний проезд и провоз багажа...

– Не надо. Мне заплатили, ты забыла, что ли?

Элинора пристально посмотрела на брата и сказала:

– Магнус, мне кажется, ты очень быстро взрослеешь.

От этих слов у Магнуса запылали уши, а по спине побежали приятные мурашки. Всё-таки Элинора очень милая. Вряд ли кому-то сёстры говорят в день рождения настолько приятные слова.

Дома их ждал капустный пирог от бабушки Лизхен, соседки Беккеров. Бабушка Лизхен нечасто заходила в гости, она торговала на рынке тыквенными семечками, но сегодня вдруг зашла. Выглядела она сегодня какой-то особенно торжественной.

– Сегодня по рынку слух прошёл, будто малыш Магнус билет в плавучий универсам покупать собрался, – сказала бабушка, когда они сели ужинать.

– Что? – посмотрела мама на Магнуса.

– Вы, фрау Магда, не удивляйтесь. У нас бургомистр только подумает, а на рынке уже известно, что торговая точка подорожает. Я это к чему разговор-то завела, – теперь бабушка Лизхен обращалась непосредственно к Магнусу. – Ты, милый, возьми мне там, пожалуйста, по мотку золотой и серебряной пряжи, я точно знаю, что там есть. Хочу, знаешь ли, гобелен закончить, прежде чем богу душу отдам, а там без золота и серебра ну просто срам получается, я уже столько раз распускала...

– Э... – растерялся Магнус.

– Он обязательно возьмёт, – пообещала Элинора. – Мы даже список напомним. – Только это случится через год, не раньше.

– Да-да, конечно, я не тороплю, – часто закивала соседка. – Для нас, стариков, что год, что десять – всё едино. С днём ангела тебя, малыш!

Магнуса очень удивило, что одно только обещание доставило бабушке Лизхен столько удовольствия. Мама говорила, что пожилым людям приятно оказанное им внимание и уважение, наверное, это тот самый случай.

Дальше ужин прошёл как обычно: Беккеры рассказывали о том, что произошло за день, бабушка Лизхен тоже поделилась своими наблюдениями на рынке, пирог оказался очень вкусным. Когда со стола убрали, а соседку проводили, Магнус понял, что вконец вымотался. День оказался очень длинным, хотя и пролетел быстро. Пожелав всем спокойной ночи, он отправился к себе на чердак и заснул прежде, чем успел укрыться одеялом.

На следующее утро он чуть было не проспал. Хорошо, что петух бабушки Лизхен такой голосистый.

Метла и совок! Магнус посмотрел на будильник. Трамвай через пять минут. Натянув штаны, Магнус схватил рубашку и быстро спустился вниз. Мамы и Элинора уже не было, на столе, накрытый салфеткой, ждал завтрак. Увы, времени уже не было, поэтому Магнус сунул в башмаки босые ноги и выскочил из дому, на ходу застёгивая рубашку. В трамвай он впрыгнул почти на ходу и, отдышавшись, понял, что не запер дверь. Ладно, может быть, за тот час, что его не будет, никто к ним в дом не заберётся.

В субботнее утро колледж и сквер вокруг него выглядели очень нарядно. Зелень травы теперь ничего не скрывало, и она переливалась в лучах солнца словно какое-то сокровище, а не обычная трава, которую щиплют коровы, кролики или, например, куры бабушки Лизхен. Магнус ещё раз отметил, что после него вчера не осталось ни листочка.

Он подошёл к воротам, но те оказались заперты. Колледж по субботам открывался с десяти часов, то есть ждать нужно не меньше полутора часов. В глубине сквера угадывалась дворницкая будка. Дверь в неё была открыта настежь, из трубы вился едва заметный дымок. Значит, Михель там. Крикнуть ему? Судя по вчерашнему, дворник точно не будет рад его видеть. Но как тогда попасть в сквер? Между прутьев Магнусу уже не просочиться, а через ограду – тем более.

Он пошёл вдоль ограды в надежде найти какой-нибудь лаз. Увы, прутья стояли один к одному, и в их строе просвета не было. На углу улицы ограда тоже поворачивала, и теперь вела вниз, к реке. Делать всё равно было нечего, и Магнус пошёл туда.

Но и у реки его ждало разочарование. Не доходя каких-то десяти метров до кромки воды, ограда вновь поворачивала, и дальше, сколько видит глаз, тянулась вдоль берега.

– Эй, малёк, ты чего здесь крутишься? – окликнул его какой-то человек в выходном клетчатом костюме, канотье и лаковых штиблетах. В одной руке он держал перчатки, в другой – трость.

– Ничего, – ответил Магнус. – Мне туда нужно, а там закрыто.

– В десять часов откроют.

– Мне не гулять, мне по делу.

– Скажите пожалуйста, дела у него, в выходной-то день! Все школьники в Шённен-Блау стремятся, на универсам посмотреть, а этот тут околачивается.

Понять человека было трудно. С одной стороны, он, вроде, выражал недовольство поведением Магнуса. С другой стороны, мужчина не выглядел угрожающе, голос его был скорее весёлым, чем сердитым.

– И какое у тебя там дело? – спросил незнакомец.

– Мне нужно забрать у дворника метлу и совок. Они мои.

– Ну, если нужно, то идём. Я директор колледжа, и у меня есть ключи.

Тут Магнус не на шутку испугался. С одной стороны, Михель оказался пренебрежительным типом, и расстались они вчера не самым лучшим образом. С другой стороны, Магнус знал, что Михель боится дирекции, и директора, стало быть, боится тоже. И как теперь объяснять, каким это образом какой-то мальчишка оставил у дворника метлу и совок?

– А... извините... я, может, в следующий раз? – заюлил Магнус.

– Да чего ждать-то, малёк? Мне всё равно по пути.

– Вы только не ругайте Михеля, ладно? – попросил Магнус. – Честное слово, он тут не при чём.

– Разберёмся. Да не переживай ты так, пустяковое же дело, – успокоил директор Магнуса.

Они бодрым прогулочным шагом проделали обратный путь до ворот колледжа. Здесь директор похлопал себя по карманам, после чего раздосадовано пробормотал:

– Вот растяпа! Ключи-то у меня в другом пиджаке. Ладно, пойдём, тут недалеко. Я с тобой возвращаться уже не буду, дам тебе ключи, а ты передашь их Михелю, он мне потом отдаст.

– А так можно? – Магнус обрадовался, что дворник не увидит его вместе с директором.

– Не вопрос, малёк. Идём...

– Ты здесь чего?!

Магнус растерянно поднял глаза и увидел грозно нависшего над ним дворника. В руках у Михеля был бумажный пакет, из которого торчало горлышко бутылки и батон.

– Пшёл вон, урод, – окрысился на него директор. – Здесь приличные люди гуляют, не видишь?!

Директор неожиданно крепко сжал ладонь Магнуса и потянул за собой.

– Но... – попытался возразить Магнус.

Директор сжал руку ещё сильнее, даже больно стало:

– Никаких «но», малёк, давай быстрее. Тебе же ещё нужны ключи?

– Но Михель...

– Да куда не денется твой Михель.

– Это я Михель, – сказал дворник, переключив внимание с Магнуса на директора. – Я тебя знаю. Остенштрассе. Галантерея. Перчатки. Вольдемар, да?

Магнус взглянул на «директора», и теперь ему стало не просто страшно, он ощутил, как душа уходит в пятки. По лицу Вольдемара, словно волны, прокатились выражения страха, досады, ненависти и ещё чего-то, что Магнусу было пока незнакомо. «Директор» замахнулся тростью, пытаясь ударить ею Михеля, причём ударить не так, чтобы ему было больно. Вольдемар хотел нанести дворнику смертельный урон.

По счастью, трость была у «директора» в левой руке, потому что правой он держал за руку Магнуса. И левой «директор» тоже не был, поэтому удар своей цели не достиг. Он только выбил бумажный пакет с едой из рук Михеля. Бутылка в пакете разбилась, и на мостовой моментально образовалась белая молочная лужа.

– Ах ты мясо! – рассердился дворник, неожиданно ловко стрёб Вольдемара в охапку и начал мять, как мнут тесто. Магнусу показалось, что затрещали кости, и он от страха заорал во весь голос. Именно в этот момент раздался полицейский свисток. Все – Михель, «директор» и Магнус – мгновенно встали по стойке смирно.

Полицейский, здоровенный детина, такой же высокий, как Михель, но раза в три шире, быстро пересёк проезжую часть, на противоположной стороне которой появился незадолго до этого.

– Что случилось? – спросил он.

– Ничего, господин полицейский, лёгкое недоразумение. Я нечаянно разбил бутылку молока этого несчастного, он рассердился, но я не в претензии.

– Ах ты мясо! – Михель вновь полез в драку.

– Молчать! – перебил полицейский. – Мальчик, ты с кем?

– А вы знаете?! – внезапно оживился «директор». – Кажется, я что-то видел. Этот урод приставал к мальчику, когда я шёл мимо. То есть я сначала не придавал значения...

– Что? – хором спросили полицейский и Михель.

– Да-да, теперь я понимаю! – продолжал «директор». – Кажется, он звал его в сквер, он там дворником работает.

– Мальчик? – полицейский посмотрел на Магнуса.

Магнуса сковал ужас. Этот «директор» Вольдемар врал, как дышал. Он был уверен в себе, ни капельки не боялся полицейского, и говорил так, будто он здесь один. И при этом смотрел на Магнуса, как змея смотрит на мышь.

– Ребёнок напуган. Давайте, я отведу его домой...

– Этот мужчина сказал, будто он директор колледжа и может впустить меня в сквер, – услышал Магнус свой дрожащий голос.

– Не слушайте его, мальчик только что испытал...

– Зачем тебе в сквер? – полицейский не обращал внимания на болтовню Вольдемара.

– Я шёл к Михелю, – Магнус кивнул на дворника. – Я помогаю ему в свободное от учёбы время.

– Ты сейчас вместо Клауса? – спросил полицейский у Михеля.

Михель кивнул, страшно при этом искривившись.

– Ты знаешь, как зовут мальчика?

– Магнус, – сказал Михель.

– А как вас зо...

Полицейский обернулся к «директору», но он уже бежал прочь, распахивая прохожих. Полицейский снова засвистел.

– Я его знаю, – сказал Михель. – Он перчатки продаёт. На Остенштрассе. Зовут Вольдемар.

– Будь у себя, я вернусь, – коротко ответил полицейский, и с неожиданной для его размеров прытью бросился в погоню. Спустя мгновение Магнус и Михель остались одни.

– Я инвентарь забыл, – сказал Магнус как можно твёрже. Похоже, по его вине Михель попал в неприятности.

– Идём.

Михель открыл ворота, но запирать не стал, на тот случай, если полицейский вернётся. Они прошли в дворничью. Там на печке подпрыгивал огромный чайник. Из его носика бил пар, крышка тоже скакала. Михель схватил рукавицу и переставил чайник на верстак.

– Ну? – спросил он у Магнуса.

– Что?

– Там. На тротуаре. Свинячество. Иди и убирай. Вот щётка. Вот ведро. Совок возьми. Вода из гидранта. Там рядом.

Когда Магнус пришёл убирать «свинячество», оказалось, что убирать почти нечего. Две дворняги уже слопали батон, и теперь слизывали с камней остатки молока. Магнус сгрёб в совок битое стекло и размокшую бумагу, набрал в ведро воды и затёр пятно. Вода на лёгком ветерке моментально высохла. Тротуар вновь был чист.

Вернувшись, Магнус спросил, куда девать мусор. Михель молча проводил его в сарай, в котором вдоль стены стояло несколько огромных ларей с надписями: «Битое стекло», «Бутылки», «Бумага», «Дерево», «Ткань», «Металл». Выбросив бумагу и осколки, Магнус вышел из сарая. Его мучила совесть. Спасая Магнуса от страшного «директора», Михель остался без батона и молока. Нужно купить для него эти продукты. С собой было только двадцать вчерашних пфеннигов, значит, на трамвай уже не хватит, но зато у дворника не будет повода думать о Магнусе как о неблагодарном куске мяса.

Искать продуктовую лавку в незнакомом районе – не самая удачная мысль, особенно после того, как едва не попал в лапы незнакомца, но Магнус полагал, что Михель вряд ли ходил куда-то далеко. Так и оказалось: маленький ларёк притаился в нише у ограды сквера. По счастью, денег хватило и на бутылку, и на хлеб.

Михель не обрадовался возвращению Магнуса, но за продукты спасибо сказал. Стоя рядом с верстаком, он откусывал от батона, и пил прямо из горлышка. Магнус тихо стоял у двери и изо всех сил скрывал, что тоже голоден. Наконец, дворник проглотил последний кусок и спросил:

– Чего ждёшь?

– Инвентарь забрать можно?

– А работать чем? Метла одна. Совок один.

– Э... Так я не уволен?

– В понедельник. Без директора.

Домой Магнус добежал, как ему казалось, быстрее трамвая.

В понедельник издевательства в школе возобновились. Почти все ездили в Шённен-Блау, все видели плавучий универсам, но никто не видел там Беккера. Но на этот раз Магнус вообще не реагировал на подначки и тычки. Он уже видел, как на двенадцатый день рождения поднимется по трапу на борт универсама, наберёт там всяких конфет и леденцов в фирменных фантиках и раздаст потом перед уроками всем, кто так злобно шипит ему в спину. И обязательно со всеми помирится и никому не припомнит зла, даже Фридриху. И даже не вспомнит о предательстве Юргена. Главное – с понедельника по пятницу являться на работу и делать всё, что скажет Михель, который, как оказалось, совсем не плохой.

Незаметно пролетел май. Все летние каникулы Магнус провёл, благоустраивая территорию колледжа. К нему все привыкли, даже дирекция. Михель перестал ругаться, научил правильно держать в руке ножовку, стричь кусты секатором, стал доверять ключи от ворот. Несколько раз Магнус вообще полностью заменял дворника, потому что у него были какие-то срочные дела дома. Если кто-то спрашивал Михеля, Магнус отвечал, что он вывозит мусор, обещал передать поручение и выполнял его сам. Если в дирекции об этом и догадывались, то смотрели сквозь пальцы: работа-то, в конечном счёте, выполнена, бюджет не превышен, значит, всё в порядке.

На двери в дворницкой висела вырезка из «Фрюлингштадт цайт»: фотография полицейского Дерека Лемке, задержавшего опасного преступника, несколько раз покушавшегося на жизнь мальчиков и девочек, слава богу, безуспешно. Задержать преступника помогли сознательные граждане Фрюлингштадта, пожелавшие остаться неизвестными. Справедливости ради, Магнус и Михель с удовольствием бы не остались неизвестными, но Магнус решил, что если дома узнают об этом приключении, его вообще никуда отпускать не будут.

Внезапно лето закончилось. Сквер сначала вспыхнул разноцветным пламенем, потом пламя облетело, зарядили дожди. Цветы с клумб Магнус с Михелем перевезли в оранжерею, отапливать которую тоже приходилось им. Когда выпал снег, работать стало немного легче: чистить приходилось только дорожки, а газоны, клумбы и сам сквер постепенно заматало. Иногда Магнус помогал Михелю загружать мусор в грузовики. Оказалось, за мусор платят, и узнав сколько, Магнус мигом подсчитал, что с одной их улицы за полгода можно собрать мусора на половину билета!

– Какого билета? – не понял Михель, перекидывая тюки с макулатурой в кузов грузовика.

– В универсам.

– В универсам? По билетам?

– Чудак человек! Это плавучий универсам доктора Фитца, там есть абсолютно всё, чего только может желать человек.

– Так уж и всё?

– Доктор Фитц утверждает: если покупатель не обнаружит в его универсаме какой-либо товар, существующий в мире, он лично выплатит десятикратную компенсацию за билет, ну, и ещё всякое.

– И ты нашёл такой товар?

– Я?! Нет. Погоди!

Магнус вылез из ларя с бумагой и сбегал в будку, где висела на гвозде его гражданская одежда. В заднем кармане штанов лежал старый портсигар, раньше принадлежавший отцу. В портсигаре давно уже не было папирос, и Магнус хранил в нём фотографию отца и рекламный проспект плавучего универсама. Это был цветной буклет на четыре полосы, и на последней был изображён аэростат эконом-класса «Цепелин-смайт» с разборной гондолой, электродвижком и портативным генератором гелия. Эту картинку он и показал, вернувшись, Михелю:

– Вот это я хочу. И ещё бабушке Лизхен золотую и серебряную пряжу, конечно.

– Убиться веником, – хмыкнул Михель, поглядев на картинку. – А просто так этот пузырь никак не купить?

– Такой только в Америке продаётся, да и то не всегда, а только на салонах авионавигации. И заказов слишком много, я читал.

Магнусу было удивительно, что есть люди, которые ни разу не слышали о плавучем универсаме. И он стал рассказывать обо всём, что когда-либо читал про доктора Фитца и его магазин. Так они загрузили два грузовика, а после пошли чистить снег перед производственными корпусами. Пока шли, Михель вдруг снова спросил, дождавшись, пока Магнус на мгновение замолчит:

– Если в этой плавучей лавке всё так легко можно взять, почему тогда богатеи не летают на воздушных шарах? Уж наш-то бургомистр должен был купить своему сынку такую игрушку.

– Масса «Цепелина» со всеми комплектующими – сто килограмм без малого. А забрать можно только тот товар, который обладатель билета может унести сам. Ты что, слушал невнимательно?

– Как же ты его вынесешь?

– Очень просто. Я соберу аэростат прямо в универсаме, накачаю гелием и выведу за верёвочку.

– То есть обманешь владельца?

– Это не обман. В правилах не запрещено...

– Но так ведь никто не делает.

– Значит, я буду первый.

– Хитрый, – Михель дёрнул шеей. – Ладно, хватит болтать, снег сам себя не уберёт.

До половины девятого вечера они чистили пешеходные дорожки и подъездные пути, на этот раз молча. Но рассказ о плавучем универсаме, видимо, чем-то зацепил дворника, и под конец он спросил:

– И туда вот прямо всех-всех пускают?

– Если есть билет.

– А у тебя есть эти... правила?

– Конечно.

– Принесёшь?

– Спрашиваешь! Хоть завтра!

– Завтра выходной. В понедельник приноси.

Обычно дворник был нелюбопытен и молчалив. Казалось, будто у Михеля вечная ангина: когда ему приходилось говорить, он каждое слово выталкивал из себя, болезненно морщась. А сегодня он прямо забыл о своём недуге. Магнус был счастлив, что сумел вызвать в Михеле хоть какой-то интерес к окружающему миру. Может, он тоже начнёт копить на билет? Было бы здорово! Магнусу очень не хватало друзей, и если Михель будет проявлять к нему интерес хотя бы через плавучий универсам – что ж, пусть так.

На остановке его ждала Элинора.

– Как дела? – спросила она.

– Михелю понравилось, как я рассказываю про плавучий универсам.

– Почему я не удивлена, – рассмеялась Элинора. – Послушай, меня сегодня приглашали в дирекцию колледжа. В эти выходные привезут уголь для котельной, а котельщик заболел. Поможешь разгрузить?

– На выходных?.. – грустно протянул Магнус, поскольку хотел покататься на коньках.

– Ой, я забыла. Два талера.

– Два талера?! Да, я буду.

– Учти, это очень тяжело.

– Да я за два талера всё один сделаю!

– Не вздумай сказать об этом в дирекции!

Ах, если бы знать, как дадутся эти деньги! Магнус ещё десять раз бы подумал. Уголь приехал в пятитонном стudeбеккере, загруженном не с горкой даже, а с горой. По дороге он смёрзся, и чтобы разгрузить грузовик, пришлось снять все борта и долбить уголь ломом. Правда, долбил Михель, а Магнус лопатой сбрасывал заиндевевший уголь на землю, но это тоже было нелегко. А когда они освободили кузов, оказалось, что стudeбеккер придет ещё четыре раза. Так что последнюю тачку с углём Магнус вывалил только в воскресенье, во второй половине дня.

– А когда заплатят? – спросил он у Михеля, когда они, раздевшись до кальсон, вытряхивали угольную пыль из одежды.

– Завтра. Кастелян выплатит, – обычным своим недовольным голосом ответил дворник. – Правила принёс?

Правила Магнус принёс ещё вчера, но увидев объём работ, даже забыл о них.

– Вот, держи. Здесь правила, каталог товаров повышенного спроса, ну, и всякое разное.

Михель взял брошюру и бережно засунул в карман куртки.

– Чай будешь?

– Нет, – отказался Магнус. – Я хотел ещё часик на коньках, если успею.

– Как знаешь.

Магнус лукавил. На самом деле ему хотелось домой, поскорее лечь и выспаться. Он твёрдо решил никогда больше не выгружать уголь зимой. По крайней мере, за два талера.

На следующий день, едва Магнус приехал на работу, в дворницкой его ожидал кастелян. Он выдал два талера за выгрузку, дал расписаться в ведомости оплаты, а потом сказал:

– Пойдёшь в уборщики?

– Э... – растерялся Магнус. – А я разве...

– У нас уборщица производственных помещений увольняется. Я видел, как ты работаешь, и решил сначала тебе предложить, прежде чем объявление в газету давать.

У Магнуса на миг перехватило дыхание. Его берут на работу по-настоящему!

– А сколько платят?

– Четыре талера в неделю, но ты всё равно неполный рабочий день работаешь, так что два.

И зарплата выросла в два раза!

– Я!.. – Магнус готов был сказать «согласен», но тут взгляд его остановился на Михеле.

– Я подумаю.

– Думай быстрее, объявление в пятничную газету даём.

Кастелян забрал ведомость и ушёл. А Михель сказал Магнусу:

– Болван! Зачем отказался?

– Я не отказался. Но ведь ты...

– Справлюсь. Ещё и талер в неделю экономить буду.

– Но тебе нужен помощник!

– Тебе сколько осталось талеров до билета?

– Шестьдесят.

– Вот! У меня в помощниках тебе ещё год работать. А в уборщиках ты до лета почти сорок заработаешь. Переходи в уборщики. Или я тебя сам уволю.

– Но...

– Ты уволен! Собирай манатки и догоняй кастеляна!

Магнус схватил вещи и выбежал из дворницкой.

В производственных помещениях Магнусу нужно было каждый день мыть туалеты, подметать, раз в неделю делать влажную уборку, сортировать отходы учебного производства, поддерживать температурный режим в ткацком цехе, и ещё множество мелких дел.

Обычно он приходил, когда работы уже заканчивались, но иногда видел, как молодые парни и девушки работают на ткацких, дерево- и металлообрабатывающих станках, шьют, режут и сваривают металл газом и электричеством. Это было невероятно интересно, но смотреть долго он не мог – слишком много работы.

С обязанностями своими он справлялся хорошо, каждую пятницу кастелян, выдавая жалованье, лишь давал мелкие советы: как проще оттирать пятна или откуда удобнее сгребать стружку и опилки, чтобы меньше тратить времени и сил.

С Михелем они теперь пересекались крайне редко, только если случайно Магнус выносил мусор, а Михель поблизости чистил снег. Они здоровались, а потом снова расходились по своим делам.

Зима пролетела незаметно. Март выдался тёплым, и к апрелю весь снег уже сошёл. Неуклонно приближался день рождения.

В классе Магнуса все уже знали, что он зарабатывает на взрослый билет в плавучий универсам. Никто уже не насмешничал и не называл его вруном или хвастуном, и лишь Фридрих Цангер, предчувствуя, что скоро перестанет быть самым популярным учеником, всё отчаяннее и грязнее злословил. Магнуса это уже давно не беспокоило. Он знал, что в этом году тоже не сможет осуществить свою мечту, но это его уже не расстраивало. В следующем году он купит билеты и на себя, и на Элинора, и на маму.

В последний понедельник мая, уже в конце смены, в цех деревообработки пришёл Михель.

– Привет, – сказал он.

– Привет, – растерянно ответил Магнус. Он понял, что очень соскучился по дворнику.

– Как дела?

– Да вот... работаю. Герр Штайнер вроде доволен.

– Знаю. Я вот что... Элинора сказала, что тебе двадцать пять талеров на билет не хватает.

– Да ничего. Год терпел – и ещё год потерплю.

– Не надо терпеть. Вот.

С этими словами Михель достал из кармана тяжёлый на вид кожаный мешочек, затянутый шнурком.

– Тут тридцать талеров серебром. На всякий случай. Чтобы точно хватило.

– Михель... Нет, я не могу. Это большие деньги!

– Потом отдашь. Ты же не улетишь потом на этом пузыре?

– Нет, конечно. Ты что, в долг мне даёшь?

– Да. В долг.

Магнус бросил швабру и обнял Михеля за пояс. Выше бы он всё равно не дотянулся.

– Ты мой лучший друг за всю жизнь, – сказал он дворнику.

– Ладно тебе. Ну, отпусти. У меня работа.

Магнус разжал объятия. Михель, пряча лицо, пошёл на выход, и уже у дверей сказал:

– Ты хотя бы покажи, как они выглядят, эти билеты. А то уедешь...

– Обязательно покажу!

Не помня себя от счастья, Магнус закончил работу, переоделся, и отправился на трамвайную остановку. По пути ему откозырял сержант Дерек Лемке. Издалека затрещивала вагоновожатая Брунгильда. И какие-то парни и девушки – наверное, знакомые Элинора – радостно что-то прокричали Магнусу издалека. Будто все знали, что скоро он станет самым знаменитым мальчиком Фрюлингштадта.

Во время ужина Магнус рассказал маме и Элинора о разговоре с дворником и показал кошель. Что тут началось! Мама с Элинора скакали по кухне друг за другом и размахивали полотенцами. Они хохотали, как маленькие девочки. Они щекотали Магнуса. Они начали спорить, кто будет его сопровождать до универсама. И договорились, что поедут все. Заснул Магнус абсолютно счастливым человеком.

Как пролетели вторник, среда и половина четверга, Магнус даже и не помнил толком. Обычно пролетели: за учёбой, домашними делами и работой. Просто если бы его попросили рассказать, что за эти дни произошло, он бы сразу и не ответил, потому что мыслями был уже не в универсаме даже, а в гондоле «Цепелин-смарта». Он был абсолютно уверен, что если у него всё получилось с билетом, то и с аэростатом абсолютно точно получится.

Вечером четверга он возвращался сильно уставшим – в учебном ткацком корпусе было ужасно жарко и пыльно, и пока он там закончил, с него семь потов сошло. Поэтому он не сразу понял, войдя домой, что никого нет.

Магнус не испугался. Такое уже случалось. Это значило, что часть ткачей и ткачих вновь не вышла на работу, и мастер уговорил фрау Беккер и фройляйн Беккер отработать лишнюю смену. Неприятно, конечно, но такова взрослая жизнь. Он сам разогрел себе ужин, поел и лёг спать.

В половине седьмого утра бодро зазвонил будильник. Магнус проснулся, привёл себя в порядок, позавтракал вчерашним ужином, взял ранец и только в прихожей понял, что мамы и Элинора до сих пор нет дома: в прихожей не было ни обуви, ни одежды.

А если их ограбили, вдруг подумал Магнус. Стараниями бабушки Лизхен весь Фрюлингштадт знал, что Магнус Беккер накопил на билет в плавучий универсам. Это огромные деньги. Маму и Элинора могли схватить бандиты.

Он разулся и бросился в спальню. Деньги мама хранила в тайнике под кроватью. Магнус нырнул под кровать и поднял половицу. Денег не было.

Сердце бешено колотилось. Нет, на фабрику бы они с деньгами не пошли. Но они могли вообще не ходить на работу, у них достаточно отгулов накопилось, чтобы вместе съездить в Шённен-Блау за билетами. Их могли ограбить в поезде, а тела выбросить на ходу, о таком уже писали в газетах. А что, если...

В это время раздался стук. Магнус на дрожащих ногах подошёл к двери и спросил:

– Кто там?

– Магнус! Это бабушка Лизхен.

Магнус рывком открыл дверь.

– Малыш Магнус, прости старую, совсем запамятовала вчера. Фрау Магда и Элинора просили передать, чтобы ты их не терял, а я уснула, старая тетеря.

– Где они?

– Они на забастовке.

– Забастовке?

– На фабрике рабочих сокращают, вот профсоюз всех и взбаламутил. Они со вчера там стоят. До Магнуса дошло, что вчера он не слышал фабричного гудка. И утром тоже.

– А когда они будут? – спросил он слабым голосом.

– Сказали, что твой день рождения они ни за что не пропустят. Я им тут поесть собрала, передать что-нибудь?

– Передайте: если они вечером не появятся, я сам за ними приду.

Всю дорогу в школу Магнус думал. Ткацкий профсоюз, конечно, сила, особенно если в нём состоят мама и Элинора. Но если всё пойдёт плохо? Если бастующих разгонят дубинками и водомётами? Если маму с Элинорой тоже уволят? Тогда они не смогут платить за жильё, за курсы Элиноры, за газ и электричество. Покупать билет в универсам сейчас – глупее не придумаешь.

Одноклассники заметили, что радостно-мечтательный в последние дни Магнус стал хмурым и задумчивым. Фридрих Цангер злорадно сказал:

– Помяните моё слово – этот балабол опять никуда не поедет и будет придумывать отговорки. Кажется, на этот раз он не ошибался.

Когда Магнус вернулся из школы, мамы и Элиноры всё ещё не было. Он переоделся, сделал уроки, и отправился на работу раньше, чем обычно. И работал зло и остервенело, не давая мусору и пыли ни малейшего шанса забиться в самые отдалённые щели, и, наверное, опоздал бы на трамвай, если бы кастелян герр Штайнер случайно не увидел, что в корпусе деревообработки горит свет. Он пришёл, велел Магнусу немедленно отправляться домой и обещал сам убрать инвентарь в кладовку. Магнус равнодушно поблагодарил и отправился домой, где всё ещё никого не было. Но идти на фабрику сил уже не было. Магнус залез с ногами в кресло и заплакал от жалости к себе, маме, Элиноре, Михелю, бабушке Лизхен, Брунгильде, и вообще ко всем, кому приходится работать. Так он и уснул.

А на следующее утро ему исполнилось двенадцать лет. Он открыл глаза, а над ним стояли, улыбаясь, мама и сестра.

– С днём рождения, капитан, – сказала мама.

– С днём рождения, – сказала Элинора.

– Вас не уволили? – встревоженно спросил Магнус.

- Нас? Почему это нас должны уволить? – Элинор посмотрела на маму.
- Нет, капитан, нас не уволили. Мы победили.
- Правда?
- Правда.
- И мы завтра поедem в Шённен-Блау?
- Не завтра, а сегодня. Поезд отправляется вечером, завтра утром мы будем там.
- А билет? Можно на него посмотреть?

Билет были из плотного картона, размером примерно в два раза меньше почтовой открытки. На лицевой стороне билета переливался разноцветными огнями плавучий универсам, с обратной был напечатан чёрно-белый ростовой портрет доктора Фитца.

Утром первого мая семья Беккеров сошла на перрон вокзала Шённен-Блау. Фрау Магда и фройляйн Элинор были в самых нарядных своих платьях, Магнусу пришлось влезть в нелюбимый выходной костюм с короткими штанами, и к своему неудовольствию обнаружить, что он всё ещё впору. Несмотря на ранний час, на вокзале было шумно и весело, играл оркестр, слышны были крики зазывал посетить порт и насладиться зрелищем прибытия плавучего универсама.

Магнус впервые был в таком большом городе. Здесь даже вокзал был многоэтажным, и поезда – вот дела! – останавливались на каждом этаже! А то, что было за окнами вокзала, вообще не поддавалось никакому описанию. Огромные здания, широченные дороги, невероятное количество народу, и всё это в непрерывном движении.

- Магнус, будь добр, держи меня за руку, – сказала мама.
- Я не потеряюсь.
- Ты – нет, а я – да.

Пришлось позволить маме взять себя за локоть.

- С богом.

Разношёрстная толпа уезжающих и вернувшихся, провожающих и встречающих бурлила и клочкотала. Все толкали всех, все извинялись перед всеми, и никто никого не слушал. Пару раз Магнусу казалось, что ему оторвут руку, несколько раз ему основательно отдавили ноги, а уж сколько раз пихнули, он и считать не пытался. Протолкавшись таким образом через вокзальную толчею, Беккеры оказались на широком проспекте. Под открытым небом всё перестало казаться огромным и быстрым, и волнение слегка угасло.

- Куда сейчас? – спросил Магнус.
- Здесь рядом есть недорогое кафе, – сказала Элинор. – Позавтракаем.
- Может, в универсаме поедим? – предложила мама.
- Кто-то поест, а кто-то и нет, – многозначительно посмотрела на неё Элинор. – У нас всего один билет.

- Ой, божечки, – спохватилась мама. – А где он?

Магнус похлопал себя по карману. Портсигар отозвался глухим стуком.

- Проверь.

Маркус с удовольствием подчинился. Билет был на месте.

- Тогда идём есть.

Кафе действительно оказалось рядом, совсем недорогое, и там на удивление вкусно готовили. Официантка ни капли не удивилась, что Магнус самостоятельно отправляется в универсам. Видимо, в Шённен-Блау таких счастливиц хоть пруд пруди. Расплатившись, Беккеры дошли до автобусной остановки, сели в двухэтажный автобус – непременно на второй этаж – и поехали в порт.

Если на вокзале народу было много, то в порту и вовсе не пробиться. Людей, кажется, было больше, чем воды в акватории. Беккеров подхватило, понесло и затянуло в водоворот.

- Мама, Магнус, сюда! – крикнула Элинор. – Вход для тех, кто с билетами.
- Где?

– Да вот, за аншлагом!

Магнус увидел впереди, всего метрах в десяти, огромную белую вывеску «Плавучий универсам доктора Фитца. Вход только по билетам». Они с мамой начали продвигаться туда, и вдруг кто-то с силой дёрнул Магнуса за руку и заткнул ему рот платком. Он тут же потерял из виду и направление движения, и маму, и Элинора. Он слышал их испуганные крики, но ответить не мог: платок надёжно закрывал ему рот. Потом его развернули, и Магнус лицом к лицу встретился с похитителем.

– Михель? – спросил Магнус. Страх как ни бывало. – Что ты здесь...

– Билет. Быстро.

Господи! Как он мог забыть! Он ведь обещал показать Михелю!

– Михель, прости! Я совсем забыл! погоди, я сейчас! Вот, смотри, – Магнус раскрыл портсигар и протянул билет другу.

– Я его забираю, – сказал Михель.

– Забираешь? Я думал, ты тоже будешь копить...

– Да пойми ты, кусок мяса! Мне в жизнь таких денег не скопить! А ты снова заработаешь, ты здоровый, у тебя семья есть!

– Но... ты что, хочешь всю жизнь прожить в универсаме?

– Это не запрещено! Пока покупки не совершены, можно плавать сколько захочешь, и у меня будет жильё и бесплатная еда. И врач.

– Но я же тебе помогу! Правда!

– Ты ничего не понимаешь, – ответил Михель. – Прощай.

С этими словами дворник выпрямился во весь свой огромный рост и заковылял ко входу в плавучий универсам. Магнус стоял и смотрел, как его лучший друг скрывается в арке вместе с другими обладателями билетов.

– Магнус! Магнус! – раздались громкие рыдания совсем рядом.

– Мама! Элинора! Я здесь!

Его схватили, ошупали с ног до головы, обняли и поцеловали. Он тоже целовал и обнимал. Вдруг толпа на мгновение стихла, а потом взорвалась приветственными криками, которые на несколько секунд заглушил паровой гудок. Магнус из-за стоящих впереди людей почти ничего не видел, но точно знал, что на одной из четырёх палуб плавучего универсама сейчас играет оркестр, одна из трёх труб слегка дымит, маневровые винты ещё вращаются, но через мгновение один из двух якорей опустится на дно гавани, и универсам примет дорогих клиентов.

Юлиана НОВИКОВА

Мы живем обособленно,
А зимой так особенно,
Когда день уступает ночи
Две-три пешки, затем ферзя,
А иначе, короче,
Нельзя.
Зрение очевидца
В будущем пригодится
Тому, кто выходит в море,
Открытое как бутылка,
А это не в коридоре
Обниматься пылко.
Но мы – корабельные совы,
Заперты на засовы,
Скрытые как заначка,
И под предлогом этим,
Если начнется качка,
Мы ее не заметим.
Но когда мы коснемся берега,
Открытого как Америка,
Тогда без труда и отдыха
Станем вдруг в одночасье
Первопроходцами воздуха,
Его затемненной части.

Насекомое незнакомое,
Но случайно мною спасенное,
Принимаемое за искомое,
В книгу жизни вновь занесенное,
Улетай поскорей отсюда,
Уноси свое грустное тело.
Обещаю, что я не буду
Ни преследовать, ни исследовать,
Ни расследовать это дело.

Юлиана Новикова родилась в городе Северодонецк Луганской области. Закончила Литературный институт им. Горького. В 2004 году вместе с мужем, поэтом Денисом Новиковым (1967–2004) эмигрировала в Израиль, окончила израильский Открытый университет. В настоящее время работает специалистом по альтернативной медицине в поликлинике города Беэр-Шева. Автор двух поэтических книг.

О.Р.

Настоящая жизнь, не подделка
Промелькнет за вагонным стеклом.
И вначале покажется: белка,
Когда поезд пойдет под уклон.
А взглядеться, так то ж отраженье
Пассажирки с пушистым хвостом.
Глазок-буковок выраженье,
Изменяющееся потом,
Когда чай подадут. А что к чаю,
Мне не видно с другой стороны.
Я за частности не отвечаю –
Оттого, что они не важны.
Я теряюсь в догадках, акцентах,
Угол зрения моего
Выражается не в процентах,
Только в градусах. Оттого
Пассажирка в тумане тает,
По себе оставляя брошь.
Что там светится, что сияет,
Разве сослепу разберешь?

Не к ночи помянуты будут,
Помянуты будут под утро
Унылые серые будни,
В которых увязли мы, будто
В каком тридесятном болоте,
В медвежьем углу, где осины
Как будто на автопилоте
Трясутся. От этой трясины
Такою несет безнадегой
И разною всячиной всякой,
Навеки убитой дорогой,
В дороге зарытой собакой.

П.С.

Под вечер на плечи наброшу платок,
По случаю найденный в старых вещах,
Пусть срок его годности вроде истек,

Он все еще держится на плечах.
Вот тучное небо всплывает в окно,
Оно под навязчивой бахромой.
Мне кажется, все они здесь заодно,
И все это связано как-то со мной.
Я волей-неволей ревную к цветку,
Которому все равно. И к мотыльку,
Который так точно ни свет ни заря
Порхает от фонаря.
И если б мне снова пришлось выбирать,
На солнышке греться или умирать,
То я бы, как рыбы в дремучей реке,
Укрылась бы в этом платке.

Гражданская война. Соседи и соседи.
Не устоит меж них китайская стена.
Приходится признать, не в самом лунном свете
Предстанет эта ночь. И не одна она.
Не станет тишина небесным утешеньем
Ни одному из нас. И вот, закрыв глаза,
В крошечной темноте я целюсь по мишеням,
И падают на тон и ниже голоса.
Когда же луч зари с вершины эвкалипта
Опишет полный круг обратной стороны,
Уснут мятежным сном участники конфликта,
Чтобы набраться сил, до будущей войны.

Я бы призадумалась вначале,
Прежде городить чем огород,
Где меня в капусте не зачали,
А нашли – как раз наоборот.
Я б внесла предательскую ноту
В слаженный семейный разнобой:
– Как это случилось? По залету?
Иль по плану? Иль само собой? –
Зацвели яблони и груши,
И в прудах стоялая вода...
Ангелы, спасите наши души,
Доведите дело до Суда.

Владимир ШАПКО

ПЕРЕЕЗД

Повесть

Глава первая

I.

Если Табашников, оторвавшись от рукописи, смотрит в окно слева от себя, то взгляд его упирается в железный гофрированный забор. Приветом от новых соседей висит на железе вьюн с белыми цветочками. Самих стен и окон дома не видно совсем. Зато к пустому утреннему небу почти плоско уползает шифер. Вроде заскорузлых накиданных стиральных досок. В толстой трубе из нержавеющей стали тоже чудится что-то банно-прачечное. Что-то от советской вошебойки. Поникшие усы антенны – как усы от туго думающего хохла.

Обитателей дома, сидя на стуле, не увидишь. Нужно встать и вытянуть шею. Вроде как над забором. И тогда узришь женские передвигающиеся головы, две двери в дом, вытянутые кухонные окна и тюлевые занавески.

Пройдёт даже мордочка явного жиголо. С косицей на затылке, с усиками в ниточку. «Привет, старичелло!» В растерянности плюхнешься на стул, не понимая экрана компьютера.

Ничего не шло в голову, никакое сочинительство. Погружал экран в сон.

Выходил покопаться на огород.

Но тут как всегда начинали летать самолёты. Тяжёлые военные дуры пёрли прямо над домами окраин и дальше – над центром. Грохот утаскивали за собой зубодробительный.

Полетав неизвестно где, обратно спускались растопыренными, уставшими, вроде как замордованными. Ползали в километре по лётному полю, урчали. Будто страдали метеоризмом. Постепенно затихали.

Но это только начало. Прямо над домом и огородом Табашникова начинали шастать вертолёты всех мастей. Постоянная, любимая проложенная ими трасса.

При виде очередного хлопунца сосед, который не под носом, а на отшибе, весело кричал из своего огорода:

– Семёныч, глянть, пенсия твоя по небу летит. Месячная. Хлопает тебе в ладошки! Семёныч!

Табашников задирает голову.

А сосед всё не унимался:

Владимир Шапко родился в 1938 году. Окончил Уфимское музыкальное училище. Печатался в журналах «Уральский следопыт», «Урал», «День и Ночь», альманахе «Енисей». С 1997 года – постоянный автор журнала «Волга». Автор книг «Деревенский городок» (1991), «Муравейник Russia» (2012), «Лаковый "икарус"» (2015). «У подножия необъятного мира» (2017). В минувшем году переехал из Усть-Каменогорска в Ейск. Предыдущая публикация в «Волге» – роман «Железный старик и Екатерина» (2017, № 11-12).

– А вон уже два друга на подлёте. Уже две твои пенсии летят. Семёныч! За два месяца. Сразу! Аплодисменты тебе в небе творят. Твоим пенсиям! Семёныч! Ха-ха-ха!

Табашников хмурился, смотрел вслед улетающим вертолётам. Хотелось сказать известное. О своей и чужой армии. Но посмотрел на веселящегося голопуза и только подумал: дурак ты, Ваня.

Возле забора у Табашникова ржавый тонконогий мангал стоял. Будто сосед его подкинул. В виде троянского коня. И на земле, и в небе всё связалось в одно.

А голопуз кубанский всё смеялся. Самодовольный, самодостаточный, знающий как жить.

На пенсию Табашников вышел недавно, год назад. До переезда в этот городок у моря. Ещё живя в Казахстане.

Проводы прошли буднично, серо. Директор института прищурился, но вспомнил. С облегчением тряхнул руку, проводил до двери. В бухгалтерии тоже не задержали: распишитесь, Евгений Семёнович, вот здесь и здесь, спасибо, полный расчёт! Кадровик, выдавая трудовую, хмурился. Ему положено.

Молчком собирал свои чертёжные причиндалы в родном Отделе. Хотел дать денег на отъездную, послать гонца – замахали руками: что ты! что ты! Быстренько скинулись, сгоняли. Потом чокались, хлопали по плечу. Коллектив небольшой – пятнадцать человек. Но все старались успеть к пенсионеру. Небольшая очередь со стаканами. Пердунки (трое) были напряжены, чувствовали себя на месте Табашникова. Суслопаров за стеклом делал вид, что ничего не видит. Ни брошенных кульманов. Ни толчею. Вокруг одного сотрудника. Бывшего теперь. Всё же вышел из-за стекла. Чокнулся. Потом даже сказал: «Ты это, Табашников, счастливо тебе».

Приняв в подарок нежданную богатую гостальню, Рая Тулегенова прослезилась. Надолго обняла. Сквозь платье чувствовал её литое, как у тюленя, тело. «Звони, Женя, дорогой, приходи, не забывай».

Вышел из НИИ «Казцветмет» на улицу. Будто и не работал в нём 18 лет.

2.

В городке тоже стоял рёв. Правда, другой. Свадебный. Субботний. Длинные машины с женихами и невестами неслись по главной улице. Неслись с понтами, сигнала на всю округу. Женихи в белых рубашках высовывались из кабин чуть ли не по пояс. Уже безумные, что-то кричали. Явно прощались с миром поднебесным. Злые, брошенные внутри невесты ворочались как кошки-коты в мешках.

Пропуская на перекрёстке ревущую кавалькаду, Табашников сидел в частной мышеловке. С остальным терпеливым десятком мышей. Вас не преследовали в Казахстане? Не ущемляли в правах? Глаза дамы в Федеральной миграционной службе были требовательны, строги. Левый погон дымился в солнце. Нет, нет, что вы! Я в Казахстане жил хорошо! Пролетающий жених вдруг начал блевать, уделывать лимузин. Это плохо. Вы простой переселенец. Дама отпустила напряжение, погон загас. Вам придётся у нас много походить и поездить. Мышеловка тронулась, наконец. И сразу круто свернула к рынку.

– Какой сорт? – взял яблоко Табашников. – Как название?

Широкий кубанец будто запросто удерживал в раскинутых руках горы овощей и фруктов.

– Да кто его знает. Сладкое.

Явный перекупщик. Не садовод. С ленивым безразличным умом: та всё так сойдёт! Та всё так купят, сожрут!

– Что же ты сорт даже не удосужился узнать. Дай хоть попробую.

Пухлая загорелая рука срезала с яблока как с картошки. Сунула с ножом к носу. При виде чёрных грязных ногтей Табашников заколебался, но мужественно взял с ножа. Попробовал, похрустел.

– Возьму с килограмм. Только сам выберу.

Пузан кинул целлофановый мешок. И опять словно бы вознёсся. С раскинутыми руками, как целая Кубань. Вконец заевшаяся. Та пошли вы все в жопу!

Отошёл от прилавка. Опустил мешок в холщовую сумку. Нужно бы мяса ещё взять. Немного.

Долго ходил в гулком высоком зале, склонялся и словно бы внюхивался в разложенные на прилавки мясные души продавцов. Дорогие души, надо сказать. Продавцы хмурились. Как перед вьедливым Онищенко. Наконец приглядел кусок и встал за пожилыми мужем и женой. Которые уже выбрали мясо, и нужно было только расплатиться.

Женщина испуганно шарилась по сумкам и пакетам, искала кошелёк.

– Нету, Коля, – повернулась к мужу. – Дома забыла.

– Да склерозная ты моя! – сразу запел старик. – Да сколько ж можно! И чего теперь?

Табашников дёрнулся заплатить. Полез за бумажником. Но старик тут же остановил: нет, нет! Спасибо. Мы сами. Сейчас сходим. Потом купим.

Старики уже выкладывали мясо назад. На прилавков. От стыда заспотыкались к выходу. Растопыривались, точно разом разучились ходить. Точно теряли друг друга.

– Их много тут ходят. Всё кошельки забывают, – совала мясо назад в кучу торговка.

– Куда же ты? – крикнула Табашникову. – Вернись! Скину двадцатку!

Зло хлопала ладошкой по кускам. Точно взбадривала, настёгивала свои ляжки. Полудурок!

Опять трясся в мышеловке. Маршрут петлял. Чуть в сторону от центра – дорога начинала бить по зубам. То чётёк от дореволюционного булыжника, то вспоротый советскими деревьями асфальт в буграх и ямах.

На остановках в высокую дверь тяжело залезали старики и старухи. (Город старых людей.) Судорожно сгибаясь, клали по пятнадцать рублей монетками за проезд. Шофёру. Как очень дорогому нищему. Небрежно тот разбрасывал медяки и белые по коробкам. И сразу врубал. Старики опрокидывались в высокие чёрные сиденья-ловушки. Табашников поскрипывал зубами.

Не выдержал:

– Ты что, мешки с картошкой везёшь? Или пожилых людей? Шумахер!.. Слышишь, что ли?

– Та ничего с них не делается! – отвечал родной брат пузана-перекупщика. С толстой спиной и в кепке. – Та долетят как на своих крылышках!

Старики послушно колотились вставными челюстями. Хватались за высокие черные спинки. Летели «как на крылышках». У молодого пенсионера все зубы были свои. От злобы продолжали сжиматься.

3.

В приморском городке этом Табашников оказался словно бы неожиданно-негаданно для себя. Никуда не думал из Казахстана уезжать. С гражданской женой расстался давно. Та уехала в Германию с десятилетним своим сыном. Общих детей за четыре года не получилось. И только когда вышел на пенсию, перестал ходить на работу, начало сверлить: и что дальше? (Как доживать?) Бабёнку какую-нибудь привести в дом? На остаток дней? (Сколько там ещё? Пять лет? Десять?..) Нет. Только не это. Не складывалось с женщинами. Никогда не складывалось. Всегда ходил в должниках.

Встретил в центре Агеева. Геннадия. Собрата по перу, по литкружку «Полёт». Была осень. Солнце висело появым подсолнухом. Агеев потащил в кафе.

Сидели возле загогулистого декоративного железа. (С него удобно хватать горшки с цветами и швырять в тех, кто посмотрит на тебя косо. Это когда сам закосеешь.)

Выпили. Закусили с оцинкованных лопат. Агеев втихаря покуривал. Хотя разрешали. Озирался. Заговорщик.

– ...Что тебя здесь держит, Женя? Ни жены, ни детей. Там хоть здоровью твоему будет климат. Твоим лёгким. Забыл, как загибался от плеврита? (Было дело. Загибался в больнице. Литкруж-

ковцы даже приходили скопом. Явно попрощаться.) Квартира у тебя двухкомнатная, продашь, и хватит на свой домик. Где-нибудь на окраине. Свой огород, воздух, солнце. Пенсия у тебя там будет. Глядишь, и казачку сдобную найдёшь. Для работы, так сказать. На огороде.

Табашников заслушался. Как баба подпёрся ладошками.

Агеев смотрел на большое блаженное лицо с курносым носом.

– Ну, так как, Женя? Я же вот еду. Не боюсь.

Табашников утёр слюну. Сказал:

– У тебя там дети, Гена. Сын и дочь. Внуки. Жена уже там. Дождается тебя. А у меня – никого. Только к тебе ходить. Надоедать.

– Дурак ты, Женя. Честное слово!

Агеев ввернул окурочек в пепельницу.

Словом, закончилось ничем. Разошлись, недовольные друг другом. Но слова Геннадия запомнились, запали. Всё чаще и чаще стал думать о городке этом. На берегу Азовского моря. Вечерами, когда лежал на диване, представлял его, видел на потолке. Чувствовал, что нужно сменить надоевшее насиженное место, где ничего уже не будет. Что переезд в этот далёкий незнакомый город даст ещё один клочок жизни. Последний, но даст.

Сходил в лито, где не был месяца два. Уехал, дружно доложили поэтессы и прозаики. Чаепитие было. Прощальное. Хорошее вино Гена принёс. Две бутылки. Всех обзвонил. Все пришли. Альбина Жулина и Чуваткин были даже в аэропорту. Провожали. Обнялись в буфете на втором этаже, всплакнули. И Гена улетел. Он же вам должен был позвонить, Евгений Семёнович? Глаза у поэтессы Жулиной не смотрели на человека. Были замкнуты. С проблесками (вспышками) фанатизма. А? Вы же друзья? Табашников успокаивающе тронул острое плечо Альбины Ивановны.

Дома набрал на мобильнике номер Агеева. «Абонент недоступен». И обиделся наверняка, и симку в России, наверное, сменил. Был е-мэйл Геннадия. Но писать пока не стал. Решил сначала всё сам изучить. Досконально.

В интернете на снимках городок выглядел очень даже ничего. Улицы в зелени, тенистые парки. Дворец культуры из стекла, где, как сказал Геннадий, тоже есть кружок литераторов. И приземистые, старинной красивой кладки дома, и дома теперешние, в пять и девять этажей. Современные супермаркеты. Похожие на высоченные солнечные батареи. Море с пляжами и лежбищами людей. Скутеры, гоняющие как попало. На волнах толстые матрёшки в панамках. Бюст знаменитого циркового борца с головой, вросшей в дубовую шею. Парк его имени. Один снимок почему-то печальный. Вечерняя набережная почти без людей. Далёкий жёлтый закат. Два старых сутулых фонаря покорно склонились к нему... И снова светлые улицы и бульвары. Снова везде весёлые беззаботные курортные люди.

Посмотрел в Википедии. Население около 80-ти тысяч. В основном русские. Есть украинцы. Армяне. Другие национальности. Промышленности никакой – умерла в 90-е. Остался работать морской порт. Есть предприятия пищевой. Тому, что аэродром прямо у городка (говорил Геннадий), значение не придал. Подумаешь, летают. Но не до такой же степени!..

Наколотил письмо Агееву. Тот тут же ответил. Вернее, позвонил:

– Ну вот и молодец, Женя. Теперь действуй. Квартиру на продажу. И сразу начинай с документами на отъезд. Я всё тебе буду рассказывать. Что, куда и как. Ну, пока. Дорого по телефону. Жди письма.

И началась круговерть. Агеев на дню по несколько раз коротко звонил и длинно подробно писал. Направлял, понукал, подстёгивал. Табашников метался по присутственным местам. Везде гоняли по кругу. Были и тесные кабинеты, заваленные папками с бумагами до потолка, где сидели матёрые канцелярские мыши женского пола. И помещения размером с полигоны, с десятками столов. За которыми сидели совсем молоденькие мышки и мышата. Ученики, последователи своих толстых мам. Очень усердные. Или в белых кофточках (девушки), или в чёрных жилетках

(пареньки). Которые всегда потирали лапки, прежде чем внюхаться в твою бумагу. А потом начать быстро-быстро грызть её. Съесть. Прямо у тебя на глазах!

Набегался.

Покупательница квартиры с растрёпанными кудельками всё время хихикала. Казалась не совсем вменяемой. Из госбанка деньги к ждущим нотариусу и Табашникову носила частями. Больше часа. В хозяйственном пакете. С торчащими наружу вантузом и скалкой. Для маскировки. Дескать, из хозяйственного я бегу. Петляла по проулкам. Заметала следы. Хотя банк был в квартале от конторы. Нотариус философически кривила губы. Она и не такое видела. Табашников сердился: «Давайте я схожу с вами. В конце концов!» – «Нет! Не надо! – выкрикивала покупательница, успев хихикнуть. – Я сама!» И исчезала в очередную ходку.

В последний раз прибежала только скалка в пакете. Вантуз где-то в банке потерялся. «Ну вот и всё! – хихикала покупательница, выкладывая деньги. Наполовину казашка, наполовину русская. Лет сорока. Светлана Ахметовна. По фамилии Калантарова. – Вся сумма!»

Сели, наконец, к т-образному столу, чтобы оформить документы. Табашников думал, что, став хозяйкой, эта Светлана не разрешит ему дожить две недели до отъезда. До самолёта. Просто изведётся за это время. (Он ждал из Семипалатинска дубликат свидетельства о рождении. Подлинник давно затерялся.)

На удивление, смурнычка сразу согласилась. Захихикала:

– Я вас знаю, Евгений Семёнович. (Табашников вскинул брови.) Я живу с вами в одном дворе. С мамой. В доме напротив. Я за вами наблюдаю.

– Это ещё зачем?

– Вы хороший человек!

Нотариус и Табашников переглянулись. А смурная уже смеялась. По-своему. Часто-часто моргала ресничками. Как будто она – электросварщик.

Женщина и мужчина в растерянности наблюдали.

4.

Агеев уже ходил по двору. Строго оглядывал хозяйство Табашникова. Покосившийся сарай со скворечней на кривой палке. Деревянную баньку, как игрушку, срубленную когда-то хорошим умельцем. Поливные шланги, развешенные на невысоком заборе. Лицо и лысина в белом венце волос были у исследователя стойкого коричневого цвета. Никаких шляп за всё лето, никаких панамок.

Заглянул в сердечко летней уборной: не там ли Табашников засел?

– Что же ты в дом не прошёл? – Хозяин на крыльце вытирал ноги, доставал ключи. – Или опять ключи мои посеял?

– Нет, вот они. Только как мимо такой красоты пройти! Женья!

Агеев театрально раскинул руки и потянул в себя воздух. Весь простор над усадьбой Табашникова. Явно косяя от этого. Как рекламный аллергик, выведенный за руки на природу. После того, как принял-таки рекламируемую таблетку:

– Простор, воздух, солнце!

– Да ладно тебе. Иди лучше в дом.

– Приземлённый ты человек, Табашников, – подходя, говорил Агеев. – А ещё что-то пишешь там. Дай я пожму твою честную трудовую руку огородного труженика!

Графомания, морщился Табашников. Словесная. Легонько втолкнул длинного романтика семидесяти лет в дом. Который чуть не зацепил лысиной притолоку двери. Коричневой свое лысиной в белейшем окладе.

Обедали. Приземлённый Табашников подливал романтику борща. Тот нахваливал: «М-м-м, Женья! Готовишь ты лучше любой бабы! Это я тебе прямо скажу!»

С большим оптимизмом говорил о безнадежном:

– К примеру, ты написал большую вещь, Женя. Роман. Ты сразу посылаешь рукопись, куда только можно. И в журналы, и в издательства. Возможно, у тебя даже есть знакомый редактор. Который прислал тебе однажды одобряющее, даже восторженное отказное письмо. И что? Результат у тебя будет ноль. Поэтому тебе (нам) нужен литературный агент. Только агент. Как на Западе. А агентов-то в России, как оказалось, почти и нету. Жок, как говорят казахи.

После обеда сидели на лавочке возле крыльца, курили. Агеев искал, чем бы ещё повосторгаться.

Вскочил и раскинул руки перед высоким деревом, усыпанным грецкими орехами. Хотел прокричать ему гимн. Но закашлялся. Пришлось похлопать по горбу. Довольно сильно.

В доме сели за чистый стол. К трем папкам Табашникова. К документам для ФМС. Для Федеральной миграционной службы. Разбирал бумаги, конечно, Агеев. Он был уже большим докой в этом деле. Табашников заглядывал, учился.

5.

Порядки в российской миграционной службе Табашникова поразили. В первый раз он пришёл на Свободную, №1 ещё в феврале, вначале, сразу после приезда. Если в Казахстане переселенца гоняли по кругу, но что-то делали ему, здесь царил полный застой. Узкий, плохо освещённый коридор был почти пуст. Два-три понурых человека на диванчиках возле закрытых дверей. На вопрос отвечали что-то невнятное. Кто с опущенной головой – пребывал в коме.

В вестибюле образцы бланков почти под потолком. (Специально?) Прочитать и понять что-нибудь в них невозможно. Только если подтащить и залезть на стол. Зато на другой стене, прямо перед тобой – Доска почёта. Как в старые добрые времена. Передовики полицейских дел. Строгие мужчины и женщины в кителях и погонах. Туалеты (два), конечно, только для них. Закрыты на ключ – недержащую старуху родственники быстро повели на улицу. В реденькие кусточки. И вообще, чтобы сидела дома! Или приходила с забитым памперсом.

И ни одного консультанта. Ни в самом вестибюле, ни в коридорах – нигде.

Подпершись кулаками, сидела в солнце из железных прутьев кассирша. Сказала:

– Приходите во вторник или в пятницу. К семи, к полвосьмого утра. Будут записывать на талоны. А потом в два часа выдавать. Там всё скажут.

Табашников кипел, уходя из здания на Свободной.

Ехал в тесном автобусе, удерживаясь за железную трубку спинки впереди. Перед носом подпрыгивал толстый круглый затылок с ушками и без шапки. Похожий на шмат сала, обработанный паяльной лампой. На сильном ухабе Табашников ткнул сало лбом, едва успев подхватить свою шапку.

– Шо такое! – скосилась голова. Застрав в толстой шее.

– Извините. Ухаб.

– Зачем ты пошёл туда один? – ругал Агеев. – Не мог меня дожидаться? Зачем? На тебе лица нет.

Домашние его за столом (сын и сноха) смотрели на Табашникова с жалостью: ещё один приехал из Казахстана. Энтузиаст.

Ребенок, сидящий на коленях матери, дёрнулся ручками к Табашникову. И вдруг внятно сказал: па-па.

Все рассмеялись. А умилённый Табашников взял Юлечку на руки и стал смотреть с ней в телевизоре старую-престарую сказку на новый лад. Рекламную мультипликацию. Маша и Медведь. Где большущий Медведь, похожий на беременного водолаза, запросто шарил на компьютерной клавиатуре рядом с крохотной смеющейся Машей. Прижимая клавиатуру к себе, как на бандуре лапой играл. Юлечка внимательно смотрела. Чёрные глазки её были размером с черешни.

Поужинав со всеми, Табашников и Агеев ушли в одну из спален большой квартиры Агеева-младшего, куда Евгения Семёновича сразу по прилёте заселили. Там спокойно стали обсуждать, как действовать завтра на Свободной, 1.

Утром следующего дня возле трёхэтажного здания ФМС, возле его синих сосен, Табашников толкался, лез к длинному парню с тетрадкой и ручкой, который выкрикивал «кому в 9-й», а Агеев, как гончак, напрягался у закрытой двери. Чтобы ворваться в ФМС первым, рвануть по коридору и встать у девятой двери. Где прибежавший с длинным парнем список должна утвердить какая-то секретарь. И есть шанс, что Табашников не вылетит из списка и получит-таки в два часа вожделенный талон.

Поболтавшись полдня по городу, заходя куда попало и даже пообедав, в два часа талон получили. А на другой день, уже в четыре часа дня, Табашников зашёл наконец в дверь 9-го кабинета.

Он глубоко заблуждался, посчитав российскую ФМС неповоротливой, застойной: два раза в неделю страсти здесь кипели нешуточные. Это был стиль работы такой – допускать ураган, бурю, натиск людей только во вторник и пятницу. Чтобы в остальные дни была полная тишина и покой. Чтобы только иногда остаточные слабенькие волны поколыхивались в коридоре. Осторожно лизали бы мощные двери начальников.

За столом сидела еврейка в очках. Но необычная: с чёрным табуном перманента и в форменной полицейской куртке с погонами. К тому же косящая под казачку. И безуспешно: слова с нагайками скакали галопом.

Табашников сидел, недоумённо вслушивался, спрятанный за экран компьютера на столе начальницы. Выглядывал оттуда. Еврейка-капитанша перебирала его бумаги и свободно поливала в пространство перед собой. О муже, о низком своём давлении, о капельницах из-за этого, о своей отставке, её просят на коленях, не уходи! как можешь ты бросить всё! на кого! кому работать после тебя! сижу, болею, но сижу, и благодарные мои подопечные тоже просят, которые ходят ко мне месяц там, два или полгода, не уходите, Ангелина Марковна, мы без вас пропадём, наши-то молодые совершенно не умеют работать, нацепили погоны, а все ко мне: помогите Ангелина Марковна, посоветуйте, что делать, подскажите, по всякому пустяковому вопросу! телефон разрывается. Подскажите, Ангелина Марковна, посоветуйте!..

– Где вы родились? Тут не совсем понятно... Где вы там?

– Я здесь, – выглянул Табашников. – Я родился в Семипалатинске.

– Хорошо. Вот вам две анкеты. Всё заполните подробно. Родители, дети, жёны. Где сейчас живут. Образование ваше, судимости и так далее. По возможности заполнять все графы. На сегодня всё. Возьмёте талон ко мне на следующей неделе. Сами видите – завалена работой. Все ко мне, все ко мне. Идут и идут. Помогите, посоветуйте, Ангелина Марковна.

Табашников поднялся. Чего-то ждал. Женщина перебирала на столе другие бумаги. Чёрный табун вокруг лица был спокоен. Обуздан.

– Идите. Всего хорошего.

Табашников вышел. В коридоре перед 9-м было по-прежнему пусто. Точно так же – когда и пришёл на приём.

– Выходит взятку, – смялся дома Агеев. – Неужели не понял? Я специально после обеда тебя одного к ней послал. Для закалки. Но мы тоже не дураки – тоже потянем волюну. Нам с тобой торопиться некуда. И ходим к ней, и поедем в Краснодар, куда она тебя не раз будет отправлять. Мы с Машей три месяца ходили к ней – и выморщили-таки РВП. Никуда не делась. А ты хочешь платить? Богач?

Юлечка на коленях у Табашникова трогала его застывшее большое лицо: па-па, па-па.

Агеев хохотал. Схватил смеющуюся девчончишку и начал подкидывать.

6.

Жильё Табашникову выбирали тщательно, не торопились. С неделю ходили и ездили по адресам, взятым из интернета. Квартир и домов продавалось немало. Но всё с какими-то подвохами, с изъянами. И большими, и малыми. То дом старый, со старыми трубами. То квартира хорошая, но в цокольном этаже, как в подzemелье, и видишь только женские ноги. То центральной канализации нет, а выгребная яма.

Агеев, как бывший строитель (проработал прорабом двадцать лет) разоблачал всё быстро, едва попав в квартиру или частный дом. Лез во все углы, во все дыры. Среди испуганных домохозяев напоминал мента, выискивающего улики.

Были и хорошие квартиры и дома. Отделанные, некоторые с евроремонтом. Но, понятно, кусались ценой.

Наконец, поехали на окраину. На какую-то улицу Широкою. Смотреть чуть ли не последний дом из длинного списка.

Дом Табашникову понравился сразу. Небольшой, красивой старинной кладки, но с современными стеклопакетами на улице, с жёлтой тучей неопавшего дерева над крышей. Внутри две комнаты, большая и поменьше. Нормальная кухня.

Агеев принялся лазить везде. Хозяйка ходила за ним, поламывала ручки. Будто её грабили. Строитель нашёл, конечно, и старые, замазанные хомуты на трубах, и ламинат под ногами скрипел (неверно выбрана подложка), и ещё огрехи шабашников, сделавших год назад ремонт. Но в целом всё было – вполне. Хозяйка почему-то твердила, что новую душевую кабину поставила совсем недавно. Неделю назад. Теперь всё по-современному, стоя можно мыться. Это была женщина под шестидесять. Бывшая бухгалтерша. (Внимание! Опасность!) Уезжающая к дочери в Томск.

Табашников, узнав, что – бухгалтерша, сразу надулся. Сказал, что душ неудобный. Борт кабины высокий. Нужно высоко заирать ноги. Сперва одну, потом другую. А схватиться не за что – вся конструкция хлипкая, из пластика. Можно вырвать всё сооружение. «Да ерунда! – успокоил хозяйку Агеев. – Женья у нас ещё молодой, будет запрыгивать в кабинку козликом. Верно, Женья? Козликом? Хе-хе!»

Вернулись в большую комнату, сели к столу. Табашников чувствовал себя оплётанным. Хозяйка стала показывать все документы на дом. Потом счета, платёжки с начислениями, квитанции. Двое мужчин следили за проворными руками в веснушках. По-шулерски быстро перекидывающие бумажки. Внезапный гром самолёта над домом прослушали тупо. Оставили за кадром.

Перед огородом, перед оградкой его, стояли. Хозяйка зажимала на груди душегрейку, извинялась за огород. По-зимнему безобразный. Сырой, в лужах, во льду. Со старой яблоней как с искривлённой старухой. С пустым полёгшим бурьяном смородины вдоль забора к соседу. Сотки три будет, прикинул Табашников и выдернул Агеева из-за оградки, который залез-таки в грязь.

Уходили улицей Широкой. Она и впрямь была широкой, распахнутой. С низкими домами на обочинах и пустыми деревьями.

– Дом нужно брать, – внушал Агеев. – Немедленно. Место замечательное. Воздух, простор! (Хотел раскинуть руки к дому. Не получилось – на ходу.) Сам посуду: всё оставляет, всю кухню, холодильник. Приборы, посуду. Всю обстановку. Заходи с одним чемоданом и живи. А кабину выкину к чёртовой бабушке. Поставим обычную ванну. И цена, цена подходящая, Женья! – Агеев остановился, повернулся и раскинул-таки руки: – Орех до неба, воздух, простор! Женья!

Но Табашников был осторожен. К нотариусу таскал бывшую бухгалтершу целую неделю. И деньги отдал только тогда, когда нотариус окончательно проверил всё. Когда Табашников сам убедился в документах, что не явится к нему с правами небритый уголовник сразу после отсидки. Или того хуже – честный полярник в большой шапке. Который плавал на полярной льдине два года и не ведал даже, что дом, где он законно прописан, продали.

Ангелина Марковна Кугель начала было привычно заговаривать зубы, но Табашников положил документы на купленный дом. Как козырные карты раскрыл.

Нахмурилась, полистала бумаги.

– Я имею теперь право зарегистрироваться в нём? – уже наседал Табашников.

– Можете только на 90 дней. Если за это время не получите РВП, регистрацию временного проживания – полетите назад в Казахстан, чтобы пересечь границу и снова вернуться. Если захотите, конечно.

Женщина с табуном на голове смотрела в окно. Как втолковать этому болвану, что дело не в девяноста днях. Сидит. Как тупомордый речной толкач без баржи. Вдобавок потерявший из ноздри цепь и якорь.

– И что будет потом?

– Тогда вам будет продлена регистрация ещё на 90 дней.

– И сколько раз я буду так летать? Через границу и обратно?

Женщина пожала плечами.

– Но как же так! Я же не бомж какой, не гастарбайтер. У меня теперь есть жильё, у вас, в России!

– Ну и что? У меня тоже есть жильё. Но я гражданка России. А вы даже не отказались от гражданства Казахстана. – Ангелина Марковна смотрела в никуда. Была обижена за Россию. Похлопала папки: – Закон, уважаемый, закон!

Когда шли к остановке, Агеев сказал, что дело серьёзное. Похоже, теперь будет тормозить с РВП. Притом – всячески.

– Так может дать всё же ей. А, Гена? У меня пока есть.

– Ни в коем случае! Если дашь – это жаба с тебя не слезет. Ты купил здесь дом – значит ты богатый. Тебя можно стричь. А впереди у тебя ещё вид на жительство. Подумай! Лучше уж раза два слетать, пересечь границу и вернуться назад, чем эту жабу кормить.

Табашников недоумевал: почему у него всё так? Почему у Агеева с его женой Машей проходит всё более или менее. Никуда их не гонят, не грозят выслать. Со скрипом, но РВП получили. И всё у той же жабы.

В автобусе, придвинувшись к другу, Агеев тихо говорил:

– Пойми, Женя, у нас с Машей воссоединение семьи. С сыном и дочерью. Это гораздо проще. И то она нас с РВП тормозила. И то мы побегали и поездили. А ты один. Тебя здесь никто не ждал. (Кроме меня, Женя, кроме меня.) Тебя она наверняка засунет теперь на квоту. Чтобы решалось всё в Краснодаре. Комиссией. А это – на воде вилами. Как там в Краснодаре решат – неизвестно. Ты не молодой нужный специалист, не великий музыкант или писатель. Ты простой пенсионер. Тебя даже улицы мести здесь не возьмут. Слишком много жаждущих молодых. С той же Средней Азии, с Кавказа.

Табашников молчал. Смотрел в окно. Приморское зимнее застойное небо походило на дырявый сарай. С высвеченными внизу тюками сизого хлопка.

7.

Агеев бодрился, но чувствовал себя виноватым. А тут ещё Маша насадала:

– Зачем сдёрнул Женю? Зачем? На что он будет здесь жить? Когда деньги проест и пролетает.

Мария Никитична Агеева зло счищала тёркой накипь и жир с кастрюльки.

– У нас дети. А он как? Что ему теперь этот свой дом! Когда он его просто бросит. И улетит назад. На последние деньги. Там-то хоть пенсию сразу будет получать. А сколько ты ему внушал: «откажись от гражданства, откажись от гражданства». – Ехидство Марии было запредельным.

– Не стущай, – уводил глаза Агеев. Цеплялся за соломинку: – Если бы он отказался там от гражданства – здесь бы оказался по политическим мотивам. А это совсем другой статус.

– Э, «по политическим мотивам, совсем другой статус», – смотрела Мария на мужа, наверняка думая: дурак дураком! – Подмой лучше ребёнка. Не видишь – с полным подгузником.

С облегчением Агеев подхватывал на левую руку смеющуюся девочку. Тащил к ванной сразу замолчавшего серьёзного пудовичка:

– Ах ты безобразница! Когда будешь говорить – а-а?

На обед приходил Агеев Андрей Геннадьевич. Агеев-младший.

Мария Никитична начинала суетиться в большой кухне, таскать на стол. Агеев сидел и с гордостью смотрел на сорокалетнего сына с мощной лысиной и горбатым носом. Как и у него, отца. Всего добился парень сам. Диспетчер в морском порту. Большая квартира в центре. Недавно сменил старую «Ладу-Весту» на почти новый «Мерседес-Бенц». Но самое дорогое у него – семья. Молодая жена Надя, сынишка Ваня, школьник, и вот этот пудовичок, эта девочка-чудо. Вот она! Сидит на высоком детском стульчике, перемазанная кашей, хлопает ручками по столу и принимает ложку за ложку от него, счастливого деда. Сериал, картина маслом, рай!

Мария Никитична робко подседа к столу. Пряменькая, как приживалка. Вытерла руки о фартук. Стала рассказывать последнее о Табашникове, просить. (Накосячивший Агеев – будто не слышал. Знать ничего не знал – сверлил разных коз и кикимор смеющейся девочке: ах ты, такая-сякая!)

Выслушав, Агеев-младший посмотрел на отца. Сказал:

– Никаких денег не собирайте и не давайте никому. Вы этого не умеете. Я поговорю с Зиновьевым, попрошу. Может, он нажмёт куда надо. Но Евгению Семёновичу не говорите пока ничего. Не обнадеживайте раньше времени. Особенно ты, папа.

Андрей вернулся к еде. А Агеев начал ходить у него за спиной и втыкать ногами какой-то дикий беззвучный танец – Зиновьев был Генеральным морского порта.

8.

Табашникову позвонили в среду:

– Это Ангелина Марковна.

– Кто-кто?

– Ангелина Марковна Кугель из ФМС.

– А-а. Здравствуйте, здравствуйте, Ангелина Марковна! Внимательно слушаю вас.

Оказывается, вызывает в ФМС. Сама. Сегодня же. Быть через час.

С бурей в голове быстро переодевался.

Возле 9-го стояли молодой кавказец и пожилая русская. Они будто что-то спрятали за спиной. Или проглотили. Из шпионских гундящих слов, вырывающихся наружу, Табашников понял, что пожилая прописывает кавказца у себя. Временно. За деньги. Бизнес пенсионерки.

Откуда-то к своему кабинету пришла Кугель с двумя папками. Открывая замок, скосила лицо. Сказала Табашникову:

– Зайдите.

Табашников скрылся за дверью. Кавказец и тётка распластались на стене. Замкнув рты намертво.

Кугель быстро переключивалась, перекидывала какие-то бумаги в папке. Табашников спрятался за компьютером. Стояла мертвая, как писали раньше, тишина.

– Подойдите сюда... Где вы там?

Табашников вскочил, подошёл.

Кугель выглядела хмурой и даже обиженной. Не косила больше под казачку-кубанку с нагайкой. Говорила чётко, официально:

– Вот в этой папке все ваши документы, привезённые из Казахстана. Я разложила их по порядку. На той неделе курьер отвезёт папку в Краснодар. На рассмотрение комиссии на ваше временное проживание в России. На РВП.

– И как долго будет рассматриваться всё? – успел вклиниться Табашников. Он по-прежнему стоял перед начальницей. Классический проситель с сомкнутыми пожимающими ручками в присутственном месте. Времён Гоголя, Салтыкова-Щедрина.

– От трёх месяцев до полугода. Всё по процедуре. Могут возникнуть вопросы по вашим бумагам. Будут посылаться запросы в Казахстан. На это нужно время. Ещё раз повторяю, всё по процедуре, по закону. Тут ничто и никто вам не поможет. Распишитесь вот здесь, что получили от меня расписку. Вот эта расписка, что документы приняты. Для рассмотрения. С распиской пойдёте на той неделе в 11-й кабинет. Там вам продлят пребывание в России ещё на 90 дней. Если за это время не решится ваш вопрос с РВП, пересечёте границу с Казахстаном, получите штамп в паспорте на таможне и вернётесь. Если захотите. Тогда ещё получите 90 дней...

Кугель уводила глаза. Не могла смотреть на этого мужичку с большой головой. Чувствовала, что с тремя «девятистами днями» у неё перебор, явный перебор, но не смогла не пугнуть ими этого тупого барана с курносим носом.

– И вообще, узнавайте всё сами. Записывайтесь на талоны. Через два месяца пройдёте дактилоскопию. И ещё будете ходить и ездить. Всё по процедуре, по закону. До свидания.

Табашников сказал спасибо, вышел. Не знал, радоваться ему или плакать. Посмотрел на часы. На всё про всё с его документами у начальницы ушло десять минут!

Ехал в мышеловке, ничего не мог понять. Почему вдруг такие бонусы ему, такие скидки в ФМС сегодня? Сама начальница вдруг звонит. Сидит за столом тучей, но делает всё быстро. Больше времени ушло на монолог. На злой монолог. Что же произошло? Внезапная проверка из Краснодара? Надрали холку за волокиту? За то, что постоянно мурыжит людей?

Опять шёл по Широкой к дому. Так почему? Что, зачем? Горлицы занудно ныли в деревьях. Лезли в душу. Скрытные, безнаказанные. Не замечал, вваливался в мартовские лужи, подёрнутые льдом. Вылезал из них и снова шёл. Под нескончаемое нытьё в деревьях.

На крыльце валялась литая калоша Агеева. Табашников стал искать за крыльцом вторую. Агеев лягался на крыльце, и калоши слетали. Табашников тихо ругался. Нашёл. Хотел поставить рядом с первой. Но бесполезно же приучать! Просто бросил на крыльцо.

Агеев ходил в большой комнате, потирал руки. Было видно, что высокий горбыль сейчас лопнет от тайны. Как мальчишка. Тайна лезла ему на лицо, выплывала в смеющихся глазах.

– Куда ходил?

Спросил как можно безразличней.

Табашников переодевался. Рассказал, что было с ним в ФМС.

– А-а! – торжествовал Агеев. – Никуда не делась, жаба!

До Евгения Семёновича дошло. Андрей! Андрей Агеев всё сделал. Наверняка через своё начальство. Точно, подтвердил за сына отец. Зиновьев помог. Генеральный. Надавил, где надо. И никуда не делась стерва.

Обедали в комнате. Табашников рассказывал подробности. Как прятался за компьютером начальницы. При мёртвой тишине. Как получил расписку, что документы приняты. К дальнейшему рассмотрению. («И всего-то через три месяца, а может, и через полгода будет это рассмотрение. Совсем ерунда, Гена».) Что прослушал на прощание злое разъяснение, как нужно пересекать границу и тут же рвать назад. Чтобы успеть получить ещё 90 дней отсрочки. От высылки. Всё туда же. В ту же сторону. В Казахстан.

Но Агеев ликовал:

– А-а! Знает кошка, чьё сало съела! Теперь не будешь прятаться за компьютерами. Теперь будешь сидеть-пыжиться, надуваться. Пусть думает, что у тебя есть лапа. Постоянная серьёзная лапа. Что не выморщишь у тебя теперь ничего, не сожрёшь.

Кроме горечи Табашников ничего не испытывал. Вяло что-то ел, был безразличен. Однако Агеев всё придвигался, всё разжёвывал ему давно понятое:

– Пойми, Женя: ты сорвался с её крючка, выскользнул. Ты снова в вольной воде. Теперь ты пойдёшь по переселению, а не по квоте, куда она тебя хотела затолкать. Она теперь тебя не достанет. Она даже не выкинула из папки твои документы на дом. Не посмела. А могла бы. Понимаешь? Это победа. Полная победа.

Агеев раскинул руки, чтобы прокричать «По-бе-да!», но зацепил ими абажур прежней хозяйки. Подвешенный низко. Под старину. Который пыльно заболтался.

– Тише ты! Лампочку стряхнёшь!

Табашников получил РВП в июле. До обещанного полугода Кутель не дотянула месяц. Три раза отправляла Табашникова в Краснодар. По процедуре. Агеев не мог бросить друга, все три раза ездил с ним. Тряслись в микроавтобусе как в катафалке. 300 километров туда, 300 обратно. За время поездок хорошо изучил и подпрыгивающую в окне флору и фауну Кубани. Подъезжая на закатах обратно к городку, пытались найти в слепящих всполохах надпись – *Вид на жительство*. Поймать глазом. Успеть прочитать. В темноте городка, как в яме, спорили. Один уверял, что надпись появится уже через полгода. Другой говорил, что только через три. Понятно, года. О пенсиях, чтобы прожить всё это время, разговоров не вели. Оставляли на потом. Для будущих надписей на всполохах.

Глава вторая

I.

На зависть дворовым мальчишкам Жека Табак однажды поехал на Дальний Восток. С матерью и отцом. Мало того, что Жека проехал почти всю Транссибирскую – он увидел океан.

На берегу бухты Золотой рог мальчишка опупел – перед ним раскинулась необъятная даль, где были только вода и небо. Дядя Миша, брат мамы, приобняв, смеялся, хлопывал племянника. Даже солнце казалось над этим простором игрушкой. Никчемной жёлтой игрушкой! Дядя Миша!

Однако когда Евгений Семёнович в свои шестьдесят увидел в первый раз Азовское море, не поверил, что это море – дымящаяся вода, казалось, заканчивалась всего в километре. Будто сваливалась там неизвестно куда. В недоумении повернулся к Агееву: и это море, Гена? Сейчас зима, зяб, оправдывал море Агеев. Летом, наверное, по-другому всё здесь будет.

Но и летом, когда в маске с трубкой Табашников лез в волны, чтобы показать семейству Агеевых классический баттерфляй, красивого ихтиандра... ему казалось, что на край моря на бугре можно положить руку. Край влезал прямо в небо. Без зазора.

Побарахтавшись как попало (ихтиандр в волнах не получался), Табашников вылезал на берег и по довольно острым камням пробирался к Агеевым. Осторожно обходил лежаки с вялеными телами. И женскими, и мужскими. Сам тоже уже хорошо подвяленный.

Вытирался полотенцем. Был с пупцом, но на вид ещё крепкий. Как никто другой сошёл бы за кубанского беззастенчивого голопуза у ворот. Живот лежащего навзничь Андрея Агеева от дыхания поколыхивался шершавой опарой. Тощий Агеев-старший сидел на гальке нагорбившись, видимо, решив дожидаться дыма на лысине. Его невестка Надежда, в шляпе и смелом купальнике, приняла для загара позу статуи. Выгнулась красиво. И только Мария Агеева, измученная хозяйством, банально спала в халатике, свернувшись на лежаке.

Внуки (двое) продолжали мучить её. Ваня тряс плечо, ныл «ну бабушка, просни-ись». Голенькая Юлечка хлопала по бабкиной голове в платке ладошками. Бабушка вытирала слюну: «сейчас, сейчас» – и снова губу распускала.

Табашников завернул девочку в простынку, взял на руки и пошёл с ней и Ваней к размалёванной фанере, стоящей в ряд. К аттракциону – «Достань!» – «Достань игрушку».

Ваня как заправский ядерщик начинал двигать длинной механической рукой, пытаясь ухватить ею бесплатную машинку за стеклом. А потом и куклу для сестрёнки. А Юлечка не могла забыть хобот от маски на лбу Табашникова. Дёргала, дёргала его.

В раскалённую машину Андрея влезли как в душегубку. С трудом разместились все. Поехали. Малышка в ползунках и панамке сидела на колене у Табашникова, хлопала ручками переднее сидение. Как мотоциклист – газовала. Вскоре Табашников почувствовал горячее тепло, а потом и недвусмысленный запах. Мотоциклистку вытащили из машины, в кустах стали мыть. (Управлялись мать и бабушка. Мать поливала из бутылки, бабушка без церемоний орудовала.) Снова подали Табашникову. «Па-пе». Сами влезли. Поехали. Ваня с превосходством смотрел на сестру. Он уже вышел из такого возраста. Давно. «На! – сунул дармовую куклу. – Но только попробуй ещё!» Юлечка начала взмахивать тряпичной куклой. Стукать впереди лысину Агеева.

Весело доехали.

Табашникова не отпустили, пока не поужинал со всеми. На просторный стол в большой комнате подносила сама молодая хозяйка. Сегодня она не ходила на работу в банк. Сегодня в банке выходной. Андрей Агеев брал бутылку с дорогим выдержанным вином как драгоценный карат. Подливал понемножку. Бокалы были высокие, красивого стекла. Хорошо живут молодые Агеевы. Против Путина с плакатами бегать не будут. Это точно. Табашников подносил окрошку ко рту и смотрел на богато обставленную комнату. Будто попал сюда в первый раз. Мебель стильная, под старину. Наверняка из воробьянского ещё дворца. Будто замазанные картины непонятно на какую тему. На двух стенах. Люстры нет – модный космодром, лупящий с потолка. Вольная тахта. Больше похожая на раскинувшееся джакузи. Домашний высокий кинотеатр. Пустой, правда, сейчас. Два больших мягких кресла перед ним. Одно вслед другого. С прыгающими Ваней и Юлечкой. («Ну-ка, дети, за стол!») Будто едущими на слонах на водопой. Где-нибудь в Индии. Да-а.

Даже Геннадий и Маша (казалось Табашникову) притихли перед этим богатством. Точно родственники из деревни. Из села. Уминали на коленях ручки. «Хватит, хватит!» – всё время останавливала половник невестки Мария Никитична. И снова складывал ручки. Впрочем, Геннадия хватило ненадолго – цапнул дорогую бутылку и начал плескать по бокалам. И сам дерганул первым. Явно порушив всю церемонию за столом. Чего сын не одобрил. Нет, не одобрил. «Ты бы, отец, закусывал (чем дорогую бутылку хватать)».

Два друга выпили и водки, слегка закосели. Курили на лоджии. Табашников, примериваясь затынуться, поинтересовался:

– Сколько он получает?

– Да кто ж его знает. – Агеев цирганул слюной куда-то вниз. Кому-то внизу на голову. – Разве он скажет.

Покачивались. Закат падал. Как незрячий. Как слепец.

– И жена банкирша... – размышлял Табашников.

– Да нет. Простой менеджер. Сидит в окне, за стеклом. Оформляет вклады.

Табашников снова примерился. Чтобы затынуться.

– Всё равно. Огребают, наверное...

– Ну, вы что пропали?

На лоджию вплыл Андрей Агеев. В брюках от дорогого костюма, в рубашке с запонками, с пузом, взятом дорогими подтяжками. И это – несмотря на духоту после жаркого дня.

– Ещё же кофе с коньяком...

Церемония, оказывается, не закончена.

– Да мы сейчас, – засуетились два друга. Искали, куда бы окурки. (Некуда!) Кинули вниз. Агеев опять плюнул. Кому-то на голову. Пепельниц в доме не было. Ни одной. Агеева заставляли крутить педали. На тренажёре. Если не помогало, гнали курить на улицу.

2.

Агеев говорил: «Женя, мне до сих пор снятся мои стройки. Летние, осенние, весенние. Вся грязь их, несобранность, безобразность. А тут я прихожу к дочери на Котова, в её собственный дом, и вижу наяву тот же самый строительный кошмар и безобразие во дворе. И главного дурака-строителя. Моего любимого зятя Валерия. Который пилит, режет, варит металл и бросает. Ничего не доделав. Ну как на такое полудурство смотреть, Женя? Мне, бывшему строителю? Прорабу!»

Табашников отворачивался, боролся с лицом, боялся смехом обидеть строителя-прораба.

Впервые увидел дом Ирины Агеевой и её саму весной. В марте или апреле. С улицы дом выглядел замечательно. Одноэтажный, но высокий. С высокой острой прибалтийской крышей. Со сплит-системой на стене. С зеркальными стеклопакетами, с ребристыми поднятыми рольставнями. Входя за Агеевым за железные ворота, Табашников всё оглядывался на крышу и ящик сплит-системы. Точно хотел запомнить их на всю жизнь. Богато живут.

Однако двор удивил. Напоминал строительную площадку. Какой-то разгромленный слесарный цех. Везде разброс, неразбериха. Из железа, досок, труб. Какие-то грязные слесарные верстаки, заваленные железяками и инструментом. Газовые баллоны. Валяются как попало. Прямо на земле. Ноги можно переломать.

– Почему у них так? Геннадий? Всё переделать хотят?

– А! Зять это всё. Не обращай внимания. (С Агеева слетела всегдашняя весёлость и оптимизм. Был хмур. Тогда это показалось Табашникову странным.)

В доме суетилась приодевшаяся женщина лет сорока пяти. С длинной ниткой белого жемчуга, в модном платье с мешковатым подолом, схваченным внизу оборкой. В туфлях на высоком каблуке. Этакая пухленькая конфетка трюфель. Совершенно не похожая на отца, а скорей на мать. На Марию.

Познакомились. Табашников нежно пожал пухленькую ручку.

– Проходите, проходите, Евгений Семёнович! – тараторила женщина, приглашая в довольно большую комнату с двумя окнами в просвечивающих лёгких шторах. Отца словно бы и не видя.

На белоснежном столе всё уже было приготовлено. Бутылка шампанского – как наполеоновский солдат на часах у тучного букета роз. Ещё две бутылки с вином. Гранёный графин с водкой. Два ряда чистых тарелочек с приборами, с высокими бокалами и рюмками при них. Тут же ожидающее оливье в ладье, колбаска на тарелочках, сыр. Солёные огурчики даже под водку.

Для пушнего эффекта Ирина Агеева включила люстру. Эдакую испанскую королеву в рыжих буклях. Богато живут дети Геннадия, таращась на люстру, опять подумал Табашников. У одного космодром с потолка, у другой – королева.

Ослеплённый увиденным, Табашников не сразу заметил какого-то мужчину у стены за электрокаминном. Тот стоял как дополнение к комнате, как её тень. Свесив голову и скрестив на груди руки.

– Валера, подойди, познакомься.

Мужчина отделил себя от стены, нехотя отдал длинную узкую руку (длань) Табашникову.

Однако у стола начал толкаться с Агеевым. С тестем. Не мог разойтись с ним. Или хотел захватить выгодное место. Оказался на отшибе. Возле Ирины захватил место отец. Точно отгородил дочь от зятя. Говорил что-то ей и уже разливал. Досталось, правда, и Валерию.

Встали. Подняли рюмки (Ирина бокал). «За знакомство!» Тесть и зять опять начали сталкиваться. Теперь локтями. Показывали приёмы самбо над столом. Но умудрились не чокнуться друг с другом. Сели. По полрюмки, но выпили.

Валерий начал есть оливье. Загребать ложкой. Знал, в какой руке держат вилку, а в какой котлету. Посмотрел исподлобья на Табашникова:

– У меня восемь рабочих специальностей. Восемь дипломов. – Распрямился, стал загибать пальцы: – Шестой по токарному, пятый по слесарному, сварка газовая и электро...

– Валера, Валера! – сразу прервала жена. – Принеси, пожалуйста, соль в солонке. И перец, перец не забудь! Он в среднем ящике!

Валерий пошёл, удивлённый. Принёс, поставил. Про него уже забыли. Жена и тесть оживлённо говорили, будто боялись остановиться. А парень с большой мордой (Табашников) застыл. И глаза его весело бегали. Будто хотели в сортир.

Валерий сел. Чуть погода попытался ещё. Этому. С бегающими глазами. Ну, у которого нос пипкой. С большими ноздрями:

– В этом году буду строить катамаран... – И его опять отослали на кухню. Ещё за какой-то хреновиной. Теперь в какой-то банке она. Где-то на четвёртой полке. Где она там, мать её!

Возвратился, поставил банку. С лечо, мать вашу.

Когда провозглашались тосты (вскакивал, старался этот парень с ноздрями) – опять начиналось самбо над столом. Между тестем и зятем. И оба падали на места неудовлетворёнными. Успев дёрнуть из расплескавшихся рюмок только остатки.

Больше Валерий не пытался заговаривать.

Агеев и Табашников два раза выходили по-быстрому покурить и возвращались. Однако время за хмельным сытным столом да с весёлыми разговорами (без Валерия), пролетело быстро.

Поднялись, когда за шторами было уже темно. Провожала за воротами Ирина. Валерий остался стоять в доме. Со скрещенными руками.

Подвыпивший Табашников благодарил, жал пухленькие ручки женщины и даже поцеловал её в щёку. Агеев ждал. Был трезв как собака. Конечно, если из-за зятя-козла выплёскивалось из рюмки.

Пошли наконец. Мимо закрывшихся домов со свирепыми лаями. Прямо к апрельской полной луне над дорогой.

– Замечательная у тебя дочь, Гена. Умница. Филолог. Хорошая, наверное, учительница. И дети её любят. Было очень интересно с ней поговорить.

– Ага. Зато с мужем ей не о чем говорить.

– Зря ты, Гена. Парень он простой, безобидный...

– Да какой простой, какой безобидный! – сразу завёлся Агеев. – Дурак разве может быть простым и безобидным? Да ничего нет сложнее дурака! Женья! Подумай! Если б было так, как ты говоришь – был бы рай на земле.

Бредит? Или всерьёз? И вроде бы трезвый.

Уже подходили к дому Табашникова. Всего два квартала прошли от дома на Котова. Табашников знал, что если пригласит ночевать, то наслушается всего. Но всё же пригласил. В душе ещё надеясь, что друг откажется. Не тут-то было! Агеев уже тыкал кнопки телефона. (И ведь видит без очков старый котяра, в темноте!)

– Маша, это я. Да, да, всё нормально. Ложись, я останусь у Жени. Да, да, утром в детскую кухню зайду. Да. Не волнуйся. Пока.

В доме было вино и даже водка, но пить больше не стали. Глотали только чай на кухне. Табашников покорно слушал. Психианалитик. С чуткими большими ноздрями. Или поп, если по-русски. Тоже с ноздрями.

– Знаешь, Женья, в чём опасность дурака? Он заразен. От него нет защиты. «Я сделаю вам беседку, – говорит он жене и теще. Хмуро. Глядя в сторону. – Всю из железа. Будете в ней отдыхать. Будет красиво». И те мгновенно заражаются от дурака. Обе уже радостные дуры: «А давай, Валера! Делай скорей! Будем в ней чай пить. Из своего самовара!» И вот уже из магазинов цемент, кирпич, гальку везут. Всё сваливают и сыпают перед домом. И Валерий начинает делать замесы. (Он ещё и бетонщик.) Замесы для фундамента. Под будущую красивую железную беседку. Он всегда обязательно вовлекает в свою дурость других. В нашем случае – жену, и тещу. (Меня он обходит, хмурится: бяка!) «Я поставлю вам новый забор. Из железа. Сверху баляски наварю. Будет красиво». Он ведёт себя как хозяин. Но будто не совсем уверенный. Он будто спрашивает

у жены и тёщи разрешения. Но если ему даже скажут «нет, Валерий, не надо» – он все равно добьётся своего. Начнёт-таки городить очередную железную свою дурость. Он очень упрям, стоеросов.

Был уже первый час ночи, Табашников принёс в комнату постельное бельё, мол, закругляйся, пора спать. Но Агеев, застлая себе диван, не сбавлял оборотов:

– ...И ладно бы начал и сделал. Женя! Нет. Всё бросает на половине, почти на корню. Потому что в голове у дурака новая дурость возникла. Вышибла прежнюю начисто. «Я вам сделаю бассейн. С фонтаном. Будут плавать рыбы. Будет красиво». И две дыры опять соглашаются. (Они не знают, что он заразен. Понимаешь?) И опять цемент, песок, галька возле ворот. И теперь перфоратор крушит плитку на середине двора. (Не им, кстати, положенную.) И опять пошли замесы. Теперь якобы для бассейна. Для брошенной ямы, которую ты уже видел. Я ему: почему ты хватаешься то за одно, то за другое и ничего не доделываешь? Почему? Что важнее, обыкновенный бак на огороде сварить-поставить или твои финтифлюшки на заборах? Твои фонтаны с рыбами? Почему у тебя постоянный разгром во дворе, ни пройти ни проехать? «Я люблю много дел делать. Чтобы сразу они были». Да как же ты на производстве-то работал? Кто тебе такие бардаки давал там устраивать? Как ты пенсию-то заработал? «Там была тюрьма, а здесь у меня свобода». Понимаешь, он забавляется теперь работой. Играет в неё. Он словно мстит кому-то таким бардаком во дворе. Он может целый день играть в стрелялки-пулялки, лежа в доме на диване, он может выйти во двор, потянуться, и начать перекидывать металл, арматуру, трубы. Просто так. Как утренний писатель на столе бумаги. Чтобы возникла в башке новая дурь. И она всегда возникает. И – опять морду в сторону, не глядя на жену и тещу: «Я вам сделаю мансарду. Второй этаж. Будем там чай пить. Будет видно нас с улицы. Красиво». И ведь уломал двух дур, полез. Начал вскрывать крышу! Слава богу, я случился, сдёрнул дурака.

Табашников рассмеялся:

– Да пусть строит мансарду, Гена, пусть.

– Да ты что? Женя! Тогда весь долгострой дурака поднимется в небо! Понимаешь? Будет виден всей округе! Внизу, на земле, его хоть не видно людям – заборы защищают.

Табашников смеялся до слёз. В темноте вытирал простынёй глаза. Сказал наконец:

– Не ходил бы ты туда, Гена. Раз это тебя так задевает. Эти долгострои. Ты ведь живёшь у сына.

Агеев тут же подошёл к тёмной спальне:

– Так дочь там моя. Родная дочь. Жена всё время торчит. Готовит этому смурняку. Всячески убождает. Ирина-то днем на работе, в школе.

Агеев снова лёг. Из сумбурного рассказа Табашников дальше узнал, что неисправимому токарю-слесарю с бритолысой головёнкой сейчас 53 года. И ему не надо работать. Он северный пенсионер. Из Игарки. С хорошей пенсией. Ирину он подцепил на отдыхе. В Геленджике. Ну а теперь уже три года живёт в доме на Котова. Где усадьбу всю уделал железом.

Табашникову невольно думалось, что может связывать учительницу русского языка и литературы, умницу, окончившую в Томске пединститут с отличием, и слесаря-сварщика из Игарки. Слесаря хмурого, необщительного. Смурного. Явно со сдвигом. О чем они действительно говорят между собой, когда слесарь не курочит железо. Захотелось узнать, как они познакомились. В Геленджике. Гена, Расскажи.

– На нашу голову, он спас её. Прыгнул в поток. Где-то в горах. Вытащил. Вот теперь и маемся.

Табашников опять рассмеялся: полный сериал!

– И Ирина мается?

– Нет. Он герой для неё. До сих пор. Попробуй, скажи что-нибудь против слесаря. Горой встанет. Раскраснеется, кричать начнёт. Он хороший! Не смей задевать его! Вот так. И уйдёшь как оплётанный. А он только ухмыляется. Кот Васька. Который живёт к тому же на Котова. Который слушает да ест.

Вот и отстань от них, уже злился Табашников. И от дочери, и от слесаря. Перекинулся на другой бок.

Потом, как цезуры, прерывающие потоки слов, изредка слышалось из комнаты: «Ты не спишь, Женя?» И Агеев снова говорил.

Несмотря на бубню из тёмной комнаты, Табашников уже засыпал. Во сне ли, наяву видел испанскую рыжую королеву в буклях. Стекланную, переливающуюся в рыжем свете. Богато живут, ещё раз прошептал и отключил губы.

3.

Табашников опять таращится в гофрированный соседский забор. С появшим व्यюном и стиральными досками крыши над ним. Сегодня труба из нержавейки дымит. Сегодня, наверное, банно-прачечный у соседей.

Если привстать – опять обнаружишьдвигающиеся женские головы. И молодые относительно, и не очень. Но и только. Гордую голову жиголо, его усики в ниточку уже не увидишь. Недавно был изгнан с позором. Кого он любил, кого обирал – теперь не узнаешь: женщины гнали его вдоль забора все. И молодые и старые. Он даже не успел крикнуть Табашникову «привет, старичелло». Жаль. С ним было веселей.

Табашников уставился в экран. В пустой белый файл. В котором за утро не нашлёпал ни строчки. В родном городе всё же лучше шло. Редко какие дни были пустыми. Вспомнилось сразу лито. Как собирались по средам и субботам. В детской библиотеке на набережной Иртыша. Сидели за стеклом первого этажа девятиэтажки, как в придавленном аквариуме. Поэтессы и прозаики. Альбина Жулина захлёбывалась стихатами как горлинка. Ей дружно аплодировали. Бородатый Чуваткин, который был круглый год в штормовке, свои рассказы не читал – рассказывал. Как бывалый геолог молодым туристам у костра. Держа ненужные листы в руке на отлёте. Помимо мужественного постоянного *Николая*, добывающего то золото, то алмазы, в его рассказах всегда возникали дикие животные: медведи, росوماхи и даже тигры. С которыми Николай всё время сталкивался на таёжной тропе. Притом нос к носу. Когда убежать было поздно. А у Николая только молоток в руке. Для оббивки пород. Чтобы добраться до минерала... Агеев скептически почёсывал мизинцем лысину. Но поэтессы Чуваткина наперебой хвалили.

Потом обязательно пили чай. Как после гулянки весело выкатывались к парапету набережной, к вечернему закату.

Рыбаки удилищами доставали небо, но вынимали из реки почему-то только мелкую рыбёшку. От заката к опущенным лицам кружковцев прибегали по воде большие вспыхивающие ежи. Хорошее было время.

Вздохнув, Табашников выключал компьютер. Как всегда после пустого утра, чтобы как-то взбодрить себя, шёл покопаться в огороде. Однако первый вертолёт уже летел. И будто хлопал себя по животу. И как-то очень уж сыто. Вроде весёлого, наившегося телевизионного пузача. Когда тот перед обедом закинул в себя таблетку мезима.

– Семёныч, смотри! – сразу закричал сосед с огорода на отшибе: – Он объелся сегодня. На твою пенсию. Семёныч! Хлопает по пузу, благодарит!

Подмывало раскрыть соседу глаза. Сказать, что ему, Табашникову, вряд ли придётся кормить тут российские военные вертолёты. А заодно и самолёты. Что пенсии у него российской нет, и вряд ли будет. Что через год, а может быть, и раньше, когда деньги у него кончатся, ему придётся собирать манатки и катить обратно, в Казахстан, где его, Табашникова, только и ждут. Где ему сразу восстановят пенсию. Чтобы он, не теряя ни дня, поскорей начал кормить вертолёты военные. Только теперь казахстанские.

Однако сосед, походило, твёрдо считал, что пенсия у Семёныча есть. Что кормит он, подлец, вертолёты и самолёты. Что переехал он сюда из Краснодара. Почти местный... То ли видел,

что маршрутка останавливалась у дома и Семёныч отправлялся в ней три раза в Краснодар. То ли какая-то сорока эту дурость на хвосте принесла (хотя какие тут ещё местные сороки для Семёныча), – сам Семёныч его не разувлял, всё стеснялся.

Агеева сосед Иван почему-то тоже сначала воспринял вверх ногами. Посчитал большим начальником. Когда видел во дворе у Семёныча – прятался и выглядывал. Спрашивал у Семёныча, оглядываясь:

- Инспектор ушёл?
- Какой инспектор?
- Ну вот только что был. У тебя. Лез во все дыры.
- А-а, – прятал улыбку Табашников. – Ушёл, ушёл.
- Строгий, гад. – Подбородок у Ивана подрагивал. Походил на выпуклый динамо-фонарь.

До самых губ зарос желтой махоркой. У Ивана был курятник, крольчатник, два павлина и голуби летали. Не считая большого тучного огорода. И всё это, походило, не взято на карандаш. Инспектором. Который вверх ногами. Ну шастает который. У Семёныча.

Если с Иваном Табашников давно переговаривался по утрам, то женские головы за забором с вьюном познакомиться с новым соседом почему-то не стремились. Хотя Табашников вроде был мужчиной. Ещё не старым. На его призывное, громкое «здравствуйте» – на улице, у дома – только бурчали что-то под нос и проходили. Чтобы скрыться за забором. И ходить там опять как в закрытом своём государстве.

От того же Ивана потом узнал, за забором живут четыре сестры. Три родных и одна двоюродная. Молодой жиголо ходил к самой младшей. Сорока восьми лет. К тощей Дарье. Доил полгода по мелочи. Пять, семь тысяч. Ну десять. И сумел-таки однажды сдёрнуть с её карточки триста тысяч. Все её деньги. Но это показалось ему мало. Непреодолимо захотелось прихватить и брюлики любимой. Через два дня, уверенный, что денег ещё не хватились, заявился с шампанским и цветами. Чух-чух-чух! Твой дизель спешит на помощь! Был сразу разоблачён, бежал вдоль забора и отмахивался от баб, как от пчёл.

Выскочив за ворота, рванул было к автобусной остановке. Чтобы раствориться там, исчезнуть навек. Но менты тут же догнали, сбили с ног, заломили руки, защёлкнули наручники. Вздёрнули с земли и совсем некрасиво, как каракатицу какую, прогнали мимо изумлённых сестёр к машине.

Агеев, прослушав рассказ Табашникова, хохотал:

- Жадность фраера сгубила!

Подмигнул Ивану над забором:

- Привет, частный собственник! Почему налоги не платишь?

Кубанец виновато осклабился. Он уже узнал, кто такой Агеев. Объяснились однажды. Через забор. Но всё равно озноб каждый раз брал, когда видел его у Семёныча. Уж больно прямой и гордый. И лысина ещё у засранца. Натуральный инспектор!

Общительный инспектор пытался завести знакомство и с сёстрами. Подпрыгивал над забором: «Эй, милые сестрички! Где вы там?» Но ничего, кроме трёх тесно стоящих домов, не увидел.

- Попрятались, – доложил Табашникову.

Когда пошли в город, кинулся, хотел постучать в ворота. Табашников еле успел оттащить:

- Да успокойся ты, в конце концов!

– Нет, согласись: ты полгода живёшь здесь, новый сосед – и не поинтересоваться, кто ты такой, с чем тебя едят. Странно это. Очень странно.

Выяснилось всё только в конце лета, в августе. Узнали от того же Ивана – сёстры судились с бухгалтершей. Прежней хозяйкой. Из-за забора с вьюном. Хотели придвинуть забор и вьюн ещё ближе к стене и окну бухгалтерши. В лучшие свои времена тощей Дарьей был куплен крутой джип размером с кибитку. Он плохо протискивался к гаражу во дворе. И туда, и обратно. Цеплял и вёз всё за собой. Сёстры намерены были отбить у бухгалтерши ещё полтора метра. (До этого отбили

метр.) Однако второй суд проиграли. Ненависть перекинули теперь и на Табашникова. Который ни сном ни духом.

Агеев опять хохотал во дворе:

– Будешь судиться из-за узости прохода у сестричек? Отбивать назад оттапанный метр? А? Табашников?

– Буду, – твёрдо сказал Табашников. – Перед тем, как погонят в Казахстан.

– Молодец. Я – твой адвокат на суде. Эй, сестрички, ха-ха! Где вы там? Готовьтесь!

4.

Тогда же, в конце августа, Табашников шёл как-то к Агеевым. С моря наносило йодом. Солнце металось, пересчитывало облака, будто без очереди лезущих мигрантов. Боялось не учесть и пропустить. В продолжение очереди на небе очередь вдали над морем – солнце уже спокойно гуртовало. В дымное стадо баранов.

Нырнул в зелёную Партизанскую с частными домами. Чтобы пройти, как говорил Агеев, мимо кубанских невест и бродячих животных. Бывшие мухоловы и светозары валялись почти возле каждого забора. Осторожно обходил их, а некоторых сдвигал ногой. Кошки сами брызгали в стороны. Рай в этом городке для бродячих собак и кошек. Индия. Никто их не тревожит, не отлавливает, не кастрирует. Светозары с мухобоями бродят везде. Возле продуктовых магазинов, на рынках, на оптовке. Валяются на солнечном крыльце самой городской администрации. Иногда пробегут по площади духовым оркестром за какой-нибудь сучкой. И снова в одиночку лежат. Или, как нищие, играют на балалайках.

Агеев всегда разглагольствовал, строил предположения, почему люди бросают своих питомцев. После всех умильных картинок с ними в интернете и телевизоре. Что это – бессердечность? Или забывчивость, смурь? Табашников просто собирал свои объедки, и когда шёл в магазин или на оптовку, вываливал их из мешка на землю какому-нибудь тихому псу. Вот и сегодня выложил очередному полкану, охраняющему чужой забор, большую серую кость от бедра индейки. Тот с достоинством закусил её. Словно не знал, что с ней дальше делать. Куда отнести. Где запрятать. Чтобы продолжить сторожить чужой забор.

Впереди спиной к закрытым воротам стояла сдобная казачка лет пятидесяти. Которая хорошо бы подошла для огорода Табашникова. Возле неё мухобоями и не пахло. Но Табашников ошибся. Из подворотни, будто прямо из-под расставленных ног кубанки (будто прямо из чресл её!) начал зло вылаивать охрипший пёс. Домашний Светозар. Это уже не шутки.

– Во! – подмигнул кубанке Табашников, проходя. – С ангиной, хрипит, а лает. Молодец! Охраняет вас.

Кубанка зло смутилась. Как будто ей задрали подол. Приказала за спину: «Заткнись!» Светозар за забором не понял, сразу прибавил. А потом вообще зашёлся. До сипа в сахарной глотке.

Табашников посмеивался. Сегодня Светозар домашний из-под подола кубанки не достал.

Во дворе шестизэтажного длинного дома быстро шёл к последнему подъезду. К подъезду Агеевых. И вдруг замедлил шаги. Остановился.

На двух баках с мусором, на двух одинаковых листовках на них – крупными буквами было написано:

ВНИМАНИЕ! ВСЕ НА МИТИНГ ПРОТИВ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ! СКАЖЕМ ЗАРВАВШИМСЯ ВЛАСТЯМ СВОЁ ТВЁРДОЕ НЕТ!!!

ВНИМАНИЕ! 29 АВГУСТА! В 9 УТРА! ВСЕ НА ПЛОЩАДЬ!!!

Табашникова пронзило: это же метафора сегодняшней жизни России! Баки, набитые мусором – и призыв на них против власти. Глубокая метафора!

Быстро поднялся на крыльцо, нашёл код, нырнул в подъезд. Чтобы поскорей взмыть на четвёртый. Но лифт не работал. Как молодой шестидесяти лет Табак начал скакать по лестнице вверх.

На другой день два друга были на площади среди сотни-другой базлунов с плакатами. Прямо напротив здания администрации города. Где высокое крыльцо плотно защищала полиция с дубинками.

Табашников точно пятился, обмирал, выдавленный в первый ряд. Агеев же орал до посинения: – Долой пенсионную реформу! Госдуму долой! Путин, уходи! Навального в президенты!

Вдохновлённые им, десятка два навалыят тут же полезли штурмовать. Их начали охаживать дубинками.

– Вперёд, молодая смена! – не унимался Агеев. Взмахивал длинной рукой как вождь. Кидал навалыят: – Вперёд, молодые соколы!

– Ты чего орёшь, старый дурак? – задёргал его Табашников. – У тебя даже вида на жительство нет. А ты орёшь. Завтра же попрут в Казахстан. И меня вместе с тобой.

Агеев перестал кричать. Подумал.

– Верно. Скорей валим отсюда!

Вылезли из толпы. Быстро пошли с площади. Мимо трёх дисциплинированных мухобоев, внимательно наблюдающих событие.

В автобусе подпрыгивали на буграх и колдобинах, но сидели. Табашников тихо пилил неразумного: «Мы же пришли посмотреть. Просто посмотреть. А ты что устроил?» Неразумный молчал. Разглядывал женскую спину в полотняной рубашке с вышивкой. На ухабах подавался к ней, точно хотел разглядеть внимательней. Потом будто стал переводить иероглифы:

– Любой человек глуп в принципе. Как говорят теперь, по умолчанию. Так он задуман природой. Или как кто-то считает, Создателем. Он видит только то, что хочет видеть. Слышит то, что ему приятно слышать. Он раб своих предубеждений, привычек, своего невежества. Поэтому даже умный человек (умный в чём-то одном), в другом, рядом – баран бараном. И вины его в том нет. Он так задуман.

Сбрендил. Выжил из ума. Точно! И я вместе с ним.

У Табашникова ели на кухне, приходили в себя.

В маленьком телевизоре над холодильником шли «Новости Кубани». Украина какого-то городка. Может быть, вот этого. У ворот – типичный летний кубанский голопуз со своим домом и крепким двором за спиной. Рядом стоит его жена в домашнем платье мешком. Она хмуро стесняется телевизионщиков. Хозяин – нисколько. Полный самодовольства, говорит в подставленный микрофон.

Из соседнего двора такой же полуголый на заборе повис. Ждёт, когда дойдёт до него очередь. Богатая голопузая каста Кубани. Кубанские аристократы-пузаны. Все предпенсы или уже законно на пенсии. Однако активно орущие в это лето на площадях. Против Путина. Против повышения пенсионного возраста. Та не выйдет у вас ничего, козлы! Та не дадим! Та не позволим! Долой!

Агеев смотрел. Полный презрения. Обличал. Исходил желчью.

– А тебе завидно? – не выдержал Табашников. – Что они так крепко живут? И всегда так крепко жили?

– Ещё чего!

– Тогда что же ты орал с ними на площади? Сегодня? Час назад?

– Да так просто. Из справедливости. Да там и не они были.

– Да как не они! Пиджаки, рубашки надели – и всё. Те же пузаны. Да ещё десятка два молодых дебилов Навального. Которых ты вдохновлял. А?

Агеев не знал, что сказать. Походило – бес попутал.

5.

Табашников свернул к пустой бетонной площади, к стёклам низкого супермаркета.

Из разъехавшихся дверей вышли двое. Муж и жена. Пожилые. Топтались с сумками. Муж явно злился:

– Да покупай всё в этой «Пятёрочке»! Склерозная ты моя! Покупай! Ходи там целый день, ищи свою банку горошка!

Где-то видел этих мужа и жену. Вспомнил – на рынке! С полгода назад. Склерозная забыла тогда дома кошелек. Потом они выкладывали мясо назад надутой торговке. И шли от стыда нарасопырку. Как покалеченные.

В рентгенозном свете бродил по тоннелям супермаркета, набитым товарами и продуктами. Брал банки, пакеты. Разглядывал. Слово не поняв, клал назад. Чуть не опрокинул высокую выставку с кошачьими кормами. Успел подхватить. Снова бродил. Пришёл в «Пятёрку» с намерением набрать продуктов дня на три, однако вышел на бетонную площадь пустым. С одним батоном под мышкой. Как с забытой ненужной палкой...

Отец заболел альцгеймером сразу после семидесяти. Как будто по уроку. Однажды, провожая сына и его гражданскую жену после скромного застолья (выпили всего по паре рюмок), тихо спросил у сына в прихожей: «Кто это с тобой приходил, сынок?» Сын вытаращил глаза. Однако и шуточки у тебя, отец. Отец виновато улыбался. Как будто и вправду пошутил.

Болезнь развивалась быстро. Уже через полгода его стали приводить к сыну домой. Неравнодушные люди. Он почему-то помнил только его адрес. Гражданская жена Елизавета Гербер сердилась в спальне, говорила, что старик просто прикидывается. Набивается в нахлебники. Пасынок Вовка, в общем, неплохой мальчишка, оставаясь с дедом наедине, почему-то стал устраивать ему ехидные экзамены на сообразительность и память. И хихикал от фантастических ответов. И всё докладывал матери. В спальне по ночам начали полыхать скандалы. Отец лежал в большой комнате, улыбался в темноте. Это его не касалось. Он пришёл к сыну. А кто такие эта женщина и её ехидный мальчишка – сын завтра расскажет.

Табашников увёл отца. В его квартиру. Стал жить с ним. Гражданскую жену и пасынка сдвинул в сторону.

Вскоре немка с сыном отправилась в Германию, и Табашников сразу перебрался обратно к себе. Почему-то думал, что раз отец помнит его квартиру – с памятью у него в ней будет лучше.

Однако наступили непростые времена. Отец забывал всё. Выключить газ. Воду в ванной. (Один раз затопил соседей внизу.) Свет везде горел с утра до вечера. По улицам один уже не ходил. Только с сыном. Если спускался во двор посидеть на воздухе, на людях, возвращаясь в квартиру – ключи снаружи в замке забывал постоянно. Ключи приглашающе побалтывались, а потом повисали, смирившись. (Однажды пацаны из озорства закрыли его, а ключи выбросили. И наблюдали со двора, как он кричал с балкона. Звал сына.)

Табашников водил его по врачам. Накупал лекарств. И импортных, и отечественных. Но ничего не помогало. Неизлечим альцгеймер, виновато развели руками в психбольнице, где Семён Иванович пробыл месяц.

С болезнью сразу как-то резко постарел. Большая голова его стала походить на заскорузлую, всю в белых лишаях и пятнах бомбу. Найденную в глухом лесу и выкопанную неугомонными искателями.

В годовщину смерти матери (девять лет уже прошло), Табашников повёз отца на кладбище. Надеялся, что тот вспомнит. Альцгеймер с интересом смотрел на весёлое завитое лицо не старой ещё женщины в медальоне пирамидки со звездой. И вдруг начал закидывать голову и рыдать. Поворачивал к сыну большое искажающееся лицо. А тот сам плакал, задира л голову к воронам и галкам, мечущимся выше кладбищенских деревьев.

Отец умер через полгода. Умер просто. Бормотал что-то невнятное перед сном, пока сын укладывал на диван и подтыкал одеяло. Потом почти сразу уснул. А утром не проснулся...

Табашников шёл осенней жёлтой улицей, грустил. По-прежнему с забытым батоном под мышкой.

Решил помянуть отца.

В утреннем полупустом кафе сел у стены напротив трёх окон на улицу. Ему принесли графинчик со ста пятьюдесятью и салат.

Поднёс первую рюмку ко рту – и замер с нею. Напротив, за столиком у среднего окна, сидела Кугель. Точно! Она! Без кителя своего, без очков. В штатском. В платье с подсолнухом на плече. Чернявый мужчина кавказского типа оказывал ей кавказское гостеприимство. Пододвигал, наливал, тянулся с рюмкой, смеялся. Кугель отпивала, закусывала и умудрялась говорить без остановки. По своему обыкновению.

В какой-то момент покосилась. Из дымовой завесы беседы. И чёрный табун её замер.

Узнала робко улыбающегося речного толкача. Который даже привстал. С намерением поздороваться.

Нахмурилась.

Создалось интересное положение – изгой оказался на празднике жизни. Довоенного негра вдруг обнаружили в автобусе для белых. Впрочем, Кугель быстро забыла о мордатом. И снова кавказцу поливала.

Табашников по-быстрому начал глотать рюмки. Однако хотелось увидеть главное: когда будет передаваться взятка. И увидел – кавказец, прямо-таки заходясь от смеха и гостеприимства, привстал и подал Кугель глянцевого журнальчик. Та, тоже не переставая говорить, ловко сунула его в подвешенную на стуле сумку. Всё! Теперь жди криков «всем оставаться на местах!», «гражданка Кугель, вы арестованы!».

Табашников вымелся из кафе. На улице вспомнил, что оставил в гардеробной батон. А, чёрт с ним! Помчался к Агееву.

– Ну и что? – на удивление равнодушно спросил тот.

– Да как что? как что? Среди бела дня берёт взятку!

– А что ей – ночью брать? В подворотне?

Но Табашников всё не мог успокоиться. Как ошалевший мальчишка:

– В центре города! Среди бела дня! На глазах у всех!

– У кого «у всех»?

Агеев смотрел на друга. Сверху вниз. Вот уж правда, в чём-то человек может быть дурак дураком.

6.

Ещё до РВП Евгения Семёновича, летом, когда тот чуть не прозевал окончание пресловутых «девяноста дней» (хватился бедолага за три дня до их окончания, рванул в Краснодар, в аэропорт, на самолёт, летал в Казахстан, получил в Астане отметку в паспорт и сразу вернулся обратно) – всем Агеевым (одновременно!) пробило – надо женить Табашникова! Немедленно. Законно. Со штампом в паспорте. На местной. Казачка не казачка – барабир, как говорят татары. Разом убить всех зайцев. Возможных и невозможных. И самого главного зайца – Кугель.

Вскоре на дне рождения Агеева-младшего Табашникова посадили рядом с какой-то женщиной в чёрном платье. Которую он сначала никак не воспринял. Просто привстал, пожал руку и снова сел. Потому что, как всегда, был поражён накрытым столом. И не столько разнообразием блюд на нём, сколько оформлением его: сверкающим хрусталём бокалов и рюмок, царским графином с водкой, рядом с которым даже коллекционная бутылка Андрея выглядела бедно. Серебряными, чётко разложенными столовыми приборами. Салфетками на чистых тарелках. Смаживающими на островерхих белых монахинь. И самое главное – бьющим без пощады космодромом с потолка. Отсвета которого всё время вспыхивали новые дорогие запонки чопорного Андрея Геннадьевича Агеева. Хозяина дома и стола. Однако живут, как всегда подумал Табашников, вытирая со лба пот (платком, платком, не рукой!), пока Андрей Геннадьевич нацеживал из красивой бутылки трём женщинам, виртуозно подкручивал бутылку, а Агеев-старший, отец чопорного, вздрагивающей рукой плескал из царского графина в рюмки водку другу и себе.

Поднялся со своей, откашлялся. И повернулся вдруг к жене:

– Дорогая Маша! (Все удивились, не поняли, застыли с рюмками, а сын усмехнулся – старик совсем попутал рамсы.) – Дорогая Маша! – повторил Агеев. – Сердечно поздравляю тебя с рождённым тобою сыном! Рождённым сорок один год назад. Рождённым в муках. Спасибо тебе, родная. – Склонился и поцеловал растерявшуюся жену в темя. Как ребёнка.

– Ну а теперь и твоя очередь, Андрей. Поздравляю тебя, дорогой.

Подошёл, обнял, постукал по спине, плеча водкой на дорожную рубашку сына. Потом смахнул слезу и сел. И дёрнул.

Женщины и Табашников с облегчением захлопали. И тоже выпили. Табашников выпил разом, женщины пригубили.

Только тут Евгений Семёнович вспомнил про соседку. Даму в чёрном платье. И с брошью, как оказалось. Как со стеклянным скорпионом:

– Не желаете? – застыл с ложкой над оливье.

Та милостиво разрешила. Взбодрила причёску полной рукой. Кольцо на безымянном пальце смахивало на жука с панцирем. Не колорадского, конечно. Но майского, российского – точно.

– Чем занимаетесь? – любезно поинтересовался жених, закусывая.

Оказалось, дама имеет салон. Женской красоты. Под названием «Элеонора». Хотя сама назвалась Ксенией. Ксенией Петровной. Вообще за вечер она несколько раз как-то перевоплощалась. Выпив водки (Агеев не жалел из царского), свекольно раскраснелась. Как простая баба. Стала вроде бы мощной и сильной. Чтобы оправдать пожелания Агеева (свата), начала хвалиться, что она не просто казачка, а донская. Не в пример местной мелкоте. А потом и вовсе начала поталкивать жениха плечом и подмигивать всем. Мол, вот он, жених, хих-хих-хих. Сидит чурбан чурбаном, хих-хих-хих. И снова сидела чопорно, соответствуя месту, поправляла причёску. Будто её только что хорошо прижали. Где-нибудь в тёмном углу. И пальцы её опять превратились в пальчики. С защитным панцирным кольцом.

На лоджии, когда закурили, Агеев сразу спросил:

– Ну как, как она тебе?

– Кто?

– Ну Ксения Петровна. Кто же ещё?

Табашников хорошо потянул. Стал выпускать:

– Ударит кулаком – с копыт слетишь. И не встанешь.

Агеев нервно рассмеялся. Не понравилась. Хотя лучше бы на себя посмотрел. Красавец. С дымом. Из курносой сопатки.

Со второй невестой Табашников сидел рядышком на пляже. Можно даже сказать, плечом к плечу. Вытянув голые ножки. (Агеевы были лишь фоном картинки – осторожно (на цыпочках) передвигались за спиной голубков, только бы не спугнуть.)

У Маргариты Ивановны не было груди под купальником, зато имелись две шишки на разлапистых ногах. Возле больших пальцев. Отчего тощие ноги имели вид рыхлителей для огорода. Маргарита Ивановна ничуть не смущалась этого, оживлённо рассказывала о своей работе библиотекаря. Казалось, то, что нужно Табашникову. И рыхлители для огорода всегда под рукой, и библиотека. Но жених, было видно всем – воротил морду. Безнадёжен, хотели махнуть рукой Агеевы. Однако он их удивил. После пляжа отправился провожать. Благо что Маргарита жила неподалёку от моря. Оставил застывшее семейство с раскрытыми улыбающимися ртами. И даже вернулся и пощекотал на прощание Юлечку. Которая успела ему сказать «па-па». Дескать, не шали там.

Женщина в пляжной шляпе шла, не торопясь переставляла худые ноги. Так ходят на очень медленной прогулке. Сарафан, стянутый на плоской груди, перемещался шатром, балаганом, заполненным солнцем.

– Я слышала, вы пишете, Евгений Семёнович?

Если у Табашникова были ноздри, у женщины – две розовые ямочки во вздёрнутом носике.

– Да так, – пожал плечами писатель.

Но женщина не отставала:

– И публикации есть?

– На бумаге только одна. В региональном журнале. Рассказ. (Рассказ был о подлинном случае. О трагедии на реке. Чему был свидетелем с пасынком Вовкой.)

– Пустое это всё. Я и забыл, – кокетничал хмурый автор.

– Нет, нет, расскажите, пожалуйста.

Табашникову пришлось, комкая подробности, рассказывать, опять хмуриться.

Остановились во дворе трёхэтажного кирпичного дома с балконами.

– Вон мой балкон и окно. На третьем этаже. Может быть, зайдёте? Евгений Семёнович? Чаю попьём?

Табашников смотрел вверх. Куда показали. Словно прикидывал, как будет уходить. Крышей или сразу с балкона.

– Нет, Маргарита Ивановна. В другой раз.

Тогда женщина стала приглашать к себе в библиотеку. На улицу Таманскую. Евгений Семёнович! Всего в трёх кварталах от вашего дома. А? Недалеко ведь.

Уже знает мой точный адрес. Наверное, приходила тайком и осматривала дом. С ничего не подозревающим женихом внутри. Вот Агеев трепач!

Неожиданно спросил, что нужно, чтобы записаться в библиотеку. Здесь, в городе.

– Ничего, ничего вам не нужно. Приходите, я так вам выдам любую книгу, Евгений Семёнович!

– Я не об этом. К примеру, у человека казахский паспорт и нет постоянной прописки, а только РВП. Запишут его? Выдадут книгу?

– Ну не знаю...

Ага! И тут дискриминация! И тут рогатки! Табашников уже не слышал женщины. Табашников переживал за всех мигрантов. Особенно за книжечеев из Средней Азии и Кавказа.

Через неделю, будто бы так и не выйдя из обиды, пришёл всё же в библиотеку на Таманскую. Сдался. Но только книги! И ничего больше!

7.

Маргарита Ивановна Кузичкина быстро готовила себе завтрак. Металась от плиты к столу и обратно. Боялась опоздать на машину в Краснодар. В областной коллитор. Думала о Табашникове. Страшной, как говорила мама, но добрый. Яичница начала хлопаться на сковородке, брызгаться маслом. А, чёрт тебя! Сдёрнула. Выключила газ. Села, стала пилить вилкой белок. Откусывала хлеба. Левой рукой наливала из чайника. И ведь не взял даже под руку. На море, когда поднырнула, чтобы поиграть, шарахнулся как от акулы. Станный. А дом у него действительно неплохой. Агеев не обманул. Пришёл в библиотеку вроде просто так. Даже и не из-за друга. Очаровал сразу всех трёх баб. Общительный, остроумный. Белый венец вокруг лысины. Как у избранного. Однако всё разузнал. Хотите, я познакомлю вас с писателем, Маргарита Ивановна? С настоящим? Гордеева и Колодкина не соперницы – замужем. Хочу, Геннадий Андреевич, конечно хочу! Обрадовалась как девчонка.

Перед тем как надеть носки, мазала мазью и быстро массировала шишки на ногах. Наказание божье. Так и не вылечили. Нигде. Куда только не ездила! Сколько денег не выкинула! Тоже, наверное, забрезговал. На пляже. Отводил глаза. А как скроешь? Да и зачем. Лучше сразу. Во всей красе. Любуйся. Где такие ещё увидишь. Надела, наконец, носки. Надёрнула джинсы. Застёгиваясь, глянула на себя в зеркале. Скоба. Кривоногая. Джинсовая. Ещё и замуж хочет. С ложки затолкала ноги в мягкие, но всё равно тесные туфли. Типа тапочек. Сначала шишки не болят, нормально. К концу дня – начинают ныть. На работе вытягиваешь ноги под стол. Сняв обувь. Чтобы читатели не видели. И сидишь, мухлюешь ногами, как жулик. И лишний раз боишься встать. Чтобы не поймали. Ну, всё. Плащ на всякий случай. Сумку на руку. На выход.

Шофёр нанятого микроавтобуса имел ветхое, как гоголевская тряпичка, имя – Евсей. Евсей Петров сын. Однако даже встав сегодня в четыре, был бодр, весел, разговорчив:

– Опять мы с вами едем, Маргарита Ивановна. Я рад! – смеялся он, выруливая на повороте.

Он рад, видите ли. Содрал в прошлый раз пять тысяч и рад. Маргарита Ивановна сердилась, подпрыгивала на ухабах.

– Евсей Петрович, мне выдали на сегодня только три тысячи. Я вам сразу говорю. Если что – давайте назад и разойдёмся.

– Ничего, Маргарита Ивановна! – смеялся кудлатый пройдоха в кепке, опять круто выруливая.

– Дорога длинная – договоримся!

Как по заказу промчал по Широкой мимо Табашникова у ворот. Кузичкина чуть не выпала из машины: привет, милые ноздри! Смотри-ка, рано встаёт. Шести ещё нет, а уже метлой машет.

– Знакомый, Маргарита Ивановна?

– Знакомый! – рассмеялась Маргарита Ивановна.

В большом городе катались с постоянно тормозящими стадами машин. Пустые недостроенные дома напоминали брошенные пустые соты. Солнце металось в них как угорелое. В коллекторе ругалась, не хотела брать явную макулатуру. Всучили всё-таки. Пришлось расписаться. Сама таскала связки и упаковки книг на улицу к машине. Евсей складывал прямо на пол в проходе. Берёг, хитрюга, сидения. На выезде из города остановились у автозаправки. Сидела, ждала. К окну придвинулась кудлатая весёлая мордочка: «Маргарита Ивановна, надо? Я уже». Кивнул на плоский проходной магазин неподалёку. Полезла наружу. Брезгуя садиться, в туалете стояла в позе козы, упершей передние копытца в тощие ляжки. Тщательно вымыла руки. В буфете взяла два больших чебурека и бутылку тархуна. Отъехали от заправки и остановились у обочины. «Балуете вы меня, Маргарита Ивановна», – молитвенно принял халявный чебурек Евсей. Жадно ел. Скуповат всё же Евсей Петрович. За дорогу ни рубля не истратил на себя. Ни игрушку внукам, ни платок своей Маруське. Как и не был в большом городе. «Ну, домой, Маргарита Ивановна?» Пошёл выруливать на трассу.

Въехали в городок, когда солнце вдали качалось как пьяное. Никак не могло улечься на ночь. Окна в доме на Широкой отблескивали. Хозяин в тощих трико и галошах вышел, чтобы опустить ставни. Вываливаться из машины и махать рукой не хотелось. Кудлатый Евсей тоже молчал.

Глава третья

I.

Валерий сидел на крыльце. Под летящим осенним небом думал. Что бы такое сегодня замастрачить, чтобы жена и теща восхитились? Сказали молодец Валерий!

Увидел в воротах тестя в шляпке, засовывающего ключи в карман плаща. Пришёл, гад. И следом друган большемордый его лезет. Тоже в шляпке.

С поворотностью кота Валерий тут же умёлся в дом. У себя в закутке упал плашмя на диван. Дверь не закрыл. Приоткрытой оставил. Слушал, как два голоса разгуливали в кухне, а потом в комнате.

Слышал про себя нехоршее:

– ...Наверное, на рынок сегодня упёрся. Бахвалиться. Поучать продавцов железа и инструментов. Как надо работать с металлом. Сколько у него всяких слесарных корочек. Дипломов. Заодно, как правильно делать замесы. Под беседки и фонтаны...

Валерий не выдержал. Начал хлопать ладошкой по тумбочке. Как в борьбе. Будто ему загнули салазки. Дескать, дома я, козлы! Не сплю! Всё слышу!

В дверь сразу просунулась лысая башка:

– Ты дома? Извини. Мы ненадолго. Сейчас уйдём. Отдыхай.

И дверь прикрылась.

Козлы.

Агеев искал документ для ФМС. Справку. Ирина сказала, что она в её столе. Ага! Вот она, справка, что мы с Машей не рыжие.

– Мы ушли!.. – крикнул Валерию.

В ответ что-то пробубнило. Будто в Диогеновой бочке. Поставленной за дверью.

Опять шли к воротам по разбросу и бардаку под ногами. Агеев тихо матерился.

– Это всего лишь художественный беспорядок, Гена, – смеялся Табашников. – Беспорядок художника. А ты возмущаешься.

В ФМС сидели у 9-го. Рядышком. Как всегда – ни одного просителя у кабинета Кугель.

Кугель упала как с неба. Опять с папками. Того и гляди посыплется на пол. Суёт в замок ключ:

– У меня неприёмный день.

Сказала в дверь, не оборачиваясь. Зашла, захлопнулась.

Агеев – не Табашников: спокойно постучал. Ничего не дождался. Тогда открыл, спросил «можно?» и вошёл без приглашений.

Табашников вслушивался в бубню за дверью. С преобладающей женской. «Отчитывает», уважительно говорил себе. Как лапотный крестьянин в присутственном месте.

– Вот гадина! – ругался Агеев, когда шли к остановке. – Специально не положила в нашу папку копию документа. Специально! Понимаешь? Ещё раз хотела сгонять нас с Машей в Краснодар. Не вышло! Всё, дорогая, поезд с нами ушёл. Ту-ту. Не догонишь, зараза. – И без всякого перехода: – Ну, а теперь к Маргарите Ивановне? Ко сколько ты говорил? Вот и замечательно, есть полчаса в запасе.

По дороге у рынка купили цветы. Сам Табашников ходил вдоль высокого безмолвного ряда букетов на грудях у женщин. Внюхивался, выбирал. Возвращался к началу ряда. Нетерпеливому Агееву хотелось поддать его ногой. Как пацанскую лягу.

Во дворе жених показал на окно и балкон на третьем этаже. Дескать, прикинь, Гена, как будем уходить. Агеев посмотрел, прикинул: пожалуй, лучше сразу вниз, с балкона.

Звонить не надо было – в распахнутых дверях их встречала хозяйка в кокетливом фартучке. Табашников сразу вручил цветы. Конечно, ужалась в смущении. Что вы, Евгений Семёнович! Такой дорогой букет. Так потратились. Это ничего, бывает, бормотал жених, оглядывая дикими глазами прихожую.

Разделись, сняли обувь. По коврикам прошли в большую, тесно заставленную бабьим уютом комнату. Заставленную до потолка, под самую завязку. Ну что же, ничего, ничего, вполне.

Сели за стол в длинной белой скатерти. Уже с вином на ней, водкой и закусками. Хозяйка всё подносила и подносила. Наконец тоже села, сняв фартук. Была она сегодня со вздыбленными волосами и в чёрной кофте с блестками.

Агеев, записной тамада, поднялся с рюмкой:

– Ну что ж, Маргарита Ивановна, покоя и счастья вашему тёплому дому. Чтобы таким он был всегда – полной чашей, и телесной (посмотрел на библиотеку за стеклом), и интеллектуальной (совсем зарпортовался, подумал Табашников). Чтобы всегда в нём был женский уют и благоденствие (какая графомания!). Ваше здоровье, дорогая Маргарита Ивановна!

Чокнулись рюмками и бокалом, выпили, стали закусывать. Начался оживлённый, ещё трезвый разговор. В котором Агеев всё выпытывал у Маргариты Ивановны. Всё докапывался. Та посмеивалась, говорила про себя, видимо, откровенно. Библиотечный окончила в Новосибирске. По распределению попала сюда. Работает в библиотеке на Таманской с её основания. Больше двадцати пяти лет. Купила вот эту квартиру. Ну что ещё? Была замужем. Муж пил, трепался. К тому же считал себя пупом земли. Выгнала. (Ого! – переглянулись жених и сват.) Были и ещё кавалеры,

но всё как-то мимо. А как у вас, Евгений Семёнович? Были женаты? Был, коротко ответил жених. Гражданским браком. Продолжал объедать куриную лапу. Только чтобы не говорить. Разошлись, всё же добавил. Да, из такого крючьями надо вытягивать слова, несколько разочарованно подумала невеста. Однако вновь оживилась, заговорила. Теперь о книгах за стеклом. Уж тут он точно клюнет. Торжественно звучали имена: Борхес! Алехо Карпентьер! Набоков! И даже современные Шапко и Курчаткин! (Кто такие? Почему не знаем? – переглядывались писатели. Но всё равно – начи-итанная.)

Агеев смотрел на вздыбленные волосы тараторящей женщины, на её блестящий стеклярус на чёрной кофте и забывал говорить сам. Не получилось с ней летом. Так, может быть, теперь сложится. А то жених сидит бука-букой. За час трёх слов не сказал. Может, когда сойдутся – потеплеет, заговорит.

За чаем женщина вдруг стала показывать на плазменный телевизор в углу, про который и забыли:

– Смотрите, смотрите! Евгений Семёнович! Геннадий Андреевич!

И сама сразу подперлась кулачками.

Агеев тоже отвесил улыбочивый рот:

– Ух ты! Во дают! Волосья друг у дружки повыдерут!

Табашников напрягся, покраснел. Ему не нравились такие передачи. Он их ненавидел. С гадливостью всегда вырубал. Точно вляпавшись в нечистоты. Поражался, как вообще такое может быть – на самом дне русской жизни находят необразованных, примитивных, некрасивых людей – мужчин, женщин – привозят в Москву и выставляют в телевидении на всеобщее посмеище и позор. И те, не смущаясь ни света юпитеров, ни наезжающих камер – с готовностью начинают кричать, материться и драться друг с другом. И поразительно, что громче всех всегда базлают женщины, царапаются с соперницами, площадно ругаются. Всё никак не могут поделить кобелей. А те всегда сидят очень прямо. Гордо. Но тоже вступают в дело. В нужном месте. Махаются кулаками, пинают друг друга. Примитивизм, бескультурие, грязь! Самое дно! И, как говорит всегда одна выдра на такой же передаче: «Вся страна замерла в ожидании! Отвечайте: муж он вам? Сожитель? Или хахаль?» Господи, куда я попал!

– Ты что? – сунулся к лицу Агеев. Нахмурился: – Ну прямо красна девица. – Мол, ты отстал, старик. Ты не в бренде.

Маргарита Ивановна мгновенно уловила другую мелодию за столом – плазменный выключила:

– Так надоели, так надоели. Одно и то же, одно и то же. Ещё чайку, Евгений Семёнович?

Как бы то ни было, мужчины по-доброму выпили на посошок. И женщина с ними жажнула. Водки. Передёрнулась аж вся: ух!

В прихожей ворочались, одевались. Оба в одинаковых шляпках. Агеев и невеста ждали. От Табашникова. Тот всё возился с ботинком. Агеев даже пару раз подтолкнул. Мол, давай, говори. Приглашай к себе. Но жених умел прикинуться дурачком, от всей души стал трясти ручку женщине, благодарить за чудесный вечер. С тем и откланялся. Агеев с возмущением – за ним.

Шли в темноте по домам. Курили. Агеев не терял надежды, всё нахваливал:

– Смотри какая! Не просто женщина в библиотеке при книгах, а начитанная женщина при книгах в библиотеке. Чувствуешь разницу?

Табашников молчал.

Но на перекрёстке, пожимая руку, спросил:

– А кто такие эти Шапко и Курчаткин? Ты не в курсе?

2.

В детстве Жека Табак любил делать своими руками модели кораблей и подводных лодок. Не один год он ходил на Станцию юных техников в судомодельный, и у него неплохо там получалось.

В первый раз десятилетним, уже покуривающим, его привёл туда отец, чтобы оградить от улицы. В старинном двухэтажном здании на втором этаже Жека увидел человек пятнадцать ребят в большой комнате, которые углублённо работали над своими моделями. Ребята даже не посмотрели в их сторону, хотя отец и Жека сказали «здравствуйте». Так им, кружковцам, было интересно строгать и точить. Но Жека не обиделся, ему сразу понравилось здесь – только пацаны и никаких девочек.

Один мальчишка подошёл к двери в стене и стукнул три раза. Паролем. Вышел лысоватый мужчина в сатиновом халате, какие носят грузчики, посмотрел поверх очков и спросил: чего надо? А тут ещё какой-то старик-ветеран из-за спины его поспешно поковылял мимо на выход. Странно вообще-то, удивились отец и Жека. Не вовремя мы, что ли?

На просьбу отца лысоватый ответил:

– У меня полный комплект. Пятнадцать ребят. Недобор в авиамодельном. Идите туда. К Дугину. – И добавил с сарказмом: – К Генеральному конструктору самолётов. – И без разговоров ушёл за дверь в стене.

Однако, как встречают здесь детей! Отец был возмущён. Потащил сына на первый этаж, к директору. Мимо двери которого уже проходили.

Директором оказалась казашка. Гульнара Ахметовна. Сразу полезла из-за стола, повела отца и сына обратно. На второй этаж.

– Они специально перегоняют детей. Чтобы досадить друг другу. Но я сейчас им покажу, – тяжело взбиралась по ступеням грузная женщина. – Они у меня оба сейчас попляшут.

Дальше в большой комнате прямо при детях началась разборка между лысоватым в очках и каким-то длинным дядькой без очков. (Жека и отец ничего не могли понять, вертели головами.) В очках гнул своё, у меня больше учеников, длинный парировал, призывал в свидетели директоршу, он врёт, Гульнара Ахметовна! Наконец, той надоело:

– Ну вот что, милые мои. Если сейчас же не договоритесь, я прикрою все ваши лавочки. Ни ветераны ходить сюда больше не будут, ни хозяйки с кастрюлями и рваными сумками. А ты, мальчик, в какой кружок хочешь ходить?

Жека твёрдо сказал – в судомодельный.

– Понятно? – повернулась к лысому.

Длинный победно пошёл к двери, а лысоватый сквозь очки прямо-таки испепелял антагониста. Потом вроде бы опомнился, похлопал Жеку по плечу:

– Ладно, малый. Скажи мамке, чтобы сшила фартук. Вон, как у ребят. И приходи тогда.

Так Жека попал к Фролову Василию Парфёновичу. К дяде Васе.

Василий Парфёнович был неплохим наставником ребят, умел научить работать и стамеской, и лобзиком, и подпилком. Но часто бросал учеников, и те оставались один на один со своими яхтами, парусниками, корветами и колёсными пароходами. И всё потому, что под крышей «Юного техника» Василий Парфёнович устроил свою мастерскую. Полуподпольную. Для участников Великой Отечественной. Единственный в городе, он делал им из прозрачного пластика колодки под разноцветные планки орденов и медалей. Ну и набивал колодки потом этими планками. И заслуженными, и незаслуженными. Ветераны шли к дяде Васе косяками. И те, которые опирались уже на палочки, и здоровые. Стукали в дверь в стене три раза. И дядя Вася запускал. Кружковцы уже привыкли к этому, не обращали внимания. Так только, если какой-нибудь с палочкой заблудится в комнате, подводили его к двери. Ну и стукали за него. Три раза.

В «Юный техник» ходил и Герка Глобус с соседнего двора. И у него тоже неплохо получалось.

До Станции Жека и Герка или дрались, или поочерёдно били лянгу. (Это когда человек будто подкачивает что-то в районе своего живота, правой ногой.) Снова дрались, или курили в сарайке Глобуса. Как бы раскуривали трубки мира. На передышку. И только в «Юном технике» помирились окончательно. Вечерами вместе шли домой. Несли по темноте хорошо раскуренные папиросы. Можно сказать, действующие модели ракет. «В кого ты такой?» – услышав голимый никотин

в комнате, в беспомощности спрашивала мать. «В свою фамилию», – юморил безнаказанный, никогда не тронутый пальцем Жека. «А как же отец? А дядя Миша во Владивостоке? А я, наконец?» – «А вы боитесь рака», – опять юморил смышлённый Жека.

Через год Жека Табак и Гера Глобус, как самые достойные, стали допускаться в каптёрку Фролова. Он их привечал только двоих. Пил кефир и разглядывал перед собой два больших кумпола. Одинаковых. Надо же! Но рукастые пацаны. Оба. На них только кружок и держится. Остальные – ни то ни сё. Без рук.

Иногда рассказывал про ветеранов. Участников Великой Отечественной. Совсем не педагогично:

– Они ведь как? Они ведь все хотят побольше наград. Чтоб я им наколотил в колодку. Но у меня не пройдёт. А удостоверение? На этот орден? Или, к примеру, на медаль? А? А ну покажи! А у него и нету.

– И как тогда? – спрашивал Жека Табак.

– Ну «как?». Помогаю...

Табак и Глобус переглядывались – помогает ветеранам, не бросает в беде.

Раз в год, на День Военно-морского флота, шли всем кружком на озеро в парк. На соревнование между Станцией и Домом пионеров.

Три квартала до озера шагали прямо по улице. Не обращали внимания на сигналы машин. Каждый нёс свою модель или модельку. Глобус и Табак шли со своими моделями впереди, рядом с Фроловым. Тот был всегда в белой рубашке с коротким рукавом, но почему-то в осенней толстой кепке.

Возле озера играл духовой, толпились на берегу зеваки из парка, сидело жюри за длинным столом в красной скатерти, стоящим прямо на траве.

Модели Глобуса и Табака почти всегда побеждали. Подводная лодка Жеки свободно уходила на дно, ползла там где-то в темноте, и когда уже думали, всё, каюк, амба, с концами – всплывала под аплодисменты зрителей. Большой линкор Глобуса носился. Стопорил. Делал всевозможные маневры. Вперёд, назад, в стороны. Тоже под крики и хлопки.

Потом было награждение. Великовозрастные лбы с моделями из Дома пионеров толкались вокруг Жеки и Герки на пьедестале, но устанавливались и всюду лыбились телевизионщикам. Герка и Жека стояли среди них как малолетки, уставшие от наград. Гордый Фролов посматривал на длинного Дугина без кружка своего сегодня и моделей. Обязанного здесь быть. Гульнара приказала. То-то, гад. Где твои первые места? Всё пятые да десятые. А, горбыль хренов?

Однажды вечером Жека один шёл через парк и увидел Фролова. Дядя Вася сидел на скамейке и, больно морщась, плакал.

Жека тут же выкинул сигарету. Подбежал: что с вами? Что случилось? Дядя Вася!

Фролов заговорил высоким, срывающимся голосом:

– Женя, сын мой жив. Жив. Его видели.

Ребята в кружке знали, что у дяди Васи сын в драке убил кого-то, попал под расстрельную, и год назад его расстреляли.

– Где видели, дядя Вася?

– Под Кызылордой, – всё плакал Фролов. – На рудниках Хорасана. Живым. Уран грызёт под землёй.

– Да кто, кто вам сказал?

– Ветеран. Милицейский. Капитан. Я ему сделал колодку за это. Бесплатно.

Даже двенадцатилетний Табак понял, что дядю Васю гад капитан просто развёл. Чтобы тот сделал бесплатно колодку. Но ничего несчастному отцу говорить не стал. Помог подняться, как слепого, за руку, повёл домой.

Слушал потом на крыльце частного дома, как за дверью выли уже два голоса. Дяди Васи и его жены. Видел их тени, которые падали по занавешенным окнам.

Через полгода Фролов умер. Жека со всеми кружковцами был на кладбище. Слушал стоны оркестра. Смотрел, как закапывают. Как мечутся галки над осенними деревьями.

Больше на Станцию Жека не ходил – в кружке уже распоряжался Дугин. Прихватил ставку Фролова. А заодно и весь его инструмент. Герка Глобус метался сперва, не зная куда, но скоро привык и даже стал Дугину помощником, учил новичков. Когда тот не успевал. Перебегать по коридору. Из авиамодельного в морской. И обратно.

3.

Табашников опять шёл жёлто-зелёной Партизанской. Нырлял под низкую листву и вновь выходил к небесному свету.

В этот раз полкан у чужого забора поданную кость закусил со слезами на глазах. Как будто заставили. Как будто его сейчас будут кастрировать. А обезболивающего не вколют – уличным не положено.

– Заболел, бедолага?

Табашников гладил голову пса. Словно не знал, что с ним делать.

На людной Свердлова снова увидел печальное – навстречу передвигался бледный инсультник. С ногой – как с хоккейной клюшкой. Примерялся ударить ею, пасануть Табашникову.

Евгений Семёнович опустил глаза: и ведь лет сорок всего мужику. Оборачивался. Инсультник всё загребал, всё примерялся ударить...

С матерью инсульт случился в пятьдесят три года. В январский мороз она пришла к гриппующему сыну на квартиру, принесла продукты. Собиралась приготовить что-нибудь, покормить, прибраться в двухкомнатной, которую сын получил всего месяц назад. Ещё слушая с дивана её голос из прихожей, Табашников почувствовал неладное. Никогда не выпившая лишней рюмки, бокала – мать говорила как пьяная. Вошла в комнату, покачиваясь, словно не узнавая её. Не сняла ни сапог, ни шапки. Тяжело села на стул. На все вопросы испуганного сына отвечала невнятно, смазанно. Лицо под песчовой шапкой пылало. Было слегка перекошено, точно она пьяно говорила «а, ерунда». Гипертонический криз? Инсульт?

Табашников бросился в прихожую. Высыпал всё содержимое материнной сумки на тумбочку, выхватил из лекарств каптоприл. Снова в комнату. «Ну-ка давай под язык». Стал совать таблетку в скошенный безвольный рот. Поднял мать и осторожно повалил на свой диван, прямо на простыню и подушку, в одежде, в сапогах, шапка слетела. Ещё одну подушку подсунул. Только после этого стал звонить в скорую. Опытный. У матери случались кризы. Гипертоник. С многолетним стажем. Но такого состояния – никогда.

Ждал. Мать что-то лепетала. Гладил её длинные седые, как белесая пряжа, волосы.

Приехали довольно быстро. Определили сразу – предынсультное. «Что давал из лекарств? Воду не пила? Не ела? Всё правильно (молодец)». Сделали уколы, повезли. В машине Табашников держал мать за руку. В тесноте скорой никак не мог достать из своего левого кармана под зимним пальто носовой платок. Чтобы вытереть ей слёзы, тёкшие из закрытых глаз. Достал. Вытер. Но слёзы набегали вновь. Он их вытирал и вытирал.

Приехали к зданию с толстыми колоннами, больше похожему на дворец культуры, чем на больницу. Быстренько завезли больную на каталке по въезду в приёмный покой. Там у Табашникова сняли показания. Фамилия, имя, отчество заболевшей. Год рождения. Домашний адрес. Телефон. Дальше мать повезли по коридору, а сын побежал домой, к отцу, чтобы собрать ей домашнюю одежду и скорей вернуться с ними назад.

Странно вёл себя отец. Когда вместе приходили к больной в палату, пенсионер стоял в изголовье жены в каком-то диком серьёзном почётном карауле. Или держался там за спинку кровати, точно собрался везти жену на кровати домой. Табашников кормил мать. «Сядь, отец, сядь! Не маячь!» На что пенсионер отвечал: «Ничего, я постою». Лежащая пластом больная,

казалось, не воспринимала их обоих. Уже не говорила. Сомнамбулически приоткрывала край косого рта, принимала ложки с какой-то кашей.

Впрочем, на улице, возле колонн, отец переключал тумблер. В положение 2. Становился деятельным, активным. По заданию сына спешил или в аптеку, или на рынок за свежим творогом и сметаной для жены.

В самом начале, после развития осложнения, когда больная уже не вставала, – ухаживал за ней сын. Один. (Отец умудрялся исчезать. Для поисков санитарок.) Поворачивал на бок, менял памперсы, пытался вытирать салфетками, мыть ноги.

Главврач, вошедший однажды с белой свитой, – увидел. «Это что такое! Где санитарки?» Две санитарки забегали, начали всё делать. Вытерли, помыли. (Исхудалые обнажённые ноги больной перекидывали как серые оглобли.) Забили свежий памперс. «Всё, Эдуард Генрихович». Сунули испачканную простыню себе за спину. Табашникову. Как замели все следы. «Смотрите у меня!» Крупный мужчина в белом халате и шапочке присаживался сначала к старушке у стены. Тоже с косым ротиком. Стукал её молоточком, чиркал иглой. (Его сопровождающее белое большинство обиженно безмолвствовало: не доверяет, везде лезет сам.) А потом к молодой девчонке в спортивном костюме. И сразу начинал ругать её, что та опять выходила к ухажёру на мороз с непокрытой головой, без шапки. «У тебя арахноидит, дура ты чёртова. Для чего ты ему будешь нужна калекой?» Наконец подсел к Табашниковой. «Ну как, милая, наши дела?» Больная молчала, смотрела в потолок. «Пора говорить, милая, пора». Пошевелил пальцами над своим плечом. Тут же получил карточку с назначениями. Углубился. «Почему сняли пирасетам? Немедленно вернуть». Ему пошептали. «Ну и что, что у нас закончился? В аптеках есть. Сын найдёт, купит. Чтоб завтра же зарядили в капельницу. Никаких аналогов». Погладил плечо больной: «Поправляйтесь, милая, поправляйтесь». Поднялся. «А вы смотрите у меня!» – ещё раз пугнул санитарок. На прощание. А те уже всю выслуживались – одна драила подоконник, другая с кометом – умывальную раковину.

Но каждый день Эдуард Генрихович в палату не приходил, и Табашников бегал, упрасивал жадных тёток с половыми тряпками. И всегда потом платил. И только когда больная начала вставать, добираться с его помощью до туалета, до ванной комнаты, всё более-менее наладилось, обходились без тёток.

На работе в НИИ над Табашниковым сгустились тучи. Потому что постоянно слинивал. Или прямо с утра, или после обеда спешил к больной. (Обеденный перерыв не совпадал с приёмными часами в больнице.)

Прикрывала Рая Тулегенова. Активно внушала Суслопарову за стеклом. И тот, загипнотизированный ею, действительно видел возле одинокого покинутого кульмана две тени. Две тени вроде бы Табашникова. (Что за чертовщина!) И даже его плавающее над чертежом большое довольное лицо.

Снова возникла в квартире Табашникова. В новой теперь квартире. До этого два раза возникала в квартире родителей, где Табашников до получения своей постоянно жил. Отец и мать полюбили её, ждали от сына решения. Деликатно подталкивали, направляли. Но сын, чурбан бесчувственный, так и не сделал предложения. В этот раз Рая помогала готовить, приносила свежие продукты с рынка. На руках (машинки не было у любимого) стирала обгаженные простыни и рубашки его матери. По ночам, чувствуя себя обязанным (чувствуя себя подлецом!), Табак обнимал одной рукой льнущее к нему гладкое тюленьё тело. Рая после близости строила планы: вот мама поправится, тогда мы... Понятное дело, таращился в тёмный потолок Табак.

Выписали мать в конце февраля. Она волочила, загребала левой ногой, поджав кисть руки. Говорила плохо. Дома в растрёпанной седой пряже своей походила на ведьму. Если сын заходил перед работой, отцу уже ничего не говорил – сам причёсывал. Вечерами Рая подключалась. Вместе мыли в ванной. Виноватый отец метался с банным полотенцем. Все трое надеялись.

Повторный инсульт случился глубокой ночью. Она вдруг захрипела в темноте. Отец растерялся. С включённым светом не мог найти лекарство. Искал по коробкам в комнате. Хотя

таблетки лежали на тумбочке у тахты. Руку протянуть. Пока, подвывая, переворачивал, тряс коробки, пока звонил сыну, пока ехала скорая, Наталья Сергеевна Табашникова умерла. Было ей на момент смерти неполных пятьдесят три года.

«Из-за меня она умерла, Женя, – плакал на кладбище отец. – Из-за меня». Табашников прижимал к груди большую пылающую голову, сам плакал, смотрел вверх. Сквозь слёзы видел тех же черных галок, что метались здесь над деревьями двадцать лет назад, когда хоронили Фролова.

4.

Перед переездом Агеевых из Казахстана сын Андрей обещал помочь с квартирой. Чтобы была своя. Чтобы смогли жить отдельно. Добавить к деньгам, которые привезут. Однако прошёл год, и будто не было разговора с матерью по телефону. Больше того, деньги, которые привезли (от продажи жилья), сразу забрал. Пустил, как сказал, в дело. Как объяснил – для их же пользы. (Для пользы кого? Их, стариков, или денег?) «Мама, тебе разве плохо у нас. Комната у тебя с отцом самая большая. Живите, ни о чём не думайте». Как будто впарил. Внушил. Как в передаче на телевидении: «А вот эта зелёная таблетка вам, чтобы не думать. Примите её и не думайте».

И Мария Никитична Агеева не думала. Месяца три или четыре. Ишачила. На всю семью. Стирала на всех, готовила, бегала на рынки с весёлой девчончишкой в коляске. Сама, как и муж, с техническим образованием, помогала тугодуму Ване по математике. Невестка вечерами наносила кремы, пилила ногти, сын разгуливал в гостинной, хлопал живот помочами, ждал от матери (домработницы) ужина, заодно продумывая комбинации для пользы денег. Ну а преподобный муженёк всё время шастал. Был то у Табашникова, то у Ирины с Валерием, то теперь новую моду взыл – у Маргариты Ивановны. (Правда, с Женей.) Являлся домой с темнотой.

Всё чаще и чаще в кухне Мария сидела, сложив ручки на коленях. И весь вид её говорил: зачем мы тут? Зачем приехали сюда?

Но муж был туповат. Как все мужчины. Не понимал её состояния. Не понимал, что она потеряла свой очаг, гнездо, потеряла безвозвратно, что здесь у неё ничего нет, здесь она приживалка.

– Ну что ты, Маша, опять. Не буду я с ним ругаться. И ходить туда не буду. Сказал же.

Мария Никитична смотрела на мужа: и правда – дурачок. Спыхватывалась, гнала от себя всё, начинала хлопотать в чужой квартире, в чужой кухне. Незаметно смахивала слёзы.

До переезда не видели сына три года. Приехали – не узнали. Сын, как говорят сейчас, – поднялся. Четырёхкомнатная просторная квартира в центре, новая машина, жена, как богатая цыганка, вся в мехах, кольцах и серьгах, сам с запонками, подтяжками и дорогими часами, евроремонт заделал недавно, мебель не мебель, кинотеатр на стене, космодром лупит с потолка. Знато живёшь, сынок. И всё это на зарплату рядового диспетчера в морском порту? Удивительно.

Андрей Геннадьевич через месяц-другой уже не стеснялся родителей. Нередко за ужином хвастался, что опять провернул удачную сделку-комбинацию на пару с каким-то Штукиным. Жена смотрела на мужа с гордостью, подкладывала ему самое вкусное. («Благодарю, дорогая», – мычал в нос новоиспечённый лорд, аристократ.) А Марии Никитичне сразу хотелось спросить у томного комбинатора: что же ты на квартиру-то нам, старикам, жмёшься? Или сразу пообедаешь? Но – только в мыслях всё. Вслух – ни звука. Не смела. Так же, как и отец. Который всегда начинал как-то втихаря давиться над тарелкой, кашлять. Как деликатный кот, который проглотил что-то непотребное и сейчас его вырвет. Впрочем, тут же переключался на Юльку. Как всегда, начинал щекотать, строить всяких коз и кикимор. (Вот не хочет человек знать, что сын стал нечист на руку, не хочет – и всё.) Ах ты, моя золотая! «Не лезь! – грубо обрывала Мария. – Мешаешь кормить!» Толстенький Ваня спокойно напивывался. Мама сказала: когда я ем, то должен быть глух и нем.

Нередко грудь сжимала тоска. Особенно когда днём оставалась в квартире только с Юлей. Когда ребёнок спал, а сама сидела рядом и продолжала безотчётно баюкать. Всё думала о теперешнем, безрадостном. Мучило, что сын стал таким жадным, расчётливым. Деньги на

продукты выдавал ей под список, где всё уже было подсчитано на калькуляторе. Накидывал лишнюю сотню, если старуха, не дай бог, где-то даст маху, просчитается. (Сказал бы кто ей в Казахстане, что так будет – посчитала бы сказавшего сумасшедшим.)

На день рождения отца подарил имениннику авторучку. Ну как же – большой писатель. У того тёплая куртка давно вылиняла, вся в пятнах. Ходит по городу как облезлый воин-афганец. У самой обувь дырявая, всё время мокрые ноги. Но этого не видят. Авторучки дарят. Да ещё букет цветов. Имениннику. Папе. От любящей невестки: с днем рождения, дорогой папа! Эх-х.

С дочерью тоже не складывалось. Второй муж достался с большим приветом. Шизоид. По её доверительным словам, сказанным однажды, рос в деревне, в большой семье. Где его чуть ли не с младенчества считали дураком, по-всякому унижали. Начиная от деспота-деда, старших братьев и кончая матерью, которая разрывалась между семью душами. (Отец, печник, можно сказать, сельский аристократ, ни в чём не участвовал, вольно шабашил, а когда бывал дома, подвыпив, с удивлением рассматривал дурного отпрыска, удерживая его коленями.) Всегда звучало в доме для Валерки: не лезь! Не трогай! Не умеешь! Сломаешь! Положи на место, дурья башка! И с тех пор, как освободился из семьи и окончил ФЗУ, Валерий и жаждал похвал, признания. Из кожи лез и лезет вон, чтобы его похвалили. Так было всю жизнь на производстве, так осталось и сейчас на пенсии. Признание, только признание. Похвала. Ай, да какой ты молодец, Валерий! От кого угодно. От случайных забулдыг в пивной. От продавцов железа. От тещи, от жены. От соседей, наконец.

Дочь видит всё это, понимает. Стыдится его на людях. При гостях не даёт говорить, хвастаться. Сама тараторит без остановки, только бы он молчал. Однако – прикипела. Родной. Никому не даст в обиду его. Даже отцу. Который лезет и лезет. Учит. Сам дурак – другого дурака.

– Куда опять ходил? Где болтался? Почему с ребёнком хотя бы не сидишь? Я что, одна должна тут разрываться?

Агеев смотрел на немолодую злую женщину, на её вывернутый выкрас волос, корни которого всё равно пробила седина, и не узнавал в ней своей жены. В Казахстане ладнее была, спокойней. Снимал плащ, шляпку:

– Так спит же Юлечка в это время.

– А проснётся?

В общем, досталось. Попал, как говорят сейчас, под раздачу. Пришлось и с Юлечкой сидеть, и Ване помочь с математикой, и в магазин два раза сбежать, а вечером с женой мыть ребёнка в ванночке. Потому что родители, как нередко делали теперь, упёрлись в гости. Всё свалив на Машу.

5.

На другой день на крыльце дома под высоким орехом Агеев привычно слягнул резиновые галоши – сперва одну, затем другую – и в носках вошёл в дом.

Друг передвигался по кухне, согнувшись в три погибели. Как баба обернул поясницу шерстяным платком.

– Радикулит? – спросил Агеев.

Услышав ответ, мгновенно дал лечение, рецепт:

– На стакан водки – две капли воды. Как рукой снимет!

Друг совсем переломился. И от боли, и от смеха. Махал рукой: уморишь!

Уже серьёзный, Агеев сказал, что сгоняет по-быстрому за действенным средством. Больному приказал не болтаться, прилечь на диван и ждать. Выскочил на крыльцо, вбил ноги в галоши и рванул на Комсомольскую, домой.

Вернулся через полчаса. С «алмагом». С лечебным аппаратом, смахивающим на ленту чемпи-она с очень крупными медалями. Усадил больного на диван и наградил этой лентой. Правда, не через плечо, а обернув ею поясницу. Подключил к электричеству. Медали загорелись, замигали.

Табашников и впрямь засиял как чемпион. Поможет ли, сомневался. На сто процентов, заверил специалист. Через час-полтора отправишься на свидание с любимой. Никаких затруднений при этом самом. Будешь работать как качалка.

– Ну ты скажешь: как качалка, – смущался Табашников. Однако смотрел на шмяляющую ленту вокруг себя с большой надеждой.

После алмага и таблетки анальгина больному явно полегчало. Немного распрямился. Ходил, правда, осторожно. Как будто учился ходить. Опять с шерстяным платком на поясище.

Агеев распоряжался в кухне. Разогревал и первое, и второе. Потом позвал к столу.

Пообедав, пили чай. Больной раскраснелся, повеселел. В телевизоре над холодильником что-то мелькало. Агеев взял пульт, прибавил там всего.

Ведущий в большой студии сидит. Сидит в кресле небрежно, откинувшись на локоть. Он – центр внимания. Этакий отвязный современный мессия. Судия. Имеющий право всех поучать. Над головой у него какие-то каббалистические знаки. Два. Висят справа и слева на заднике студии. Что-то вроде перекрещенных молотков с фуражки железнодорожника.

Мессия учит жить молодого парня, который накосячил с девицей, но не признаёт теперь получившегося ребёнка своим. Не хочет. Никак. Парень что-то мямлит на насмешливые припирающие слова судии, потеет, вытирается платком. Остальные участники шоу, сидящие кругом, смотрят на парня с осуждением и даже злорадством: попался, голубчик! Со стороны происходящее в студии выглядит как засолка свежего огурца, попавшего в банку к маринованным. Так сказать – опытным.

Агеев резюмирует, кивая на ведущего: «Вот каким надо быть в наше время. Самоуверенным, наглым. Судить всех и вся. У самого жен было несколько. Детей настрогол пять или шесть. Любовниц не счесть. Но судит, указывает, как другим жить. А, каков гусь!»

– Да ты-то откуда знаешь про жён и любовниц?

– Так из интернета. Сейчас же ничего не скрыть. Особенно таким как этот.

Потом незаметно как-то Агеев стал подворачивать к Маргарите Ивановне. (Никак не успокоится.) Опять начал нахваливать женщину. Невесту. Глаза его бегали. Втюхивал залежалый товар. Оказывается, есть не только женщины-свахи, но и мужики. Вот он. Старается.

– Ты что, не видишь, что я больной? Что не могу никуда пойти? (Что качалка не работает? – хотел добавить.)

– Так и не надо, Женя. Она сама придёт. Навестит тебя. Я ей уже позвонил, когда бегал домой. Она тебя полечит. У неё есть чудодейственная мазь. А, Женя?

Вот трепло так трепло. Ну как с такими бороться?

Геннадий Андреевич второй раз позвонил вечером. В шесть: «Маргарита Ивановна! Всё в порядке. Он ждёт вас. Поторопитесь. Завтра мне обязательно позвоните. Ну, удачи! Пока!»

До конца работы оставалось целых два часа. По графику сегодня доработать, досидеть их в пустой библиотеке должна была сама. Может прийти зануда Лямкин, пенсионер, потребовать детективов. (Круглыми сутками, что ли, читает? Уносит по три-четыре книги и является через день. И чаще вечером: «Прочитал! Давайте новых».) Но подруги замахали руками: «Иди, иди, Рита! Лямкина обслужим, не волнуйся!» И захихикали, радуясь за подругу-начальницу. Конечно, тут же смотаются, как только выйду за порог. К своим мужьям и детям. И Лямкин не получит книг. Ну да ладно, не до него. Пока, девушки!

С Таманской до дома добежала за пятнадцать минут. Быстро разделась догола. В ванную. Голову мыть не стала, времени нет.

Перед зеркалом надевала пояс с резинками и чулки с широкими узорами наверху. Терпеть не могла все эти женские конские сбруи. Но – надо: мужчины любят. Представив большую голову Табашникова, уткнутую и внимательно разглядывающую эти узоры – принялась истерично хохотать. Хватит, хватит! Никаких истерик. Взять себя в руки. Надела комбинацию. Тоже с

выпендряльными гербариями. На груди и внизу. В длинном облегающем платье перед зеркалом стояла – как стояла бы спнувшая сельдь на своём хвосте. Но тоже ладно, чёрт с ними. (С кем? С мужиками?) Всё можно вынести.

Металась, искала чёртову мазь. Которую брала у Колодкиной. Когда подвернула лодыжку. Мазь вонючая, но помогла. Да где же она! Ага, нашла. Завернуть баночку в газету. Ну вот, порядок. Теперь быстро одеваться для улицы. И на выход.

В доме на Широкой горело только одно окно. С краю. Деликатно постучала. Костяшками пальцев. К стеклу сунулось испуганное лицо. Поиграла пальчиками: это я, я, Евгений Семёнович! Переступала с ноги на ногу. Захотела вдруг сильно в туалет. Лицо за стеклом, точно поняв это, забубнило, что дверь в воротах открыта, вся дорожка освещена. Заходите, Маргарита Ивановна. Металась в освещённом дворе, не зная – куда. Скрылась за каким-то домиком типа баньки. Начала задира́ть плащ, потом платье. Узкое платье не поднималось. Да чёрт тебя! Расставила, наконец, ноги. Чувствовала себя волчицей, воющей на луну: зачем я пришла? для чего?

Хозяин в длинной, какой-то бабьей шерстяной кофте на пуговицах походил на беременного головастика. Разводил ручки, приглашал. Извинялся, что не встретил у ворот. Вот, приболел маленько. Принял плащ, одной рукой повесил. Согнуться, чтобы подать тапочки, не смог. Я сама, сама, Евгений Семёнович! Чуть ли не под руку повела хозяина на его же кухню. Всё было приготовлено на столе. Скромно, правда. Две тарелочки и винегрет. И графин. С водкой, конечно. Вина почему-то нет. Налил в две рюмки. Поднял свою: «Ну, ваше здоровье, Маргарита Ивановна! Рад вас видеть у себя». Тоже дёрнула с ним. Водка – пусть будет водка. Стала закусывать. Вообще-то как в забегаловке всё. Графин, винегрет. Пожадничал. Но ошиблась. Пока бормотала и осматривалась, появилась под носом тарелка картошки с подливкой и гуляшом. Что вы, что вы, так много! На ночь! Однако вкусно. Умеет готовить. Где вы простудили поясницу? Оказалось, на огороде. Работал, убирал участок. Вспотел, снял куртку, и быстро прохватило. Уже вечером поясница заныла. А утром не мог разогнуться. Говорил, что радикулитчик со стажем. Ещё в Казахстане прихватило в первый раз. Холодильник тащил. Холодильник сняли со спины, асам грузчик так и не разогнулся. Пошёл куда-то вроде тележки. Посмеялась. С юмором дядя.

Над холодильником маленький телевизор работал. Присмотрелась. Точно по времени там уже базлали скандалистки. Специально включил, подвёл к ним? Чтобы уколоть за тот случай? Мол, какой я правильный, а вы, Маргарита Ивановна, без всякой культуры. Но по лицу непонятно. Жуёт себе. Ещё налил в рюмки. Поднял свою. Прозит, Маргарита Ивановна! Старалась не смотреть в телевизор. Закусывала, говорила. А там (специально, что ли?) всё прибавляли и прибавляли. Матюги бабёнок уже пронзались то короткими, то длинными звуковыми сигналами. Евгений Семёнович, вы бы выключили. (Мол, я не такая.) Разве мешает, Маргарита Ивановна? Глаза глупы, невинны. Но махнул пультом, выключил. Опять наливал и пододвигал тарелки. Зачем такому жена? Всё сам готовит. Не хуже любой бабы. Какое у вас всё вкусное, Евгений Семёнович – пальчики оближешь! Зарделся. Как девица. И сразу опять налил. Куда гонит? В постель?

В большой комнате удивил низкий абажур из советского времени. Дымящийся над махровой скатертью. Поэтому темновато вокруг. Но всё расставил с умом. Диван, два мягких кресла с боков. Четыре скандинавских стула вокруг стола под абажуром. У одного окна журнальный столик. У другого – у стены – книжный шкаф. Правда, без книг, но забытый красивой посудой и зеркалами. «Всё осталось от прежней хозяйки», – объяснил мужчинка с пущом, уже с расстёгнутой кофтой.

«А вот здесь мой кабинет и спальня, Маргарита Ивановна». Откинул портьеру, включил свет. Вошла. В упор не видя стол с компьютером у окна, сразу двинулась к широкой тахте у стены. Склонилась над ней. Из волчицы под луной – превратилась в выдру, обнюхивающую медвежье гайно. Хотелось открыть атласное одеяло и посмотреть простыни, на каких медведь спит. Но тот уже выдавливал из спальни. Которая вообще-то больше кабинет, чем спальня. Но этого не захотела признать. Создалось будто бы двусмысленное положение. Дама в спальне у холостого мужчины. Хотя пора, наверное, приступать к делу, резонно думала. А? Но сегодня медведь явно

не может. Радикулит выдумал. Опять шли в кухню. В голове красно шумело. Напоил-таки. Специально только водку выставил. А в спальню больше не пускает. Опять в кухне стал наливать. А я не буду! Никогда! Ладонь прихлопнула рюмку. Нужно уходить. Сваливать, на молодёжном сленге. Ну, мне пора! Серьёзных приглашений в спальню сегодня не было и не будет. Поднялась, покачиваясь. В дурацком своём селёдочном платье. «А как же мазь, Маргарита Ивановна?» А, мазь. Вот она. Хлопнула на стол газетный свёрток. Вонючий. Всю сумку завонял. На ночь её. На поясницу. Будет сильно вонять. Не обращать внимания. Утром – как огурец.

Помогал с плащом. Надела. Обувь уже на ногах. Сумку закинула на плечо. Ну, до свидания. Спасибо. Подумала – и поцеловала. Влепила поцелуй. Куда-то в большое лицо. Как в тугоплавкий чугун. Но это ничего. Похлопала щёку чугуна. Пока, молодец!

По тёмной Широкой шла, покачиваясь. Напоил-таки, подлец. Специально. Вино не выставил. Только водку. Хотелось то ли плакать, то ли петь. Я люблю ти-бя жи-исть! Собаки сразу залаяли. Всё, молчу. Палец к губам. Почувствовала под локтем чью-то руку. Это что ещё такое! «Это я, Маргарита Ивановна. Я, Табашников. Не пугайтесь. Я вас провожу». Странно. Ты же дома. Откуда здесь взялся? А?! Дальше – провал.

Очнулась среди ночи. От сильного позыва в туалет. Застарелый цистит. Как ещё не опрудилась. Пошатываясь, пошла. На унитазах испуганно соображала. Вернулась в комнату. Ночник включён. Разложена тахта. Без простыни. Только подушка. В ногах тонкое одеяло. Сама в платье, в чулках. Все сбруи на месте. Неужели привели? Затащили на третий этаж? Но кто? Табашников больной. Тогда – Агеев? Мгновенно покрылась потом. Присела на тахту. Опять соображала, пыталась вспомнить. И вспомнила – висела на перилах у своей двери. А Табашников из всех сил удерживал, а другой рукой пытался открыть ключом дверь. Разрывался на части. Господи-и! Как вышел потом Захаров-сосед, и вдвоём они справились, втащили пьяную бабу в квартиру... И что теперь – как жить?

На работу первым позвонил Агеев. «Ну как, Маргарита Ивановна? Как всё прошло? Почему не звоните?» Не знает, сваха чёртов. Ничего не знает. Сделала сладкую мину, засмеялась: всё нормально, Геннадий Андреевич. Больной чувствовал себя хорошо. Посидели, поговорили. Я оставила ему мазь. Всё объяснила. Но старикан что-то почувствовал, молчал. Не отключался. Слышите, Геннадий Андреевич? Всё в порядке, говорю, у него! «А кто же вас проводил? Евгений должен был позвонить, чтобы я это сделал, и не позвонил». Так он сам и проводил, Геннадий Андреевич. Сам. Я ему говорила, что не надо, что сама добегу. Но он настоял. Всё в порядке, Геннадий Андреевич. Твердила и твердила, как заводная. Господи, Мюнхгаузен отдыхает! Сказочник Гофман молчит! Агеев, наконец, отключился. Стыдно было до слез. Ну вот, лицо уже скучилось, потекло. «Ты что, Рита, что?» Колодкина и Гордеева. Лезут, заглядывают, утешают. «Ну-ну, вытри слёзы и рассказывай скорей. Что он с тобой сотворил? Этот гад большеголовый». Давилась слезами, икала: он ключ, ключ даже бросил, ключ. Полный презрения ко мне-э. «Какой ключ? Где бросил?» Мой ключ от двери. На тумбочку. Полный презрения-а...

К Табашникову Агеев примчался сразу же после разговора с Кузичкиной.

Евгений сидел на диване в алмаге. На этот раз как очень больной раджа в сверкании надоевших бриллиантов. Было видно, что радикулиту его стало хуже.

– Что же ты полёрся провожать-то? А? Больным? С больной спиной?

– Так ведь неудобно, Гена. Женщина. Ночь. Тёмная. Особенно у нас, на Широкой. Надо было.

– Да я-то для чего? Ведь договорились. Почему не позвонил?

– Ты тоже не мальчик. Ещё сломаешь что-нибудь в такой темноте. Нogu там, руку. И будем тогда сидеть здесь. С алмагами. На пару.

Посмеивался больной, но глаза уводил. Что-тоне договаривал.

– Ладно. Как мазь Маргариты Ивановны? Помогла?

Распирало от смеха, но поспешно успокоил: помогла, помогла, очень помогла.

- Позвони Маргарите Ивановне. Поблагодари.
- Обязательно!

Сваха чёртов уже пятился к двери, а всё смотрел с подозрением. (Да иди же, иди! А то сейчас лопну от смеха!)

Снял наконец алмаг.

На кухне ел утреннюю кашку. Поясницу поламывало, но терпимо. Не так, как ночью. Когда вернулся домой. После силовой игры на площадке Кузичкиной. С живым женским телом, которое могло полететь вниз, – и закрытой дверью, которая никак, зараза, не открывалась.

В телевизоре рекламный кот бежал. Будто прямо на тебя. Встряхивал длинной шерстью, длинной, как у яка. Припал к кормушке. Заслужил.

После кота за богатым папиком, идущим к богатой машине, замельтешила ножками девица-содержанка с чемоданом на колёсиках. Наверное, думала, что мельтешит за ним кокетливо, красиво. Так бегут мелким шажочком, выламываются женщины только в современных фильмах, в сериалах. В жизни такое вряд ли увидишь. Да, грустно это. Подпёрся кулаком. Как быть с Маргаритой Ивановной теперь? Как вести себя с ней? После всего, что произошло. Да, полный тупик.

Глава четвёртая

I.

Агеев понимал, что должен смириться с дурацкими работами Валерия. Смириться, не лезть в них, но ничего с собой поделать не мог – разносил упрямого стоеросового дурака в пух и прах: «Ну для чего ты опять железо здесь нагородил. Для чего оно здесь, зачем?! Разве до этого сейчас? У тебя по двору не пройдёшь, в грязи утонешь. Почему плитку всю испохабил, а новую не положил? За три года! Почему?»

Уходил по Котова и не мог вместить в голову: как? Как его дочь, умница, окончившая пединститут с красным дипломом, филолог, могла выйти замуж за этого болвана, за этого безграмотного самовлюблённого нарцисса, который и расписаться-то толком, наверное, не умеет. Как? И всё это – после первого мужа. После незабвенного Игоря Петровича. Невероятно!

Когда в 2010-ом дочь позвонила и сказала, что выходит замуж, – с Машей как-то растерялись, даже не поверили. Дочери было к тому времени уже 36, никакими мужьями и даже хахалями до этого и не пахло. Думали, вообще старой девой останется. А тут как обухом по голове: замуж выхожу!

Вместо того чтобы обрадоваться за дочь и поздравить, стали спрашивать и точно нудную заполнять анкету: да сколько лет? да где работает? да был ли женат? Если был, то сколько детей за спиной (удальцу тоже как минимум под сорок, наверняка настрогал)? На всё это Ирина только посмеивалась: письмом, милые родители, письмом! И отключила телефон.

В тот же день по электронке получили письмо. Узнали, что зовут Игорем Петровичем. Фамилия Камышов. Что работает первым заместителем директора банка. (Ого, какую рыбину зацепила!) Что вдовец. (Это сколько же ему лет? Старик? Молодой? Тогда сколько деток за руки его держатся? Ничего о возрасте не написала!)

Сильно опоздали с прилётом, поэтому свою дорогую мартышку увидели прямо на свадьбе. В каком-то местном ресторане. Она сидела рядом с крупным лысоватым мужчиной за шестьдесят. Который подошёл и какое-то время рассматривал тестя и тещу весёлыми карими глазами. Потом по очереди обнял, похлопал по спинам своих одногодков: «Здравствуйте, дорогие мама и папа!» Повёл к невесте. Человек тридцать за длинным столом закрыли рты, захлопали и закричали.

Оглушённые мать и отец оказались по правую руку от зятя. По левую (возле невесты) уже си-

дели вместо родителей жениха – сам директор банка и его дородная супруга. Шесть персон рядом. Полный комплект главных свадебных персонажей во главе весёлого длинного стола.

Дальше приглашённые гости кричали «горько», и невеста в подвенечном платье, как положено, сомлевала в объятьях крупного жениха в потной белой рубашке.

Потом этот крупный дядя ещё придумал номер: под музыку танго стал водить (носить?) маленькую невесту вместе с подвенечным платьем. Круто разворачивал, опрокидывал к полу, снова выравнивал, всячески вертел. Натурально, как безвольную мартышку. Ну а гости дружно хлопали крупному дяде. За такой его номер.

В чужом доме лежали вдвоём на чужих простынях. В темноте чутко вслушивались. «Он же старше даже тебя. На целых пять лет. Куда она смотрела?» За стеной слышался смех мартышки и глухая бубня дяди. Будто вдвоём они что-то распиливали.

Утром за завтраком никаких «пап» и «мам» больше не было. Только по имени-отчеству: Мария Никитична, Геннадий Андреевич. Вежливый, предупредительный. В какой-то старинной тужурке с кистями. Интеллигент из фильма. В десятом поколении. «Не желаете, Мария Никитична? А вы, Геннадий Андреевич?» Ирина металась, носила на стол. В фартучке, с румянцем на щеках. Гордая за мужа. «Сядь, Ира, сядь!» – приказал муж. И она послушно села. Маленькая, пряменькая рядом с этим громилой. С этим так называемым интеллигентом.

Уводили глаза от молодых, проглатывали какую-то еду, пытались осмотреться. Байбак в тужурке встал, включил свет. Помимо воли уставились на вспыхнувшую люстру. Вспыхнувшую не сразу – какой-то волной. Как вспыхивает снежная королева на спектакле для детей. Довольный произведённым эффектом, байбак продолжил насыщаться. Сегодня он ел только манную кашку. У него был гастрит. Он и так вчера позволил себе лишнее.

Словом, в первую встречу зять не понравился.

Андрей, брат Ирины, тоже не принял Камышова. Решительно. Был Андрей тогда ещё холостым. Только начал работать в порту. Жил на съёмной. Денег не хватало. Стал бегать с плакатами на протестные акции. («Долой! Вперёд!») Один раз крепко навалили дубинками и чуть не выгнали с работы. На свадьбе сестры ни к чему не притрагивался – сидел с одним бокалом вина, полный презрения ко всем этим толстосумам. Тридцатилетний ещё, тощий, голодный.

Мать и отец съездили к нему на съёмную квартиру. Сын сидел в полупустой комнате, на раскладушке, в трусах и майке и ненавидел весь мир. «Поедем домой, сынок», – робко попросила мать. В ответ на неё посмотрели мучительные медные глаза бомбиста-смертника, который не струсит (мама!), который (ма-ма! ых!) пойдёт до конца.

Уехали из приморского городка с тревогой. И за неудачника-сына, которого зря переманила из Новосибирска Ирина (работал бы и работал там в речном порту), и за неё саму, с её скоропалительным, отчаянным каким-то замужеством.

Через год у дочери обнаружили рак молочной железы. И тут Игорь Петрович стал неузнаваем. Несмотря на отговоры врачей, сразу повёз жену за границу. Где в одной из лучших клиник Германии ей сделали операцию. Хотя опухоль была ранняя, обнаружили её при плановом обследовании, операция была бы несложной, и её спокойно бы сделали в краевой больнице. Но – нет: повёз.

Как только вернулся домой, позвонил тестю и теще. Пригласил приехать. Навестить дочь. Предваряя колебания пенсионеров (где деньги искать на билеты?), сказал, что всё оплатит. И к нам, и обратно. Не волнуйтесь. И добавил со счастливым смехом: «дорогие мои папа и мама».

Признали денег, быстро собрались, полетели.

Увидели свою дорогую мартышку сидящей в постели, обложенной белейшим одеялом и вроде бы от этого посвежевшей. Как будто вернулась она домой с бело-розового курорта. Припали с боков, заревели. Агеев трубил, выводил носом. Ну-ну, успокаивала дочь, будто малых детей.

Игорь Петрович смотрел, улыбался – устроил для жены праздник. Полный сериал!

Восстанавливающейся больной требовались перевязки. Сначала через день, дальше через два. Для этого нужно было ходить в поликлинику. Но Игорь Петрович разве допустит такое?

– медсестра (самая лучшая) стала приезжать прямо домой, на Котова. В первую процедуру, не обращая внимания на протесты Ирины, все трое следили за действиями хмурой тощей женщины с длинным обескровленным носом. Точно стремились поймать на мошенничестве. Но та делала всё быстро, щадяще, профессионально. Игорь Петрович сам проводил её до машины с красным крестом. Видели, как тощая в белом халате и пальто сильно смутилась, когда он вручил ей крупную купюру. Досталось и шофёру, висящему на руле. С которого мгновенно слетела пожизненная скука. Больше напоминать медсестре с длинным носом о больной на Котова не надо было – являлась на машине с красным крестом ежедневно. Ровно в двенадцать. «Ещё бы! – как за своё ворчала Мария. – Ей за таких пару купюр нужно полмесяца пахать в своей процедурной. Теперь будет ездить. И надо, и не надо». «Да ладно тебе, – срывался, чтобы встретить сестру, супруг. – Пусть зарабатывает». Всегда оставляемые Игорем Петровичем деньги тоже вручал с благодарностью. Тощая цапля милостиво брала и лезла с баулом на сидение к шоферу. Тот, втихую поширав ладошками (изхх!), быстренько трогал.

Сама больная всегда спрашивала из спальни, покормили ли Валентину Ивановну (медсестру). Время-то обеденное. Как же, будет такая обедать здесь, всё ворчала Мария. Ей бы только деньги ваши. «Какие деньги, мама?» Агеев толкал жену. Та входила к дочери и сразу переводила стрелку: «Ну-ка, давай вставай! Хватит с книжкой сидеть. Ходить тебе надо, ходить». – «Ну мама, Игорь же сказал, чтобы я больше отдыхала», – капризничала дочь. «Игорь». «Сказал». Игорь скажет. Игорь знает больше врача, сердилась почему-то и на зятя Мария, застила кровать.

За те два месяца, пока дочь восстанавливалась, пока помогали ей, хорошо узнали и Игоря Петровича. Тот не называл жену ни зайкой, ни лапкой, ни сусликом, ни даже мартышкой, дурачком именем, которое любимой дочке прилепил ещё в детстве Агеев. Но видно было сразу, что крупный мужик 65-ти лет крепко любит свою молодую жену. Что жизненные, любовные силы в нём не иссякли. В чём убеждались почти каждую ночь, слушая стук в стену кровати с мартышкой. Но иногда из ненасытного любовника он разом превращался в испуганного дедушку своей любимой. Стоило мартышке не так чихнуть, не так пукнуть, сразу начиналась паника. (Как узнали позднее, он просмотрел начало болезни у своей первой жены, которая умерла от рака.) Вызывался на дом врач, ставились уколы и втаскивались капельницы. От испуга, от тревоги за жену человек становился невменяемым. «Как вы думаете, Мария Никитична, вот это лекарство Ире поможет? А вот это? Импортное?» Вечерами дедушка дежурил у кровати «заболевшей» (насморк, небольшая простуда), засыпал, бодался, но поста не покидал. В такие дни стук в стену, понятное дело, прекращался. Ехидная Мария в кровати толкала мужа, говорила, что Ирка специально прикидывается. Чтобы обуздать как-то ненасытного. Защитить себя. «Ну, ты скажешь!» – смеялся Агеев. Ему зять как мужик, у которого всё до сих пор в порядке, был симпатичен. Пытался даже подражать. «Куда? Я тебе ползу, старый хрыч!» От смеха хрыч падал с кровати.

На следующий год опять пригласили Агеева и Марию к себе, в дом на Котова. Чтобы те хорошо отдохнули, покупались в море, поели фруктов, ну а сами отправились в Испанию. И не валяться на каком-нибудь пляже, а путешествовать. Притом самим, без всяких турфирм. Побывали в нескольких городах. И больших и маленьких. Ходили в музеи, любовались готическими соборами и средневековыми замками. Пробирались в тёмных и тесных улочках, как в штанинах без солнца. Всегда выходили потом на солнечную площадь. Рядом с очередным собором или музеем. Игорь Петрович имел два высших образования. Неплохо разбирался в живописи и архитектуре. Любили музыку. И классическую, и джаз.

Вернулись домой путешественники посвежевшими, полными впечатлений. Дня два только и было разговора за столом об увиденном. Агеев и Мария невольно завидовали – помимо регулярных постукиваний в стену, супругам всегда есть и будет о чём поговорить.

Словом, от первого впечатления о зяте на свадьбе не осталось и следа – Игорь Петрович нравился всё больше и больше.

И вот этот полный жизни гигант однажды рухнул. Упал прямо на улице. После трёх с половиной лет жизни с молодой женой. Оторвался тромб, образовавшийся в сонной артерии. Мгновенная смерть.

Через полгода после похорон нашлись, конечно, и наследники разных мастей. От трёх племянниц до троюродного брата. Но в завещании чёрным по белому было написано: всё, что нажил и скопил – жене. Ирине Геннадьевне Камышовой. Хотя для птицы такого полёта, каким был Игорь Петрович Камышов, осталось, в общем, не много. Скромный, из трёх комнат, дом на Котова да тысяч триста денег. Честный был или не умел, ломал голову Агеев.

И теперь даже это скромное всё слесарь-придурок хочет пустить в распыл, до конца испохабить. Знал бы Игорь Петрович, во что превратили его усадьбу.

2.

Как всегда вдвоём шли к Табашникову. Из ФМС. Где от Кугель Евгений получил очередную вздрючку. Через неделю опять нужно ехать в Краснодар, там проходить дактилоскопию. Требовался высший уровень проверки. По новейшим технологиям. Чтобы мигрант уж точно не отвертелся. Шли отметить эту новость, не особо и расстроенные. «Не забыть бы тебе прихватить с собой мочу и кал, – озаботился Агеев. – В двух разных баночках. Впрочем, я прослежу». Хохотали, представив, как Геннадий будет «прослеживать». Заглядывать сбоку. Чтобы всё было по-честному. Ха-ах, хах-хак!

Шли, успокаивались, вытирали глаза.

По дороге летел, мёлся за машиной крепкий пёс. Пытался цапнуть колесо. Переднее. Никак не получалось. Отстал. Перебежал дорогу, помчался за другой машиной. В другую сторону. Табашникова сразу ударила метафора – «недающееся колесо». Которое невозможно цапнуть. Сказал Агееву. Однако тот ничего не понял, давай разъяснять общеизвестное: «Собаки как и люди. Бывают глупыми, дурными, вот как этот, и очень умными». В доказательство стал рассказывать байку: «У меня сосед в Казахстане был. Еня-пьяница. Упадёт, бывало, где-нибудь, не дойдя. Его пёс Архар никого не подпустит. Даже милицию с вытрезвительной за спиной. Тем убивать пса жалко. Преданный. Так и уедут ни с чем. Если зимой Еня упал в снег, особенно ночью – Архар рядом нервничает, скулит. Понимает, хозяин может замёрзнуть. Через десять-пятнадцать минут не выдерживает, мчится домой. Взлетает на пятый этаж и начинает лаять, булгача весь дом. Скрестись в дверь. Маруся Енина матерится, но собирается, идёт за псом поднимать, тащить. Вот какие псы бывают. Все возвращённые мухтары вместе взятые, с их гав-гав по командам из-за кадра, ногтя не стоят настоящего умного дворового пса».

Хорошо рассказал, интересно. Однако думалось: захватывающе рассказывать байки где-нибудь в компании и скромно, но складно царапать перышком на бумаге – две, как говорится, большие разницы. (О себе думал скромно: царапаю всего лишь перышком, рассказывать не умею.) Удивляло всегда, что друг так замечательно травит байки, а пишет занудно, неповоротливо, тяжеловесно. Что всё тянется в повестях его – *как в жизни*. Как в нескончаемом сериале фильмов на триста. Да ещё сшитом белыми нитками. С бесконечными разговорами: монологами, диалогами. С объяснениями в них каждого чиха героев. Чтобы, не дай бог, читатель чего-то не понял.

Об этом прямо говорил любителю опупей:

– Длинно, Гена, всё, очень длинно.

На что писатель отвечал:

– Настоящий графоман всегда чувствует благодать письменного стола. И строчит, и строчит, и строчит. – И заканчивал со смехом: – Пока ему не дадут по башке и не позовут обедать.

Недавно с очередной такой рукописью пришёл печальный. Оказалось, побывал в местном лито. В здании Дворца культуры. «Там, Евгений, довольно суровые собираются графоманы. Осо-

бенно суровые к новичкам. Там твою рукопись они могут разнести в пух и прах. Готов ли ты к таким судам? Нужны они тебе?» – «А я и не собираюсь никуда, – ответил тогда Табашников. – Мне и здесь хорошо. – Показал на раскрытую общую тетрадь с авторучкой и на экран компьютера: – Здесь всё моё. И ничьё больше».

Обедали на кухне. В телевизоре шла передача. По определению Агеева – «Звёзды звезданутые сошлись». Не обращали внимания. Но в перерыве у звезданутых, в рекламе, Агеев вдруг оживился:

– Смотри, смотри! Как впаривать! Как надо работать!

Рекламируют какое-то лекарство. Сперва показывают зрителям пузырьёк с таблетками. И сразу весёлая девушка стучит в невидимое толстое стекло. Коротко. Костяшками пальцев: тук-тук! Прямо тебе в череп. И исчезает. Снова пузырьёк. И снова девушка костяшками: тук-тук! И исчезает.

– А? И ведь достучится! Будут покупать! – смеялся Агеев. – Талантливые ребята рекламу выдумывают. Поэты. Писатели.

Вот и тебе надо бы к ним, подумал Табашников, там у тебя лучше бы получалось.

Сам начал писать в сорок лет. После случая, произошедшего с ним и пасынком Вовкой на рыбалке. Об этом и написал свой первый рассказ. Себя, отчима, обозначил родным отцом Вовке. Но имя мальчишки изменил. Тот стал в рассказе Юркой.

Отправились тогда в устье Ульбы и Иртыша на самом рассвете. Прошли узким берегом Ульбы вдоль насыпного вала старинной крепости. Расположились, разматывали удочки на гольце, на своём уловистом месте. Метрах в пятидесяти от слияния двух рек. У отца с его длинными удилищами, положенными на рогатки, почему-то не клевало. Ловил один Юрка. На свою короткую удочку. Выбегал с ней, казалось, прямо из речки. То с окуньком, то с чебачишкой. Длинные удилища отца даже не шевельнулись ни разу. Было завидно. «А ты бы ещё длиннее дубины поставил, – ехидничал юный рыбак. – Рыба-то сейчас вся у берега». «Рыба». «Вся у берега». «Зато я вытащу сейчас одну – твоих сотня будет». – «А ты вытащи, вытащи сперва, а потом хвались!» – бил по больному мальчишка. Отец окутывался табачным дымом. Так прошло время почти до обеда. Солнце уже жарило вовсю. Но отец почему-то продолжал ждать рыбу. Настоящую рыбу. Вдруг кончик одного удилища сильно задёргался. Отец кинулся, подсёк, но разочарованно повёз длинную лесу к берегу – на поднятом крючке болтался ершишка размером с сопельку. Отец поверх очков его внимательно рассматривал. Юрка опрокинулся на голец, задрыгал ногами: «Пацаны, зырь, тайменя поймал!» В общем, у отца не было рыбалки никакой. В чём дело? почему? – вновь окутывался дымом старый рыбак. Юрка уже ныл, звал домой. Начал баловаться. Пулять камни. Прямо под удилища отцу. Отпугивал от него крупную рыбу. Которая должна подойти. К серьёзному рыбаку. «Ты что, слурел? Не даешь подойти рыбе». – «Где она, твоя рыба, где?» – не унимался маленький засранец, пуляя. «Иди, искупайся. Охолонись. Да не здесь, не здесь! Куда полез под удилища! Вон – у крепостного вала».

Дальше рассказ шёл от лица мальчишки десяти лет. Босой, приседая на остром гольце, тот двинулся в сторону крепости, куда указали. В длинных трусах, с кривоватыми ножками, узкоплечий. Видел, как напротив вала купаются солдаты из воинской части, расположенной в крепости. Смуглые туркмены или узбеки. Которые и плавать-то толком не умеют. Однако плещутся на мелководье, и даже вроде бы играют в догонялки. Юрка полез в воду, погрёб до середины речки. Нырнул. А тут солнца! Полная река! Отблескивает от донной гальки, слепит глаза. Вынырнул и сразу лёг на спину. И распахнулось небо. Раскинув руки, крестом сплывал с течением в сторону Иртыша. В ушах, будто песок, рассыпалась река. «Куда прёшь на удочки! Куда?!» Рыбак. Ждущий крупную рыбу. Пришлось обогнуть дурацкие дубины, почти достающие до середины, и вылезти на берег пониже. «Ну и как – поймал?» Но отец, забыв про удилища, смотрел куда-то вверх по Ульбе. И вдруг побежал. Неуклюже вскидывая ноги в резиновых сапогах. Влетел в речку, упал, вскочил, по пояс погрёб к другому берегу. И мальчишка увидел – у противоположного берега медленно плыло смуглое тело кверху спиной. Течение поворачивало

тело то в одну, то в другую сторону и вновь тащило прямо. Утопленник! Отец подхватил, взял тело с безвольной головой себе на грудь. Попятился. Хотел тащить к своему берегу. Опрокинулся с безжизненным таджиком. Вскочив, вновь подхватил. Левая, недавно сломанная рука отца не могла удерживать, скользила. Повернул мокрое лицо: «Юрка, помоги!» Юрка попятился, замотал головой. «Ну! Мать-перемать!» – стегнул матом отец. Юрка истерично взвыл и побежал в воду. Вдвоём подхватили под руки, плавом повели тело к берегу, с водой вытащили на гальку и упали рядом с разинутыми, без воздуха, ртами.

И началось: верхом на таджике толкал грудь его и дул в рот. Пасынок Вовка бегал с котелком за водой, брызгал, обливал лицо утопленника. Во главе с капитаном в форме прибежали купальщики таджики и устались на собрата, лежащего на гальке. Капитан с конопатым русским лицом опомнился, приказал качать утопленника вниз лицом. «Вниз лицом! Понимаете, дурьи головы?» Таджики ни черта по-русски не понимали. Только прибыли неделю назад в стройбат. Наконец вместе с капитаном подхватили, стали раскачивать. Но ничего, кроме длинной слюны, утопленник не отдавал. По отмашке капитана тело положили, наконец, на землю, на гальку, вверх лицом. «Всё, конец», – сказал капитан. Таджики, как один, заныли, стали отворачиваться. Жалкие, в вислых мокрых трусах. Погибший был голый совсем, без трусов, с длинной свежей царапиной наискось по груди. Видимо, нырнул в неглубокую ямку и зацепился, запутался в тросе. В одном из многих, которые по вёсам бросают плотогоны в реку. Перед самым устьем, где мелкие плоты они сбивали в крупные. Трос стащил и трусы. Вовка вдруг начал тоже отворачиваться, плакать. «Ты чего, сынок?» – «Папа, я же мог спасти его, освободить от троса. Он же боролся где-то рядом со мной. Я же мог увидеть его. А я, а я плыл и смотрел в небо». Обнял мальчишку, который впервые увидел смерть, гладил, успокаивал.

Сидели, курили с капитаном, ждали машину из крепости. «Как же ты теперь?» Капитан судорожно, глубоко, затаился. «Да что я. Человек погиб». Да, пропал капитан. Разжалуют, посадят. Зато прогуливался с барышней на крепостном валу. Цветочки ей срывал. Пока таджики без его присмотра волохтались внизу у крепости. Да, пропал мужик.

Приехал бортовой грузовик. Открыли борт, подняли, положили погибшего на грязные мазутные доски. Капитан заорал. Тогда подвели под тело брезент. Не менее грязный. Закрыли борт. Сели вокруг погибшего. Капитан нырнул в кабину. Тронулись.

Отчим и пасынок смотрели вслед. Потом стали собираться.

Заканчивался рассказ предложением: «Юрку знобили». Прямо по Чехову – «Мороз крепчал». Но – напечатали. В одном из региональных сибирских журналов. Ничего даже не выкинув. И на этом – всё. Сколько ни бомбил потом редакцию другими рукописями – ответ приходил один: сыро, банально, неинтересно. Работайте, мы в вас верим.

Надо было завязать, бросить всё на корню. Но уже заболел. Графомания заселилась, влезла, чувствовала себя в дурацком кумполе вольготно. Выдавал и выдавал тексты. За два года накатал три повести и несколько рассказов. Однако куда бы ни совался, отовсюду, что называется, – «восторженное письмо редактора с отказом».

Постепенно начал понимать, что реальные истории, не сдобренные вымыслом, плохо выглядят на бумаге. Солить, перчить нужно прозу. А перцу, соли как раз и не хватало. (Хоть беги к соседям-графоманам и проси.) Протоколы о происшествиях не проходят. Не в милиции.

Об этом не раз говорил Агееву. Однако тот, походило, вообще не понимал, о чём это друг – медленно, но исправно, как неповоротливая громоздкая машина асфальт, выдавливал и выдавливал из себя графоманские полотна.

Тогда уже входил Интернет. Посылал, конечно, и в электронные журналы. И в двух-трёх напечатали. Но там быстро всё задвигали в чулан, на задворки. И славы, понятно, не было.

Хотел открыть свой сайт. Однако вовремя одумался – это всё равно что скворечник повесить в тайге. Никто его, кроме самого скворца, не найдёт и искать не будет. По горло залез было в социальные сети, но тоже скоро все отверг – в неимоверном количестве пошли на почту кошечки, собачки, бантики, розочки. Мусор.

И как итог – стал ходить к таким же неудачникам. В лито на берегу Иртыша. Которое веждливый Агеев моментально обозначил – «Отдушина графомана». Требовал даже от Чуваткина-председателя, чтобы табличку такую над входом влито непременно повесили.

3.

С матерью Вовки Табашников познакомился на работе. В НИИ «Казцветмет».

Когда получил свою отдельную квартиру, им активно стала интересоваться одна бухгалтерша из бухгалтерии института. Елизавета Гербер. То в столовой подсядет с подносом, весело поговорит, то окажется, что после работы им точно по пути. И куда ж тут от неё! Некрасивый мужчина с большой головой был удивлён. Он знал свою медную цену как жениха и даже как любовника. Случайные связи, конечно, бывали, но действительно случайные, когда после пьянки просыпаешься и видишь возле себя такое же большое мурло, только женского пола. А тут всё вроде бы серьёзно. В театр приглашают сходить. Во Дворец спорта на приехавший балет на льду. Постепенно стал даже переживать, когда опаздывала. Бегал на базар, покупал, преподносил цветы. Гербер тоже была далеко не красавица. Но как-то по-немецки. Когда не поймёшь, правильные черты у немки или нет. Узкий лоб или широкий. Опять же если сравнишь лоб с выступающими как сёдла скулами. Подбородок скошен. Губки маленькие. И глаза. Серые, в очках. Будто микроскопы без души. Только изучают всегда тебя. Как букашку.

Пришлось пригласить домой.

Даже не сняв плаща (только обувь), Гербер сразу начала ходить по всей квартире. Как чёрный риэлтор. Мысленно записывала в блокнот. Длинный коридор–прихожая. Комнаты раздельные. Направо – спальня. Налево – гостиная. Кухня среднего размера. Балкон из неё на восток. Из гостиной лоджия на запад. Туалет и ванная раздельные. «Так. А тут у вас что? Ага. Кладовки. Две». Так и запишем.

Пили чай. В гостиной. Об алкоголе Табашников вроде бы слыхом не слыхивал. Однако немке, похоже, было не до вина и водки – всё оглядывалась, мысленно записывала. Хозяин следил за ней, по возможности пояснял.

При прощании, уже одетая, вдруг сильно придавила лицо Табашникову. Поцелуем. Слегка стукнулся даже о вешалку. Темпераментная!

Ещё пару раз приходила. Всё пили чай. Немка о квартире всё знала, теперь ждала вина на столе. Для разогрева тестостерона. Чтобы жених осмелел, наконец. Табашников упорно вино не выставлял. Держал всё на тормозах. Пусть мнёт одно лицо. Нужно подготовиться, решиться.

Дошло, наконец, до спальни.

В первый раз она оседлала любовника. Работала как пилорама. Ритмично и неотвратно. Удивлённый Табашников не узнавал своей спальни. Часы над ковром превратились в его перекосенную сладострастную рожу. Только с усами.

– Ты доволен, милый? – чисто по-немецки спросила она в перерыве. Нависнув над ним, разглядывала. Как валяющегося на дне пропасти, на камнях.

– Да, – прошептал несчастный.

Пилорама заработала вновь. Теперь любовник удивился ещё больше – он превратился в маленький будильник, подпрыгивающий в ногах на тумбочке. Тоже с усами. Вернее, с усиками.

– Ты доволен, милый? – неотвратно спрашивали его.

– Да, да, – шептал несчастный, опять, как шизофреник, не узнавал многих предметов в своей спальне. Которые преображались в него самого! Которые все тряслись и подпрыгивали!

Когда через час она начала быстро одеваться, хватать пояс, чулки, бюстгальтер, рубашку – он протянул руку. С кровати. Как Ромео:

– Куда же ты (милая)?

Оказалось, что в детском садике её ждёт шестилетний сынишка (будущий рыбак Вовка), что нужно бежать за ним. За месяц знакомства немка сумела ничего не рассказать о себе.

Позже узнал: в город этот она удрала из Павлодара. С одним чемомоданом и ребёнком за руку. От деспота-мужа, который держал её в ежовых рукавицах и часто – избивал. (Трудно было поверить, что она, немка, так попалась.) Сразу нашла работу в НИИ. Жила сначала у подруги. Потом стала снимать квартиру. В институте помогли с садиком для Вовки.

Вовку увидел через два дня, как узнал о нём. Шестилетний мальчишка смело, как и мать, стал ходить по квартире. Юный риэлтор. Достойный ученик своей мамы-риэлторши. Однако в гостиную раскрыл рот, остановился как вкопанный: на шифоньере под самым потолком увидел детские модели Табашникова. Целое кладбище кораблей и подводных лодок на небе! Затянутых тенётами и паутиной с пауком. Вот это да-а. Сразу потащил стул, уже полез, чтобы схватить какую-нибудь, но мама съёрнула на пол. А сам дядька, хозяин моделей, стал обещать, что покажет все корабли и подводные лодки. Вот только приберётся там, ну на кладбище, потом снимет модели и покажет. Поверил на слово, дал увести себя дальше, на кухню. Где всё уже было приготовлено на столе, где сразу сели пить чай.

– А где я буду спать? – практично спросил смыслённый малый на улице. – Ты в спальне. С ним. А я где?

– Обожди. Не торопись, – как взрослому, ответила мать. Мол, всё у нас впереди. Не спугнуть бы только.

– А подводную лодку подарит? – съехал обратно в детство Вовка.

– Подарит. Куда он денется, – шла и рассеянно отвечала мать. – Все чурки будут твоими. Надо бы только отмыть их как следует. С порошком. – Дескать, засрался моряк.

Уже через неделю Табашников корячился на лестнице, таскал в квартиру коробки с вещами и посудой. Помогал шофёр нанятого грузовичка. Коробок было немало. Немка пересчитывала, указывала, куда ставить. Вовка в осеннем пальтишке высоко носил по гостиной длинную подводную лодку под названием «Щука». Включал и выключал мотор её. Винт «Щуки» вертелся по-настоящему. Дядька (дядя Женья, вообще-то) не обманул. Сам дядька стоял в прихожей над коробками и удивлялся, как за полгода жизни в съёмной квартире можно накопить столько вещей.

Через день он удивился ещё больше (часто начал удивляться!) – в квартиру тащили новую тахту. Купленную Елизаветой в мебельном. Старая, видите ли, расшаталась, скрипит. Ну конечно! Если так прыгать на мужчине. Какая кровать выдержит?

В кухне тоже всё поменяла. Всю посуду, кастрюльки, сковородки. Почему, Лиза? Загажены, не отмыть. Коротко и ясно. Хотя за кухней своей всегда следил. Тщательно мыл тарелки, а сковородки чистил. Тёркой, чёрт побери!

Теперь по субботам, прямо с утра шли генеральные. Шарахались с Вовкой и моделями от режущего старого пылесоса (не успела ещё поменять) или от шпыняющей мокрой лентяйки. Самого регулярно выгоняла с коврами во двор. Лупить.

Однако по ночам так же регулярно звучало «ты доволен, милый?» – и было хорошо. Дневное сразу сглаживалось. Побеждал всегда немецкий педантизм. Который был везде теперь – в уборке, на кухне, в постели.

Изредка приходил отец. За столом в гостиной новая хозяйка заглядывала ему в глаза, всячески угождала («Попробуйте вот этого, Семён Андреевич. Или вот этот штрудель с яблоками. А? Как он вам?»). Отец, ещё в здравом уме в то время, ел за обе щеки, нахваливал, гладил дикую голову Вовки, не терпящую панибратства, но осматривался в чужой уже квартире, мотал на ус. При прощании в прихожей всегда тихо говорил. В сторону от пьесы: «Держи ухо остро, сын». Что он хотел этим сказать, было не совсем понятно, но Табашников согласно кивал, буду держать остро, папа, не волнуйся.

На суд в Павлодар Лиза страшно боялась ехать одна. Пришлось взять без содержания и отправить с ней. Вовку с подводной лодкой и садиком оставили деду.

У здания суда после развода «деспот» схватил Табашникова за грудки. Но Табак не потерял пацанских навыков, быстро навалил тщедушному мужичонке в глубокой кепке и плашике. И, как герой в конце фильма, повёл рыдающую свободную невесту, что называется, к новой жизни. А если точнее, на автовокзал. «Милый, милый!» – твердила и твердила невеста, на ходу обнимала, обливая его слезами. Благодарными, понятное дело.

Теперь Табашников стал замечать, что по утрам за завтраками серые глаза стали смотреть на него как-то по-другому. Очкастый микроскоп не столько изучал, сколько ждал от него. Какого-то движения, полёта фантазии, что ли. Ну! ну! я же свободна! Но Табак умел прикинуться шлангом – нахваливал её гренки, говорил «благодарю, дорогая», поскорей начинал собирать Вовку, чтобы вести того в садик. Какого ещё чёрта тебе надо! – косился на немку, натягивая её сыну бумажные колготки. А немке надо было только одно, чтобы этот трусливый чурбан с квартирой брякнулся, наконец, на колени и воскликнул: «Будь моей! Навек!» И начал бы шарить по карманам кольцо. Которое из-за разгильдяйства никак не мог бы найти. Ага! Вот оно! Нашёл! Извини! Обдул бы его, как от табака конфетку, и протянул: «Навеки! Я твой!» Немка горько смеялась. На удивление чурбану с квартирой. И даже сыну Вовке, который был без квартиры. Но зато со своей подводной лодкой. Правда ведь, дядя Женя?

Словом, Табашников оказался на распутье. Жениться? Или – ни в коем случае! А тут ещё отец всё время возникал, как пограничник: «Смотри в оба, сын. Оттяпает». Понятно, квартиру.

Как это часто бывает, лучшая подруга Елизаветы под большим секретом шепнула на улице: уедет с сыном в Германию. Уже собирает документы. Можете потерять квартиру, Евгений Семёнович. Тоже, как и отец, мол, смотрите в оба! Табашников сказал спасибо лучшей подруге, у которой Елизавета после побега из Павлодара жила какое-то время. Теперь он знал планы своей сожительницы, а значит, был вооружён.

Однажды, тоже за завтраком, его прямо спросили, думает ли он оформить отношения. В загсе. Получалось, немка с сынишкой и всеми своими вещами висела в корзине воздушного шара на приколе. Почвы не было под ногами. Не было и движения. Ни в какую сторону. Пора рубить канат, в конце концов. Эй, воздухоплаватель! Уснул?

– Ты же собралась в Германию? – Дескать, зачем тебе воздушные шары здесь и корзины.

Елизавета на миг растерялась: узнал! Вот Светка сволочь. Однако овладела собой:

– Так ты же можешь поехать с нами. Как официальный муж. А?

– Нет. Я отца не брошу.

– Да какой отец! Он здоров как бык! И потом, есть дома для престарелых. А, Евгений?

– Нет, Лиза. Поедешь только с Вовкой.

Когда сожитель увел Вовку в садик – на кухне рвала и метала: чурбан, гад неблагодарный.

Больше в загс не тащили, но наступили не очень приятные времена. Скачек по ночам для Табашникова больше не было. Отселили в гостиную на диван. Недовольный Вовка перебрался в спальню к матери на новую купленную детскую кровать. Создалось вообще-то интересное положение: квартиранты вели себя как хозяева, хозяин превратился в квартиранта.

Впрочем, к мальчишке уже привязался. По вечерам маракovali вместе над моделями. От грохота кастрюль с кухни вздрагивали, но старались как бы не слышать. На диване, приобняв малого, рассказывал ему разные истории. Пока того не утаскивали в спальню. «Ну ма-ама. Дядя Женя не дорассказал». «Завтра доскажет. Он много басен и сказок знает. Заслушаешься».

Так длилось месяца два. К счастью (для Табака), у немки не складывалось что-то с документами на отъезд. Где-то она, наверное, пока не могла доказать чистое немецкое своё происхождение (так предполагал, об этом ни звука от неё). Поэтому решила пока отступить. Переждать у Табашникова. (И, как оказалось, ожидание растянулось на три с половиной года.) Вернуть всё к началу. Вовка с радостью перебрался обратно в гостиную, куда кровать уже перетаскивали. Чтобы быть всё время с дядей Женей. Даже спать с ним рядом. Чтобы рассказывал, сколько его ни попросишь. Пока не заснёшь. Но однажды утром проснулся, а дяди Жени на диване не было. Ни постели, ни его

самого. Переманили. Из спальни. Позвали как котика: кыс-кыс. И дядя Женя побежал. Эх, дядя Женя.

4.

В телевизоре у Табашникова шла религиозная передача. Показывали торжественное богослужение. Весь в золоте главный священник водил пятью длинными свечами, и гулкий голос его улетал под своды храма. Тесная озарённая паства, в основном женская, в платочках, со слезами на глазах принимала благодать.

Агеев ел, но уже рассуждал. Видимо, о себе:

– Как только у верующего возникнут вопросы к священнику – вера его кончается. Религия – очень удобный закуток, куда можно спрятаться от жизни. От всех своих неурядиц, незадач, несчастий. Поэтому она вечна. Всегда были и будут люди, которые боятся брать заботу о самих себе. Религия – это высшая форма рабства, Женя. Только духовного.

Табашников хмурился: ишь, ты, какой умный. Сам относился к вере пока сложно. Ни в ту, ни в другую сторону. То верил, то сомневался. А этому всё ясно – вещает. Слушайте тут его.

Пошла реклама. Другая теперешняя религия. Религия еды, лекарств, вбиваемого конформизма. Агеев и тут пошёл резонёрствовать. Накат у него сегодня. Вдохновение. Заодно обсасывал куриное крылышко:

– Мы рабы своих привычек, Женя. Заблуждений. Своего невежества, в конце концов. Нам говорят: загорать сейчас вредно, очень сильное солнце, радиация, опасно для кожи – мы упорно загораем. (Особенно женщины на пляжах фикстулят. Встают в позы.) До черноты загораем, до новообразований на ней. Нам твердят: нельзя есть то-то, то-то – мы едим именно это, с наслаждением обжираемся. Да вот, как этой колбасой! – Ткнул вилкой в кружок на тарелке: – Копчёной, канцерогенной!

– А ты не ешь, – советовал Табашников.

– А-а. Легко сказать. А если вкусно. – Забыв про полезную курицу, Агеев уже наслаждался колбасой. Копчёной, краковской. Которую сам же купил и принёс. Дома диетологи погнали бы с ней на улицу, чтоб где-нибудь в беседке поедал её, как пёс бездомный (было один раз такое), а здесь – можно. Он покупал и тащил к Табашникову всё, что в дом к Андрею нести запрещали: любимый зельц с прозеленью, казавшийся тухлым – дёшево и сердито, Женя. Постоянно колбасу. Копчёную и варёную, в которой ни грамма не было мяса, как утверждал всегда Наш Потребнадзор. Иногда замахивался на ветчину или окорок (а! где наша не пропадала! Грамм триста, любезнейшая!). Ржавую дешёвую селёдку тащил килограммами. И всегда яйца. В картонных упаковках. Холестериновые яичницы в кухне у Табашникова хлопались постоянно. Агеев в фартуке сам работал у плиты. Как снайпер пули, вкидывал в дрожащий не завязавшийся белок краковскую. Нарезанную кубиками. И, подав на стол – перчил от души. Наяривал рукояткой перчилки. Увидели бы домашние (диетологи) – попадали бы.

Перед тем как отправиться в город, спокойно покурили на скамейке у крыльца.

Прошёл мимо соседский кот. Будто сторож в ватных штанах. Хвост – вертикальная берданка. В щели под забором превратил себя в шар и исчез.

Агеев нащупывал ассоциацию.

– Ушёл в щель, как ты. От Маргариты Ивановны.

– Да почему это я-то сразу! – возмутился Табашников.

– Похоже. Тоже ушёл будто в ватных штанах. И с берданкой. Сторожить свой дом, – смотрел перед собой Агеев.

– Тьфу!

Поднялись, затушили окурки в специальном ведре с водой, вышли, наконец, за ворота.

После двух кварталов по Широкой свернули на улицу Седина.

Показался кирпичный одноэтажный дом. Явно нежилой. С закрытыми облезлыми ставнями. Рядом с воротами, на железном заборе, неожиданно увидели аршинные изломанные буквы. Напрысканные из баллончика чёрной краской:

ЭТОТ ДОМ ПО ПОДЛОЖНЫМ ДОКУМЕНТАМ АРЕСТОВАЛ И ПРИСВОИЛ СЕБЕ СУДЬЯ МЕРЗЛЯКОВ.

БУДЬ ТЫ ПРОКЛЯТ, ГАД!

Агеев повернулся к другу:

– Вот это да-а, и жильё отобрали, и теперь ещё и посадят. Ты видел эту надпись раньше? Ты же здесь ходишь.

– Нет, не видел.

– Ну всё. Уже ищут несчастного. Точно. В какое время мы живём! Что творится вокруг, Женя!

Уходя, долго оборачивались. Беспокоились о судьбе Мерзлякове. И что теперь делать ему? С забором? Затирать надпись или весь забор сразу красить? А если диверсанта не поймали – тот ведь снова напишет. Большой геморрой теперь у судьи Мерзлякова, мать его!

– Да ещё и в сеть видео выложат, – добавил беспокойства Табашников. Дескать, геморрой-то Мерзлякову сразу резко прибавится. А?

– Точно!

Уже посмеивались. А потом и хохотали. Хотя так гадов прищучивают! Хотя так достают! Впрочем, прославляй всех теперешних мерзляковых, не прославляй, с них – как с гуся вода.

– Как с десятков тысяч гусей вода, – тут же подсчитал и выдал полные цифры Табашников. Прямо бухгалтер. С дипломом. (Въедливый.)

– Точно, Женя.

Наконец дошли до магазина строительных материалов.

Внутри ходили вокруг ванны с ножками. Настоящей ванны – чугунной, матово-белой внутри, прочной. Лежи в ней, как в люльке. Купайся, от радости хлопай воду!

Агеев быстро обмерил всю – точно встанет на место душевой кабины, которую к чёртовой бабушке! Даже зоры у стен будут. Ну, Женя? В кассу?

Но Табашников колебался.

– Нет, Гена, – сказал наконец. – Дорого для меня.

– Да бери! Поставим вместе за день!.. Давай половину я добавлю, возьму у Андрея и добавлю. Потом отдашь. А?

Табашников представил Андрея, как тот хмурится, прежде чем дать отцу деньги – поспешно сказал:

– Нет. Не по зубам. Извини.

– Так какого ты чёрта тащил меня сюда?

Табашников говорил в оправдание, что просто цен теперешних не знал. Добавил:

– Да я уже и привык к кабинке. К душевой. Заскакиваю в неё как козлик. Помнишь твоё пожелание?

– Дурак ты, Женя. Честное слово.

Вернулись к Табашникову. В кухне Агеев сидел в плаще, молчал, но домой не уходил. Точно из упрямства. Никак не мог отойти от облома в строительном. День насмарку. Ведь договорились же купить!

Табашников чувствовал себя виноватым. Молчком гоношил обед, зная, что Агеев никуда не уйдёт, пока не выговорится. В телевизоре, понятное дело, – передача.

Видимо, полулегально, подняв старые связи, опять появился на «Культуре» человек нелояльный к властям, изгнанный со всех федеральных каналов. Кучерявый, упитанный, сидел в кресле косо, ухватом, со скрещенными ножками. Ранее всегда весёлые карие глаза цыгана грустили. (Человеку надоело бороться, вбивать дуракам простые истины.)

Табашников отставил сковородку, оживился:

– Послушай, послушай, что говорит!

Агеев посмотрел:

– А, этот... Такой грустной жопой весело не пукнешь.

Табашников захохотал: ну ты скажешь!

– Не я это сказал – одна умная женщина. А если серьёзно – конечно, тоже умный, конечно, хорошо образован. Однако всё у него почему-то по верхам. Хватается за что угодно. За политику, за искусство, за литературу. Кто-то сравнил его с человеком-оркестром, работающим на бульваре. Одновременно он и поёт, и в губную гармошку дует, и бренчит на банджо, и барабан с тарелками у него за спиной ухает.

– Да ты послушай его. Верно же говорит.

– Возможно, Женя, возможно. Только я тебе отвечу словами такого же диссидента, как и этот говорун. Не совсем точно, по памяти: «Не бойтесь мора и глада, а бойтесь только того, кто скажет: я знаю, как надо!»

Потом обедали. В телевизоре опять дрались, матерились необразованные примитивные некрасивые люди. Мужского и женского пола. Люди русского дна.

Табашников хотел выключить. Но Агеев придержал его:

– Погоди. (Ликбез Агеев не закончил.) Ты вот не любишь такие передачи. А ты не задумывался, почему показывают всё это в прямом эфире. Почему идёт такое бесстыдство сейчас на телевидении. Почему находят и привозят таких людей. И выставляют на позорище всемирное? (Табашников, естественно, не задумывался. Куда ему!) А всё просто, Женя – для рейтингов телеканалов. Чтобы привлечь как можно больше зрителей с разинутыми ртами: ух ты! во дают! Чем больше людей смотрят такое, тем выше рейтинг у телеканала – тем дороже реклама на нём. Деньги там крутятся немалые. Деньги. Понимаешь? (У Табашникова будто сдирали душу – две бабёнки рвали друг у дружки волосы.) Все телеканалы дерутся между собой за рейтинг. Вот как эти две тётки. А как его поднять, как привлечь зрителей? Только низменным, грязным. Высокое, чистое, вечное – не катит уже. Давно его похоронили. Ещё в 90-е. Цензуры никакой. Показывай, что хочешь. Вот всю грязь и вытащили на экран.

Агеев смотрел на дерущихся и разнимающих:

– Раньше подобное смотрели только про артистов, про звёзд. Про их скандалы и интриги. А сейчас кто-то ушлый придумал и двинул новую тему. Оказывается, простой человек любит смотреть не только про звёзд, но и про таких же, как сам. Целые группы телевизионщиков рыскают по стране, выискивают необразованных глупых простых людей, привозят в Москву, и те выворачиваются наизнанку, до белья, до потрохов, до полного позора перед всем миром. Ну а рейтинг во время таких программ у каналов резко подскакивает. Рекламодатели лезут, дерутся за место в них. Денежки каналам текут. Текут рекой. И как итог всего – телевизионные бонзы потирают руки. За кулисами. Вот и фокус весь. Деньги правят на этом балу, Женя. Только деньги. Ну а теперь – выключай.

5.

Наутро Агеев пришёл весёлый:

– Сегодня сложное магнитное поле. Всем гипертоникам, всем аллергикам прятаться под кровати! Зажмуриться там и не выглядывать! Ни в коем случае!

Пить чай отказался, дома попил, но сидел за столом и продолжал выдавать:

– Я шёл к тебе и придумал хорошее название к американскому фильму – «Обыкновенный засранец». Правда, оригинально?

Табашников смеялся. Но как-то больше по обязанности. Был чем-то озабочен.

Хохмач решил добавить:

– Как ты думаешь, можно это название продать? Купят его в Голливуде?

И тоже – только ухмылка у Табака. Странно. Тогда Агеев взялся за старое – как сваха подпёрся кулаками:

– Когда же мы женим тебя, Евгений? Ведь мужик без жены – что дуб без дятла?

Оценивающе смотрел на кумпол друга. Пожалуй, на целый ствол дуба не потянет, а за добрый кусок его да с дуплом – сойдёт вполне.

– А, Евгений?

Табашников сказал наконец:

– А ты про себя подумал? Ведь если я женюсь – не будешь здесь особо расслаживаться и разглагольствовать.

– Точно – дятел сразу слагбаум поставит. Как же я это упустил?

Курили. Опять на скамейке у крыльца. Агеев не умолкал: «У меня работал бригадир Коля Рыбин. Так тот вполне серьёзно уверял всех в перекурах, что тряска рук у стариков и старух (старческий паркинсон) – это им наказание божье. За то, что в молодости занимались рукоблудием. Ага! Бог сказал им: теперь трясите башкой и рукой до самой смерти, придурки! Как тебе такое научное умозаключение простого бригадира? Ха-ха-ха!»

Соседский собачонок-пустолайка тоже заливался, лаял у соседа Ивана. Где-то за забором. Просто так. Целыми днями. Словно чтобы лай свой не забыть.

– Тебе он никого не напоминает? – спросил Табашников.

– Ты о ком? – не понял Агеев. Даже заоглядывался.

Ясно. Не допёр. Болтун семилаповый. Табашников плюнул на окурок. Вдобавок бросил его в ведро с водой.

– Ты сердиться на что-то, Женя? Я что-нибудь сказал не то?

– Не в тебе дело, Гена. Мне надоели все эти кугели, все эти краснодары. Похоже, мутотень эта не закончится никогда. Опять видеть завтра все эти канцелярские рожи – край! – Чиркнул рукой по горлу.

– Давай я поеду с тобой? Всё будет веселей.

– Нет, Гена. Ты уже наездился. И с Машей, и со мной. Сам справлюсь.

Пошли к крыльцу. Табак продолжал говорить: «Можно вынести всё, Гена: эти поездки, маршрутки, когда ты сидишь с ногами, будто схваченными на многие часы колодками. Все эти игривые указания около трёх берёзок “девочкам налево, мальчикам направо”, когда даже коровы не узнают своего луга, уставленного жопами со спущенными трусами. Всё можно вынести, Гена, всё. Но видеть опять эти непрошибаемые канцелярские рожи...»

Агеев торопился за тёмной спиной друга, пропадающей в сених, за его словами. Веселье и беспечность разом слетели.

Одетым в плащ и шляпку, с сумкой на ремне, вышел к дороге напротив дома в половине третьего ночи. Ходил, покуривал. Глядел в безлунную ночь, на вымершую Широкую, на раскидавшиеся в крепком сне домишки.

Заползал по улице свет фар – маршрутка. Приближалась. Подошла. Влез в открывшуюся дверь. Поздоровался (шофёр н звука), назвал свою фамилию. Сел на первое возле двери место. Сумку сразу на колени. Повезло. Ноги не затекут. Когда тронулись – повернул голову. Как у проснувшихся собачек, мерцали глазки только двух женщин. Маршрутка ещё пустая.

Кружили по тёмному, еле освещённому городку из улицы в улицу. Люди по одному, по двое подсаживались. Говорили свои фамилии с именами и отчествами, шофёр ставил галку в списке. Некоторые то ли не знали порядков в маршрутке, то ли забыли их со сна, доставали сразу деньги, чтобы рассчитаться. И тогда шофёра как подменяли, оживлялся, к пассажиру поворачивалась мордочка со смеющимися, нарочито испуганными глазами:

– Ни-ни! Ни в коем случае деньги давать шофёру! Для этого есть специально обученный человек с высшим образованием. Он не спит, уже поджидает вас в тридцати километрах от Краснодара. В специальном месте. Шофёру – ни-ни.

Наконец загрузились полностью. Шофёр, включив в салоне свет, высунулся, пересчитал понурых баранов в тесных высоких креслах. Сразу выдал инструктаж приказным тоном: во время движения не вставать, местами не меняться, ни завтракать, ни обедать, воду пить можно, но туалет только два раза – первый «девочки налево, мальчики направо», второй на автозаправке перед Краснодаром. Вопросы есть? (Понурое стадо молчало.) Вопросов нет. Можно спать. Свет выключают.

Уже когда совсем рассвело, стояли у железнодорожного переезда. У закрытого слагбаума. Здесь всегда почему-то скапливалось много машин. Тётка в оранжевом жилете, смахивающая на толстый апельсин, стояла на высокой приступке будки, с торчащей трубкой жёлтого флажка в кулаке. Вроде капитана на капитанском мостике. Уставшему товарняку, казалось, не будет конца. Постукивал и постукивал. Наконец громкий стук оборвался, и замыкающий вагон утащил с собой гаснущий стукоток.

Тётка сразу начала накручивать колесо, поднимать слагбаум. Тронулись. Переваляли через переезд, поехали, прибавляя и прибавляя скорости. Опять пошли кружить зазеленелые, в обширных лужах поля и проноситься голые чёрные перелески.

Неожиданно пролетела мимо целая роща обкорнатых до последней ветки, сучка деревьев. Сразу метафора ударила. Изуродованная теперешняя жизнь. Превратили в таких же чёрных монстров-уродов. Взывающих к небу, не знающих как жить. Долго оборачивался, тянул голову.

Пожилая женщина, сидящая наискосок от Табашникова, поднялась со своего места и хотела протиснуться к шофёру.

– Сидеть на месте! – рывкнул тот и прибавил скорости.

Чуть погодя женщина опять приподнялась:

– Товарищ шофёр, остановитесь, пожалуйста.

– А, чёрт тебя! – Шофёр резко затормозил, выехал на обочину и открыл дверь. За женщиной, как по её команде, полезли наружу ещё несколько человек. И женщин, и мужчин. И старых, и молодых.

– Куда? Куда поёрли? – Шофёр подмигнул Табашникову, как соучастнику: – Во бараны! – Власть недоумка при руле была полной. Нетерпеливо начал сигналить. Люди выскакивали из разных мест, бежали или волоклись к маршрутке. На ходу приводя себя в порядок.

Когда все вроде былезли и сели на свои места – властитель высунулся, пересчитал головы. Пошёл рулить обратно на дорогу. И сразу погнался. Опять полетели назад поля во льду и висающие, как дырявые корзины, высокие деревья в перелесках. Изуродованных рош больше не было.

Часа через два въехали на большую автозаправку с плоским зданием магазина за площадью.

– Внимание! – с подъемом начал шофёр. – Всем проснуться! Сейчас вас встретит специально обученный человек с высшим образованием. Приготовьте деньги. Специально обученный человек объяснит вам на пальцах, сколько надо платить. Он долго учился этому. У него два высших образования. Внимание! Специально обученный человек с высшим образованием! Встречайте!

В раскрытую дверь полезла грузная женщина лет сорока пяти.

– Ох, смотри, Семёнов. Дотреплешься. Полетишь с работы. Я долго терплю. Смотри.

Выхватила у проказника список, повернулась к пассажирам:

– Приготовьте, пожалуйста, деньги за проезд. Называйте, пожалуйста, свою фамилию и где сели в маршрутку.

Начала протискиваться вглубь тесной мышеловки, принимать справа и слева деньги и помечать в списке. «Вы где сели, бабушка? Как ваша фамилия?»

– У специально обученного человека всегда без ошибки! – не унимался юморист впереди. – Не волнуйтесь, граждане. Лишнего не возьмёт.

– Да заткнётся ты или нет? – не выдержала грузная. – Мне что, Антонову всё рассказать? О твоём юморе?... – Стала сдавать пассажирке сдачу: – Извините, пожалуйста. Он один у нас такой пламенный. На всю бригаду. Доиграется.

Злой юморист (стукнула-таки по носу, толстая стерва!) заправлялся бензином. И можно было нормально постоять в очереди в туалет. Переминаясь с ноги на ногу. В нормальный грязный туалет при магазине.

Ну а дальше ещё час катались по самому Краснодару. Пока не въехали наконец на автовокзал. На напутствия Семёнова «не лезть по головам! Распродажа ждёт вас завтра!» уже не обращали внимания, поскорей выбирались наружу.

У подножия грандиозного, как «Титаник», здания ФМС оказался в половине восьмого. Слово застопорившись на очень длинном трапе, понуро стояла длинная очередь моряков. Парни лет 20–25-ти. Почти все так называемой кавказской национальности. Ни одной девушки или женщины среди них. Встал, понятно, в самый хвост.

Из-за утреннего холода и начавшегося дождя дверь открыли раньше времени – без пятнадцати. Моряки, не толкаясь (опытные, наученные), потянулись по трапу вверх к входу в корабль. Потом все ждали восьми в бетонном придавленном накопителе, смахивающем на подземный платный гараж.

После того как отстоял ещё одну получасовую очередь на четвёртом этаже к стеклянному окну, где доложил, что прибыл для дактилоскопии, – получил талон в 325-й кабинет. Вся процедура снятия отпечатков пальцев в этом кабинете заняла меньше пяти минут. Хмурая женщина с чубом и в погонах валиком нанесла чёрную краску на подушки пальцев, каждый палец прижала к белой карточке, затем обе ладони на оборотную сторону карточки – всё.

Оттирал краску поданной салфеткой. Внезапно пробило: а почему, собственно, ему не сняли отпечатки дома, в местном ФМСе? Есть ли какая-нибудь разница в этой процедуре? Вежливо спросил об этом.

– Какая ещё разница? – На Табашникова смотрели глаза цвета мутного винограда. – Процедура везде одна.

Значит, это была очередная хорошая оплеуха от Кугель.

Видя, что мужчина медлит, с чубом крикнула мимо него:

– Следующий!

Обдумывал всё в каком-то зале. Сидел на сидении в коротком ряду. Как бы на кораблике небольшом. Как бы с борта его побалтывая ножками. Рядом и за спиной сидели такие же мореплаватели. Тоже обдумывали свою судьбу. И средних лет люди, и пожилые. Молодые теснились у стекла, у окон с обеих сторон зала. Появлялись ушные *димоны* и *егоры*. Посредники. Кавказцы их сразу окружали, показывали свои бумаги, заглядывали в глаза. Подсовывали деньги. Как перцу женщинам под подол. *Димоны* и *егоры* тут же улетали. Чтобы без мыла пролезть куда надо.

Как ни странно, обратный путь показался короче. Никаких хамских поучений и клоунад Семёнова больше не было – двухчасовую маршрутку вёл другой шофёр. Нормальный. На автозаправке за городом «специальный человек с высшим образованием» спокойно собрала деньги, пожелала доброго пути. Если кого припидало, пробирались к шофёру, тихо просили, тот останавливался без разговора. У любого кустика или лесопосадки. Половина пассажиров дремали, другие от души закусывали, разворачивая еду на коленях. Табашников писал в блокнот с натуры за окном. Летящей, всё время меняющейся. Пока не стало темнеть.

Переезд миновали, пропрыгали – уже весь в огнях. Женщина-апельсин с флажком на капитанском мостике казалась раскалённой, словно светилась изнутри.

6.

На другой день за завтраком решил окончательно – нужно жениться. А что, на самом-то деле! Сколько можно! («Сколько можно» – что? Ездить в Краснодар? Гражданства не иметь? Или – просто любви женщины?) Агеев прав. Пора.

Часов в десять отправился на Таманскую. К Маргарите Ивановне. Журнал сдам. Да и новое что-нибудь возьму. Был одет в плащ стального цвета (в плащик), подпоясанный ремнём (ремешком). Из-за шляпки с бортиками – с резко увеличенными щеками, делающими лицо весомой гирей. В общем – жених.

Солнце в небе не радовалось, еле ташилось сквозь облака, словно тоже всё в гирях, но на душе у Табашникова было легко, грудь дышала свободно.

Чтобы скостить путь до Таманской, свернул на Седина. Интересно, закрасил Мерзляков свой забор или нет. Закрасил! Весь! Свинцовой краской! Но что за чёрт? Опять чёрная распылённая надпись. Свежая. Но оборванная прямо на слог:

ЭТОТ ДОМ ПО ПОДЛОЖНЫМ ДОКУМЕН...

Вот это да-а. Табашников смотрел то на надпись, то на занавески в окнах дома, где Мерзляков уже живёт. Фантазия поскакала, рисовала картинки: непойманный диверсант только начал работать в темноте, подсвечивая себе фонариком, как на него навалились, скрутили, нараскорячку погнали к сразу подошедшей машине: попался, гад! И кипящий Мерзляков у ворот (почему-то в белеющих шерстяных носках и галошах – радикулит, подагра?) грозил кулаком вслед: я тебе покажу, мерзавец, мать-перемать! Пока его не увела в дом молодая жена (почему именно молодая?). «Успокойся, милый, успокойся. Тебе нельзя волноваться, у тебя давление». – «Я ему покажу! Мать-перемать!»

Поднялся наконец на крыльцо библиотеки.

При виде кавалера в шляпке и со щеками Колодкина и Гордеева привстали и ослабились. Как две тайные бля... с волоокими глазами.

– Рита! Маргарита Ивановна! – крикнули за спину, не сводя глаз с красавца. Словно чтобы тот не отступил, не удрал. А щекастый топтался на половичке, кивал, забыв про шляпку на голове.

Кузичкина выбежала из-за стеллажей и чуть не под руку повела Табашникова к библиотечной стойке (к Гордеевой и Колодкиной), тараторя:

– Проходите, проходите, Евгений Семёнович! Здравствуйте! Рады вас видеть! Рады! Давно не были у нас. Забыли к нам дорогу?

– Да нет, что вы. Читал повесть, которую вы мне рекомендовали, – смущался читатель, по-прежнему не догадываясь снять в помещении головной убор: – Вот, принёс журнал.

Речь шла о повести молодого писателя, уроженца Белоруссии. Который надёжно засел в Москве. Который поймал волну. Мелькал на телевидении, в газетах. Для понта к своей украинской (не белорусской) фамилии приставил имя-псевдоним – Саша.

– Ну и как вам эта повесть? Как вам писатель? – Кузичкина повернулась к товаркам: мол, слушайте, что сейчас скажет.

Читатель в шляпке (как припаяли её ему!) начал говорить:

– Да понимаете, вся проза у него какая-то царскосельская. С первых строк думаешь, что это изнеженные фрейлины и пажы перед тобой разгуливают. А оказывается – это современные новые русские якобы так отдыхают за границей. Хотя, конечно, всё сделано мастеровито. Но – не мой писатель.

Кузичкина с гордостью посмотрела на подруг – а! как разложил всё! – и увела критика за стеллажи, вглубь библиотеки, к своему столику. Товарки хихикнули и приставили к губам палец. Один на двоих. Потом, забыв про каталожные карточки, которые нужно раскладывать, вслушивались, что происходит за стеллажами. А там то еле слышно говорили, то подолгу молчали. То вдруг слышался Риткин придушенный смех. Обжимает он её, что ли? А? Или уже вставил?

Вышли оба из-за стеллажей часов в двенадцать. Он по-прежнему в шляпке! Но с новым журналом и книгой. Она – вроде бы смущалась и даже оправляла платье. Сняла с вешалки свою куртку, надела:

– Девочки, я на обед. Если тоже пойдёте домой, всё закройте.

– До свидания! – сказал щекастый и вышел за пассией.

Вот так писатель. Вот так интеллигент. Шляпку даже не хватило ума в помещении снять. В библиотеке! Так и работал, наверное, за стеллажами – с голой ж..., но зато в шляпе.

Когда вошли во двор Кузичкиной, уже по привычке посмотрел на балкон её и на крышу. Опять прикинул, через что лучше уходить. В случае чего. При форс-мажоре.

В прихожей снял, повесил плащ. И наконец-то шляпку. Рукой поправил волосы. Хотел пройти в кухню, но пригласили сразу в комнату. Где фантастически пошли исчезать разные женские штуки, раскиданные везде. Смятая комбинация, тёплые зимние панталоны и даже коричневый чулок. Почему-то один. Похожий на сдохший раструб. Разгильдяйка вообще-то, если честно. Как и большинство женщин. Сюда бы немку часа на два привести. Та навела бы порядок.

Пригласили обедать. Ел и почему-то опять сравнивал уехавшую в Германию молчаливую Гербер с этой говорливой женщиной. И сравнение было не в пользу говорливой.

Однако готовила Маргарита Ивановна хорошо. С удовольствием съел и первое – борщ, и второе – вкусную котлету с картофельным пюре. А ведь женщина не знала, что он придёт в библиотеку, а потом сюда, заранее не готовила всё. Значит, такая вкусная еда у нее каждый день. Это большой плюс.

Кузичкина говорила не останавливаясь, но поверх потока слов, словно самостоятельные, неуправляемые выскакивали вопросы. Вопросы к мужчине, сидящему напротив. Как он обходится без женщин? Ведь не старый ещё. Неужели занимается непотребным? Хотя на таких неполноценных мужчин, о которых вычитала в интернете – вроде бы не походит. Не истеричен, руками не суетится, ничего не теребит, глаза не бегают, спокоен. Уверен в себе. От людей не прячется. И всё же почему? Почему один?

– Евгений Семёнович, вы бы рассказали о себе. Я ведь ничего о вас не знаю.

Табашников подумал какое-то время и как на лыжах с горы ринулся, начал рассказывать. Сразу о своей семейной жизни. Что женщинам больше всего хочется выпытать у мужчин. Летел с горы на раскоряку, но вырুলивал от одного сюжета к другому. Как познакомился и сошёлся с немкой, как с ней жил, как потом расстался, из-за чего. И особенно много говорил на финише о сыне её, Вовке, своём пасынке, к которому прикипел душой.

Большие ноздри мужчины вдруг засопели. Как сопла:

– ...Он называл меня уже папой. Понимаете, Маргарита Ивановна! Папой! А я... а я...

– Ну, ну, Евгений Семёнович. Успокойтесь.

Мужчина достал платок и стал вытирать глаза:

– Извините.

Кузичкина пропустила извинение, ей хотелось дальше слушать сериал, дальше:

– И что было потом? Больше вы с ним не виделись? Не съездили к нему в Германию? Ведь можно было уже в те годы, наверное.

– Куда я поеду? На какие шиши. Да и в качестве кого. Мы не были даже с ней расписаны. Неполноценный отчим. Который ходил когда-то с её мальчишкой на рыбалку. Из Германии Вовка, правда, писал сначала. Года полтора. Потом перестал. На мои встревоженные три письма – не ответил. Как я узнал потом у русской подруги его матери, – Гербер почти сразу вышла там замуж. За какого-то местного фермера. По имени Вилли. И они, видимо, запретили Вовке писать мне. Так и батрачит сейчас, наверное, на этого Вилли.

Кузичкина на удивление молчала. Глаза её ушли в себя. Рука забывчиво шевелила ложечкой в стакане. Табашников уже жалел, что рассказал про себя, что вывернулся наизнанку.

– Вы извините меня, Маргарита Ивановна, что нагрузил вас всем этим.

– Ну что вы, что вы, Евгений Семёнович! – сразу оживилась Маргарита. – Кому же рассказать о личном, как не женщине. Сострадательной женщине. Мужчины разве поймут?

Действительно – не поймут.

Оделись, вышли опять во двор и дальше, на улицу. Вела Табашникова озабоченно. Под руку. Как больного. Которого нужно срочно лечить. Строила планы лечения. В которых преобладал всего лишь один: нужно найти вам женщину, Евгений Семёнович, полюбить. Сойтись с ней. Себя словно бы даже не брала в расчёт, ни-ни. Просто психотерапевт, психолог Кузичкина. Больной соглашался, кивал.

На углу расстались. Кузичкина побежала обратно в библиотеку. Табашников – с большим оптимизмом пошagal домой. С книгой и журналом под мышкой.

– Обязательно позвоните, Евгений Семёнович! – оборачивалась Кузичкина. Мол, продолжим лечение.

Глава пятая

I.

Табашников смотрел в телевизоре на грызню украинских и российских пограничников в Азовском море, как захватывают они друг у друга судёнышки с понурыми, ни в чём не повинными рыбаками, и думал: Господи, куда меня принесло! Ведь переехал не куда-нибудь, а в самое пекло. Если, не дай Бог, что-нибудь начнётся.

Не выдержал, набрал Агеева:

– Ты смотришь телевизор?

– Не сунутся, – успокоил Агеев. – Бошки оторвём. Всё государство медным тазом накроется.

– Чьё государство, Гена? Чьё? Ракеты полетят сразу к нам в городишко. Лёту-то через лужу 30-40 километров, Гена. Куда побежим? Где будем спасаться? Все донбасы детским садом покажутся.

Агеев считал себя знатоком современной политики. Постоянно смотрел все ток-шоу. И на НТВ, и на России 1. Поэтому свернул все дела, если точнее, бросил ругающуюся Машу и поспешил на Широкую. Вправить другу мозги.

Однако тот метался по кухне, был неузнаваем. На все спокойные, взвешенные доводы Агеева – вдруг вспылил:

– Да пойми ты (дурья башка)! Если ружьё повесили на стену – оно выстрелит. Рано или поздно. Выстрелит! Понимаешь? И такие, как ты, его и подвешивают постоянно. На твоих любимых ток-шоу. С такими же базлунами, как ты. («Да почему я-то сразу!»)

Продолжал бегать по кухне:

– Какого чёрта мы припёрлись сюда? Нам что – было плохо в Казахстане? Там хоть умный, осторожный человек правит. А здесь? Подводные лодки твои, всякие линкоры постоянно на воду, всякие «булавы», «кинжалы»?

Да-а. Запущенный случай. Прямо и не знаешь, с чего начать. Но Табак не давал начинать – его несло:

– Все ваши пенсионные реформы – только для одного: деньги у предпенсов отнять. Триллион, другой. Не стало денег хватать. На ваши лодки, «булавы». На саранчу чиновников, силовиков, на армию. На все ваши сирии, донбасы и крмы. И что удивительно, постоянно идёт клоунада для дураков: правитель с народом, за социалку (но вынужден пойти на реформу, вынужден! граждане!), а его же карманное правительство – против: хватит сидеть у государства на шее! Протаскивает и протаскивает всё исподтишка. Не мытьём, так катаньем предпенсов берёт.

– Ты упрощаешь, – начал было Агеев. – Не в правительстве дело...

– Да очнись, кремлёвский мечтатель. Капитализм давно на дворе. Капитализм! Высунься в окно. О какой социалке, о какой справедливости речь? Волки кругом давно. Волки. И бараны в их кольце. А мы, пердуны, никак не хотим этого понять. Всё рыпаемся. («Долой! Грабительской реформе скажем нет!») Да пойми ты, телевизор всё равно вправит народу мозги, куда власти надо.

Всё равно! Всё равно рай капиталистический наступит. Что называется, победит повсеместно. Ну а нас, не вымерших динозавров-стариков, окончательно затупят сериалами да орущими скандалистками с блядскими ртами. Так что раньше надо было думать, Гена. Раньше. Не бегать с плакатами в 90-е. Не рваться в западный мир. Получили то, что хотели. По полной.

Табашников высказался. Брякнулся на стул. Сидел как порванный мяч. Воздух шёл из всех дыр.

– Да ты же опасен, Женя, – стал оглядываться Агеев: – Тебя нужно срочно отправлять назад. К казахам. Ты же экстремист. Как ловко ты скрывал своё подлинное лицо. Ах, как ловко. Даже я не смог разглядеть его. Твоё лицо матёрого экстремиста.

Табашников ощущал лицо. Точно – матёрая морда экстремиста.

Хохотали оба. Освобождались. Тут же появилась бутылка на столе. А к ней и закуска.

– Ну, давай, за твоё выдворение. Экстремист!

Выпили, стали есть.

– А если серьёзно, ты прав в одном: слишком много стали болтать о войне. Притом о ядерной. Слишком много ружей подвесили. Прямо спорт какой-то начался. Кто больше подвесит. То в одном месте, то в другом. Дрищем уже от страха, а всё подвешиваем. Нам всё нипочём!

Табашников сдался, покорно слушал свои же слова, которые теперь Агеев говорил. Пусть его открывает Америку. Он всегда любит осёдлывать чужих коней и скакать как на своих.

В телевизоре давно шло другое. Медицинское.

Ведущая с круглым лицом и жёлтыми лепестками волос походила на круглую ромашку в очках с большими диоптриями. Увеличенные глаза её будто белены обвелись – были мутны, бессмысленны. С добровольцами (почему-то больше женщинами) обращалась как с неразумными даунами в детском саду. Поучала, направляла чуть не за руку, запрещала трогать медицинские муляжи. Постоянный кореш её в синей робе врача, лысый еврей из Израиля, вторил ей. Но на свой лад – с ужимками, с прибаутками. Они переглядывались между собой со смехом в глазах. Как двое полноценных, нормальных среди всё тех же даунов из детского сада. Которые упорно вели себя неправильно, неразумно.

Без всяких обсуждений Табашников переключил канал. Но нарвался на оппозиционный. И оба друга замерли, забыв о поднятых рюмках.

Ведущий, толстенный, как гоблин, всё время смотрел на собеседника поверх очков. Губки у него походили на только что завёрнутый пельмень. Его постоянный оппонент – сивобородый, лысый, с косицей на затылке – сидел очень прямо, со сжатыми кулачками на столе, как сокол, вцепившийся в ветку. На всё у него был готов ответ.

Гоблин пытался вывести сивобородого на нужный ракурс темы, но тот спокойно гнул своё самодовольным голосом.

Агеев смотрел:

– С этим козлом с косицей говорить – всё равно что с непойманным браконьером на берегу. О разведении осетровых рыб. Выключи ты его к чёртовой матери. Вместе с гоблином.

Выпили. Дальше закусывали. Табашников достал холодца и остатки винегрета.

Как бы то ни было, бутылку прикончили. Несколько окосели. Ни о каких ракетах через лужу уже не помнили, забыли. Лысая голова с горбатым носом соловела, плавала над столом. Больше, чем голова с ноздрями. Явно хотела спать.

– Ты бы прилёг на диване в комнате, – посоветовал Табак, крепче на водку, устойчивей. Помог подняться, проводил.

Агеев брякнулся на спину и сразу завсхрапывал. Старик вообще-то, смотрел Табашников. Раскрытый ротик часто дышит. Боятся не догнать своё же дыхание.

Вернулся в кухню, убрал со стола, стал мыть посуду.

Заползал, засипел на чистом столе мобильник Агеева. Табак открыл экран – Мария.

– Да, Маша.

– Ты где опять шляешься! – накинулась «на мужа» Мария. – Юльку нужно купать. Я что, разорваться должна?

– Маша, – мягко прервал Табак, – я это, Евгений. Гена отдыхает. – Мол, тише, не кричи – разбудишь.

– Что это ещё такое!

– Гена притомился маленько. Извини его. – И Табак выключил мобилу. Хихикнув. Как нашкодивший пацан. Дескать, обманул.

Не тут-то было – снова мобильник заползал, зазудел.

Табак на цыпочках понёс пластиковую включившуюся бомбу в комнату. Водил ею над ухом притомившегося.

– Что, что! – вскинулся тот на локоть.

– Маша, – шёпотом предупредил друг. И отдал бомбу.

Агеев мгновенно преобразился. Бодро ответил:

– Да, Маша, слушаю тебя! – Дескать, всегда на посту.

Табашников вытирал посуду в кухне, невольно слышал, как друг оправдывается, защищается («Ну что ты, Маша, просто прилѐг на десять минут, да трезвый я! трезвый!») и, не узнавая себя, уже злорадствовал – несчастный лысый дуб, по его же поговорке, как раз был с дятлом, с навеки привязанным на верёвку дятлом. Который долбил и долбил его сейчас. Отлетал на длину верёвки, прилетал, и снова долбил. Хихихихи!

2.

В армию на перроне вокзала девятнадцатилетнего Евгения Табашникова провожали родители и невеста. Галина Голубева.

Как и положено призывнику, Евгений был хорошо поддат, но озабочен – он потерял где-то кепку. Всё время поворачивал по сторонам большую серую голову, остриженную под ноль, искал. Был он в тонкой, уже воинской телогрейке (ещё отцовской), в кедах, с рюкзачком на плече, а вот головного убора на голове – не было. Непорядок.

Галина висла на любимом, плакала, только что не выла, будто на войну провожала. Интеллигентные родители смущались. Не знали, как вести себя в подобных случаях. Впрочем, Наталья Сергеевна не выдержала, тоже прижала голову сына. Прижала как большого ребёнка, раскачивая его и плача. Евгений успокаивал, бурчал на широкой груди: «Я в порядке, мама, в полном порядке».

Прозвучала команда «по вагонам!», ударил духовой местного гарнизона, и полупьяные призывники вяло полезли в третий и второй вагон, теряя за собой, как багаж, невест и родителей.

«Не плачь, девчонка, пройдут дожди! – маршеобразно лупил оркестр, – солдат вернётся! ты только жди!»

Евгений так и уехал без кепки.

На первом же построении по прибытии в часть, возле учебки старший сержант Зубцов сразу обратил внимание на невысокого призывника с большим обритым кумполом. Серым, как туман.

– Почему без головного убора, призывник?

– Потерян в неравном бою, товарищ старший сержант! – громко выкрикнул призывник.
– В бою с зелёным змием!

Шеренга грохнула.

– А-аттвить! Однако ты юморист, – со смехом в глазах разглядывал призывника сержант Зубцов. – Не хочешь ли поработать на кухне?

– Так точно, товарищ старший сержант! Очень хочу! – опять выкрикнул большеголовый под хохот шеренги.

Так Евгений Табашников в первый же день службы, едва ступив на территорию части, получил свой первый наряд вне очереди. Не дойдя даже до казармы. Не захватив даже, как хотел, кровать у окна.

Зато под присмотром другого сержанта, Чигова (Зубцов – Чижев, Чижев – Зубцов – футболисты), самым первым переодевался в каптёрке. По-быстрому натягивал хэбэшку и кирзачи. И получил, наконец-то, пилотку самого большого размера, какой был.

Повернулся к сержанту Чигову:

– Я готов, товарищ младший сержант! – Дескать, прошу препроводить меня на кухню.

Младший сержант Чижев не узнал новобранца – пилотка на голове у малого сидела вроде кораблика на серой воде. На серой воде водоёма. Сказал наконец:

– Ну, ладно. Пошли, что ли. – И добавил: – Голова.

Так Евгений Табашников получил в армии сразу и новое прозвище – Голова. У него хватило ума не обидеться на Чигова, ну и на товарищей, которые тут же подхватили прозвище. Посмеивался вместе с ними, раскуривая папиросы в специально отведённом месте рядом с плацем. Месте вроде детской песочницы, с низкими лавочками вокруг неё. Курил, посмеивался себе, юморил. Поэтому изгоем в армии не стал.

Евгений Табашников попал на службу в Забайкалье, прямиком в городок Борзя-3 у границы с Китаем, в мотострелковый полк. В первые два месяца до принятия присяги как положено проходил «курс молодого бойца». В учебных классах заучивал наизусть устав и шустрил с разборкой и сборкой АК. А на плацу «тянул носок» – это когда человек тридцать замирают с поднятой вытянутой ногой и по команде опускают её, задирают другую ногу и снова ждут, когда скомандуют опустить, напоминая с такими ногами падающих бестолковых гребцов на галерах. Которые никак не могут понять элементарного. С точки зрения Зубцова и Чигова. (Зубцов – Чижев, Чижев – Зубцов – пасующие футболисты). «Курсант Табашников, бегом арш!» (Чижев). «Курсант Табашников, пятьдесят раз отжаться!» (Зубцов). «...сорок один, сорок два... Да куда пошёл, куда! Назад! Вон туда иди, там казарма. Голова!» (Всё тот же Зубцов).

В день принятия Военной присяги весь полк выстроили на плацу. Новобранцы стояли в центре шеренги двумя отделениями. Кто стоял впереди, тому доверили автомат на грудь.

Полковник Самохвалов под знаменем полка обратился к новобранцам с краткой речью. Он походил на самовар в золотом поясе. Он напомнил новым воинам, что принятие воинской присяги есть почётная и ответственная обязанность, которая возлагается на военнослужащих по защите Отечества. Затем по списку громогласный старшина Голотов начал вызывать воинов, которые должны принять присягу. И каждый воин, чеканя шаг, выходил с автоматом на груди, поворачивался к строю и, удерживая левой рукой большой буклет, кричал, пищал или басил текст присяги. Наизусть. Потому что всё равно в буклете, кроме слившихся строк, ничего разобрать было нельзя. Расписывался в амбарной книге (ну, что прокричал), поворачивался и чеканил шаг обратно в строй. Отдавал автомат следующему. А сам вытирал пот со лба за спинами у товарищей. Во всяком случае, так было у Табашникова.

После того, как оба отделения приняли присягу и Самохвалов коротко поздравил их, прозвучала команда громогласного старшины: «Полк, смирн-на-а!» И сразу громко подвесил первый аккорд гимна военный духовой.

«Союз нерушимый республик свободных», – плескал плавными руками дирижёр, чернявый грузин в парадном фурагане и со шнурами на кителе.

Весь командный состав полка и воины сразу вытянулись и зашевелили губами. Будто бы запели. Однако старшина Голотов выводил очень громко, вроде протодьякона. Поворачивал голос то направо, то налево. Как бы заставлял остальных начальников петь по-настоящему, не халтурить.

Потом был проход всего полка торжественным парадным маршем.

Со знаменем и командиром во главе, под ударяющий оркестр (чернявый взмахивал тамбурштоком вверх-вниз, как скальпированным индейцем) полк проходил плац строевым. Проходящие две галеры, принявшие присягу, шлёпали вёслами слаженно, чётко. Как одна. (Вот она, школа Зубцова и Чигова!)

После парада – сразу в столовую, на праздничный обед. Вина, конечно, не было, но газировки – от пуза. Виноград, яблоки в вазах, по плитке шоколада на нос. Не говоря уже о сытном вкусном первом и втором. И до самого отбоя все были свободны. Несколько человек отправились в увольнительную в саму Борзю, где их ждали родные, но большинство ребят просто болтались по казарме. Кучковались вокруг записного анекдотчика или хохмача. Серьёзные очкарики вздрагивали от хохота над ухом, но читали. Голова и Колокол (Колоколов) играли в шахматы.

Табашников и Колоколов подружились после того, как навалили трём дедкам, которые однажды, как коты, пробрались в учебку, чтобы хорошенько пощипать у салаг перья. В виде рублёвок, трёшек и даже красных десятков. В умывальной крупный Колокол бил наотмашь. Дедки вцеплялись мордочками в кафельную стенку, марая её кровью. Голова не отставал, работал на опережение, коротко, но сильно поддевал подбородки. Досталось, понятно, и самим хорошо. У одного (Головы) сильно надорвали мочку уха и зажгли хороший фонарь слева, у другого (Колокола) нос от прямого удара превратился в сизый шлем. Однако салаги героев сразу сильно зауважали. Особенно те, которых дедки всё же успели пощипать. В новой казарме, куда перебирались после учебки, забегали вперёд и предлагали героям любые две койки. На выбор. И Голова и Колокол заняли самые лучшие, у окна. Один наверху, чтобы кренделем сидеть и смотреть на закаты, вспоминать невесту Галю Голубеву, другой внизу, под ним, чтобы лежать руки за голову и тоже мечтать. Правда, неизвестно о чём.

Невеста Галина Голубева приехала к солдату, когда тот уже достаточно заматерел. На учениях, как крот, закапывался в полевые окрестности Борзи, строчил из автомата, бегал в атаки, с такими же гавриками в касках удерживался, не осыпался со скачущего по оврагам БМП и даже три раза прыгнул с парашютом, ни разу не нажав в штаны. Словом, перед невестой предстал обветренный мужеством солдат, к которому она припала как лоза и заплакала. (Голова не проронил ни слова, не уронил слезинки. Гаврики с КПП свидетели. Только по-отечески похлопывал невесту по спине.)

Однако в гостинице города Борзи, в отдельном номере не мог прободать пещеру невесты. Пещеру хорошо знакомую, изученную. В которой до призыва бывал не раз и не два. Пещеру как будто заложили камнем. Или, мягче сказать, зашили. «В чём дело, Галина?» – спросил солдат. «Не обращаешь внимания. У меня была операция. С осложнениями». Дескать, пытайся ещё.

У Галины Голубевой был аборт, пока жених полгода служил. От другого мужчины. И действительно после него начались осложнения, из-за которых кое-что ей потом сильно ушили. Внутри. Но Евгений этого не знал. Смотрел в меняющийся от машин потолок, ощущал себя ничтожным импотентом. Пещеру так и не прободал, и невеста уехала.

Долго не решался, но рассказал Колоколу. Мише. (Дело было на дежурстве в КПП, вышли покурить наружу.) Колокол прикурил от зажигалки друга и сказал, что Голубева ему не понравилась. Сразу, как увидел и познакомился. Мутная какая-то. Глаза припухшие, бледовитые. Ты извини, старик, но не для тебя она. Да и потом, ты полгода уже в армии, а она приезжает к тебе после аборта. Да ещё с большими осложнениями. От кого пришлось делать аборт-то? Так что думай, старик.

И Табашников думал. Вечерами смотрел с верхней кровати на закаты и подсчитывал недели и месяцы беременности Голубевой. Когда она почувствовала себя в положении? Проще говоря, – залетела? Вскоре после отправки его в армию, когда неделю жила уже у него, ночевала в его комнате и с пещерой у неё всё было в порядке? Или намного позже, когда он бегал с автоматом по окрестностям Борзи? Ответа не было.

Осенью к солдату приехала мать. Наталья Сергеевна Табашникова. Сидели в кафе у городской площади. Наталья Сергеевна всё время заказывала еду, подкладывала сыну. Сын сильно похудел. Думала, что от плохого питания. Остались только глаза и голова с армейским чубчиком. Однако Женья уверял, что кормят хорошо. Тогда отчего же, сынок? – спрашивала мать. Сын уводил глаза к большому окну, смотрел на ревматоидную руку Ленина, на гоняющих на великах пацанов.

Расспрашивал об отце, о друзьях с завода. О Голубевой ни звука. Наталья Сергеевна уже знала всё. Тоже молчала.

Ночевали в местной гостинице. В темноте мать долго говорила сыну. Пыталась смягчить как-то всё. Уверяла, что свет клином на Голубевой не сошёлся. Что всё ещё у сына впереди. Что будет у него и девушка верная, и любовь. И жена потом, и дети. Но сын будто провалился в чёрном углу. Вместе с диваном. Будто его не было в номере.

На другой день съездили в часть, и Наталья Сергеевна услышала только хорошее от Самохвалова и Голотова. Которые благодарили её за воспитание сына, отличного солдата. Однако душу ломало. На вокзале перед посадкой в вагон – плакала.

Когда поезд пошёл, тянулась из окна, махала.

Сын остался стоять на перроне как маленький сиротка Ленин. С большой головой. С крохотной пилоткой на темени.

3.

Кузичкина и Табашников встречаться продолжали, но дело на лад не шло. Не пахло ни загсом, ни даже диваном в комнате. Куда жених мог бы запросто невесту... усадить. Табак осторожничал, выжидал. Придумывал для себя отговорки. В загсе тоже нужно ждать. Ну штампа в паспорте. То ли два там, то ли три месяца. Какой же смысл во всей этой затее? Получалось – никакого. Вид на жительство можно и без женитьбы получить. Без женитьбы на россиянке Кузичкиной. Только чуть позже.

Кузичкина принимала жениха, угощала, тараторила. На столе была всегда вкусная еда. (Одни раз даже фаршированная утка из духовки!) Но жених ни тпру ни ну. И было видно, что женщина уже сердится. Сам Табак был как всегда – на чистом глазу. Вот прямо не видит ничего и не понимает. Знай нахваливает фаршированную утку: «М-м, какая вкуснота, Маргарита Ивановна! Обязательно дадите мне рецепт».

Однажды за столом Кузичкина вдруг начала говорить о мужчинах. О мужчинах вообще. Как о феномене природы. Говорила на удивление чётко, не тараторя, опустив глаза. Табак сперва не понял, к чему это. Но постепенно начало доходить: женщина раскрывала ему, мужчине, всю тайну остальных мужчин. Всю их сущность, всё их нутро. Оказывается, делятся они только на два вида. Мужчины, которые женщину считают своей ровней и много ждут от неё. Ждут серьёзных отношений. Тут и женитьба, и рождение детей, их воспитание, и чистый, ухоженный дом. И мужчины, которые смотрят на женщину как на забаву. На существо гораздо ниже себя. Как недоделанных пустышек балуют, снисходительно позволяют тянуть деньги, но ровней себе не считают и в серьёзные игры свои никогда не допустят. И такие мужчины постоянно обманывают своих женщин. Изменяют им. А то и просто выкидывают как надоевшие игрушки. Чтобы тут же заменить новыми.

Кузичкина высказалась. Хмуро ждала.

Табашников растерялся: вот тебе и простенькая, недалёкая. Вся беспечность и болтливость её – дымовая завеса. Перед ним сидела проницательная, умная баба. Но... но ведь это тоже плохо. Зачем такую? Сразу захотелось ехидно спросить: а его, Евгения Табашникова, к каким мужикам она относит? К первым или ко вторым? Но удержался – лишнее.

Судорожно начал подниматься из-за стола. Точно уже пойманный на измене, разоблачённый.

Женщина спокойно смотрела:

– Куда же вы, Евгений Семёнович? Так рано?

– Пора, Маргарита Ивановна, пора. – Дескать, в дорогу дальнюю. Быстро надевал ботинки, шляпку, плащ. Дескать, махну серебряным тебе крылом.

При прощании в дверях не было ни «обязательно позвоните», ни «обязательно приходите». Просто сказала «до свидания, Евгений Семёнович» и закрыла дверь.

Вот так номер! Табашников, как отпущенный большой мяч, рывками прыгивал по лестнице вниз. Что это было? Конец? Полный разрыв?

Со стеснением в груди быстро шёл куда-то. От обиды хотелось выть. Ощущал себя потерявшей собакой, которую недавно видел. Потерявшимся бульдогом. Который бежал из улицы в улицу. Который потерял хозяйку, дом.

Только часов в шесть вечера «нашёлся» возле своих ворот. Уставший, опустошённый.

На кухне горел свет. На кухне хозяйничал Агеев.

– Где ходишь? Час жду. Давай садись к столу.

«Час» он ждёт, раздевался Табак. Без болтовни человеку просто смерть. «Час» у него пропал. Без пустой болтовни.

Сели к столу. Табашников был сыт. Всем. По горло. Однако дёрнул водки. Слушал растопыренного над тарелкой Агеева вполуха. Всё думал над словами Кузичкиной. Особенно о мужиках второго типа. Это был намёк. Злой намёк ему, Табашникову. Мужчине говнюку. Вдруг спросил:

– Гена, ты когда-нибудь изменял свой жене?

Агеев вздрогнул. На удивление, покраснел. Не разучился. Ну и вопросик от друга!

Помялся:

– И вроде бы да. И вроде бы нет.

– Как это?

– Ну, ещё до Маши была у меня одна женщина. Когда учился в институте. Месяц жил даже у неё. Звали – Таня Танцева. Симпатичная была. Собирался жениться.

– Ну и при чём тут Маша. Какая же это измена?

– Так Маша была с параллельного потока. Знала Таню Танцеву.

Агеев даже вспотел от признания. Вытерся платком.

– Ты что, с двумя, что ли, с ними жил?

– Да нет же, нет! Только с Таней Танцевой.

– Ну и чем она тебе была плоха, чем не угодила?

– Да понимаешь, придёшь на кухню, ну завтракать там, обедать, так она не скажет тебе просто «колбаса». Она скажет тебе – «колбаска». («Хочешь колбаски, милый?») Не скажет просто сыр. Скажет «сырчик». Скажет «рыбка», «кефирчик», «огурчик». «Помидорчик!» Все продукты в уменьшительном виде. В общем – культ еды. Культ «кефирчика» был. Ну я и ушёл. С Машей стал ходить.

– Значит, Маша с параллельного курса оказалась лучше Тани с твоего?

– Так, получается, – каялся Дон Жуан и всё вытирал пот.

– Ну ты и ходок! – смеялся Табашников.

Однако, это как? – всего две женщины было у семидесятилетнего Агеева? За всю жизнь? И верилось, и не верилось. Смотрел на смущающегося друга. Рекордсмен. Навыворот. Вверх тормашками.

Думалось уже, как же Маша и Таня делили потом Агеева. После его «измены». Царапались? Рвали друг у дружки волосы?

Спросил у жениха. Оказалось, что всё это было уже на последнем курсе, перед выпуском. После распределения Маша с Геной уехали, а бедная Таня осталась со своим «культом кефирчика».

Агеев наелся, от души наболтался, ушёл. После него, не помыв даже посуды, лежал у себя, смотрел в меркнувший от заката потолок. Видел почему-то глаза Маргариты Ивановны, когда она сердито говорила за столом. Глаза были не прибраны, не подготовлены к встрече. Словно женщина уже устала, смертельно устала привлекать мужчин. Один глаз начала подкрашивать и бросила, второй вообще был нетронутым кисточкой. Во время монолога смотрел как голый птенец. Женщина будто была не в себе. Сейчас от этого сжимало душу.

На другой день маялся, ни к чему не мог привязать руки. Позвонить? Или не надо? Решил пойти на Таманскую. Да, пойти. Сдать журнал и книгу. Имею право, чёрт побери. Оделся, пошёл.

– А Рита заболела, – сразу сказали Колодкина и Гордеева. – Она вчера ещё заразилась от Лямкина (есть тут у нас один, полчаса кашлял, гад). А сегодня уже высокая температура, уже вызвала врача. Лежит дома.

Табашников попятился. Никак не ожидал услышать такое. Сказал будто не сам, а какой-нибудь отъявленный канцелярист:

– Спасибо за информацию. – И увалился за дверь.

Через двадцать минут звонил в дверь на третьем этаже. Секунды тянулись. Наконец дверь приоткрылась.

Кузичкина была с растрёпанными волосами и с завязанным горлом.

– Нет, нет, нет, Евгений Семёнович! Ко мне нельзя. Ни в коем случае. Я заразна, вас заражу. Ни в коем случае.

Табашников начал было, что к нему зараза не пристаёт...

– Тогда только в маске. В медицинской. Купите в аптеке. И мне тоже маску, и мне. И ещё пакет молока и масла. Пачку.

Дверь закрылась.

Окрылённый (ему дали задание!) Табашников помчался выполнять. В аптеке купил несколько масок, а в маркете набрал полную сумку продуктов.

На этот раз перед дверью стоял как ликвидатор из Чернобыля – в глухой маске. Впустили и сразу исчезли. Мелькнул только халат и нога в тёплом носке и тапке. В нос сразу вошёл душный воздух болезни.

Раздевался в прихожей. Больная кашляла в полутёмной комнате.

– Включите свет, Евгений Семёнович.

Маргарита Ивановна лежала на высоких подушках, до горла укатавшись толстым одеялом.

– Знобит, – как бы извинилась перед гостем. – Если сможете, согрейте, пожалуйста, молока, и в кружку бросьте чайную ложку соды. От кашля.

Табашников ринулся на кухню.

Поил потом больную горячим молоком. Как она заказала – с содой. Маргарита Ивановна держалась за кружку обеими руками, мелко глотала. Её по-прежнему тряс озноб.

Табашников увидел на тумбочке вытасенный из футлярчика градусник, спросил какая температура. Сейчас 38 и 9, доложила больная и откинулась на подушки. Вроде бы с облегчением.

– Так скорую надо, Маргарита Ивановна?

– Уже была. Поставили два укола. Температура должна упасть. Сейчас придёт участковая врач. Я вызвала. Она быстро обычно приходит.

Ждали. Санитар в маске сидел. Больная лежала, кашляла, каждый раз хватая полотенце и закрывая рот. Однако в перерывах между приступами рот её не закрывался. Многословно говорила, как заразилась от Лямкина. Пенсионера. Его ведь ничего не берёт, кашляет, чихает, но всё равно в библиотеку прётся. Давно не приходил. Два дня прошло. Новых детективов, видите ли, ему надо. Без них болеть никак нельзя.

Табашников слушал, посматривал на круглые настенные часы. Часы вдруг напомнили ему собственную рожу. Сусами. Как уже было. Давным-давно. С немкой. Надо же – когда вспомнилось. Пожалуй, Маргарита Ивановна так скакать бы не смогла. Хотя вроде бы тоже темпераментная.

В прихожей длинно прозвенело. Табашников бросился, открыл, встретил пожилую хмурую женщину в сверкающей стеклярусом шапке и пальто, из-под которого виднелся белый халат. Принял пальто, повесил. Вязаная шапка со стеклярусом осталась на женщине.

Повернулось лицо с нарисованными тонкими бровями-саблями:

– Вы муж?

Табашников в маске походил на глухонемого. Слов от него не дождались:

– Проводите помыть руки.

Поспешно провёл, открыл ванную, показал. Опять всё молчком. Чернобылец. Глухонемой.

Наконец врач села на стул возле больной.

– Что же вы, милая, опять не убереглись. – Говорила и одновременно доставала из сумки медицинские причиндалы: – Смотрите, муж какой молодец. В маске. (Глухонемой кивнул, подтвердил.) А вы работаете в библиотеке. Это всё равно что в магазине. И никак не защищаетесь.

– Да к нам один Лямкин и... – начала больная. Но её прервали:

– Разденьтесь до пояса.

Забыв о Табашникове в комнате, Кузичкина поспешно начала оголять себя. Сидя. За халатом свезла на живот ночную рубашку, явив белому свету худое серое тело. Пожилая врач, как поп в сверкающей митре, стала крестить больную пипкой фонендоскопа. Приказывала – дышите, не дышите, кашляните.

Табашников отвернулся, но в боковом зеркале трельяжа всё видел. Грудь как таковой у Кузичкиной не было. Были два прыща. Как говорится, замазать зелёной и не считать за орган. Опять почему-то переворачивало душу. Какой тут муж! Отец, переживающий за малолетнюю дочку!

Врач уже писала в карточку на колене. Больная, внезапно обнаружив в комнате Табашникова, разом прикрылась. Стала напоминать растерзанную капусту. Глухонемой смотрел на потолок.

– Вот рецепты, – протянули Табашникову три бумажки. – Уколы умеете делать? В мягкое место?

– Нет, нет – он не умеет! – совсем запахнулась халатом Маргарита Ивановна: – Он боится. Иглу обломает!

Табашников кивнул – он боится, точно – обломает.

– Тогда к вечеру пришлю сестру. А через два дня, если температура спадёт – ко мне на приём. Если нет – опять меня вызовите. Поправляйтесь, милая.

Кузичкина благодарила и благодарила, а Табашников помогал врачу надеть на белый халат пальто. Врач поправляла перед зеркалом свою красивую шапку, видимо, недавно купленную или подаренную ей, и давала рекомендации Табашникову. Мужу:

– Маску в квартире не снимать. И по возможности спать раздельно.

Табашников вконец осмелел, – спросил:

– А если вместе – то в маске или без?

Он, Табашников – юморной.

Пожилая мгновенно вспомнила свою молодость. Чёрными саблями на лбу игранула. Дескать, ах ты шалунишка такой!

Бодро вышла из квартиры.

Два дня с утра до позднего вечера Табашников находился возле больной. По первому взмаху её руки, как пёс в медицинской маске, кидался и приносил в зубах разные поноски. (Сквозь маску, что ли, захватывал? Нет-нет, снизу под маску засовывал.) Полотенца, свежие платочки и даже расчёску. Что бы больная ни потребовала. А Кузичкина уже начала капризничать. Обложенная одеялом, воротила мордочку от манной каши. («Не хочу-у, Евгений Семёнович!» – «Ну-ну, за маму! За папу!») Не хотела пить целебные отвары, приготовленные псом. («Ки-исло, Евгений Семёнович!» – «Ну-ну, сейчас кинем сахарку. Вот так!»)

После обеда, когда приходила медсестра – метался из комнаты в кухню и обратно. Стелил на табуретку чистое полотенце для шприцов и ампул. И исчезал. Ждал в кухне или в коридоре. Чутко вслушивался.

После уколов больной нужно было ставить ещё и горчичники на спину и грудь. Тащил для сестры тёплую воду в большой тарелке и опять чистые полотенца. Несмотря на гневные немые

жесты (отвалите, Евгений Семёнович! сгиньте!), никуда не уходил. Стоял как приговорённый с петлёй на шее. Крепко зажмурившись.

Сестра уходила, прикрыв горчичники (и больную) одеялом. «Снимете через двадцать минут».

Двадцать минут ходил на цыпочках. Больная затаилась, готовилась. И начиналась борьба мужчины и женщины. Кузичкина не давала снять горчичники. С груди содрала сама, а со спины ни в какую, зажала на себе одеяло. Нагорбилась. Табак по-всякому уговаривал. Уверял, что не будет смотреть, пытался одеяло спустить со спины. «Нет-нет-нет, Евгений Семёнович!» Пойманная девчонка зажалась на диване. Перед гадким сладострастным развратником.

– Да ведь нужно не только снять бумажки, но и смыть горчицу, – стenal развратник. – Ведь сожгло уже всё, разъедает спину. Чёрт подери!

Кузичкина думала. Это называлось – распустила Дуня косы. Перед молодцом в защитной маске.

– Задёрните все шторы.

Задёрнул. Подкрадывался во мраке. Наощупь стал снимать. Дыхание – задавил. До помутнения в башке. Потом из кухни принёс тёплой воды. Тёплой мокрой тряпкой омыл тощую спину. Вытер махровым полотенцем. Хотел и с грудью так же проделать – сразу взвыли в темноте.

– Ладно, ладно. Ухожу. – Нашупал руку женщины. Направил: – Вот тазик и тряпка. И полотенце.

И приходил в себя на кухне, сдёрнув маску и вытирая пот с лица. Какие тут к чёрту спальни, какие скачки в них! Со стыда бы не сдохнуть. И ей, и мне.

4.

Пока Табашников собирался, Агеев докладывал о погоде за бортом: «Сегодня минус 5. На дороге гололёд. Тротуары – костоломы. Люди на них – что тебе трепещущие балерины. В общем – красота!» Сам был в литых калошах. В любимых.

Осторожно шаркались по льду Широкой, но Агеев успевал о своём. О зяте: «Натура дурака нередко бывает сложной. Дурак может даже иногда прикинуться умным. Косить какое-то время под него. Однако скоро снова рушится в дурость. Всё вновь тонет у него в пустых словесах». Табашников тоже косил. Только под глухого. Дескать, не слышу. Озабочен. Как бы не навернуться на таком льду. Агееву лёд не помеха. Поливал.

Да замолчи ты! Под ноги смотри!

Навернулся-таки болтун. Ноги взмыли выше головы, одна калоша полетела в небо, шляпка в сторону. Но старикан изловчился в воздухе и приземлился (приледнился) на локоть и бедро.

– Живой? – поднимал Табашников. Скользя, добрался до шляпки и калоши. Вернулся. Как инвалиду с поджатой ногой, обул Агееву калошу. Шляпку – нахлобучил. Будто пьяному. Подхватил под руку: – Давай к домам. Там хоть вдоль стенок и заборов.

Вдоль стенок и заборов Агеев хоть и цеплялся за друга, хромал, но говорил, не унимался: «Все эти недоделки во дворе и на улице – это памятники его дурости. Останутся, будут стоять века». Да заткнись ты! – опять хотелось сказать Табашникову. Но терпел.

Кое-как дошли.

Сидели в обширном операционном зале банка. С талонами в руках ждали. Всегда неожиданно ударял загробный колокол, спрятавшийся где-то в потолке – и сразу за ним слышался ласковый приглашающий голос. Колоколу и голосу не доверяли, таращились ещё и на электронное табло. Агеев успевал поглаживать вытянутую отшибленную ногу.

– Болит?

– Ништяк. – Прямо опять бесшабашный пацан. Навернувшийся на глазах у других пацанов.

Снова таращились на табло и вздрагивали от загробного колокола.

В последнее время Табак шкурой начал чувствовать, что деньги, которые привёз с собой, катастрофически тают, уходят сквозь пальцы. До пенсии же здесь ему – как до голубой страны за горизонтом. Нужно было что-то делать. Как-то приостановить своё падение хотя бы на время. Как-то отодвинуть полный крах.

– Депозит! – безапелляционно заявил два дня назад Агеев. – Только депозит! Деньги должны работать! – Добавил по секрету: – Умница Маша тоже немного припрятала. Так сказать, в чулок. Не все денежки Андрей у нас вытягал.

И вот они здесь. Два старых дурака. В Сбербанке России. Самом надёжном. Самом выгодном. С целыми тремя процентами годовых!

Прозвучал загробный и вступил ласковый за ним.

– Чего сидишь? Тетеря! Твой номер!

Агеев сразу похромал.

– Да не туда! Не туда!

Агеев исправился. Похромал в другую сторону. И чуть погода гордо уселся перед менеджером. Девицей, похожей на внимательного паучка в очках. С раскинутыми лапками. Лысина говорящего старика – уже золотой слиток Народного банка.

Через минуту дошла очередь и до Табашникова. Табашников несколько оторопел, сев за стол. Прямо напротив него оказался детина из зала бодибилдинга. В белой рубашке с коротким рукавом, с двумя бицепсами размером в арбузы. (Как тебя сюда занесло? – успел подумать несчастный, прижимая к груди пакет с деньгами.)

– Какой депозит желаете? – вдруг детским дискантом пропел детина.

Табашников, когда отходил от стола, – оборачивался.

В кассе ему приказали прямо в ухо. Из динамика перед пуленепробиваемым стеклом:

– Деньги кладите в лоток. Лоток двигайте вперёд.

Поспешно начал класть деньги и двигать лоток. Девушка за стеклом устало, небрежно, как фоксусник, совала стопки в машинку, выхватывала просчитанные, хомутала резинкой.

– Распишитесь, где галочки.

– Всё? – сунулся к динамику пенсионер.

– Всё, – сказали ему и отключили динамик.

Агеев, когда сдал деньги, откашлялся и хотел солидно начать с девицей дискуссию о денежной массе. Как её сохранять. В какой лучше держать валюте.

– Всё! Не мешайте работать! – И тоже отключили динамик. Финансист повернулся к другу: это как?

Истерично хохотали на крыльце, освобождались от пережитого.

И вновь раскрыли рты. Из подъехавшего чёрного лакированного авто вылез невысокий пузан в расстёгнутом пиджаке и представительная Кугель в штатском – в жакетке, белой кофточке и чёрной, смелой юбке выше колена. Которую она, идя к крыльцу, оглядывала и поправляла.

Не сговариваясь, ринулись с крыльца в разные стороны. Будто после крика – «атак!».

Нашлись в каком-то дворе за зданием банка.

Избегали смотреть друг на друга. Тем не менее Агеев растягивал слова. Как всё тот же мальчишка. Только теперь съехавший, опупевший:

– Вот эт-то да-а. Деньги приехала класть. Много. Большую взятку.

– Точно! – вторил ему Табашников. – Пузатый в сумке дотащил.

Дескать, а мы тут ни при чём. Мы – бедные. Зашли в банк просто так. Из любопытства.

Табашников вдруг сказал:

– А как мы чесанули с тобой, Гена. Любо-дорого было посмотреть. У тебя памперс как, Гена? Сухой?

Опять закатывались. Ходили, гнулись, сучили ногами. Дотужились до того, что и впрямь пришлось бежать и скрыться за чей-то гараж. И уж там отливать.

О походе в банк нужно было отчитаться перед Машей. Сидит, наверное, изводится. Ни звонка ей на мобильный, ни самого шлынды мужа. Не посеял ли деньги, думает. Или вовсе – вырвали, отобрали сумочку. Да ещё дали по башке, подмигнул другу Агеев, доставая телефон. Не успел набрать – мобила зазудела прямо в руке.

– Да, Маша.

– Ну? Где ты? Двенадцать часов! Сходили?

– Всё в порядке, Маша, – захлёбывался от радости супруг. – Операция прошла успешно. Большой будет жить.

– А Женя?

– У него посложнее. Хирург чуть не оттяпал у него лишнее, мужское, мешающее. Но Женя не дался. Тоже остался жив.

– Вот балабол! Давайте скорей домой, обедать. Накрываю на стол, жду.

Отключилась. Схватила внучку и начала кружить: «Ах ты моё сущее наказание! Ах ты моя золотая!»

Андрей Геннадьевич Агеев, приехавший на обед, насторожился – за накрытым столом два старика вели себя как заговорщики. Как будто по лимону выиграла. В подпольном казино. Наликом. И зажали. Перемигивались, со смехом говорили о каких-то хирургах, о каком-то бодибилдинге, а на него, хозяина, не обращали внимания совсем.

Мария Никитична (мать) тоже вела себя странно. Вместо жаркого на двух тарелках, подала жаркое на одной, без салфетки под ней. Нож и вилку положила неправильно. Перепутала стороны. А сама уже подседа к столу и слушала двух темнил, как двух ангелов, по меньшей мере. В чём дело? – включил голову Андрей Геннадьевич, поменяв в руках местами нож и вилку.

Проснулась Юлька, подала из детской голосок. Мать встала, пошла, сразу принесла девочку и забила в детский стульчик, что тебе в колодку.

Вот тоже, постороннего дядю (Табашникова) называет «па-па», а его, родного отца – «го-тя». Или вовсе – «гон-гон». Почти что – «гон-дон». Будто с намёком. Дескать, порвавшийся.

Когда Надежда рожала её, ему по моде пришлось присутствовать при родах (заплатил, кстати, 500 баксов, а дали только прозрачный презерватив на голову да чистый халат). Истощенные вопли жены, раздвинутые ноги с застрявшей тёмной бомбой – ладно. Но когда увидел выгашенного, наконец, новорожденного, непонятно какого пола, это бордовое скрючившееся существо, запищавшее к тому же, – закачался. «Ну-ка! Ну-ка!» – совали ему под нос вату с какой-то хренью. «Держаться! Папаша! Не падать! Пап-паша!»

Вывели его тогда в коридор. Под руки, мать вашу с вашими родами. И он дышал, как ишак, приходил в себя, содрал с головы дурацкий презерватив. Стыдно даже вспоминать сейчас.

Что-то у Надежды пошло не так тогда. При родах. Почти два года уже Юльке, а всё только – «па-па» и «гон-гон». И смеётся всё время. Как колокольчик. Мать говорит, что у меня так же было. До трёх лет говорил только одно слово – «ка-ка». И почти не смеялся. Может, и у Юльки наладится. Станет серьёзной. Вон, морду Табашникова опять трогает и говорит – «па-па». И смеётся, перемазанная кашей. А тот счастлив добезума. Как кот-мурлыка замуривается. Знай, морду подставляет. Ни жены, ни детей своих. На кой чёрт сюда приехал?

Глава шестая

I.

Зимнее штормовое море ходило вроде ярого пива. Длинно выкатывалось на берег. Теряя силу, становилось разбавленным, жигулёвским, уходило в песок. Оставались только пузыри.

Табашников шёл вдоль прибоа, оборачивался на свои следы, остающиеся на песке. Однако все следы, как и пузыри, быстро таяли, исчезали. Сырая песчаная пустыня уходила назад словно бы нетронутой. Ни чьей ногой.

Стоял на высоком волноломе, ударяемый ветром. Тянул руку вперёд. Под бешеными облаками у кромки горизонта пытался потрогать край моря.

Продрогнув как собака, сидел в каком-то кафе в обнимку со ста пятьюдесятью коньяка. Понемногу дёргал, морщился, откусывал от ломтика сыра на тарелке и снова грел руки о стакан. Время шло медленно. Выпил ещё сто граммов.

Пошёл от кафе, толкаемый ветром, в сторону трёхэтажного дома с Кузичкиной. Хотя и выпил всего двести пятьдесят, но в голове шумело. Утром плохо поел. Считаю, натошак принял. Да и ветер.

– Что у вас с лицом? – сразу же спросила Кузичкина.

А что с лицом. Всё в порядке. Посмотрел в зеркало в прихожей – большая пылающая головня со шляпкой на макушке. Всё нормально. Был на море.

– Да вы же простудились! Разве можно сейчас гулять там?

Понятное дело, простуженного нужно было срочно лечить.

После быстрых перемещений по квартире на столе появился графинчик и моментальная закуска. А вот это хорошо, вяло потер ладошки Табашников. Сам налил и опрокинул в себя большую рюмку. И сразу вторую. Вяло жевал. Оглядывал комнату. Мол, ну и чего ты там про баб говорила? К кому я потом приставать буду?

Кузичкина онемела. Щекастый котёл Табака уже пылал синим пламенем. Будто под спиртовками. А глаза выглядывали из котла как грешники. Мучились. Соловели.

– Что с вами, Евгений Семёнович?

Табашников подумал и сказал классически:

– Я в порядке. – И прямо со стула увалился на диван.

Часа через два проснулся. Укрытый пледом, с подушкой под головой.

Сразу сел.

– Маргарита Ивановна!

По квартире рассыпалась тишина. Может, в ванной?

Быстро стал собираться.

Как вор выскользнул на площадку. Придавил за собой дверь, дождавшись щелчка замка.

Позвонила сразу, как только пришёл домой.

– Почему вы ушли, Евгений Семёнович? Я выходила на минутку к соседям, вернулась, а вас и след простыл. Почему?

Табашников начал извиняться. Оправдывался, пытался что-то объяснить:

– Был у моря, Маргарита Ивановна. Как говорится, на берегу пустынных волн. Стоял я. То есть он. Вспомнилось там многое. Ну и в кафе потом. Выпил. Как оказалось, лишнее. И зачем-то к вам попёрся. Простите меня, Маргарита Ивановна.

Кузичкина пропустила извинения, сразу засыпала вопросами: голова горячая? знобит? кашель? насморк начался? температуру мерили? Сейчас я приду, принесу лекарства, никуда не выходите, укутайтесь одеялом и ждите.

Сюжет повернулся на 360 градусов: если несколько дней назад мужчина лечил женщину, то теперь женщина будет лечить мужчину. И ничего её не остановит. Вот так.

– Да нормально всё, Маргарита Ивановна! Я здоров. Не волнуйтесь. Не надо ничего.

– Нет-нет-нет! И не говорите ничего! Я сейчас буду!

И отключилась.

Да чёрт тебя! – уже злился Табашников. Вот ведь. Только бы повод найти! «И что теперь делать с тобой?» – спросил поверх многих-многих домов у настырной бабы.

Торопливо начал прибираться в доме. Хотя всё было на своих местах. Нигде ничего не

разбросано. Но прошёлся веником и тряпкой. За окнами уже начало темнеть. Хотел задёрнуть шторы. Но оставил как есть. Чтобы видела, куда стучать.

Из холодильника достал всё, что готовил вчера. Не густо, но ладно. Поставил разогреть. Включил чайник. Кинулся, сдёрнул с телевизора агеевский разгилядский фартук. Последний штрих художника на картине.

Сел и стал ждать. Прислушивался к себе.

Постучали в окно комнаты. Уже? Накинул пальто, побежал открывать калитку.

– Да вы же опять горите! – воскликнула Кузичкина, едва раздевшись. Тронула рукой его лоб:
– Да вы же кипяток!

Уже рылась в сумке, искала градусник.

Табашников потрогал свой лоб. И правда очень горячий. Хотел сказать, что с похмелья это у него. Но уже сидел с градусником под мышкой. Отражение своё видел в зеркале прихожей. Прикидывал, как лучше бы смотрелось, вот так – градусник под мышкой, или – сидеть с градусником изо рта? Пожалуй, с градусником изо рта было бы красивше.

Пока сидел, принялась хозяйничать в его кухне. Агеевский фартук даже нацепила. Смотрите на неё – полная хозяйка. Не рано ли?

Выдернула градусник. Опять ахнула – 38 и 5! А что ночью будет, Евгений Семёнович? Смотрела на него во все глаза. Как на начинающего моржа-дурака. Который без подготовки залез по горло в зимнее море.

– Может быть, мне опять дёрнуть? Как у вас? Маргарита Ивановна? У меня – есть. А?

Шутку не оценили:

– Ни в коем случае, Евгений Семенович.

И началось лечение. Лечение по Кузичкиной.

Маргарита Ивановна притащила всю свою аптеку, оставшуюся от недавней болезни, когда она заразилась от Лямкина. Все таблетки, настойки и капли в пузырьках. Горчичники. Банки медицинские. И даже кучу шприцев с ампулами. Неужели будет ставить? В жопу? В голую?

Решительно выдвинул руку:

– Нет, Маргарита Ивановна. Я привык сам. У меня свои методы. Пожалуйста, ничего не нужно.

Началась перепалка. В конце концов, простуженный согласился на аспирин и капли в нос. И то – если потечёт. И то, если температура поднимется ещё выше. А так – пусть организм сам борется.

Кузичкина решила отступить, выждать. Через час-другой не то запоёт. Когда начнёт кашлять и чихать. И температура наверняка подскочит. А сейчас нужно его как следует покормить. И только калорийным, жирным. Как раз свиные котлеты принесла и большой кусок торта. Однако и тут не дал развернуться, оттеснил от плиты. У него, видите ли, всё приготовлено и уже разогрето. Доверил только накладывать в тарелки и подавать на стол. Ладно, хотя бы это отвоевала.

– Как вы прекрасно готовите, Евгений Семёнович, – подпускала леща за столом.

Однако сегодня Табака почему-то трудно было купить лещью:

– Да обыкновенно. Что особенного в картошке с мясом, любой приготовит.

– Не скажите, Евгений Семёнович. Многие мужчины не умеют даже картофелину ножом очистить.

– Я жил один, – сказал Табашников. – Не мудрено научиться.

Разговор пошёл опять как-то не так, не в ту сторону. Кузичкиной хотелось выведать, о чём вспоминал мужичка на берегу моря. Хотелось расшифровать его короткую обмолвку, которая вылетела у него – «многое мне там вспомнилось». Зашла со стороны:

– А как вы оказались на берегу, Евгений Семёнович? Свидание кому-то там назначили?

И опять не тот тон. Игривенький, пошлый.

Табашников наморщился:

– Просто у воды, у моря лучше думается. Много видится за горизонтом. И хорошее, и плохое. Какое свидание? Нужно было просто побыть с самим собой. Вне дома. Советую ходить иногда к морю. Одному. Одной.

Кузичкина слушала разговарившего молчуна, опустив голову. Чувствовала себя виноватой. Смутно ощущала, что есть у мужиков уголки в душе, в которые лучше не лезть.

После ужина хотел пойти покурить. Во двор.

– Вы с ума сошли! – сделали страшные глаза.

Пришлось сглотнуть слюну и смириться.

Смотрели телевизор. Посуда была брошена горой в раковине. Забыта кое-кем. Табашников не решался к ней двинуться. Терпел. Как будто не видел. Однако и другая забота уже висела рядом. Вроде катаракты. Как быть с Кузичкиной? На улице давно темно, девять часов. А она никуда не торопится. Конечно, помогла. Конечно, спасибо. Но нужно же и меру знать.

– Смотрите, смотрите, Евгений Семёнович! – затыкала пальчиком. – Моя любимая артистка. Гандболдина! Она ужасно смешная в этом сериале.

Артистка Гандболдина ещё и рта не успела открыть, а Маргарита Ивановна уже смеялась. Как бы авансом артистке. Поворачивалась к Табашникову.

Табак не смеялся. По-прежнему был озабочен. Грязной посудой, брошенной в мойке, и Кузичкиной.

А, где наша не пропадала!

– Маргарита Ивановна, оставайтесь ночевать! Куда вы сейчас пойдёте? В такую темень?

– Вы думаете? – Кузичкина разом забыла Гандболдину. Лицо уже выражало глубокое раздумье. Женщина колеблется. Взвешивает все за и против. Ведь это так серьёзно. Остаться ночевать у мужчины. К тому же неженатого.

– ...В комнате диван. Я в спальне. Закрою даже дверь. Оставайтесь. А?

Женщина изо всех сил тянула паузу. Она по-прежнему в раздумье. Хотя в душе уже давно обрадовалась.

– Пожалуй, – сказала наконец. – Вам нельзя на улицу. Не сможете проводить.

– Ну вот и отлично.

Теперь сам больной принялся хлопотать. Доставал из кладовки чистые простыни, теплое одеяло, пододеяльник, большую подушку, наволочку. Ловко управлялся с постелью. Мгновенно на подушку надел наволочку. Две простыни фуганул по дивану.

Кузичкина стояла без дела. Как бы училась.

– Ну-ка держите за концы.

Маргарита ухватилась за пододеяльник. За два конца. Вдвоём начали встряхивать одеяло в пододеяльнике. Расправлять. Прямо муж и жена. Вместе любовно готовят брачное ложе. Застелили.

– Вот. Порядок. – Муж взбодрил ещё и подушку.

Смотрели на подготовленную постель. Теперь – как два случайных человека. Столкнувшихся у дивана. Мужчина и женщина. Испытывали неудобство. Получалось, что хозяин хочет гостью уторкать спать. Раньше времени. Всего-то десятый час.

– А давайте ещё чайку, Маргарита Ивановна! – нашёлся Табашников.

Легли в половине одиннадцатого. Перед этим при враче простуженный смерил температуру. Всё те же 38 и 5. Аспирин пока не потребуется. У себя в спальне на тумбочке вместе со стаканом воды приготовил его. Если ночью будет жар – всё прямо под рукой. Так что всё нормально, Маргарита Ивановна.

В темноте Кузичкина долго говорила. Рассказывала о своей жизни. О деревушке на Алтае, где родилась и росла. О родителях. Простых крестьянах. О том, как уехала после десятого в Новосибирск и бывала потом в родном доме только наездами.

Слушая быстрый голосок женщины из комнаты, засыпающему Табашникову виделись бегущие, размахивающие ручонками ребятишки. Бегущие в речку купаться.

– Вы не спите, Евгений Семёнович? – иногда прерывала бег ребятишек серьёзная воспитательница. Из пионерлагеря, к примеру. Или из детского сада.

– Не сплю-ущ, – скашивалась у бедняги нижняя губа.

Наконец, на очередной вопрос женщины – не ответил. Из спальни поползла тишина.

Ну, слава богу, уснул. И не кашляет пока, и не чихает. Да и температура сносная. Кузичкина сразу повернулась на бочок, ручки лодочкой подложила под щеку, почмокала как ребёнок и закрыла глаза.

Среди ночи как толкнули – проснулась. Вздёрнулась на локоть – в тёмной спальне работал трактор. Лез в гору и съезжал назад, вниз. Снова круто в гору и опять вниз.

Вот так больной. И как с таким жить?

2.

В восемь утра быстро шла домой, чтобы успеть помыться перед работой. Всё не могла прийти в себя после бессонной ночи. От патологического (сокрушительного) храпа любимого. И ведь ровно в семь утра храп оборвал. Как по команде. Разом. «Маргарита Ивановна, вы проснулись? Доброе утро!» «Доброе», называется. Всю ночь из-за тебя не спала. Конечно, давно была одета и даже не упрекнула за такую ночь. «Доброе утро, Евгений Семёнович. Смеряйте температуру и садитесь завтракать». Успела приготовить. До вездесущего хозяина. Яичница. Гренки. Чай. С остатками торта. Пока приводил себя в порядок в ванной, подала на стол. Тоже успела. Ничего не выхватывал из рук. Завтракали. Голова трещала, а больному хоть бы что. Огурец. В своей рыжей бабьей кофте на пуговицах. Температура с утра 37. Никакой простуды и в помине. Улыбается. Шутит. «Как спали, Маргарита Ивановна? Ничего не беспокоило?» Сказала бы пару ласковых, да ладно.

Отец тоже храпел. И тоже страшно. Уже школьницей спасалась всегда в другой комнате. Но жену свою в силу крестьянской традиции от себя не отпускал. Ни под каким предлогом. От храпа мужа худенькая женщина, казалось, вся тряслась. Будто лежала на полу рядом с работающей сенодробилкой. Но – спала. Спала! Приучил. Был бы папа жив, подселить бы его на ночь к Табашникову. На диван. И послушать, кто кого бы забил. Храпом. Одержал бы полную победу.

Однако хозяин почувствовал настроение женщины. Надулся, перестал шутить. Расстались опять недовольные друг другом. Прямо стенка какая-то постоянно выскакивает между ними и никак не обойти её. Чтобы схватиться потом за руки и бежать. По-детски подпрыгивая. К новой, лучезарной жизни. Впрочем, услышь от неё такую графоманию – сплюнул бы наш писатель: тьфу, Маргарита Ивановна! Вообще всё было зря. Вся эта ночёвка. Всё это лечение в кавычках. Ни черта не простужен был Табашников. Просто продрог и напился. Всё у него было от похмеля. Этот пылающий кувшин его, подожжённый спиртом. Грешники-глазки, выглядывающие над кувшином. Всё – инсценировка. Прикинулся. Как он умеет. И чувствуешь себя обманутой. Опять вокруг пальца обвёл.

Как всегда по утрам, напор был плохой. Лейка на потолке фырчала, еле сочилась или вдруг начинала брызгаться ледяной водой. Тогда отворачивалась и махалась руками. Отбивалась от неуправляемой хлесталки. С грехом пополам удалось смыть мыло. Прогрогнув, быстро вытиралась махровым полотенцем. У Табака отказалась от душа. В его душевой кабине. На которую он ехидно так показал рукой. Дескать, не желаете ли помыться, мадам. Разгуливала бы потом с тюрбаном на голове и в каком-нибудь задрипанном его халате. Всё по-семейному, ребята. Любящие ноздри за столом и носик-пипкой-губки-бантиком. С тюрбаном. Картинка! Устояла. Бог отвёл.

Шла в библиотеку. Всё думала о Табашникове. С какой-то злостью уже. Сколько канитель ни тянется, а ни на сантиметр не приблизилась. Ни с трезвым не получается, ни с пьяным. Ни с большим, ни со здоровым. Упорно скрывает прошлое своё. Как баба в деревенский свой сундук прячет. (А может, в городской? Неизвестный ведь товарищ. Как труп, неопознанный никем. Даже Агеевым.) Такой рисковать не будет. Не-ет. Прямой дорогой не пойдёт. Он её окольно будет обходить. На свою же дурацкую голову. Мол, опять вывернулся! Не дался! И хихикает, ручки трёт, как только из дому от него выйду. Сам себя обхитрил. Дурак.

Возле крыльца уже ходил пенсионер Лямкин. Злостный читатель. С детективами в давнишней сетке-авоське. Как будто советского своего дефицита в гастрономе ухватил. «Доброе утро, Иван Николаевич». Пробурчал что-то недовольно. Мол, опаздываешь. «Сейчас открою». Возилась с сигнализацией. Вот ещё наказание. На кой чёрт поставили нам! Кто сейчас будет воровать книги? Лямкин? «Проходите, Иван Николаевич». Ворвался в библиотеку как кот после ночи на улице. И сразу к жратве. Уже роется на стеллаже с детективами. Как всё в том же своём советском дефиците. Чтобы поскорей набить им авоську. Один такой читатель остался. На весь город. Остальные десятка два – так. Будто по ошибке в библиотеку забредают. С раскрытыми ртами. Почему до сих пор нас не закрыли – загадка. Как говорится, современной России. Снимала плащ, сапоги. Шишки на ногах уже болят. День не начался. Где опять мягкие тапки? Куда затупорила? Как говаривала покойная мама. Конечно, там, где и не подумаешь никогда – под стеллажом. Корячилась, доставала. С разутыми ногами в колготках. Под изумлённым взглядом пенсионера. О деликатности и не слышал дядя. Шишки дядя увидел. Обтянутые колготками. Небывалую красоту. Скрыла, наконец, всё. Вделась в тапки. И рот пенсионер закрыл. Что называется, приходя в себя. Теперь бабке своей расскажет. Выпучит глаза – ужас, Машка! «Ну, выбрали?» Слишком грубо, наверное, спросила. «Выбрал, выбрал, Маргарита Ивановна!» Небывалое дело – в первый раз по имени-отчеству. Сильно зауважал после увиденного. «Не задерживайте журналы». «Не задержу, не задержу, Маргарита Ивановна». Расписывался. За каждый. И пошёл с набитой авоськой на выход. Опять как из гастронома. И оборачивался, спотыкался. Того и гляди, башкой дверь откроет. И смешно, и горько было.

Ни Колодкиной, ни Гордеевой. Как всегда. Хотя половина одиннадцатого. Распустила совсем. Ох, распустила. Вьют верёвки. Наконец, – Колодкина. Вытирает обувь о половик. Женщина-боченок. Обтянутый светлым плащиком. «Извини, Рита, здравствуй, опять из-за 12-го (автобуса). В садик даже с Лёшкой опоздали». (Лёшка – это малец пяти лет. Который однажды обнял «тётю Риту» и сказал: «Тётя Рита, я скоро на тебе женюсь. У тебя красивые ножки. Ни у кого таких нет!» Мол, будь готова – маленький лопухий жених перед тобой. И тот туда же. Смеялись все, укатывались. Хотя невесте лучше было бы заплакать.)

Не дожидаясь Гордееву, вдвоём сели за осточертевшие ящички каталога. Хотелось выговориться подруге. Освободить душу. Рассказала о ночёвке у Табака. Галина Колодкина сразу серьёзно отозвалась: «Рита, жизнь не каждый день разносит пряники. Не теряйся. У него дом, усадьба, огород. Да и сам здоров пока. Немного мешком пуганый. Так исправишь. И храп уберёшь. (Как?!) Чего тебе одной куковать со своего балкона?» Действительно, чего одной-то? Уж лучше куковать вдвоём. Смеялась. Скрывала досаду на себя. «Робкая ты, Рита, – смотрела на подругу Галина. – Общительная, а робкая. Разве так действуют с мужиком? Да ещё с пуганым? Раз – и в койку его. Кверху пузом. Два – и уже верхом на нём. Вот как надо, Рита!».

Смеялись. Смотрели друг на дружку, хохотали как сумасшедшие. Как будто только что проделали всё то, о чём сказала Колодкина. И не с одним, а с целыми двумя пугаными мужичонками. Хах-хах-хах!

3.

– Сифилисом, гонореей болели?

Врач с голым безбровым лицом писала, не поднимала глаз.

Табашников передёрнулся:

– Нет, Бог миловал. Трудно в моём возрасте. Подцепить. – Слова начали застревать: – Надо очень постараться. Если только на дискотеку. К примеру. Или ещё куда-нибудь.

– Встаньте, – последовал приказ. – Растегните брюки.

Рука в резиновой перчатке нырнула за трусы. Больно прощупала яйца. Потом надолго задержалась. Исследовала.

Напряжённые глаза врачихи выражали крайнюю озабоченность. Явно думали обо всех несостоявшихся случаях мужичонки. Обо всех его погибших спермачах. Табашникову хотелось передёрнуть ногами. Зажаться. Как мальчишке.

– Одевайтесь. Дальше пойдёте в 3-й кабинет. Сдадите кровь на спид.

В коридоре стоял в очереди потенциальных сифилитиков. Приходил в себя после испытанного унижения.

В первый медосмотр в феврале никто не лазил в трусы. Нормальная была врач. Видела, кто сидит перед ней. Пенсионер, серьёзный, солидный. Ни о каких сифилисах даже не спрашивала. А – эта! Садистка в белом халате! Инквизитор! Такое насилие над мужчиной!

В процедурной над его засученной рукой сопело молодое лицо. В защитной маске, в белом колпаке.

– Поработайте ещё кулачком. Плохие вены.

Поработал. Всё равно не туда. Уже в третий раз. От боли только вздрагивал.

Из процедурной, зажимая ватку, вышел с красноречивым жестом руки: клал я на всё ваше заведение!

– Куда пошли! – высунулся белый колпак. – А пиджак?

Вернулся, выхватил у инквизиторши (молодой) свой пиджак.

Сидел, покачивался на диванчике. По-прежнему с согнутой рукой. Теперь словно демонстрировал всем торчащее своё униженное достоинство. Чёрт бы вас всех побрал!

Дальше нужно было в тубдиспансер, там пройти рентген и сдать харчки на туберкулёз. Тоже во второй раз. Срок, видите ли, полугодовой истёк. Кугель-стерва вновь погнала по кругу. И везде, главное, надо мигранту платить. И немало. Да сколько же можно! Чем и как пробить этот железобетон вокруг? С перфоратором приходить? Со стахановским отбойным? Ответа не было.

На каком-то углу остановился. Не мог вспомнить, где находится тубдиспансер. Не мог, и всё. Выдавил из памяти. По Фрейду.

Набрал Агеева:

– Слушай, Геннадий, где диспансер?

– Какой диспансер?

– Ну где харчки и рентген?

– Сейчас.

Старик пошёл узнавать. Вглубь квартиры. Видимо, у Маши. Тоже ни черта не помнит.

Вернулся:

– На Котовского. Дом 4. А зачем тебе? Заболел опять?

Табак не находил слов. Совсем отупел старикан или просто прикидывается.

– Ладно, потом, спасибо.

– ...Да не бойтесь! Ближе, ближе к экрану! Прижмитесь грудью. Вот так. Подбородок – на подбородник.

Нажала какую-то кнопку – подбородок круто полез вверх. Натурально на дыбу подвесила.

– Стоять! Не шевелиться!

Скрылась куда-то. Как из гулкой утробы грянуло в громкоговорителя:

– Внимание! Глубоко вдохнуть – и не дышать!

Зашумела вся бандура. Натурально чувствовал облучение. В грудь словно полезли сражающиеся войска.

– Дышите.

Будто монтерские ледяные перчатки заползали по спине. Освободила наконец, сняла с дыбы.

– Теперь правую руку за голову. Круче, круче! Как будто пасуете назад баскетбол. Пасуйте, пасуйте! – Баскетболистка сама круто завернула руку баскетболисту, зафиксировала пас: – Вот так. Держите. Молодец!

Снова зашумела вся бандура и забесновались в груди войска. И всё оборвалось.

– Одевайтесь и ждите в вестибюле.

Баскетболистка, видимо, всю жизнь играла на распасовке – была не дылда, а среднего роста. Её сразу окружили. Она называла фамилии и отдавала заключения со словами «у вас всё в порядке».

Табашникова отвела в сторону:

– Почему вы скрыли, что болели плевритом?

– Я ничего не скрывал. У меня никто не спрашивал.

Рентгенолог рассматривала копию первого заключения, выданного пациенту полгода назад.

– Так. Гульдина постаралась, замазала всё. Ладно. Это наше. Когда у вас был плеврит?

Табашников сказал.

– У вас до сих пор не закрылась плевра справа. Почему вы курите?

Табак специально не курил перед рентгеном. Целых два часа. И то обнаружила. Начал что-то говорить. Больше всего боясь, что она теперь тормознёт со справкой. А там покатится всё назад как снежный ком. До самого Казахстана. А, доктор?

– Да вы не за ырывыпы свои бойтесь, не за ырывыпы, а за своё здоровье! Ведь всё может вернуться. При простуде. При гриппе. А вы всё продолжаете смолить. Голову-то включите, наконец. А? Ведь не мальчик.

На Табашникова смотрели сострадательные глаза. Глаза настоящего врача.

У Табака перехватило горло:

– Доктор, я... я...

Рентгенолог сказала, что справку «смягчит». Как и Гульдина. Чтобы не прицепились в комиссии. Но долго ещё наставляла неразумного, который бормотал только: «спасибо, доктор, спасибо». Благо голос её в гулком вестибюле отдавался один. Проходящие комиссию поварахи, учительницы и студенты все уже убежали.

Кто я ей? – всё терзал себе душу Табашников. – Жалкий пенсионерик. С жалкой баночкой-контейнером огибающий сейчас здание. Чтобы сдать в лабораторию жалкие свои харчки.

Все анализы и заключения ждал десять дней. Получил, наконец, в регистратуре кожно-венерологического. Из тубдиспансера тоже туда всё переслали. На заключении рентгенолога была чётко поставлена печать, в которой ясно читалось – «Врач-рентгенолог высшей категории Пономарёва В. Г.» И ниже – размашистая роспись.

Золотой ты врач, Пономарёва В. Г. Прямо хочется аккуратно свернуть твою справку и положить в какую-нибудь заветную шкатулку. И хранить её вечно.

Шёл. И опять пробивало, что называется, клеммы. И в носу, и глазах. Совсем испортил нервы. Плаксив стал, как баба.

4.

В ФМС напротив 9-го кабинета в глубоком раздумье сидел белоголовый опрятный старичок лет семидесяти пяти. Скошенный подбородок задумчивого был вроде чашки, поднесённой к выпяченной губе.

– Вы давно тут сидите?

– Три месяца, – поднял глаза старик.

– Вы не поняли – сегодня, сегодня – давно? – громче спросил Табашников, подумав, что глухой.

– А, сегодня. – С чашечкой у губы посмотрел на запястье: – Да больше часа. А так – три месяца. И ещё два дня. На этом диванчике.

Табашников сел рядом. У него стаж «на этом диванчике» был гораздо больше. Целых семь месяцев.

Появилась Кугель. Как всегда, с папками. Открыла ключом дверь. Покосилась: «Зайдите, Парфентьев».

Парфентьев вскочил, но очень деликатно пошагал за женщиной в полицейской синей куртке с погонами. Пошагал с новой надеждой.

Минут десять за дверью бубнили.

Из кабинета Парфентьев выскочил неузнаваемым – разгневанным, растопыренным пауком с раскалёнными щеками! Тонко выкрикивал:

– Я покажу тебе, стерва! Я Путину буду писать! В Госдуму! В ваше поганое министерство!

Кугель захлопнула дверь. Парфентьев полез на дверь, замолотил кулачками:

– Я найду на тебя управу! Слышишь! Ты у меня попляшешь!

Табашников бросился, подхватил падающего старичка. Хотел оттащить от двери, отвести, посадить на диван. Но тот на удивление – зло вырвался. Как будто и Табашников был виноват. Пошёл по коридору. Но также растопыривался, чтобы не упасть, и всё выкрикивал:

– Я покажу вам всем, мать-перемать!

И ни одна дверь не раскрылась в коридоре, ни одна морда не высунулась.

Табашников бросился за стариком.

Под седой сосной, на скамейке, старик плакал, морщился. Нижняя губа его ещё больше оттопыривалась, дрожала. Табашников как мог утешал, заглядывал к отворачивающемуся лицу, пытался расспрашивать.

Успокоившись немного, старик коротко вдыхал, как мальчишка, рассказывал. Он приехал жить к родному брату 83-х лет, у которого здесь свой дом. Брат сильно болеет сейчас и скоро, наверное, умрёт. В Казахстане (земляк!) Павел Петрович год назад похоронил жену, в этом году продал свою квартиру и приехал поддержать умирающего брата, быть рядом, ухаживать за ним. А документы на РВП стерва никак не принимает. Говорит, что не подтверждено родство с братом. Мало ли, что в паспорте написано! Нужны свидетельства о рождении. Обоих. И брата и его. Где бы были у них одни родители. А свидетельств этих никак не могут в Казахстане найти. Посылал уже два запроса. И вот теперь его завтра или послезавтра выкинут из России, и он бросит брата одного умирать.

– Но почему? Что вы такого сделали здесь?

– Я просрочил «90 дней». Знаете, что это такое?

Ещё бы Табашникову не знать! Сам один раз чуть не попался. Летал через границу и обратно.

– А я забыл про чёртовы «90 дней»! Кончились они у меня. Два дня назад. Теперь – пинком под зад. До самого Кокчетава. Откуда прибыл сюда.

Табашников лихорадочно соображал.

– Вот что, Павел Петрович. Путину мы писать не будем. А мы съездим с вами в штаб одной известной партии. – Назвал партию. – Как говорит мой друг, очень влиятельной в этом регионе.

– Думаете, помогут там?

– Попробуем. Я знаю адрес. Поехали.

Заспешили к остановке. Оба в одинаковых запоясанных плащиках. Только один в шляпке, а другой без головного убора, белый как снежок.

У снежка затиликал телефон. Выдернул из плащика:

– Да, Лёша. Не волнуйся, всё в порядке. Буду через час, полтора. Поешь пока. И коринфар, коринфар не забудь принять! Всё стоит на табуретке. Рядом с тобой. Жди. Пока.

Ехали на 7-м автобусе. Табашников помнил и улицу, и здание, на котором увидел однажды логотип партии и большое панно, где запечатлён был сам многолетний бессменный лидер партии впереди понурых своих сотоварищей. Которые не надеялись уже ни на что. В смысле – занять его место. Впрочем, молодые да ранние в последнем ряду стояли гордо – они чёткий фон своего лидера.

Председатель местного отделения партии по фамилии Крымов был могуч и броваст как янычар. Сидел под портретом бессменного лидера, рукоположенный им. Очень серьёзно слушал.

Волнуясь, заново переживая всё, говорил Парфентьев. Табашников только вставлял слово-другое.

– Так, – сказал председатель Крымов. Крикнул в приёмную: – Нина, позови всех.

Сразу явились молодые да ранние. Местные. Целых четверо.

Крымов сам обрисовал ситуацию, в какую попал... э-э... Павел Петрович. Мигрант из Казахстана.

– Как, ребята, сможем помочь?

Молодые-ранние сразу устроили мозговой шторм, заспорили. Совсем забыв о просителях. Однако быстро пришли к единому: нужно срочно подключить *Георгия Ивановича* и осветить потом его помощь во всех газетах города. Только так! Это будет очень полезно для партии. И для *Георгия Ивановича*.

– Молодцы! – одобрил Крымов. – Правильно мыслите. Действуйте.

Молодые исчезли.

Крымов пояснил просителям. Как бы по секрету:

– Георгий Иванович – депутат Государственной думы от нашего региона. На ваше счастье он сейчас здесь, в городе. Отдыхает у себя на даче. Думаю, что он нам поможет. Побудьте пока в приёмной.

В приёмной сидели неподалёку от скучающей секретарши Нины. Которая изредка, как кошка лапой, принималась оглаживать своё лицо перед зеркальцем. И вновь застывала.

Время тянулось медленно. Но говорить не решались. Что делал Крымов за открытой дверью – неизвестно. Спал? Или, может быть, думал?

Наконец депутата привезли. В кабинет Крымова молодые провели мужчину как будто со сна или из вытрезвителя – в затрапезном старом плаще, казалось, прямо на майку, с непокрытой головой.

Скрылись все в кабинете и закрыли дверь. Видимо, провести небольшое совещание. Разработать стратегию. Нина спешно тасовала бумаги на столе. Чтобы быть готовой к любому форс-мажору.

Все вновь появились в приёмной. Теперь направляли затрапезного на выход. Радостный Крымов помахал просителям: «Пошли-пошли-пошли!»

К ФМС подкатили на двух авто. Стали прямо напротив окон.

Депутат пошёл словно бы с большой охраной. Прямо к начальнику ФМС. Табашников и Парфентьев сустились, не могли ни с какой стороны воткнуться. Вроде бы и не нужны были вовсе.

Сидели на диванчике возле сейфовой двери, пытались что-нибудь услышать за ней. Молодые не сидели, не могли – рыскали.

Видимо, после звонка начальника с папкой к кабинету простучала каблучками Кугель. Успела зло глянуть на двух дружков. И те разом застыли. Как нездешние.

Минут через пять выглянул Крымов:

– Зайдите, Павел Петрович.

Теперь Табашников один вслушивался. Будто пёс, брал всё то на левое ухо, то на правое.

Наконец дверь широко распахнулась. И все вышли в коридор. И депутат Георгий Иванович, и Крымов, и белянский Парфентьев, и даже сам начальник ФМС. (Кугель не посмела высунуться, провалилась где-то в кабинете.)

В затрапезном тряс Парфентьеву руку, желал всего доброго. Все широко улыбались. От души.

Только вышли из здания, группу начали снимать три фотографа. Группа сразу сорганизовалась, депутат взял ручку преданного старичка в свою большую ладонь и повернул серьёзную голову к фотоаппаратам: он всегда готов помочь людям. Даже мигрантам.

Почему-то не хотелось рассказывать Агееву о случае в ФМС. Особенно о том, как после всего надрался в доме у брата Парфентьева. Как плакали они оба и обнимали восьмидесятирёхлетнего старика в коляске. Прибранного по случаю гостя, но уже и пугающегося таких откровенных чувств брата и его нового товарища. «Легче, легче ребята. Раздавите, ульёте слезами».

Через неделю Агеев сам спросил:

– Ты что, в ЛДПР вступил?

– С чего ты взял?

– На, полюбуйся. Андрей газету вчера принёс. Ты – в монолитном ряду партии.

На газетном сером снимке Табашников себя не узнал. Он получился каким-то задвинутым. Тянул голову из заднего ряда группы. С ноздрями как-то впереди лица. Словно стремился, чтобы все увидели его ноздри.

– Ты ошибся, Гена. Просто случайно помог хорошему человеку.

Рассказал, как всё было.

Агеев долго молчал, забывчиво помешивая чай.

– Да-а. Не случись ты рядом со стариком, не случись этот депутат с перепоя – старика наверняка бы уже депортировали. И оставил бы он брата умирать одного. И никакие мольбы не подействовали бы на сволочей. Представь эту картину, как его вытаскивают из дома брата и тащат к машине, чтобы везти на самолёт. Представь это всё, услышь его крики. Волосы дыбом!..

Опять молчал.

– В сволочное время мы живём, Евгений. В сволочное.

Глава седьмая

I.

Шли по Пушкина. По частному сектору. Два неутомимых городских путешественника. Агеев спотыкался на тротуаре, но твердил своё: «Для него похвала окружающих, Жень, – что удар бича для дурного коня. И взъярился весь, и на дыбы встал! И поскакал вместе с дуростью своей по буграм и ямам». Речь, конечно, о дорогом Валерии. О никак незабываемом Валерии. Засевшем в глупой башке старика – намертво. Как-то бы вытащить надо несчастного из его головы. И отпустить на все стороны. Чтоб убежал от злыдня тестя и не оглядывался.

Дал для начала затравку:

– Знаешь, Гена, здесь тоже бедные люди живут.

Агеев, сам как дурной конь, разом стал – ничего не понял: к чему это?

– Да, Гена. И немало их тут. Посмотри на тротуары, по которым мы сейчас идём. На тротуары вдоль домов. У куркуля и дом богатый, и тротуар вдоль дома плиточный, с красивыми узорами. А если бедняк – щёбенка у тебя под ногами. Вот как сейчас ты её месишь. И дом одно только название.

– Да просто лентяй здесь живёт. Накидал щёбенку и успокоился. Или там битого кирпича вон бросил. Лентяй. Пофиг ему всё. Хоть и богатый.

– Не скажи. Богатый всегда своё богатство выставит. И дом свой богатый, и тротуар перед ним. А тем, кто перебивается с кулья в рогожку – не до тротуаров. Им бы вон крышу залатать да сплит-систему завальную поставить. Чтобы летом от жары не сдохнуть. Так что смотри на

тротуары, Гена. Не ошибёшься. Ногами определишь, кто в теремочках живёт. Или грязь будешь месить, скакать с кирпича на кирпич, или плыть как по маслу по плиточному тротуару.

Валерий был забыт. Агеев скакал с кирпича на кирпич, осмысливал новую тему.

Показался дом. Как раз бедняцкий. С расхристанным деревенским забором. На лавке у ворот сидел алкаш тоскующий. В расстёгнутой грязной тужурке поглаживал горящую неопохмеленную душу.

Ни на что не надеясь, больше по традиции крикнул:

– Эй, пердуны! Киньте сотню на опохмел.

– Иди, работай, паразит! – огрызнулся Агеев. Табашников промолчал.

– Чего, чего ты сказал? Ну-ка стой!

Алкаш уже подходил:

– А ну повтори.

Агеев весело смотрел: мол, что, ударишь? Меня, старика?

Алкаш ударил прямо в глаз старику. Агеев повалился, опрокинулся на спину. Алкаш прыгнул, хотел добавить ногами, но от удара чем-то тяжёлым по башке ткнулся вперёд и разом распластался – морда в грязь, руки в стороны. И кол из забора – рядом. Орудие убийства.

На заднице Агеев испуганно отполз от недвижимого тела в грязной тужурке. Табашников подхватил, ещё оттащил. Поставил на ноги. Привдвинулся к лицу:

– Ты как? Голова не кружится?

– Нет, – ответил Агеев, не спуская глаз с алкаша. А тот не шевелился, уткнувшись в грязь.

– А? – повернулся к другу. Мол, что теперь.

– Быстро рвём отсюда! – приказал Табак.

Неуклюже побежали. Агеев без шляпки, слетела от удара, чёрт с ней, потерялась.

Через полквартала дёрнули через дорогу в какой-то переулок. Выглянули оттуда – алкаш по-прежнему лежал, не шевелился.

– Что же ты наделал! Там же твои отпечатки остались.

– Где?

– На колу, – совсем потерял ум Агеев.

– Не смейся!

– Точно. Дактилоскопия твоя здесь есть. В Краснодаре прошёл. Всё. Теперь мы попались.

Дурость заразительна – оба враз заблеяли. Опять куда-то побежали.

Опомнились, прибежали назад. Выглянули.

Труп лежал. Не шевелился. (А – должен?)

– Всё. Женья, суши сухари. И я с тобой. Я – вдохновитель.

В каком-то кафе спешно дергали возле стойки, чтобы прийти в себя. У Агеева – без шляпы – четко означился фонарь. Хорошая синюшная незабудка под левым глазом. Табак старался не замечать фонарь. Заговорить как-то его. Мысленно.

Через полчаса пробрались обратно. На наблюдательный пункт. Выглянули.

«Трупа» возле дома не было.

– Всё. Труповозка уже увезла. Мы пропали, – совсем обоср... Агеев.

– Да погоди ты! Смотри.

Калитка раскрылась, и какая-то бабёнка (жена? сестра?) вывела алкаша наружу. Алкаш был всё в той же тужурке, но с замотанной тряпкой головой. Бабёнка повела его, ругая матом, но и поддерживая, как бы любя. Повела, понятное дело, в больницу.

– Да милый ты наш! Живой! – смахнул мгновенную слезу Агеев.

Живучий, гад, смотрел Табашников. Наверняка в милицию потащил. Чтоб дал показания. И как теперь выручить шляпку сентиментального? Возле тротуара?

– Ты стой здесь, а я попробую шляпу твою забрать.

– Да я бы сам, наверное.

– Нет, тебе нельзя. Лысину твою все запомнили. А я не так приметен. (С ноздрями-то?)

Агеев наблюдал, как друг подхватил шляпку с земли и прошёл по тротуару дальше. Потом, будто совершенно другой человек, беззаботно шёл обратно. Опять мимо дома. Быстро нагнулся, схватил кол и швырнул через расхристанный забор. В огород алкаша. Уничтожил все улики! Ну, Женья – молоток!

Агеев встретил героя. Но с тревогой спросил:

– Ты когда успел кол выдернуть? Из забора? Прежде чем звездануть?

– Сам не знаю. Автоматом всё произошло. – Подал шляпку: – На. И больше не теряй. Придерживай, когда будут бить. Обими руками.

Шляпка была смятой, испорченной. Но больше всего смущал изгвазданный плащ Агеева. Серый, весь в обширных пятнах. Особенно на спине. По земле будто полдня возили романтика. Как мешок с картошкой.

– Нет, в таком виде домой тебе нельзя. Не поймут. Ещё добавят. Давай ко мне. Приведём тебя в божеский вид.

У Табашникова пытались чистить плащ. И щёткой, и влажной тряпкой. Без толку! Пятна ещё больше размазывались, становились заметней.

– Никуда не деться, Гена, – сказал Табак, – нужно стирать.

Затолкал в стиральную. Сыпанул порошок. Включил. Старая машинка заколотилась. Больная лихорадкой.

И, конечно, Мария Агеева означилась! В виде разгневанной мобилы, заползавшей по столу.

– Да, Маша. – Бодрый голос. Оптимизм. Фонарь под глазом.

Понятно, полетели тумачи: где тебя черти носят! кто с ребёнком будет! я что, одна должна!

– Всё в порядке, Маша. Не волнуйся. Я у Жени. Сейчас буду. Жди.

Время немного выиграл. ОтбилсЯ пока.

Однако с плащом ещё долго возились. Долго высушивали утюгом и отглаживали.

По дороге к Агееву Табак словно только что увидел синяк под глазом у друга. Остановился. И опять решил:

– Нельзя тебе таким домой. Давай в аптеку.

В аптеке объяснил, что нужно. Вот, для товарища. (Товарищ отворачивался. Прикрывался воротком плаща. Как шпион.) Пожилая провизорша оценила фонарь. Сказала, что ничем помочь не сможет. Для такого синяка нужен только тональный крем. Вам в парфюмерию. Вон, через дорогу.

Поспешили через дорогу. Там быстро нашли и купили красивый тубик. Так. Теперь куда? В сквер.

На скамейке, отвернув бедолагу от проходящих людей, Табашников замазывал синяк. Получилось неплохо. Но контрастно с левым, нормальным глазом.

– Как ты? Если и левый?

– Согласен.

Быстро замазал и левый. Подогнал по цвету.

Дома Агеев снял чистый отглаженный плащ. Снял шляпку.

– Что с тобой! – сразу воскликнула Мария. – На кого ты похож?

Муж смущался. С красными полукружьями под глазами походил на актёра без парика. На отыгравшего спектакль лысого трансвестита в гриме.

Пришлось рассказывать всё. Правда, опустить некоторые подробности.

От услышанного Мария Агеева так и села. Не верила, что есть на свете такие дураки. Один рыпается всегда, лезет, куда не надо. Другой сразу бьёт колом по голове.

– Да вас же могла забрать милиция. Как её? – полиция! Могли позвонить соседи. Да сам алкаш! Вы бы сидели сейчас в каталажке. Понимаете вы это? А завтра отправились бы в родной свой Казахстан. Оба!

– Да нет, Маша, – успокаивал муж. – Нас никто не видел. Мы всё сделали чисто.

– А? «Чисто» он сделал. «Никто его не видел». Да вы же могли убить! – Повернулась к Табашникову: – А ты, Женья? Колом. Живого человека.

Заплакала. В какой-то беспомощности уже.

Табашников не дышал. Смеющаяся Юлечка без помех барабанила в бубен разоблачённому убийце. А школьник Ваня здесь же, в столовой, про которого взрослые совершенно забыли, так и остался сидеть с раскрытым ртом. Вернее, ротиком. Рядом с брошенными тетрадками и учебниками.

2.

Во сне Табашников ехал куда-то на такси. Сидел на заднем сидении. За городом шофёр резко свернул с шоссе и полез в гору. «Зачем полез?» – спросил Табашников. – «Так короче», – передёрнул скорость на подъём шофёр. Капот машины задирался всё выше и выше. Такси лезло прямоком в небо. Табак раскинулся, вцепился в сидение, боясь перевернуться. Вылезли, наконец, на вершину. И сразу необъятная райская долина упала до горизонта. С речками, с озёрами, с полями. С распрясанными крестьянчиками, взмахивающими косами. С ядрёными бабами, вяжущими снопы. Табашников закрыл глаза, не веря в это чудо, в этот рай на земле. А когда открыл – шофёра в кабине не было. И машина работала, круто сползала. В райскую долину. Без шофёра! С пустым рулём! Случайно глянул влево – шофёр отливал возле чьего-то сарая. «Шофёр, помоги! – закричал в открытое окно. – Останови машину!» – «Не бойся, – ответил шофёр, стряхивая с конца. – Она у меня прирученная. Как собака. Сама остановится». Но машина продолжала двигаться, сползать круто вниз. «Останови, гад!» – заорал Табашников и проснулся.

Утром, едва поев, пошёл на Пушкина. Вернее сказать – покрался. Как убийца на место преступления. Непреодолимо потянуло, граждане судьи, ну просто сил не было.

Алкаш опять лежал! Только теперь прямо возле скамейки. В грязной тужурке своей. Свернувшись. Опять убит? Но – кем?

Табашников приблизился, склонился. Перебинтованная башка с захватом подбородка, как у белого лётчика, чёрный рот раскрыт, похрапывает. И подтоплен уже лётчик. Своей мочой. Лежит в тепле. Пока.

– Ты чего это тут к моему мужику липнешь? А? Ну-ка, кто ты такой!

Бабёнка. Вчерашняя. В великой мужской телогрейке с подвёрнутыми рукавами. Волосёнки стесались набок.

– Да так просто. Поднять хотел. Обмочился человек. На холодной земле. Простудится.

Женщина сбавила обороты:

– Ничего. Он привык. Как пёс.

Табашников медлил, не уходил:

– А что он весь забинтованный?

– Бандиты вчера напали. Двое. Прямо возле дома. Дали сзади по голове, он и брякнулся. И пятихатку сразу из тужурки вытянули. Которую я на мясо утром давала. Вон, Матвеевна через дорогу всё видела.

Табашников посмотрел через дорогу, где из покосившегося домишки всё увидела вчера Матвеевна.

– Так в милицию вам надо, наверное. Вместе с Матвеевной.

– Да где там! Ищи ветра в поле. Дали дёру так, что только дым пошёл. Матвеевна рассказала. Где их теперь искать? Я-то в доме была, не видела.

– Ну-ну. Матвеевна, значит, – уходил Табашников. – Понятно. Пятисотку?

– Ага, пятисотку, пятисотку, – подтвердила бабёнка. Ограбленный под скамейкой тоже промывчал, что... пятихатку.

Смех душил, лез из желудка. До кашля, до выворота кишок. Истерика. Натуральная истерика:
– Да мать вашу всех за ногу! Вместе с Матвеевными и пятихатками!

Вытирался платком, приходил в себя. После истерики шёл как в вечернем померкшем свете. Душу снова начало скрести. Как и вчера, когда пришёл от Агеевых. Всё корил себя, что ударил несчастного по голове. Ну пнул бы он Агеева раз-другой – так тут же бы и уделал его. Без всякого кола. Откуда кол в руках взялся? Загадка. Права Мария – стал здесь опасен. Недавно выкинул из такси выпендривающегося пассажира и сел на его место – поехали! Шофёр вцепился в руль, молчал всю дорогу: опасный мужик рядом. Из дурдома.

Геннадий уже ждал на углу. На углу Пушкина и Свердлова. Подозрительно смотрел на приближающегося друга. На его лицо в красных пятнах, на красные глаза:

– С похмелья, что ли?

Ничего не стал рассказывать. Ни про «бандитов», ни про Матвеевну с пятихатками. Перепугается только опять старикан. «Зачем попёрся туда опять?!» – завопит.

– Ладно, пошли.

Впереди здоровенный кубанец в полушубке прикурил сигарету. Затянулся. Пустая пачка, будто сама, упала на тротуар.

Агеев похлопал кубанца по плечу:

– Мусор бросил – не забудь хрюкнуть.

– Чиво-о? – растянул рот кубанец.

Агеев догнал друга. Тот уже оглядывался. Явно готовил себя к драке:

– Ты чего опять нарываешься? Тебе мало дали вчера?

Но Геннадий был доволен, гордился собой – одёрнул бескультурного:

– Будет знать теперь, как бросать мусор в общественных местах.

– Нет, бей тебя, не бей – неисправим. «В общественных местах». Спустишь на землю. Мечтатель.

3.

Показался угол центрального рынка. В виде угла крепости со стенами из зданий под старину. С густыми потоками захватчиков покупателей, оббегающих крепость с двух сторон.

Втаскиваясь с нетерпеливыми супостатами в тоннель центрального входа, Агеев наставлял:

– Говорить буду я. Ты – молчи. Спросят – ответь. – Предупреждение папы. Первоклашу.

Сидели в приёмной директора рынка. Каримова Айрата Ахметовича. Так было написано на табличке двери. Компьютер секретарши стоял на месте, на столе, самой секретарши не было.

– Ты, главное, не теряйся, – опять внушал Агеев. И тут же противоречил: – Говорить буду я. Ты больше молчи.

Появился мужчина с темным лицом и густыми волосами, зачёсанными почти от бровей. С блатными перстнями на обеих руках, но в чёрном респектабельном костюме.

Приостановился, посмотрел на вскочивших. Прошёл в кабинет. Дверь, впрочем, оставил открытой.

– Можно к вам, Айрат Ахметович? – сунулся Агеев. Дёрнул за собой Табака. – Здравствуй-те. Мы от Зиновьева Германа Ивановича. Он посоветовал обратиться к вам, Айрат Ахметович, насчёт работы. Вот для него.

– Проходите. Садитесь.

Пока посетители усаживались, Каримов ходил возле стола, о чём-то думал. Будто один в кабинете. Сел, наконец, за стол:

– Так вы тесть Германа Ивановича.

– Нет. Я отец Андрея Геннадьевича Агеева. Первого заместителя Германа Ивановича.

– Так, – смотрел не на отца, а на Табашникова директор. Как на глухонемого: – Паспорт у него есть?

– Есть, есть. Давай паспорт, – толкнул друга.

Табашников начал рыться по карманам.

– Вот, – выхватил паспорт Агеев и подал: – Чистый. (Что «чистый»? В смысле судимостей? Алиментов?)

Каримов начал листать. Из Казахстана явился работник. Казахский паспорт. Так. Регистрация есть, РВП добился. Явный пенсионер. Интересно.

– Какое у вас образование?

– Высшее, – разомкнул, наконец, губы Табашников. – Инженер-металлург.

Ну вот! Замечательно! К Иванову его:

– В гараж слесарем пойдёте?

– Нет, никогда не имел машины и не ездил.

Странный тип. С большими ноздрями. Не имел никогда машины. Куда же его всунуть? Всегда Герман пришлёт то аульного, то с высшим. С аульными проще, а этого куда? С законной регистрацией?

– Останётся только одно для вас – грузчиком. Подносить ящики продавцам. Работа тяжёлая. Не знаю, сможете ли.

Агеев хотел шепнуть: у тебя же радикулит, Женя! Но не успел – друг твёрдо сказал:

– Смогу. Я здоров.

– Ну что ж, – ещё раз посмотрел директор на Табашникова. – Пойдёмте.

Когда шли за Каримовым вглубь рынка, Агеев всё пытался втихую отговорить: «Женя, помнись!» Но Табашников вырывал руку и ею же махал: иди, иди. Гена, домой, мешаешь.

И ненужный Агеев отстал.

Гудков, которому Каримов представил и сдал нового работника, сразу быстро повёл того вдоль прилавков с овощами и фруктами.

– Как зовут? (Табашников сказал.) Тебе один процент.

– Чего один процент? – не понял Табак.

– С дневного навара.

Табашников осмысливал «процент и навар», всё торопился за тощим мужчиной в синем распахнутом халате.

А тот сквозил вдоль ряда как ветер:

– Паловна! Нового ишака вам веду. Вместо Гурнова. Смотри, справный какой! (Рука чувствительно хлопнула по загорбку, чуть не смахнув шляпку ишака.) Евгением зовут. Берегите его. Он вам нужен.

Загнал ишака за потайную дверь в деревянной стенке. Как оказалось – в свой закуток.

– Переодевайся. Вот тебе халат и перчатки. Нитяные.

В шляпке и великом халате Табашников снова выбежал за стремительным, подворачивая длинные рукава. Но тот его придержал: спокойно, спокойно, не бей копытом. Ещё за одной дверью показал хранилище, откуда нужно будет таскать товар.

В начале двух крытых овощных рядов, уходящих, казалось, до еле видного горизонта, громко спрашивал:

– Кто по специальности? Инженер-металлург? Молодец. Будешь курировать вот эти два ряда. Приступай. Паловна, принимай работника!

И началось. Бабёнки закричали из обеих рядов:

– Эй, новый! Иди сюда! Принеси два ящика яблок!..

– Эй, в шляпке! Мешок луку и мешок картошки!..

– Metallург! Куда пошёл, бестолковый? Сюда, сюда тащи!..

Табашников бегал в хранилище, таскал торговкам ящики и мешки.

Отбоксировав первый раунд, живой, шёл вдоль ряда с торговками, бойко навешивающих овощи покупателем. С острым ухом ждал команды. И дожидался:

– Эй, в шляпе! Ящик апельсинов и мешок свёклы!

И опять побежал.

Всё время путал женщин, выбегая из хранилища. Толстые кубанки в белых фартуках казались на одно лицо.

– Куда опять потащил? Куда?! Вернись!

Пожилая Павловна подзывала, по секрету советовала:

– Не бегай, милый, не бегай. Так быстро надорвёшься. Ходи в развалку. Обождут засранки.

Её только и запомнил в первый день.

Когда рынок в шесть часов, наконец, закрыли, сидел в закутке Гудкова – курил. Первый раз за полдня. Видел в раскрытую дверь, как сам Гудков ругался с торговками, собирая оброк.

Вошёл злой. Было сборщику за пятьдесят. С подсушенной уже, лысеющей головёнкой.

– Сквалыги. Знают ведь таксу, знают! Так нет – лаются за копейку!

Пробираясь к столику, мимоходом пожал руку – Иван.

Бросил деньги, сел, начал считать.

На старомодных счётах откинул костяшками итог:

– Семьдесят тысяч. Сколько будет один процент от них? Металлург?

Табак мгновенно сказал.

– Молодец. Знаешь высшую математику. Держи семьсот.

Табашников переодевался, лихорадочно подсчитывал. Двадцать одна тысяча в месяц! Чёрт поберёт-и. Никаких пенсий не надо. Золотое дно!

– Ты вот что, Евгений, – провожал Гудков. – Шляпку завтраними. Не позорься. Вот тебе платок. Будешь теперь воином-афганцем. Завтра – как штык. В полвосьмого.

Домой летел, как сам Иван Гудков – на крыльях. Никакой усталости. Подъём, эйфория.

В кухне жадно поедал всё, что приготовил Агеев.

– Вон, смотри, – показывал тот в телевизор. – Твой собрат – кот Арчи. Дегустатор со стажем. Так же набивается. Как и ты сейчас. Два собрата. Отощали.

Табашников смеялся, наворачивал:

– Гена! Семьсот рублей за полдня. Семьсот, Гена! Никаких пенсий не надо.

– Да ведь здоровье угробишь. Окончательно. Дурень. Для тебя ли это? Опять спину сорвёшь. Забыл, что с тобой недавно было?

Но Табашников не слышал друга, всё хвастался, какие деньги он теперь будет заколачивать. Золотое дно, Гена!

В следующие два дня подъём не убывал. Русским басмачом в платке Табак рыскал вдоль рядов. Мгновенно понимал торговку. Бежал, подносил им. Ташил, волок (мешки с картошкой).

Чтобы скостить путь от дальнего склада, нередко с ящиком бежал через шанхай с ширпотребом. Здесь маялись бездельницы возле своего товара, развешенного до неба. Не забывал подбодрить сидящих женщин: «Привет, бизнесменки! Как идёт торговля?» Бездельницы на стульях горько смеялись. Но всегда кричали вслед: «Не радуйся. Не зарекайся. Тоже будешь здесь сидеть. Мужскими подгузниками торговать, ха-ха-ха!»

Табак благополучно выруливал из хохота и ещё шустрее чесал.

Павловна еле успевала сдерживать:

– Не гони, Семёныч. Придержи лошадей. Тут до тебя был алкаш – на ходу спал. Куда гонишь?

Табашников только посмеивался. Перекинул Павловне прямо через прилавок мешок свёклы. Геркулес.

В субботу завезли солёные арбузы в мешках. И всем торговкам арбузы эти тут же потребовались. Табак сильно напрягся. Таскал тяжёлые мешки сперва на горбу, потом стал таскать в обхватку. Мелко колбаса ножками. Мешкам-гадам, казалось, не будет конца.

Вечером домой шёл с предчувствием боли. Боли в спине. Или в пояснице. Деньги в кармане (целых девятьсот!) почему-то не радовали.

Перед сном растёр спину и поясницу мазью Маргариты Ивановны. Вонь восстала в темноте – вырви глаз. Ворочался в ней, долго не мог уснуть. А когда уснул, – во сне почему-то увидел Павловну с рынка. Будто бы грузная Павловна сидела на яблоне и собирала яблоки в длинную сетку, привязанную к её животу. Непонятно было, как, за счёт чего она держится на жиденьких, к тому же увешенных яблоками ветках – своеобразное эфемерное яблочное облако висело, готовое уплыть вместе с Павловной. Павловна подвела губки помадой и сказала: «Лови моё сладкое яблочко, милый». Кокетливо, двумя пальчиками, кинула яблочко вниз. Поймал яблочко Павловны, но сразу сказал Павловне: «Я, конечно, попробую твоё яблочко, Павловна, но исть не буду». Так и сказал по-сибирски «исть его не буду». Грузная Павловна сразу полетела вниз. Еле успел поймать у самой земли. И сразу сломался от боли. От боли в пояснице. «Ну и тяжела же ты, Павловна». И проснулся – боль стреляла наяву. Прямо в кобчик.

С утра сидел в сиянии алмага. Слушал себя. Пытался уловить целительные токи.

Агеев, конечно, сразу закричал. Едва только в доме появился:

– Вот он! Сидит! Сияет! Будда Буддой! – И понеслось: – Я что тебе говорил! А? Что! Безумец!

Заболевший робко оправдывался, мол, арбузы завезли, слишком тяжёлые, а так бы – ничего, можно. Сказал, что Гудкову пришлось позвонить. Отказаться от должности. Извиниться.

Но Агеев уже сидел на стуле. Агеев сдулся:

– Да что Гудков, Женя. Что теперь я Андрею скажу. А тот Зиновьеву. С какой рожей теперь обращаться к ним. Просить о чём-нибудь.

Больной снял алмаг. Полусогнутый, опять в бабьей застёгнутой своей кофте до колен, пробрался на кухню, чтобы позавтракать.

Агеев хотел помочь, но Табак выставил руку. Сам включил газ. Сказал:

– Об одном тебя прошу, Гена. Маргарите Ивановне о моём рынке – ни звука. Сможешь? – спросил у сквородки в руке.

– Какой разговор, какой разговор. Женя!

Агеев скорей надевал плащ. Но поздно – заползал мобильник Табака. Кузичкина!

– Да, Маргарита Ивановна, – ответил Табашников. – Здравствуйте.

– Как ваши дела, Евгений Семёнович? Как работа на рынке? Как вас встретили там?

Табашников повернулся к Агееву. Беспомощный, чтобы его убить. А тот уже пятился к двери. Ухожу, ухожу. Поиграл пальчиками. И был таков.

4.

В тумане утра Кузичкина торопилась в библиотеку. Со стороны походила на помешавшуюся. Каблучки стучали то на одну сторону тротуара, то на другую. В голове билась только одна мысль: как помочь? Агеев вчера неожиданно позвонил поздно вечером. Когда сказал, что любимый уже неделю таскает ящики на рынке – не поверила. С его спиной? Сердце сжалось, упало. Сразу всё поняла. На мели. Деньги кончаются. Или уже закончились. Раз пошёл на такую работу. А друг Агеев будто плакал в трубке: повлияйте на него, Маргарита Ивановна. Он только вас послушает. Кому он нужен будет инвалидом? Полночи не спала, думала, как отговорить от безумства. Как предложить деньги. Пусть займы, но только чтобы ушел с рынка. Это было вчера. А сегодня утром, ещё не зная, что тот заболел, выдала в телефон. Этак игриво: как ваши успехи на рынке, Евгений Семенович? Не обижают вас там кубанки, хи-хи-хи? Бедняга сразу замолчал. Не знал, наверное, что ответить дуре. Или материл Агеева, прикрывая мобильник. Ало, Евгений Семёнович! «Я уже там не работаю». Как не работаете? Мне же Агеев вчера сказал. Мол, зачем врешь? Чуть не в спор полезла. (Ну не идиотка ли?) Это вместо того, чтобы обрадоваться. Как выворачивалась, заминала свою глупость – лучше не вспоминать.

В тумане означилось здание пятёрки. Сейчас заскочить или потом? Нет, лучше потом. Подружки любимые сразу поймут, для кого продукты. Для кого Маргаритка старается. Вот тоже – стала скрывать всё. О себе и Табашникове. Откровения с подругами закончились. стыдно теперь, что даже нюнила перед ними. Когда напилась у любимого. Наверняка перемигиваются до сих пор. Перемалывают за спиной косточки. Но поздно было скрывать – товарки сразу выпучили глаза: «Геннадий Андреевич только что был – Табашников опять заболел, надорвался на рынке. Рита!» Вот уж правда, Агеев пострел так пострел. Вперёд прибежал, объявил. Запыхался, бедный. Меня одной старикану мало. Надо и остальных двух баб вовлечь. А тут ещё возмущённый Клямкин стоит, головой вертит. С полной сеткой детективов. Про него забыли! Его не обслуживают! Сейчас я, Иван Николаевич, сейчас. Разденусь только. Обождите, пожалуйста.

Перед окном перекинула сумки в левую руку – постучала. Из темноты сунулось лицо. Как всегда испуганное. Исчезло. «Проходите, проходите, Маргарита Ивановна». Торопится впереди по тропинке. В бабьей кофте своей. Перекошенный весь, как карга. Прихрамывает. Господи, почему не позвонила? Чтобы хоть оделся. Не лето ведь. Ну бить дуру некому!

От плиты отстранила решительно. Без разговоров. Сама принялась готовить. И первое, и второе.

Табак чувствовал себя виноватым. Возле женщины, отвернувшейся к плите, передвигался осторожно. Чтобы не молчать, махнул пультом телевизора. Который всегда выручает.

– Скажите честно, Евгений Семёнович, – повернулась Кузичкина, – у вас деньги закончились?

Табак смутился:

– Нет, Маргарита Ивановна. Я даже счёт в банке открыл. Проценты капают.

– Так зачем же вы на рынок пошли? Ящики таскать? Зачем? С вашей спиной!

– Ну так. Чтобы эта была. Как её? Ну подушка. Безопасности.

Врёт. Всё врёт! Положил, наверное, пятачку, и радуется: проценты капают! Кузичкина отвернулась обратно к плите.

Табашников смотрел на сутулящуюся спину, на летающие руки, на голову, повязанную платком. Вот уже как! Ведёт себя как недовольная злая жена. Обиженная на придурка-мужа. А дальше что будет?

Как на заказ, в телевизоре кот Арчи, ну который дегустатор со стажем, жадно начал выгрызать корм из какой-то решётки с пенёчками. Старался. Выгрызал. Черт подери-и. Скоро и я так же буду на полу ползать, грызть.

Но гнев сменили на милость:

– Вы не обижайтесь на меня, пожалуйста, Евгений Семёнович, но повели вы себя с этим рынком как неразумный мальчишка. – Кузичкина подседа к столу: – После всего, что с вами недавно было, разве можно вам браться за такую работу? – И снова пошло, и снова поехало. Только напарника Агеева рядом с ней и не хватало. Но было приятно. Уже ругали без злобы. Видно было, что женщина переживает искренне. За него, дурака. Похудела даже как-то сразу, стала блеклой. Прибежала неприбранной, без макияжа. С полными сумками продуктов. С лекарствами опять.

Табашников отвернулся, набычился – мужская скупая слеза. Прошибла. Никто так не заботился, не жалел. Агеев разве только.

– Извините, я сейчас. – Ушёл в ванную. Просморкался, промыл нос, вытер глаза.

При виде расставленной еды на столе больной потёр ладошки. Эдаким заправским выпивохой: вот это закусон!

– А не дёрнуть ли нам под такую закуску? А, Маргарита Ивановна? У меня есть графинчик. Сейчас я.

И уже передвигается к буфету, продолжая потирать ладошки. И спина у него не болит.

Маргарита хорошо помнила, как уже дёрнула здесь «под такую закуску». Чем всё закончилось. А подлый искуситель уже приковылял назад, – и льёт, главное, ей в рюмку. Опять. Как ни в чём не бывало. Не помню, мол, ничего. Опять прикинулся.

– Ну, ваше здоровье, Маргарита Ивановна!

Хмурая, чокнулась. Не сказала даже «поправляйтесь скорей». Пригубила. Поставила рюмку. Стала есть. Всё молчком. Табак, конечно, восхищался приготовленным. Закусывал, однако понимал, что с «графинчиком» переборщил. Не надо было ничего. Неприятно женщине вспоминать. Искал выход. Нашёл:

– А знаете, Маргарита Ивановна, я сразу вашу мазь употребил. Как только почувствовал неладное со спиной. Намазал перед сном. Поэтому и легче всё сегодня проходит. Терпимей.

Да где же легче, где терпимей. Передвигается как каракатица какая-то.

– Я принесла ещё одну мазь. Аптечную. Попробуйте. Тоже на ночь. А утром можно сразу на рынок. Ящики таскать.

Шутит. Табашников смеялся. Успокаивал. Заверял, что уж больше туда (на рынок) ни ногой. И вообще, нужно другое что-то искать. К примеру, вахтёром. Или лучше – охранником. А, Маргарита Ивановна?

Новое выдумал, всё хмурилась Кузичкина. Будто жена. С пистолетом будет теперь ходить. С дубинкой. Весь перекосябренный.

В телевизоре показывали саммит глав государств. Видимо, заключительную его часть. Уже шеренгой построились для фото на века. Все с улыбками до ушей – лучезарные. Однако из всей компании фотографии, казалось, снимали только двух. На все лады. И так и эдак. Двух, будто высвеченных в группе, президентов. Одного здорового самовлюблённого, привыкшего лезть везде напролом. Другого – невысокого, с близко поставленными глазами, вроде бы открытого, но себе на уме.

Табашников смотрел. Маргарита Ивановна уже отошла от обиды. Захотелось показать, что тоже не лыком шита, что тоже разбирается в политике:

– Как вы думаете, они договорились о чём-нибудь? Или договорятся в будущем?

– Вряд ли. Этот дурак прежде весь мир под себя подомнёт. Или взорвёт к чёртовой бабушке. Он дурак, Маргарита Ивановна. Понимаете? От природы. А дурак, как говорит небезызвестный вам Геннадий Агеев, не только опасен, но и заразен. Скоро все начнут плясать под дурью его дудку.

– Да-да, – кивала Кузичкина, ни черта не поняв. – Как верно говорит Геннадий Андреевич, как верно.

Пришёл сам эксперт. Как побитый пёс. Виноватый везде. И перед женщиной, и перед мужчиной. Простите. Старческое недержание. Приходится отмечаться на каждом столбе. Простите. Снимал плащ, шляпку.

Смотрели снисходительно. Ладно уж, проходи. Начинай. Лялялякай.

И Агеев с готовностью начал:

– А знаете, кого я сейчас видел? Не поверите – Кугель!

Новость однако. И что?

– Её сбила машина! Возле госбанка!

Табак раскрыл рот, Маргарита ничего не поняла, а вестник тут же весть прихлопнул, проглотил. Как жаба стрекозу на болоте.

– Да говори же, говорит, чёрт тебя дер!

– Она переходила дорогу к банку, уже почти перешла – такси налетело, шваркнуло по заднице – она и отлетела, только ноги мелькнули. Откуда-то сразу люди. Я тут же мечусь, пытаюсь поднять. «Как вы чувствуете себя, Ангелина Марковна? (Идиот!)» Она стонет, не может подняться. Шофёр бегаёт, за голову хватается. Потом ГАИ. Скорая.

И опять замолчал. И – устались друг на друга. Два мужика. И как теперь все РВП? Все пенсии?

– А кто это, кто? – приставала Кузичкина: – Евгений Семёнович! Геннадий Андреевич! Не отвечают. В ступоре. Оба.

Срочно налили и дёрнули. Про Кузичкину забыли. Табак забыл даже радикулит.

– Что делать теперь, Гена?

Коротко объяснили Маргарите Ивановне, кто такая Кугель и что от неё зависело. Но женщина сразу резонно заметила, что свет клином на этой Кугель не сошёлся. Завтра же будет сидеть другая. В её кабинете.

А – так это другая сядет! Но не она! Дескать, такой как Кугель, – нет и никогда не будет в ФМСе. Сроднились мы с ней, Маргарита Ивановна. Родные мы с ней души. Прямо слеза опять прошибает. Опять клеммы в носу.

– А если серьёзно, Женя, Маргарита Ивановна права. Завтра же будет сидеть такая же. А может, ещё почище. Да и Кугель ещё восстанет, обожди. Она крепкая. Подумаешь, по заднице ударили. По женской притом. Непрошибаемой. Надёжная защита, – совсем зарпортовался Агеев. – Простите, Маргарита Ивановна. Это не о вас!

Действительно, у Кузичкиной защита сзади – как у цыплёнка: поддай и улетит. В небо. Даже ничего не почувствует. Да. Простите.

Глава восьмая

I.

В телевизоре радостный мужской голос объявил: «Лонгидаза! Новый препарат от простатита: – Жизнь течёт, а не капает!»

Табашников посмотрел на друга:

– У тебя как с этим? Течёт? Или капает?

– Норма-ально! – смеялся Агеев. – Течёт всюю!

Интересно, как у него с Марией. В его возрасте. Работает хозяйство или нет?

Агеев уловил вопрос в глазах Табака, сразу напустил на себя загадочность. Сквозь которую, однако, прямо-таки сквозило самодовольство: не каждому дано, дорогой.

Неужели спит ещё с женой? Врёт. Бахвалится. Хотя – чёрт его знает. Всё может быть. Феномен сидит за столом. Пьёт всего лишь чай. Простой чай. Без всяких лонгидаз. А тут не знаешь, с какой стороны подступить. Как замухрышке кобельку – запрыгнуть и задрыгать ножкой.

Словно рок, надвигалась встреча Нового года. Агеев сразу сказал, что Новый год – это семейный праздник и нечего к ним, Агеевым, лепиться. Пусть даже с шампанским и подарками. Тебе есть с кем встречать. Назвать имя и фамилию? Не надо.

Кузичкина, понимая, что припёрт, что попался – только названивала. Каждый день. Для надёжности. О Новом годе ни слова, – но ясно же! Спать ей так было спокойней. Не сбежал пока. В какой-нибудь свой Казахстан. Да-а, обложили.

В Торговом доме выбирал новогодний подарок для женщины. Долго стоял перед стеклянным прозрачным гусем жёлтого цвета. Оказавшимся лебедем. «Он ждёт свою лебёдушку, – объяснила продавщица. – Он – в ожидании». Так, понятно. Символ одиночества. Трагическое ожидание любви. Решился, наконец. Заплатил. Целых восемьсот рублей. Завернули в склизкую бумагу серого цвета. Вручили. Килограмма на два подарок потянет. В переполненном автобусе, на ухабе, гусь из подмышки выскользнул. Упал на сдобные коленки кубанки. «Мужчина! Держите свою птицу!» Извинялся. Поскальзывался потом на гололёде. Удерживал гуся, как ребёнка. Но донёс.

«Это вам, дорогая Маргарита Ивановна», – сказал вечером 31-го декабря у себя в доме. В комнате с развешенными зайчиками, гилянчиками и хлопущками. И с поклоном поднёс подарок.

Двумя руками Кузичкина подхватила гуся-лебедя хрустального одинокого. Подхватила в полной растерянности.

– Спасибо, Евгений Семёнович. Оригинальный подарок.

Табак бросился и украсил гуся букетом. Так будет красивее.

– Спасибо, спасибо, – всё бормотала Маргарита. Не зная, что с такой тяжестью, украшенной букетом, делать.

– Можете пока поставить лебедя вот сюда, – мгновенно освободил место на тумбочке хозяин. Направлял под локоток, боялся, что уронит.

Поставила. И букет не упал.

Как же я это всё буду тащить домой, пронеслось в голове у женщины, пока садились за стол. Однако – оригинал. Ошарашил. Забыла даже про свой подарок. Традиционный. Про выходную рубашку с галстуком в наборе, про запонки к рубашке.

Глаза Табашникова сверкали – сегодня уж он точно в доме хозяин. Накладывал гостье салат оливье. Приговаривал: «Как вы любите, Маргарита Ивановна – заправлен сметаной». Пододвигал нарезанную колбасу, сыр.

– Вина? Водки? Понятно – вина. А я водочки. Ну, Маргарита Ивановна – с наступающим вас! Чтобы все неприятности, все болезни остались в старом году, а в новом – было только хорошее, светлое. Ваше здоровье, Маргарита Ивановна!

Рюмка и бокал чокнулись. Мужчина и женщина начали закусывать. Излишне углублённо. Табак высказался. Как всегда, до дна. А Кузичкина всё не могла отойти после гуся хрустального одинокого. Поглядывала на него. Интересно, как стеклодув удерживал на своей длинной трубе такую тяжесть. Когда накручивал-выдувал.

По-прежнему молча закусывали. Табашников не выдержал, включил спасительный. На этот раз плазменный. Который висел в комнате. Который включал очень редко.

В «Засекреченных списках» высмеивали сильных мира сего. Чтобы зритель простой, особенно пенсионер, полностью облапошенный в уходящем году, немного позлорадствовал. Лидерство там, конечно, захватила премьер-министр из Великобритании. Как сутулая цапля, она двигала лапками перед африканскими голыми детьми где-то в Танзании. Показывала им плотояднейшую румбу. Думала, наверное, что классно танцует. Таким же макарон (танцуя) она передвигалась к трибуне, чтобы выступить перед каким-то благородным собранием. Под осыпающиеся, словно застигнутые врасплох аплодисменты, продолжала двигать кулачками и за трибуной. Она считала себя очень музыкальной. Тощие руки и ноги её ходили как шатуны. Был дальше и президент большой страны, который вдруг дал подёргать свои рыжие волосы корреспонденту. Мол, не парик, козёл, а натуральные. И сидел потом как взлохмаченный полудурок, очень довольный собой. Был и предыдущий президент этой же страны, афроамериканец, строящий себе всякие рожи в зеркале. Потом какой-то подвыпивший министр, который долго искал дверцу в лимузин. Пока его не всунули, наконец, как барана, внутрь.

Попал в этот «список» и наш узкоплечий головастик, под ритмичную музыку очень гордо втыкающий ножки на каком-то приёме. Но он явно уступал предыдущим клоунам и клоунессам. Даже здесь мы отстали от Запада!

Посмеялись. И вправду, немножко зауважали себя после увиденного. Молодцы телевизионщики, знают, что показывать простому люду перед Новым годом.

Зазудел мобильник. Конечно, Агеев:

– Ну, как вы там?

Хотелось сказать: а тебе какое дело? Но ответил сдержанно:

– Нормально. Сидим за столом.

– Ну, пока! Буду ещё звонить.

А зачем? Куратор хренов. Всё у него, видите ли, под контролем.

– Что Геннадий Андреевич сказал?

И тоже посмотрела изучающе. Даже есть перестала. Два заговорщика. Спелись. Единым фронтом наступают.

– Да так. Нечего делать человеку. Или выпить не дают. Вот и нервничает.

Женщина продолжила культурно работать ножом и вилок. Приделась на встречу. Новое закрытое красивое платье с розой у плеча. С розой, надо думать, любви. Причёску опять взбила. Маркиза Помпадур. Но волосы вообще-то хорошие, свои – живые.

– А не выпить ли нам ещё, Маргарита Ивановна? Водки? Вина?

Величественно прикрыла свой бокал. Понятно. Бойтся надраться. Пуганая ворона. Куста.

– Ну а я, с вашего позволения – выпью.

Обожгла водка. Будто ледяную палку просунул в пищевод. Слишком холодная, зараза. Долго держал графин в холодильнике. Вот этот грибок надо сразу следом пустить вдогонку. Ну а потом можно уже и колбаску. Пару кружков. Вот этих. Да горчичкой их!

Пережёвывал, наслаждался:

– Расскажите немного о себе, Маргарита Ивановна.

Сказал, как будто только сегодня познакомился. Начал всю канитель с начала. С самого начала. Лайнер. Ещё на один заход пошёл. Последний. Прежде, чем разбиться. Всё горячее выжёт. А шасси выбить – никак!

Кузичкина перестала есть.

– Я же рассказывала о себе, Евгений Семёнович! Кто я, откуда. Где росла. Кто родители. Где училась. Неужели забыли?

– Нет, нет, вы не так меня поняли. Вы рассказали тогда о себе слишком коротко, схематично, что ли. Будто в отделе кадров. А хотелось бы услышать от вас развёрнутую, как её? версию, извините, историю вашей жизни. (Господи, как по-графомански сказал, бездарно! И это – писатель!)

Но Кузичкина разом стартанула. Слова, казалось, понеслись впереди Кузичкиной. Спринтер и стайер на беговой дорожке. В одном лице. Тарахтела почему-то о своём отце, который тоже храпел, но это не важно, я о другом, Евгений Семёнович, как он ребёнком воспринял День победы, в 45-м году, у него был дружок Тошка Большой, дядя Тоша потом, ну Ванька и Тошка играли в деревне вместе, заканчивали первый класс, голод был, рыскали по оврагам, рвали лебеду, словом, росли, у обоих отцы были на фронте, матери, конечно, чертоломили в колхозе, за палочки, и вот 9-е мая, День Победы, радио на сельской площади надрывается с утра, марши гремят, песни, весёлая музыка, люди бегают из двора в двор, поздравляют, девки под руку ходят, поют, заливаются, Ванька к Тошке помчался на другой конец деревни, залетает в дом к Большовым, что такое! Тошка в углу голову закрыл руками, зажался, а тётя Настя сидит с какой-то бумажкой в руке, воеет, как волчица, и головой о стену бьётся... Похоронка на дядю Мишу, отца Тошкиного, пришла. 9-го мая. В День Победы. Журавлиха-почтальонша принесла. Прямо перед Ванькой вышла с сумкой со двора Большовых...

Опять заползал Агеев на столе.

– Обожди. Перезвони, – прихлопнул голос Табашников.

– Вы извините меня, Евгений Семёнович, за этот рассказ. Ни к селу, ни к городу он сегодня. Но бедный папа, бывало, как выпьет, так и вспоминает об том дне. На всю жизнь врезался он в детскую головку. Вот и мне передалось. Не удержалась. Простите.

Маргарита Ивановна выхватила платочек, заплакала.

Табак растерялся. Хотел похлопать по спине как при икоте, при кашле, но ума всё же хватило – приобнял:

– Ну, ну, Маргарита Ивановна, успокойтесь. – Бормотал несуразицу. Как ребёнку: – У меня тоже отец храпел. Тоже выпивал. Ну-ну!

Кузичкина всё извинялась, всхлипывала, а Табак срочно плескал ей водку в большую рюмку. Тут уж – никак, Маргарита Ивановна. Нужно выпить. Как лекарство. Чокнулся, проследил,

чтобы глотнула, и сам жажнул полную. Чёрт возьми, такая встряска! Вот так Кузичкина. Удивляет больше и больше.

Опять заползал мобильник. Вот ещё привязался!

– Ну, чего тебе?.. Да всё нормально, нормально. Не звони пока. – Опять заткнул неуёмного.

Подмигнул Маргарите Ивановне:

– Выпить не дают. На велотренажёре педали крутит.

Кузичкина сразу забыла всё, с готовностью рассмеялась. Тоже юморная. Прямо начала закатываться. Глаза и от слёз, и от смеха – размазанные чёрные цветки. Захотелось как-то помочь женщине. Потащил даже платок из кармана. Но опомнился:

– У вас на глазах, это, тушь поползла. (Потекла, идиот!) Потекла, я хотел сказать.

С извинениями женщина сразу бросилась в ванную, закрылась.

Передышка. Негаданная. Надо быстро убрать всё лишнее со стола и подать жаркое на чистых тарелках. Украсить веточками укропа и петрушки. Вот так.

Кузичкина ахнула перед новым блюдом. В восхищении. Сама тоже новая. С новыми глазами. С глазами – как синяя ночь. Умеют преобразаться женщины. Мгновенно. Прямо не узнать.

Полилась водка в гранёные большие рюмки. Уже без возражений, без тормозов. «Ну, Маргарита Ивановна!» И так далее.

К полуночи, к курантам достаточно окосели. Оба. Телевизор был забыт. Скованность – побоку. Каждый говорил, перебивая другого. Кузичкина смеялась, неслась по-прежнему – уже как лихая лыжница с горы. Почтице Табашникова недавно. Только круто заворачивала, со смехом обдавая мужчинку снежной пылью. Табак, словно задохнувшись на миг, открывал рот и глаза и сразу вклинивался. Бубубукал вроде тетерева. Распускал, что называется, перья. Только не на току, а тоже летя на лыжах: бу-бу-бу, Маргарита Ивановна! Бу-бу-бу! Лихая лыжница и токующий тетерев. О чём говорили – вспомнить потом было невозможно.

Появившегося Президента в телевизоре встретили удивлённо. Откинутыми на стулья. О чём это он? После своей реформы осмелился появиться на экране? Да мы тебя! Кузичкина пьяно качнулась к плазменному, замахала тощими кулаками. Долой! Немедленно в отставку! Табак перехватывал руки революционерки. Оттащил, наконец, посадил на диван:

– Тише, тише, Маргарита Ивановна, – услышат.

Сам уже тоже безумный. Оглядывался.

Но тут забили куранты на Спасской. Оба ринулись обратно к столу. Табак к бутылке с шампанским. Никак не мог сорвать ловушку и освободить пробку. Выстрелил в стену, чуть не убив Кузичкину. Но не растерялся:

– Скорей загадайте желание, Маргарита Ивановна! – налил из хлещущей бутылки и совал бокал в руку женщине.

Кузичкина, как кукла, хлопала синими ресницами, покачивалась с бокалом. Как бы считала удары. Как бы загадывала. Но обрушившийся гимн добил её, опрокинул в ночь.

Ночью тракторная бригада Табашникова работала на колхозном поле. Перепахивала его. Подсвечивая фарами, трактора ползли один за другим. Взрëвая, резко поворачивали, пёрли, вспахивали поле поперёк. Ночной дружный тракторный балет. «Бригада, обедать!» – прокричал Табашников. И бригада, подчиняясь бригадиру, сразу поехала в ночную деревню. Но оказалась почему-то в большой тёмной комнате самого Табака. Трактора разом превратились в детские тракторишки. Однако загремели громче во много раз. Жарко, близко. Лязгая гусеницами, проползали прямо возле дивана. Лезли на стены, некоторые акробаты уже ползали по потолку, бросив неудачников урчать в углях. Но те тоже взрëвывали и тоже лезли на стены.

Никак не могла проснуться. Металась, мучилась.

Вдруг все машины заглохли. Разом. (Солярка кончилась?) На цыпочках пробежал Табашников. Сыграл на унитазе. Обратно пробежал. Чтобы руководить бригадой. Но та, пока бегал, умчалась

на тракторах в деревню, настоящую, и там мгновенно уснула на жёнах. «Проснитесь! – кричал в далёкую деревню бригадир. – Проснитесь, мать вашу! Поле ждёт!»

Проснулась и села, как плед разом сбросив кошмар. Испуганно слушала. В спальне – ни звука. Затаился. Тоже слушает. Храпун чёртов. Так напугать! Ощупала себя. Была в одной комбинации! Пьяную обработал. Ну что тут надо сделать! Убить теперь себя!

Потихоньку прошла на кухню и дальше. Закрылась в ванной. Свет не включала. Под журчание в фаянсе пыталась хоть что-то вспомнить. Но – глухо. Ночь. Провал. Только трактора храпуна в голове эхом отдают. Уже безопасные. Ездят где-то вдалеке. Затихают.

Вернулась, легла. Натянула плед. До горла. Сколько времени сейчас? Ночь глубокая? Утро? Храпун – как умер. Ни звука.

Как ни странно, задремала.

Вдруг почувствовала руку на своём бедре. Еле слышимое прикосновение:

– Вы не спите, Маргарита Ивановна? – Нежный ангел склонился в темноте. Со светящейся головой, прилётный.

Зацепила голой рукой и прижала к себе. Ведь ангел. Бедный. Бестелесный.

– Почему ты так хранишь?

Вместо ответа ангел бестелесный накрыл её всю, и как будто зарыдал на ней.

2.

1-го января Мария Агеева проснулась на рассвете. Из коридора, еле слышимый, долетал храп Андрея. Его отец давно отхрапел. Уткнулся в спину жены как цуцик, только посапывал. Все новогодние базлуны и плясуны в доме тоже давно ухайдакались. Лишь изредка принимались разговаривать на этажах их унитазаы.

Тихо поднялась, накинула халат. Пошла сначала к детям.

Ваня спал не по-детски, сверху животом. Как его отец. Очень серьёзно спал. Правда, не храпел. Осторожно повернула на бок. Юлю так же осторожно вытащила из кровати и поднесла к горшку. Девчушка висела в руках бабушки, не просыпалась. Горшок пел будто сам по себе. Так же осторожно опустила маленькую обратно.

В ванной в освещённом зеркале смотрела на своё морщинистое лицо, на всё тот же вывернутый окрас волос на голове. Который опять пробила седина. Закрашивай-не закрашивай. Держалась за раковину, будто за трибуну: внимание, бабка-ёжка будет сейчас выступать. В новогоднюю ночь не всё сказала. Вздыхнув, выключила зеркало.

В кухне носила на стол вчерашнее вкусное. Расставляла для взрослых. Кашку, помешивая, варила для Юльки и Вани.

Первым явился на кухню старый лысый Агеев в пижаме. Как арестант. Сразу начал шакалить по столу.

– Не хватай, не хватай! Иди, пропердись хотя бы сперва. Не отнимут. Не бойся.

Ушёл в туалет. Недовольный.

Злил в это утро и Андрей. Тот не как разгильдяй отец – тот вплыл на кухню свежепобритый, умытый, благоухающий дезодорантом. В свежайшей белой рубашке и в обязательной куртке со шнурами. Даже шейный платок не поленился повязать. Ну конечно, корчит из себя аристократа. В кого только такой. В раздражении сунула ему салфетку колом. Накрахмаленную. Монахино. Забыла, видите ли, поставить на тарелку. Сразу напомнил. Вежливо. Упорно приучает лапотную мать. Без салфетки, видите ли, начинать трапезу нельзя. Проще говоря, жрать не сможет. Ну в кого такой, в кого! Где нахватался! Мария Никитична чувствовала, что несправедлива к сыну, но ничего с собой поделывать не могла. А тут ещё лысый козёл смотрит на сына своего с гордостью. Даже забыл про ложку с кашей для Юльки. «Корми! Чего рот раскрыл!» И барыня молодая мечтает за столом. В утреннем вольном пенюаре. Держит с утра диету. Глотает только чай.

Мизинчик с брильянтовым колечком оттопырила. Аристократы чёртовы. Ваня и тот пыжится, подражает отцу. Одна только Юлька, перемазанная кашей, ведёт себя как нормальный ребёнок – стучает деда, не даёт себя кормить. «Ну-ка дай, сама покормлю. А тебе я сейчас ата-та сделаю. Поняла? Ешь давай!»

Встреча Нового года не уходила из головы. Будто наползший, никак не рассеивающийся туман.

После курантов, после шампанского, когда весь дом обезумел – аристократ тоже быстро нацепил всем острые колпачки и заставил прыгать с ним вокруг ёлки. Она тоже прыгала в дурацком колпачке. Да ладно бы только прыгала – опять начала просить. Как заведённая: «Сынок, ты же обещал. Нам с отцом. Отдельную. Сынок! Помнишь, по телефону, и потом говорил. Сынок!» Нелепый танец старой дуры. Показалось, что отмяк от вина, подобрел. Что можно напомнить. Не тут-то было! Разом бросил всех и сел к столу. Недовольный, даже злой. В колпачке. Налил и шархнул. Без всякого понта. «Мама, я же говорил тебе. Неужели непонятно!» Злой начальник сидит. Выговаривает уборщице. Поломойке: «Сколько можно долбить одно и то же!» А паца с колечком его успокаивает, гладит руку («не волнуйся, дорогой, не волнуйся, тебе вредно!»). И лысый старый дурак в колпачке мечется, не знает, куда ему сунуться, к кому примкнуть. Да-а, театральный номер был. И вот теперь сидит сквалыга-аристократ и только салфетку к губам прикладывает. Довольный. Будто и не припечатал мать в очередной раз, не унизил.

Ирина, бедная, приходила 31-го всего на полчаса. Точно тайком от Валерия. Быстро раздала подарки и ушла. Преподобный отец, получив от неё новую тёплую зимнюю куртку, не знал, куда смотреть. Всего два дня назад он устроил очередной скандал её мужу. Два полудурка лаялись среди груды железа во дворе. Зато от сына-жлоба всегда в восторге – тот подарил ему, видите ли, курительную трубку да ещё шейный платок. Похоже, из своего гардероба. Похлопал по плечу: «Теперь ты, папа, настоящий писатель! С курительной трубкой!» А тот сразу сунул эту копейную трубку в рот. Сидел гордый. Э-э, писатель. Где будешь курить-то её? На велотренажёре? Накручивая педали? Да-а, бедная Ирка. Бедная мартышка. Иметь такого дурака отца.

Ближе к обеду лорд с женой приоделись и отправились с визитом к Герману Ивановичу Зиновьеву, Генеральному директору. Живущему в трёхэтажном особняке у моря. Отправились поздравить с Новым годом и зафиксировать полную свою преданность и благодарность. Подхалим с женой. Просим любить нас и жаловать!

Для картонных сумок с подарками у мужа и жены, казалось, не хватало рук. Сам лорд к тому же удерживал под мышкой тяжёлую коробку с чайным сервизом. На сколько персон – об этом остающимся старухе и старику знать не положено.

Тянули шеи, смотрели в окно, как внизу сын с шофёром загружали всё в такси, как захлопнулись, наконец, и поехали.

Жена повернулась к мужу:

– Ну, скорей раскуривай подаренную трубку. А шейный платок – я надену. На свою бабью глупую голову.

Агеев нахмурился:

– Зря ты, Маша. Ему же необходимо это всё. Для карьеры. Как ты этого не понимаешь.

– Да где уж нам понять. Где! – сразу взвилась Мария. – Двум недоделанным. Приехавшим в рай. Мария ходила, не могла справиться со злостью.

– Вот что. Давай собирайся и собирай детей – идём к Ирине. Тоже поздравим. Она приглашала.

Агеев сразу сник. Жена прищурилась:

– Что, нашкодил там недавно и опять, как кот, в сторону?

– Да нет. Отчего же. Я пойду.

– Вот и отлично. Куртку подаренную надень. Ирине будет приятно. Но не вздумай там опять с Валерием!

Да нет. Чего уж. Перемирие держать буду. Как в Донбассе. Куда ж тут? Раз праздник.

Выбежавшая за ворота в одной душегрейке Ирина увидела святочную умильную картинку – зимний краснощёкий дедушка в раздутой куртке с такой же раздутой внучкой на руках и зимняя бабушка в облезлом пальто с надувным внуком за руку. И сияющее солнце в вышине. От матового льда дороги отблескивает.

– Да милые вы мои! – по-простонародному запела учительница средней школы. Окончившая в своё время пединститут с красным дипломом. Распахнула калитку: – Да заходите скорей. Да ждём вас не дождёмся!

Пока хозяйка управлялась на кухне, раздевали детей, сами раздевались. Юлечка в шерстяном костюмчике, в тёплых пинетках, будто в лаптиках, сразу по-детски неуклюже застыкала к Валерию. Но тот чesанул от неё и захлопнулся в спальне. «Гон-гон», – недоумевала девчушка и показывала на закрытую дверь. «Дядя Валера переодевается, – подхватила племянницу Ирина, целуя в пухленькие щёчки. – Ах ты моя милая!» Ребёнок с готовностью зазвенел.

Без женщин в комнате, будто на сцене в театре, сразу началось быстрое перемещение остальных актёров. Мгновенно возникла новая мизансцена – Валерий независимо сел на диван, кинул ногу на ногу, Ваня замер на стуле, а лысый старик начал ходить и отворачивать внучку от дивана. Как от нечистой силы. Но девчушка упорно тянула ручки и говорила своё «гон-гон».

Валерий не выдержал напряжения пьесы. Похлопал возле себя:

– Малой, иди сюда.

Ваня подошёл, сел.

– По токарному волокёшь? – спросил слесарь. – Труд у вас есть?

Ваня сказал, что у них домоводство.

– Это бабьи затеи, что ли? Ну ты даёшь, малой, – искренне удивился токарь. Однако сразу начал загибать пальцы: – А у меня шестой по токарному, шестой по слесарному, сварка газовая, электро...

– Валера, Валера! – тут же прибежала Ирина. – Слазай скорей в погреб. Банку лечо принеси. Чёрт! Всегда перебьёт, встрянет.

Валерий поднялся:

– Извини, малой. – Дескать, бабы. Никуда от них. Сейчас приду, доскажу.

Следующая мизансцена – «за праздничным столом» – была ещё хуже, чем предыдущая. (Где два мужика захватили маленьких заложников. Чтобы ни за что не сдать друг другу.) Эта мизансцена из тёмного зала смотрелась совсем уж несуразно. Нет, еда, приготовленная хозяйкой, была вкусная, сытная, водки-вина – запейся, но персонажи сидели за столом парадоксально – вместе и в то же время раздельно. Раскиданно. С левого края стола мать и отец лезли к дочери, точно хотели подарить ей смеющуюся Юльку, Ваня был брошен один, а Валерий опять оказался на отшибе, опять на другом краю стола. Изумлённый. Что за хреновина!

– Ну-ка, малой, иди сюда. Садись рядом. Вот тебе пирог, рубай и слушай, как надо работать болгаркой.

На призыв жены (Ирки) выпить за наступивший Новый год – поднял свою рюмку, кивнул, мол, ага, и хлопнул. Ни с кем, кроме малого, не чокнувшись. И пусть. Не надо вскакивать и путаться руками со старым козлом. Бороться. А то вон он, морду воротит, не смотрит. Девчонку всё свою отворачивает. Коз-зёл. Ладно, малой, слушай дальше. Про перфоратор.

Агеев и вправду всё время загораживал внучку собой. От глаз Валерия. Интуитивно. Не отдавая отчёта себе. Хотелось страшно курить, но пойти во двор не мог – Юлька сразу побежит к ненавистному. А тот, гад, ещё и Ваньку назло привлекает. А двум бабам наплевать. Всё наперебой талдычат об одном и том же:

– ...Мама, даже не думай о Казахстане, даже не думай. Я поговорю с Андреем. Слышишь? Даже не думай...

От выпитого дочь раскраснелась, о Валерии напрочь забыла и предлагала уже матери деньги. Свои. Оставшиеся от незабвенного Игоря Петровича. Вот это да-а.

– ...Не очень много, мама. Но на однушку вам с отцом хватит. Слышишь, мама? Только не плачь.

А та, тоже не очень трезвая, протирала от слёз глаза, сидела и только вздыхала.

– Возьми ребёнка. Курить пойду.

Собирались домой часов в семь. Валерий за ворота, конечно, не вышел. Однако подарил все же «малому» толстую универсальную ручку с набором отверток и свёрл внутри. Хотя на это ума хватило.

Когда отошли от дома довольно далеко, Ваня спросил:

– Бабушка, вы с дедушкой хотите уехать обратно? В Казахстан?

– Да что ты, милый! Нет, конечно. Просто мы хотим купить отдельную квартиру. Рядом с вами. Чтобы Юля до садика была с нами. И ты тоже.

Внук спотыкался, заглядывал сбоку. Но бабушка, похоже, верила в свои слова. Смотрела вдаль. На уползающее гаснущее море. На сгорающие, вспыхивающие там лучи. Дедушка впереди тоже показывал Юльке на закат. И даже что-то говорил ей. Но как будто по секрету. Что он ей там говорил?

3.

– Знаете, Маргарита Ивановна, я вообще-то не ханжа, но поражает бесстыдство людей в таких передачах. Выворачиваются перед всем миром наизнанку. До потрохов. Порой думаешь – а здоровы ли эти люди? Ведь это патология какая-то. Душевный эксгибиционизм. А вообще – бесстыжими стали люди, Маргарита Ивановна. И такое же бесстыжее телевидение для них сейчас.

И это говорит человек, который за ночь четыре раза «рыдал» на женщине (вообще поразительный феномен!), измучил всю, сейчас обращается к ней на вы и говорит, что он не ханжа.

Кузичкина в телевизор не смотрела. Молча пила чай. Пустой. Забыла про торт на тарелочке, про печенье. Уже одетая в платье с розой, причёсанная, правда, без макияжа. Не знала, что ответить на филиппику ханжи. Вопрос «почему ты так хранишь?» уже был, ночью, другой вопрос «почему ты такой стеснительный, Женя?» сейчас задать – язык не поворачивался. Вообще, как говорить теперь с ним? На вы? На ты? Дикое положение. Первый раз в жизни. Всякие были мужчины, но – такого, с «рыданиями»! Что-то, видимо, неврологическое с горлом. Невроз. Так же, как и храп. Притом – мгновенный. Едва отстреляется – и сразу проваливается в него. Коротко, но страшно. Работающий элеватор рядом. С работающей зернодробилкой! Кому рассказать – не поверят.

– Евгений Семёнович, я, пожалуй, пойду домой. Отдохнуть мне нужно. Поспать.

Поднялась из-за стола. Ощущала себя инвалидом. Всё внизу тянуло, болело. А ему хоть бы что – суетится, не отпускает. Предлагает свою тахту. В спальне. «Шторы задернем, и вам будет уютно, хорошо. Маргарита Ивановна, оставайтесь!» Ага. Останься с тобой. Мало потрудились. Нет, дорогой. Научил за ночь Родину любить.

– Нет, Евгений Семёнович. Я всё же пойду. Извините.

Говорила и вправду как заболевшая. Вот что значит всё с непривычки. Что не было несколько лет никаких любовников. Конечно, суетится опять, помогает заболевшей одевать пальто, гнётся, ботинки даже застёгивает. Сам мгновенно оделся, ведёт под руку на выход. Заглядывает, сострадает. Чёрт побери – анекдот. Опять же – рассказать кому.

Но за воротами – решительно остановила:

– Нет, Евгений Семёнович. Я дальше – одна.

Сказала хмуро. Даже, наверное, зло. Но сразу отступил. Растерянный, остался у ворот. Чувствовала, что не уходит, смотрит. Старалась идти правильно, что ли. С прямой спиной. Но уносила тянущую боль, точно люльку с ребёнком. Боялась тряхнуть. Вот так обработал!

Когда поворачивала на Седина – оглянулась. Возле дома было пусто. Ушёл. Разочарованный. Жестоко ошибившийся в любимой. Ну и чёрт с тобой.

Душ хлестал. Стояла согбенно под ним, обречённо. Как стояла бы лошадь ночью под дождём. Забыть, отрешиться от всего было невозможно. Всплывали и всплывали картины. Тёмные. В которых ничего невозможно было увидеть, а только представить. За все близости ночью не испытала ни одного, как сказала бы Колодкина, женского счастья. Ни одного. Настолько была удивлена всем, ошарашена. Всё происходило в полной тьме. На широком раскинутом диване. Происходило не с ней, с кем-то другим. Рыдания и сразу храп, рыдания – и новый храп. Хотелось стукнуть кулаком по башке, чтобы заткнулся. Или заглушить подушкой. Вот такая любовь.

С тюрбаном на голове, в банном халате так и легла на диван. На свой диван. Нормальный. Не кричащий, как у любимого. Всю ночь были рыдания и крики утки. Хорошее сочетание. Низ живота успокоился, будто и не болел. Что же это было, отчего? Надо сходить, обязательно провериться. Но только к Горбуновой. Ни в коем случае не к Коткину. Явному развратнику. Вообще, почему его держат, почему работает с женщинами в гинекологии? Видел бы кто, как он ходит вокруг кресла с полуголой бабой и протирает ручки. Ручки с одной только перчаткой. Наносит заразу на перчатку. С другой, голой руки. А? Во сне такое только может присниться. И держат. Еле унесла от полудурка ноги. Первый и последний раз. Только к Горбуновой.

Всё же задремала. Но ненадолго – звонок в дверь. Неужели пришёл? Побежала, глянула в глазок. Точно! Вытянутое лицо в шляпке было с цветами. Вроде как нюхало их. Натюрморт. Ещё нажимал на звонок. Ещё. Ну куда тут деваться! – открыла.

Любовник вошёл явно безумный. Бросил куда-то цветы, оторвал от пола и сразу понёс в полутёмную комнату.

– Господи, да разденься сначала, разденься!..

На этот раз женское счастье у Кузичкиной случилось. Было оно тайным, мучительным и долгим. Табак, видимо, почувствовал, резко прибавил, но Кузичкиной было уже всё равно. После всех треволнений и потрясений последних часов – разом уснула. Как в обморок опять опрокинулась.

Табак остановился, удивлённо замер – женщина натурально храпела возле его уха. Пора прекратить. Замучил бедную. Вон как храпит. Стоял у дивана. В распушенной рубашке, без трусов. Но почему-то в зимнем ботинке. В одном. Как в индийском кино, скинул оба, что ли, и снова надел один? Пробившиеся в комнату лучи высвечивали раскиданную всюду одежду. Его одежду. И верхнюю, и нижнюю. Шляпка повисла высоко на светильнике. Видимо, летела, кувыр-калась и ловко нашла своё место. Вот позор так позор-ор.

Быстро стал собирать всё.

Шёл по улице. Только что не бил себя по морде. Идиот, смурняк! Недоделанный! Так унижить женщину. Как с Голодного мыса набросился! Шляпка на люстре! Грязный зимний ботинок на трельяжном столике!

Зазудел телефон. Агеев.

– Пошёл на х...!

Агеев в гостях на соседней улице оторопел. Подумал, что ослышался. Чуть не уронил с колен балующуюся Юльку. Что за чёрт! Пьяный, что ли?

Табашников не помнил, как оказался дома. Сразу шархнул стакан.

За компьютером сидел как подлец. Самодовольный, правильный. Отвечал на поздравления из Казахстана. Раю Тулегенову называл в письме «мой милый тюлень». Писал, что соскучился (по её тюленьему телу, надо полагать). Чуваткина словно снисходительно похлопал по плечу. Не

горюй, старина, прорвёшься. В смысле – напечатают. Я же напечатался. Двадцать лет назад. Ха-ха-ха. Ехидной, всегда с подвохами Жулиной – не знал, что ответить. А! «С Новым годом, дорогая Альбина Ивановна!»

Уже косоватый, по-прежнему правильный, покачиваясь пошёл обратно на кухню. За стол.

Снова пил. Чем-то закусывал. Пытался понять в телевизоре. Вроде лесовика деревьями – окутывался табачным дымом.

Наконец, задавил в блюдце окурки и открыл мобилу. Смотрел, не узнавал морду Агеева. Надавил на неё. Слушал гудки, покачивался. «Да», – ответил Агеев.

– Прости, – сказал одно только слово. И вырубился. Сполз со стула.

– Ало, Евгений! Ало! – добивался ответа Агеев в мобильнике, валяющемся на полу. – Ало! Где ты находишься? Евгений! Ответь!

Уже подходили с детьми к своему дому.

– Что он сказал? – спросила Мария.

– Днём он сказал мне «пошёл на», а сейчас сказал – «прости». И вроде как упал. На пол. Как это понимать, Маша? Сердечный приступ?

Агеева смеялась до слёз. Ваня крутил головой, ничего не мог понять.

– Ладно уж. Занеси Юльку и дуй, – разрешила супруга. – Не похоже на Женю, но явно напился. Подними его, если на полу, и уложи спать. Но не надерись там сам опять!

– Да что ты, Маша! – уже торопился с Юлькой в подъезд Агеев. Мол, как ты могла даже подумать такое!

Друга застал уже лежащим на тахте. В спальне. До горла закрывшегося пледом. С выглядывающими ручками. Вцепившимися во весь стыд.

– Что же ты, а? – начал было Агеев.

– Я облажался, Гена, – перервал его лежащий. – Полностью. Я говнюк, Гена.

– Не встал, что ли?

– Да нет. Не в этом дело.

Несчастный искал новые сравнения себя с фекалиями:

– Я дерьмо, Гена. Болтающееся в проруби. Никак не могущее затонуть.

– Да объясни ты, чёрт подери, что произошло между вами!

– Тебе не понять, – уводил полные слёз глаза несчастный.

Только в кухне, выпив полстакана, смог более-менее внятно рассказать о себе и Кузичкиной. О встрече Нового года. Но о ночных геройствах своих – ни слова. Так же, как и о висящей шляпке на люстре сегодня. Просто было вчера – и всё.

– Ну так радуйся, Женя, радуйся, – после рюмки закусывал Агеев. Обсасывал любимое куриное крылышко: – Теперь у тебя есть женщина. Ты – человек.

– Но я оскорбил её, Гена, оскорбил! На всю жизнь!

– Господи, да чем же?

– Об этом нельзя говорить, нельзя. Невозможно, – только мотал головой. С дрожащими красными соплами, весь на старых дрожжах – опять пьяный.

Да, по части женщин – со сдвигом чувак. Правда, что как это самое. В проруби. Которое ни туда ни сюда.

– Ну-ну, успокойся.

Поднял. Повёл обратно в спальню. Табак сразу смирился, замолчал. Нона тахте разом ударил храпом из запрокинутой глотки.

Эко его! – морщился Агеев. Кое-как повернул на бок. Но и в стену сразу ударило. Начало пробивать. Перфоратором.

Как же они спали вместе? – невольно думал Агеев.

4.

Табак опять затаился. Не приходил и не звонил. Уже несколько дней.

Кузичкина растерялась, она что теперь – свободна, не занята, соломенная вдова? Тут для закидона искала и нашла в интернете способ, как избавиться от храпа, простой способ, эффективный (молотком по голове, что ли?), а ему, оказывается, уже ничего не надо – храпеть будет один, свободный.

Позвонила Агееву. Но тот сразу напустил таинственности, туману:

– Он строит, Маргарита Ивановна.

– Что строит? Где?

– Сарай. Вернее, поправляет. После ветра недавнего. Сарай покосился, падает, Маргарита Ивановна, – говорил сваха. Говорил ласково. Как ненормальной в дурдоме. Успокаивал. Мол, эфчас мы примем таблетку, ляжем в кровать и будем сладко баиньки.

Кузичкина задохнулась на миг. И выдала:

– Да пошли вы оба, знаете куда! – И швырнула мобильник. Куда-то в комнату.

Ревела. В бессилии стучала кулачками стол.

Однако в тот же день явились оба. На площадке Табак словно пятился, толкаемый сзади другом. Как на амбразуру шёл. С цветами:

– Здравствуйте, Маргарита Ивановна! Вот мы к вам. Решили заглянуть.

Отступила:

– Проходите. Раздевайтесь. – Сказала равнодушно, с полным безразличием. Никто здесь ни от кого не скрывается. В отличие от некоторых.

Пока два друга раздевались и шептались, в комнате прислонилась к шифоньеру. Ждала в позе спокойной йоги – руки скрещены на груди, ноги – завёрнуты в крендель.

– Это вам, – подал цветы Табак.

Кивнула, мол, ага, положила букет на тумбочку. Снова стала в спокойную позу к шифоньеру.

Гости присели к пустому столу. Вежливо, но солидно. Опять вроде бы сватовство началось. По новой. Сват и жених. У вас, уважаемая Маргарита Ивановна, товар, то есть – вы, а у нас вот – купец. (Да где купец? Где? – смотрела Кузичкина со скрещенными на груди руками и не думая накрывать на стол.) Но сват не сдавался. Впаривал. Мол, сорвало крышу. Ветром, Маргарита Ивановна. (Ага. Сорвало. Только у кого?) Жених молчал, пыжился. Ему положено.

Ушла на кухню и принесла чайник и печенье в плетёнке. Поставила. Гости вытирались платками.

Снова ушла, вернулась с винегретом и тремя тарелками. Молча расставила. Гости всё вытирались, разглядывали стены.

Когда вернулась в третий раз (с закусками в обеих руках) – на стол выпорхнула пузатая бутылка вина. Вроде перепёлки. Непонятно откуда. Будто сама по себе. Не имела к друзьям никакого отношения.

Кузичкина не выдержала, рассмеялась:

– Ну вы и фокусники! Вам надо в цирке обоим выступать.

Да, мы такие, Маргарита Ивановна, смеялись и кореша. Мол, мы – ух!

Быстренько открыли бутылку, разлили, подняли бокалы:

– Ну, Маргарита Ивановна, с Новым годом вас ещё раз!

(Да сколько можно! – пятое число! Но чокнулась.)

Выпили. Вино хорошее. Ценитель Агеев выбирал. Не Табак. Тот больше спец по водке. А, алкаш? – уже подталкивал друга Агеев. – Давай начинай. Здесь сложно будет тебе нажраться. Оправдывайся, пока дают. Пока разрешили.

И Табашников откашлялся и дал соло. Но как всегда, не в ту степь:

– Всё-таки сложно нам с Геннадием представить, что вы, россияне, можете валять дурака целых восемь рабочих дней.

Вот сказанул. Кузичкина не знала, что ответить.

– Да, да, Маргарита Ивановна! Наш хан никогда бы не допустил такого, а ваш царь – пожалуйста. – И замолчал. Высказался. Опять – до дна.

Но Агеев подхватил палочку, выручил, побежал:

– А всё почему, Маргарита Ивановна? – Каверзный вопрос учителя в школе. Школьнице с косичками. И тут же объяснение: – А всё потому, что людям всё равно негде работать. Так пусть дома сидят пол-января. На законном основании.

И тоже замолчал, цепляя сопливый грибок вилкой. Однако выводы у двух казахстанцев. О-оригинальные. Никакой дурак такого не выдумает.

– Да я вообще-то уже хожу на работу. Два раза была.

– Э, нет, Маргарита Ивановна, – тут же подрезал Агеев. – Вы ходите в частном порядке. По своей инициативе. А по закону – никто не работает. Никто. Негде работать. Молчаливое большинство сидит дома. На законном основании. Все улицы пусты. Вот закончится отпущенное по закону – и вновь начнут рыскать. Строительные шабашки искать. Кому бы чего сколотить, из кирпича поставить. Все заводы-то – как дырявые брошенные миражи. А семьи кормить надо.

Прошло за обедом с полчаса. По-прежнему говорили мало. Даже Кузичкина не барабанила. Вино не спасало – не водка. Висела над всеми какая-то неопределённость. Говорить, собственно, было не о чём. Пересказывали с пятое на десятое. Агеев поглядывал на влюблённых. Не знал, как слинять, сохранив лицо.

Когда в кармане мужа зазвонила Мария Агеева и вместо всегдашнего разноса спросила сердито «ну как, помирились они (Лаура и Альберто)?» – это было спасенье. Агеев тут же мастерски сыграл для влюблённых подкаблучника мужа:

– Ну что ты, Маша, прости. Всего час только, как и ушёл. Всё, всё, лечу домой. И в кухню заскочу. Не волнуйся. Ну всё. Пока. (Агеева, надо думать, офонарела от такого ответа, ничего не поняла.)

Вот, наглядно захлопнул артист мобильник. Одна с детьми. Разрывается. Без меня – никак. Жаль, но придётся уходить.

Поднялся.

Табак запаниковал. (Как? Опять один? С женщиной?) Вскочил было с явным намереньем ускользнуть. Но Агеев жестко посадил его, проявив недюжинную силу – сиди, ты нужен здесь. И пошёл впереди хозяйки в прихожую, безжалостно бросив друга.

Табак поспешно налил и выпил полстакана вина. Марочного. Но разве эта моча поможет?

А, была не была, пропадать, так с музыкой! И едва женщина вернулась – вскочил и впился в её губы. Как электрический ток. По-киношному. Кузичкина мычала, трясла головой, но не отпускал. Наконец, сам отпал. И откинулся на диван, не вмещая в грудь воздух. Самоубийца кит, выкинувшийся на берег.

– Сумасшедший, – хихикала Кузичкина, уже выдергивая откуда-то постельное бельё.

После не давала спать. Хитрым указательным пальчиком выписывала на груди его всякие вензеля. Посмеивалась, задавала дурацкие вопросы, типа «когда и с кем у тебя было в первый раз». Наваливался сон, но всё равно пробивались слова: «А с немкой, с немкой как у тебя было, Расскажи, Расскажи». Трясла: «Ну не спи, пожалуйста!» Понял, что вздремнуть не даст – сел и сказал, что нужно в туалет. Стеснительно, отвернувшись, надевал свои трусы-юбки. Вот ещё тоже незадача. Явился к женщине в таких флотских трусах.

Кинулась вперёд, что-то убрала в ванной, спрятала. Ладно, хоть следом не вошла. И на том спасибо. Зашёлкнул задвижку.

В зеркале мрачно смотрел на большое лицо с ноздрями. На примятую, с глубоким узором щеку. Откуда узор? Ведь не спал. Не давала спать. Всё время будила. А ещё говорила, главное,

что диван – трансформер. Будешь спать как на воздушной подушке. (Это после того, как чуть не переломал его, раскладывая. Сама же – мгновенно раскинула.)

Ополоснул лицо. Вытерся. Лицо стало лучше. Узор исчез. Но всё равно пора сваливать. Засиделся. Вернее – залежался. Повесил полотенце на место, на крючок.

Но в комнате невольно попятился – шторы были раздёрнуты, солнце ломилось! Маргарита лежала в позе Данаи. Только тощей Данаи. Призывно улыбалась. Белая вся, с красными щёчками.

Даже не превратившись в золотой плодородный дождь, Табак ринулся на сухую. Снимал, подпрыгивал, путался в трусах и банально упал на Данаю.

– Почему у тебя трусы как у солдата в армии? – истерично смеялась женщина, ломаемая как детский конструктор. – Почему?

Но Зевс ответить не мог. Никак. Уже рыдал. Новый, рыдающий Зевс, знаете ли. На кровати-трансформере. Только что народился.

Глава девятая

I.

Месячные пенсии над домом по-прежнему летали. Весь январь и февраль. Почти каждый день хлопали в ладошки. За ними тяжёлые военные дуры трясли огород и усадьбу. Но уже не обращал внимания. Привык. Копался во дворе, не поднимал головы. Да и Ваня больше не кричал, не показывал на небо. Не до пенсий ему стало. Ни до земных, ни до пролётных. У него появилась бабёнка. Ходила, командовала на усадьбе. Ваня только поворачивался. Иногда высунется над забором: А, Семёныч? Но тут же исчезнет, точно сдёрнутый за штанину.

Табак снисходительно усмехался. До вечера с Маргаритой у него преимущество. До вечера – он свободный человек.

Почему-то повадились приходиться вдвоём. Как к больному. Созванивались, что ли? Агеев – ладно, но голосок Маргариты начинал слышать ещё во дворе. О чём голосок говорил – разобрать было нельзя, но тараторил не переставая. Так и вносил себя в дом в сопровождении буббуканий старика.

И вот они! Болтушка и болтун. Как под ручку стоят. Нарисовались – не сотрёшь.

Приходилось таскать на стол – оголодали болтуны, потирали руки.

После чая потоки слов немного замедлялись. Болтунов тянуло на лирику, на рассуждения. Агеев начинал клевать носом. Но сидел до последнего. До гневного звонка жены. Только тогда вставал и с явной неохотой уходил.

Влюблённые сразу начинали чувствовать скованность, смущение. Агеев – буфер. И вот он убирался. Вернее, его убрали. И что теперь?

Мужчина робко предлагал тахту в спальне. Но женщина тяготела больше к дивану в комнате. Ссылалась на усталость. Она никак не могла решиться предложить любимому начать лечение от храпа, и тот искренне недоумевал.

В конце концов женщина как пробка вылетала из спальни на диван. После того, как в спальне начинали рваться боеприпасы. Снова вскакивала, захлопывала дверь. Держала спиной. Как будто в дверь толкались, барабанили. Нет, нужно что-то делать. Так жить нельзя. Ещё и в загс с ним собралась.

Рано утром убирали постели. Каждый свою. Недовольные друг дружкой.

– Тебе что-то не нравится у меня? – прямо спросил Табак, застыв с подушкой в руках.

– Нет, нет. Всё нормально. – Кузичкина металась со свёрнутым одеялом, напрочь забыв, откуда брала его вчера.

– Тогда что же ты закрываешься каждый раз от меня? Как от чёрта с рогами?

Ну как ему сказать? – поделикатней, не обидеть:

– Понимаешь, Женя, – тянулась с одеялом на антресоль, высоко. – Только не обижайся. Ты хранишь. Иногда сильно. А мне, мне... – Одеяло никак не лезло на место. – Мне нужно выспаться перед работой, а в спальне я не высыпаюсь. – Затолкала, наконец, одеяло. – Вот поэтому, Женя, я и ухожу на диван. Только поэтому. Не обижайся, пожалуйста.

Табак стоял с подушкой, как будто его самого только что вытолкали из спальни. Незвестно куда.

Через полчаса стоял у стола на кухне (нашёл место). В чистом фартучке. Смотрел, как женщина ест его сырники, макая их в сметану. Выслушивал, как его будут лечить от храпа. От приглашений присесть отказывался: я потом, не волнуйтесь, не тороплюсь.

Женщина ушла на работу. Сел к тарелкам, брошенным на столе, подпёр репу кулаком и глубоко задумался.

Когда сошлись окончательно, Кузичкина почему-то перестала готовить. Подходить к плите. Показывать, какая она замечательная хозяйка. Принимала его стряпню, его хлопоты – как должное. С удовольствием ела всё, что подносил. Нахваливала: «М-м, в тебе пропадает великий повар, Женя. Так замечательно готовишь. Я бы так не смогла». А ты и не стремишься теперь, хотелось сказать.

Так же стало и со стиркой постельного белья – при ней демонстративно сдирал простыни и наволочки и заталкивал в машинку. Включал. Машинка начинала колотиться и реветь как ненормальная, вынося мозги. А женщине хоть бы что – ходила, рассуждала, даже кричала, перекрикивала машинку: «Ты, Женя, молодец. Так чисто всё стираешь». И опять с подтекстом. Мол, продолжай так и дальше. И шла одеваться. А ты оставался возле прыгающего агрегата. Крутой Мойдодыр с ноздрями.

Всё – продукты с рынка и всяких пятёрки, мыломоющие – покупал и таскал в дом один. Целыми сумками. И денег не было жалко, но ты хоть помоги. Походи со мной, выбери сама, посоветуй. Но нет. Ни разу не были на рынке вместе. На что Геннадий, мужик, а никогда пустым не приходил. Эта – нет. Всё время – как в гости. Угощайте её, видите ли, ублажайте в постели. И ещё гнобит потом. Дескать, хранишь. На себя посмотри. Цаца. С мизинчиками. Над тарелочкой.

К себе – не зовёт. Никаких ключей от квартиры на третьем этаже. Хотя его ключи от ворот и дома дал ей сразу. Голосок теперь свободно пробегает через весь двор. На удивление Ивана на заборе. Даже не дожидаясь хозяина, первой проваливается в дом. А, Семёныч? И ты попал? Дела-а.

Не мог он её и по имени. Зато она сразу – Женя, Женечка. Постоянно чирикала. У него – никак. Не вытанцовывалось. Ни Рита, ни Маргарита. Оставалось только «риту-дритту-маргаритту» ей какую-нибудь сплясать. С выходом. Чтобы глаза вытаращила. Но – не поймёт.

Один раз помотала перед носом билетами на концерт. Во Дворец культуры. На концерт старого-престарого рок-певца с его такой же стариковской группой. В телевизоре давно уже их не показывают. Теперь делают только чёсы по стране. Гребень хоть редкий стал, повыбит весь, но всё равно надеются, что дураки найдутся. Не все ещё повымерли. И дураки в приморском городке, на удивление, нашлись – покатый зал Дворца был полным. На сцене музыканты в наволоках красного дыма, будто обкурившись им – были как-то упорно красноносы. Бесновались, дергались с гитарами. Сам кумир миллионов боролся с микрофонной штангой наперевес. Взмахивал длинными патлами (свои? или искусный парик?) и орал как резаный.

На концерте Кузичкина стала неузнаваемой. Вскикивала со всеми, визжала, накачивала воздух кулачками. (Табак внизу под морем рук не знал, куда ползти.)

В антракте чинно гуляли в фойе. Табашникова, понятно, держали под руку. На нём был негнувшийся, как панцирь, костюм. Сама Кузичкина – в пиджачке и в лёгком, воздушном платье стрекозы.

Снова вернулись в зале. И вновь началась свистопляска.

Ночью Табак во сне дёргался. И даже не храпел. Полночи рядом лежала, ждала. Но – нет. Только простонал один раз. Жалобно так. Как козлик. И всё.

Утром за завтраком Кузичкина была весела, бодра. Хорошо закусывала. Однако с некоторой тревогой поглядывала на согбенную спину любимого у плиты. На его обмотанную банданой голову.

Бедняга. Не выдержал первой нагрузки. Видимо, слуха нет никакого. Но подействовал концерт положительно. Совершенно не храпел. Поэтому нужно продолжать водить на концерты. Осторожно. Но неуклонно. Храп исчезнет. Шоковая терапия. (Ну и Кузичкина! Зве-ерь.)

– Женья, скоро приезжает группа «Наутилус Помпилиус». Пойдѐшь?

Спина Табака начинала трястись. Табак горько смеялся.

2.

Над обручальными кольцами в ювелирном Табашников и Агеев склонились как два гуманоида. С тонкими шейками, с глазами, похожими на мутные капли. Цифры на бирках, привязанных к колечкам со сверкающими камушками, были тоже космическими. Словно крохотные камушки эти были добыты и доставлены сюда с самой дальней планеты. Какой-нибудь Альфы Центавры. Это – по меньшей мере.

Молчком пошли на выход. Даже мимо бросившейся к ним продавщицы. С густыми кудрями. Будто с бараньей шкурой до плеч.

На улице Агеев остановился:

– А разве это обручальные, Женья?

Табак сделал дупло – он не знает.

– Ну-ка – обратно.

Оказалось, что колечки под стеклом – «для молодого человека».

С бараньими кудрями равнодушно, но заученно начала громко объявлять. Для толпы где-то за пределами магазина. Однако два пердуна внимательно слушали:

– Колечки для молодого человека. Молодой человек выбирает у нас своё колечко с бриллиантом и преподносит своей избраннице. С нашим колечком он может стать на колено, открыть коробочку и сказать «будь моей, дорогая, навек»...

– Минуточку, минуточку! – перебил Агеев. – Так это как бы предварительное ещё колечко, до свадьбы, до загса?

– Ну да, – сбился с тона менеджер, но текст барабанился сам по себе: – ...Молодой человек встаёт на колено... и говорит «будь моей... дорогая... навек»...

– То есть с ним делают предложение?

– Ну да. – С кудрями первый раз видела таких колхозников.

Агеев посмотрел на друга: сможешь стать на колено? Радикулит не пробьёт?

Табашников – ни да ни нет.

– Девушка, боюсь, что наш молодой человек на сможет на колено. Ему бы сразу для загса. Чтобы он стоял, не падал. Есть у вас такие кольца?

Кудрявая разочарованно пошла к самой дальней витрине. К самому дальнему стеклянному ящику:

– Вот, выбирайте. Для вас. Без вставок. Гладкие. (Колхозные.)

Женихи запотирали руки. То, что нужно! Привычные кольца. Для жениха и невесты. Литые. И цены здесь – вполне.

– Вон, смотри, с краю. В точности, как у меня и Маши.

Агеев поиграл кольцом на безымянном пальце.

Табак засомневался:

– Не-ет. Такое я не потяну. Слишком толстое.

– Да не жмись, ты! Первый раз ведь женишься!

С кудрями сразу включилась на полную громкость:

– Поздравляем вас! Поздравляем! Как раз на вашу руку. Сейчас примерим. А какой размер у вашей невесты?

Глаза у жениха сумеречно остановились. Однако менеджер всё равно наседала:

– Ну примерно. Вспомните, вспомните, молодой человек!

Словом, Табак был побеждён. Выложил всё, что принёс в бумажнике. Вышел из ювелирного с бархатной коробочкой с кольцами. И словно не в себе. Пошёл даже не в ту сторону. Но Агеев догнал, повернул, направил.

Предложение Маргарите Табашников сделал сам. Без посредников. Без всяких профессиональных лысых свах. Правда, как всегда по-своему. По-смурному.

Однажды в перерыве сериала, убрав звук рекламы, он помялся и сказал:

– Нам бы это, Маргарита Ивановна. Надо бы в загс сходить. Оформиться.

Кузичкина выпучила глаза.

– ...Ну оформить отношения. А то неудобно как-то. Без оформления.

(Неудобно перед кем? Перед соседями?)

Кузичкина бросилась на грудь любимого со слезами. Стукала кулачками плечи твердолобого: сколько можно было тянуть! сколько!

– Ну-ну, – удерживал голову капризного ребёнка Табак. Ребёнка, которому давно обещали, а всё никак не покупали дорогую игрушку. И вот, наконец, сказали твёрдо: будет тебе игрушка. – Ну-ну. Успокойся. (Не дерись.)

Колодкина и Гордеева начальницу не узнали. Ритка пришла будто прямо из гостей. Свежая, весёлая. Снимала обувь, вешала плащ. Была в своём лучшем платье с розой, в дымчатых колготках. И это в будний день!

– Ну-ка рассказывай! – сразу подступили товарки. Мол, на этот раз не отвертись. (Рита в последнее время стала большой темницей, совсем не рассказывала о себе, а тут приходит вся переполненная!)

Но Кузичкина и не думала отверчиваться:

– Замуж выхожу, девушки, – кинула модную красивую сумочку прямо на картотеку, будто плевала теперь на всё.

Вот это новость! Неужели за ноздрястого? Точно, за него, подтвердила невеста. Только что из загса, подавали заявление. Регистрация ровно через месяц – 29-го марта.

И пошла, главное, к себе, в закуток. Ничего не добавив. Нет, как это понимать! Товарки полезли следом.

– А предложение делал с колечком или без? – наседала романтическая Гордеева. – На колено вставал? Как это было? Расскажи, расскажи, Рита!

Но Кузичкина ушла от ответа. Перекидывая что-то на столике, возмущалась порядками в загсах России. Теперешними порядками:

– Кошмар, девушки! Потребовали у Жени документ о разводе с якобы прежней женой в Казахстане. Представляет! У него! У которого отродясь не было никаких жён (ой ли, не поверили подруги).

– Да ладно тебе, успокойся, – говорила приземлённая Колодкина. – Ты лучше скажи, где жить будете? У него или у тебя?

– Мы это с Женей ещё не обсуждали.

«С Женей». Врёт, конечно. Колодкина (практичная) тут же начала внушать, чтобы ни в коем случае свою однушку не продавала. Пусть он свой дом продаёт. Мало ли, как сложится. Или

другой вариант: живи у него, а свою квартиру сдавай. И денежки будут капать тебе, и всегда слинять можно.

– Да не слушай ты её! Рита! Выбрала уже платье, подвенечное, заказала? Где будет свадьба? дома? в ресторане?

Кузичкина говорила, что теперь это не модно. Вся эта пышность, все эти рестораны, длинные машины. У нас всё будет скромно. Говорила явно словами «Жени». С несколько погрузневшей мордочкой. (Видно было, хотелось бабёнке покрасоваться в фате, ох, хотелось. Да и с крыльца Дворца чтобы жених к машине протащил на руках. Как козу с пышным платьем. Чтоб не запутался в нём, не упал. Ох, хотелось.)

Однако Колодкина тут же подхватила невесту. Без подвенечного платья:

– Правильно, Рита, правильно. Только пыль в глаза пускать. Зато денежки останутся целыми. Да и не дотащит ноздрястый до машины, хотела добавить. Но не добавила.

В этот день Кузичкина ночевала у себя. Долго не могла уснуть – всё вспоминала поход в загс. И больше всего толстую делопроизводительницу за тумбовым столом. Её злорадные, с подтекстами вопросы. Особенно о прежней жизни двух брачующихся. О прежних жёнах их и мужьях, о детях, об алиментах. Евгений начал нервничать, злиться. Сунул даже ей под нос бумагу из ФМС, где было написано, что женат не был и детей у него нет. Всё на сто рядов проверено! «Ну а вы?» – повернула голову толстая баба. Дескать, давай, уважаемая, колись. Пришлось подать ей свидетельство о разводе с первым мужем. Копию. И вновь баба за столом заполнилась злорадством. Выходило, что невеста – кошка драная, а жених в шестьдесят два своих года – полный девственник. Ангел. За-абавно. «Да кто она такая!» – возмущался Женя, когда выходили из здания. В общем – остался неприятный осадок. Прежде чем пойти в загс, оба приделались: Женя в свой панцирный костюм, а сама надела платье с розой. Но стерва за столом даже не предложила раздеться. Так и просидели в плащах. Как два мешка на вокзале. В ожидании поезда. Электрички.

Наворачивались слёзы. Вытирала платочком, вздыхала.

Потом в засыпающем сознании творились фантастика – Колодкина и Гордеева то приходили к ней в закуток, то уходили. Передвигались где-то среди стеллажей, как в густом лесу. Словно теряли там друг дружку, кричали «ау». И опять выходили к ней на поляну к притихшему костру. Выходили с новыми палками и сучьями – и вновь всё разгоралось до неба.

3.

Во дворе у Табашникова разыгрывалась в лицах басня Крылова на современный лад. Кот-бандит четырёх соседок-сестёр сидел перед Агеевым. Вежливо слушал. Передние лапки его были составлены культурно. Одна к другой. Будто не удавил только что у Ивана цыплёнка. Цыплёнка, который и валялся теперь рядом с бандитом.

Агеев стыдил кота. Кот вежливо слушал. Потом принялся мотать башкой – вылизываться.

Над забором появился Иван. Дикой. С палкой.

– Да что же ты сидишь-то, инспектор – бей его, бей! Сейчас убежит!

Кот тут же шмыгнул под свой забор. Как и не было его.

Агеев хохотал. А Иван уходил от забора и обещал:

– Ох, возьму в следующий раз грех на душу, ох, возьму. Из ружья порешу гада.

Появившийся из сеней Табашников тоже начал пенять другу: почему не пугнул хотя бы? Что это – забава для тебя?

– Бесполезно, Женя. Природа. Инстинкт зверя. Ему даже и не нужен этот цыплёнок. Вон он, валяется. Так что бить, убивать самого охотника – бессмысленно.

Табак поднял цыплёнка, понёс и перекинул к Ивану. Пусть хоть супишко сварит. В утешение. Вышли за ворота.

Опять ныли повсюду настырные горлинки. Неустанно требовали у Создателя потомства. Продолжения жизни своей.

Агеев прихрамывал. На этот разного не отшиб, а подвернул. Два дня назад. В частном секторе. Рассуждал теперь:

– Как ты знаешь, есть здесь круговая дорога имени Победы. Тротуары с обеих сторон – идеальные, плиточные. На всём протяжении её. Как же! Краевое начальство, а то и сам губернатор со свитой могут раз в год проехать. Но чуть в стороне от дороги, в частном секторе – тротуары-костоломы. Вот и я попался. Только свернул с Победы – сразу начал скакать и растянулся. Засмотрелся на небо над Победой, Женя, бдительность потерял.

Табак усмехался. Давно уже было сказано про это. Про тротуары в частном секторе. Опять Америку открывает. Однако поражало жизнелюбие друга, его оптимизм. Старик ведь. Подвернул ногу, хромает – и хоть бы что. Сказал ему об этом.

– Знаешь, Женя, – сразу ответил оптимист. – Когда смиришься со своей старостью, когда сядешь с клюшечкой на скамеечку перед домом – всё: тебе конец. Заказывай гроб с музыкой.

Шли платить коммунальные. Агеев за квартиру сына, Табашников – за свой дом. Сперва на Таманскую в «Росэнерго». Рядом с библиотекой Маргариты.

Почти в пустом зале за длинной стойкой с толстым стеклом работали всего лишь три женщины. С одинаковыми косынками, завязанными на груди –вроде трёх состарившихся пионерок. Тут управились с платежами за десять минут.

Потом отправились на Свердлова платить за газ и воду. У библиотеки – даже не дёрнулись. Прошли мимо. Дела, Маргарита Ивановна.

В отличие от зала «Росэнерго», зал на Свердлова был битком. И всего лишь две дыры в толстой стене. Куда, как в дзоты, засовывались плательщики. Очереди к дырам изнемогали и галдели – будто на вокзале.

Поразила цепкая память старика. Наклонившись к окну, Агеев все платёжки выкладывал чётко, ничего не путал. Все цифры со счётчиков говорил без запинки, без бумажек, по памяти. (Вот тебе и старик!) У Табака так не получалось. Путался. Цифры искал – будто по всем карманам.

На улице Табак вытирал пот:

– Ну ты даёшь.

– Чего даёшь, – не понял натуральный калькулятор, хромая рядом.

– С цифрами. По памяти.

– А ты как думал, – смеялся Агеев. – Чтоб я на лавочке сидел. В обнимку с клюшечкой. Не дождёшься!

Кугель позвонила в конце февраля:

Это из ФМС. – Как всегда – ни здравсьте, ни до свидания.

– Здравствуйте, Ангелина Марковна. Внимательно слушаю.

– Жду вас через час. – И бросила трубку.

Тоже привычно – без экивоков, без расшаркиваний.

Быстро собирався.

Кугель копалась в бумагах. Не смотрела на вызванного. Хмурая. После несчастного случая возле банка, после больницы была в корсете по грудь. У Табака глаза смотрели подло, с восторгом: одыбалась, стерва, ничего её не берёт. С костылём будет передвигаться, но гнобить и обирать мигрантов продолжит.

Наконец заговорила:

– Вот документы на получение вида на жительство. Поедете с ними в Краснодар 7-го марта и получите. Дальше в течение 3-х дней должны зарегистрироваться у нас в 11-м кабинете. Пропишетесь по месту жительства. В свой дом. Который, надеюсь, не продали ещё (ввернула-таки!). Всё. Счастливой дороги.

– А к вам мне больше не надо? – невольно вырвалось у Табашникова.

– Нет.

– Большое спасибо, Ангелина Марковна! Большое спасибо!

Табак нахально схватил руку начальницы и затряс. То ли искренне благодарил, то ли издевался. Сам не мог понять. Всё тряс руку ошарашенной женщине:

– Спасибо вам, спасибо!

И с папкой выскочил из кабинета.

В коридоре выкинул кулак вверх: есть! Футболист, забивший гол! Достань меня теперь, стерва.

Неожиданно увидел Парфентьева. В вестибюле. Старичок отошёл от кассы с квитанциями, со сдачей, не знал, куда это всё рассовывать.

– Павел Петрович, дорогой! Здравствуйте!

Старик тоже обрадовался. С готовностью затонул в объятии Табашникова, по-прежнему с квитанциями и деньгами веером.

Сразу пошли на улицу, под своей синей сосной сели на лавочку. Табак стал расспрашивать. Узнал, что больной брат Павла Петровича скрипит пока, слава Богу, а вот у младшего дела по-прежнему неважные.

– ...Нет, высылкой больше не грозят, отстали, но с РВП ничего не движется. Опять – новые документы нужны из Казахстана, опять поборы. Ну, а как у тебя, Женя?

– А я, Павел Петрович, похоже, отмаялся. Вот они документы. (Похлопал по завязанной папке.) Всё, власть Кугель кончилась. Больше не увижу, любимую. Что называется, с зубовым скрежетом отдала. 7-го марта еду в Краснодар. Получу вид на жительство. Ну а дальше пенсию буду добиваться. Глядишь, через полгода-год начну получать. Вот, Павел Петрович – мои дела и радужные надежды.

– Ну, дай Бог, Женя, дай Бог. Рад за тебя. Очень рад.

При прощании Парфентьев твёрдо пообещал, что позвонит на этот раз обязательно. Что за разрешением на проживание поедет в Краснодар только с Табашниковым. Раз он на этом настаивает.

– Одному вам нельзя, Павел Петрович. Вы просто заблудитесь в большом городе. А я всё там знаю. И как добираться и куда сунуться в самой Миграционной. Звоните, обязательно звоните мне... Да я и сам вам теперь буду звонить. Надоедать. А то вам же очень сложно набрать мой номер. Инженеру по образованию. А?

Посмеялись. Парфентьев виновато подёргивал ухо.

Обнялись, и старичок пошёл обратно к двери. Пошёл на встречу с Кугель, на новые испытания. Весь беленький, в плечистой, явно не своей куртке. Обернулся, помахал забытой квитанцией, точно хотел освободиться от неё – и исчез за дверью.

Почему-то щемило в груди. Точно видел его в последний раз. Но чур-чур меня, как говорится. Опомился и побежал к автобусу. Чтобы рвануть на нём скорей домой и доложить обо всём Маргарите и Агееву.

Но в кухне был только Геннадий.

– Ну как?

Раздеваясь, Табашников рассказывал.

– А-а! – сразу закричал друг. И тоже чуть не дал козла вверх. – Что я говорил! Умылась. Ни копейки не получила. А ты ещё хотел дать ей. Не-ет, долго нас теперь будет помнить, долго. (Ой ли!) Выскользнули. И ты, и мы с Машей.

Сразу заявил, что тоже 7-го в Краснодар поедет.

– Да для чего, Гена? Деньги лишние?

– У меня там, может быть, есть дела. – загадочно ответил друг. – И не менее важные. – Пошёл и выхватил из холодильника бутылку. Которую принёс с собой:

– Отметим?

Глава десятая

I.

6-го марта, после обеда, Агеев пришёл в меланхолии. Сидел в кухне мешком, не снимал плаща:

– ...Его нужно постоянно хвалить. Понимаешь? Лопату песка кинет – молодец, Валерий! Ещё лопату – просто отлично, Валерий! Третью – Валерий, вообще гениально! Только так. Ругать – ни-ни. Обидится. Пожалуется жене. Всё вертится вокруг этого ненормального.

– Да чёрт побери, да сколько можно об одном и том же! – сорвался Табашников. – Не ходи туда, не ходи! Нет его для тебя, просто нет! Понял?

– Да как не ходить. Вот справку опять надо. Документы-то наши все у Ирины. В столе.

Агеев поднялся: «Ладно. Пошёл я. Извини».

На Котова его встретил визг болгарки. Болгарка опять трещала-резала на всю округу. Да это же татаро-монгольское иго, озарило старика. На русском разгуляй поле. Ну, погоди, гад, сейчас я тебя.

Ворвался во двор:

– Ты когда визжать перестанешь?! Когда срач свой строительный уберешь со двора. Когда?! Когда всё прекратится, в конце концов! А?! – Голова старика тряслась, глаза лезли из орбит, съедали зятя.

– Не ваше дело! – вдруг грубо отрезал Валерий. Впервые за всё время. Смотрел под ноги: – Вы здесь не живёте. А я у себя дома. Так что нечего тут. Командовать. – Махнул даже болгаркой. Мол, вали отсюда.

– Да ты! Да я тебя! – что называется, потрясал кулаками над мужичонкой высокий Агеев. – Да я тебя!..

На всю улицу саданул воротами. Железо Валерия опасно загремело, словно разваливаясь, но выстояло.

Шёл прямо по дороге. Хотелось выть от бессилия. От того, что глупая дочь во власти этой сволоты. О, Господи! – возводил руки к небесам. Если точнее, к дыре в облаках. Но там сразу зажмуривались. И не видели ничего внизу, и не слышали. Неверующий. И не маши руками. Бесполезно. Шагай себе дальше.

И Агеев шагал. И снова ругался. Чей-то выпущенный пёсик пытался схватить за штанину и повиснуть. Но Агеев безотчётно отпινывал, и пёсик никак не мог зацепиться.

Ирина, конечно, позвонила Маше, и дома сразу начался скандал. Но тихий. В кухне. С оглядками на коридор:

– Куда ты лезешь, старый дурак! – бросив мыть посуду, подступала жена. – Нас приютили Христа ради. Мы не имеем здесь ни пенсии, ни квартиры, ничего. И ты устанавливаешь тут свои порядки. Кто ты такой? По какому праву?

– Минуточку, минуточку! – оглядываясь в коридор, оппонировал старый дурак. – А кто их вырастил, дал образование? Поставил на крыло? Кто? Пушкин? Лермонтов?

– Да ты разругался даже с дочерью! Года здесь не прожив! Теперь хочешь и с сыном так же? Куда потом пойдём? К Табашникову в сарайку?

Агеев не сдавался:

– Андрей не такой. Андрей адекватный. А Ирка подпала под влияние, ей сдвинули мозги. Живёт с ненормальным, защищает его. Сама такая же стала. Он же заразный, Маша! Даже тебя не узнать, как только ты туда сходишь. Увидишь этого недоделанного. Даже тебя! Вы же с Ирой в заложниках у дурака. Пойми!

– Да тебе-то какое дело? Что он такой? Тебе! Какое! Зачем лезешь, зачем?

– Да он же ископал всю усадьбу, Маша. И ты его защищаешь. Вспомни, какой она была при Игоре Петровиче.

Замолчали. Вспомнили Игоря Петровича. Незабвенного. Который ушёл так рано. Который оставил всё жене. Своей любимой Ире. Оставил дом. Деньги.

– ...И сейчас ты хочешь, чтобы этот всё пустил в распыл?

– Бабушка, дедушка! – послышалось из столовой. – Она не даёт мне уроки делать. Возьмите её. Слышите?

Тут же заткнулись. Поспешили в столовую. А там картина на полу – маленькая проказница верхом на спине брата едет-покачивается, вцепившись в его рубашку, а тот покорно передвигается на коленях.

– Заберите её, – просит раб. Мол, сил моих больше нет. – Заберите.

2.

Вечером, как только аристократы ушли к себе, а дети уснули, Мария тоже сразу постелила в спальне. Завтра супругу ехать в Краснодар. С Табашниковым. Сдуру напросился. Так что хватит тут разбабандывать (болтать – в переводе), давай ложись, вставать ни свет ни заря.

Однако долго ещё не спали, всё говорили в темноте. И каждый гнул своё. Но больше Мария мужа пилила. И всё за Ирину. Когда опомнишься? Когда отстанешь от него? (От Валерия.) Наконец скомандовала самой себе:

– Ну хватит. Спокойной ночи. – Резко повернулась на бок.

Агеев лежал и положил ей руку на талию. Немножко ниже. Легонько потряс. Дескать, милая-я!

– Всё не уgomонись? – повернула голову супруга. – И не стыдно?

– Эх, Маша, – откинулся на подушку и выдохнул напряжение супруг. – Не умеешь ты радоваться жизни. Не умеешь.

Маша подумала в темноте.

– Ладно уж. Иди ко мне, неугомонный...

Неугомонный тут же пристроился сбоку. Осторожно вошёл. Заработал. Вроде паровозной тяги. Прибавлял и прибавлял.

– Легче, легче, – одерживала старая женщина. – Станция не железная.

В четыре утра кормила, провожала мужа в Краснодар.

– Не ездил бы ты, Гена. Табашников всё знает и без тебя. Не раз и не два ведь там бывал. Зачем едешь?

– Нужно помочь, Маша. Сама знаешь, там не в одной очереди придётся постоять. Будет зашиваться Женя. – Поялся: – Да и Ирине хочу подарок купить...

Жена перестала резать хлеб.

– ...Помириться с ней хочу. Как ты считаешь?

– Ой, надолго ли? С твоим-то характером?

Но Агеев хорошо закусывал, был полон оптимизма. Уже знал, какой подарок купит дочери. Да и Маше надо что-то купить. 8-е Марта завтра. А Ирине – только платок. Длинный. До пола. Пестрее пёстрого. Чтобы была в нём цыганкой Азой. Точно!

Со двора к маршрутке вышел в половине пятого. Остановившаяся каталажка горела, дрожала в темноте. Чем-то походила на пустой сонный аквариум.

С небольшой дорожной сумкой – влез. Назвал свою фамилию и имя. Как согласившись с ним, свет сразу вырубили. В темноте нашёл руку Евгения, пожал. Уселся рядом. Поехали. Тихо разговаривали. Город спал. В окна залетал яркий свет от фонарей. Ещё останавливались, собирали людей. Наконец выехали за город и помчались. Агеев, будто получив команду, тут же уснул. Табашникову оставалось одному смотреть в окно.

Проносились огоньки станиц. Почему-то виделась там Маргарита. Которая всю ночь пролежала у него на груди. Словно говорила: никому не отдам! Даже близости не было. Что бы ей

такое купить на 8-е Марта? Надо походить по маркетам, выбрать не торопясь. Время до обратной маршрутки будет много.

3.

На железнодорожном переезде женщина, похожая на апельсин, шла к шлагбауму и одновременно говорила по телефону. Начала крутить колесо, поднимать полосатую длинную штангу, по-прежнему не отрывая мобильного от уха. Так и ругалась в телефон, что-то кому-то доказывала, пока прыгали мимо неё через переезд.

Было уже совсем светло. Летели мимо сырые поля, кое-где ещё в лужах со льдом, чёрные деревья с проклюнувшимися почками.

Агеев проснулся. Пробовал раздетый, душевный после сна голос. Конечно, полез по проходу вперёд, пробрался и склонился к шофёру. Тот остановил без разговоров. За стариком вышло ещё несколько человек. Пока ждали, Табашников невольно вспоминал говнюка Семёнова. Его шуточки над пассажирами, насмешки. Его сволочную спину, когда он «не слышал» просьбы пожилой женщины. Как с ругательствами остановил, наконец, машину.

Влезли все, расселись, и снова шофёр погнал. Агеев был свеж и полон впечатлений. Как будто не просто постоял за чахлым кустом, разглядывая его и слушая резкие скрипы какой-то птицы, а по меньшей мере побывал в планетарии и увидел все звёзды солнечной системы. «Весна, Женя, весна! Птицы забуждыривают!» Посмеялись. И решили закусить. Подкрепиться. С собой были и пирожки Маргариты Ивановны, и паровые котлетки Марии Никитичны. Да и вода чистая бутылочная есть. Путешествуй – не хочу!

На автозаправке перед Краснодаром опять вспомнился шофёр Семёнов, его «сейчас вас встретит специально обученный человек с высшим образованием».

Всё та же женщина-контролёр тяжело влезла в маршрутку, поздоровалась с пассажирами, взяла у шофёра список и начала собирать деньги. «Вы где сели, дедушка?» – вежливо спросили у Агеева, сидящего в тени. Тот несколько оторопел от такого звания, но чётко сказал – где. И даже пояснил: «Вот мы, значит, два дедушки. Едем. За нас, значит, двоих». С «высшим образованием» разглядела бодрого младожавого старика. Извинилась, взяла деньги, двинулась дальше. А Табашникова подмывало спросить её, как поживает шофёр Семёнов, здравствует ли, где работает. Наверное, повышение получил.

Тугая струя в унитаз в туалете при магазине за площадью казалась нескончаемой. За всю дорогу не вылез в кусты ни разу. В отличие от дедушки Агеева.

4.

В городе то неслись по широким улицам, то стояли. У светофоров. То опять неслись, то снова стояли. Разглядывая в дырах и дырках недостроенных домов сквозняки от утреннего солнца.

По трапу в «Титаник» забрались с мореходами кавказской национальности ровно в восемь. На всех этажах уже поджидали *димоны* и *егоры*, готовые к стрижке мигрантов (ночевали, что ли, здесь? или подкопом проникли?). Но Табашникову они были не нужны – первым подбежал к 10-му окну и заткнул его собой: вот он я, приехал, давайте скорей вид на жительство. Агеев загораживал друга, защищал, чтоб не напирали. Особенно буйные женщины. «В очередь, в очередь, граждане!» Прямо координатор. Новоиспечённый *димон*. Или *егор*.

Проверив, пролистав, взяли всю папку и паспорт. Сказали явиться в 12 часов. К кабинету 506. То есть на пятый этаж. Ну, куда теперь? Да в магазины же. Подарки покупать.

Неподалёку от Титаника ждали время, чтобы попасть в громаднейший супермаркет площадью со средний жилой квартал. Мимо ждущих покупателей к стеклянному входу шли и шли молоденькие девчонки в плащиках. Продавщицы. А также их начальницы. Дамы поплотней, посолидней.

Внутри к высоченному стеклу потолка нужно было круто задирать голову. Везде журчали фонтанчики, произрастали пальмы (в кадках, правда), напахивало приятным искусственным климатом. И нигде никаких перегородок. От обилия товаров на стеллажах – голова кругом, но девушки в одинаковых куцых костюмчиках сразу подходили, подсказывали. Когда видели, что бесполезно (наш случай, бестолковые два пенсионера), сами вели, куда нужно. Как слепцов. Чуть ли не за руки. «Мне бы платок. Как у цыганки», – всё трындил Агеев. Девушка долго водила его от стеллажа к стеллажу. Постепенно теряла японскую улыбку, злилась. Наконец сама завернулась в жуткую пестроту до пола. «Во! – вскричал старик с горбатым носом. – То, что надо! Цыганка Аза!» Старый придурок. Любовницу ещё, наверное, имеет, заворачивала подарок продавщица. «Да для дочери, милая девушка! Для дочери! Помириться хочу!»

С Табашниковым было проще – почти сразу получил крутой фен для женских волос. В коробке. Маргарита как-то обмолвилась, что фен у неё сломался. Вот и вспомнил. Но тоже требовал. Чтобы открытка была. С 8-м Марта.

Уже вышли из секции, и Агеев хлопнул себя по лбу. Как же забыл! Ринулся обратно. Продавщица напряглась: что такое! «Для Маши, для Маши, милая девушка. – Выхватил из развески первый попавшийся платок: – Заверните, пожалуйста. И открытку, открытку туда. Не забудьте».

Глотали тархун, приходили в себя на раскрытом кафе второго этажа. Внизу везде бегали одни мужики. Если приглядеться – с тоскующими глазами. Что купить, где? Да-а. Тяжёлое испытание мужичку выпадает один раз в год. Тяжёлое. А попробуй не купи, приди пустым. Трудно даже представить, что тогда будет. Да-а. День рождения ладно, там законно. Заранее можно купить. Сэкономить. На пиво. Ты там один. А здесь ты в куче. И бегай, выпучив глаза. Пока не расхватали. Что подешевле.

В каком-то сквере копались в развалах книг на фанерных раскладных столах. Унылые библиофилы распродавали здесь свои библиотеки. Понятно, что не от хорошей жизни. Купили у них по паре стоящих книг. Заложили в сумки.

С каким-то графоманским блеском в глазах потирали руки возле своих аляповатых картин самодеятельные живописцы. Дальше по обе стороны – детские игрушки, красиво упакованные сувениры. На косых высоких стеллажах.

Табак вдруг стал перед красивой куклой с очень синими глазами. В пышном платье. С взблескивающими жемчужинами на взбитой причёске.

– Сколько эта кукла?

– Сто.

– Рублей?

– Ты припух, дядя?.. Долларов! Эксклюзивная работа!

Малый больше смахивал на блатного в кепке из пятидесятых, чем на продавца эксклюзивных кукол.

Табашников неуверенно пошёл. Агеев уже знал, что будет дальше. «Не вздумай, Женя! Пожалей деньги!»

Но Табак был уже возле куклы. Доставал бумажник. Выдернул из отдельной тоненькой пачки сто долларов – на!

В кепке схватил бумажку, глянул на свет – и сразу стал другим. Быстренько снял куклу с раскрытой коробкой, закрыл, мгновенно обернул синей лентой и красиво завязал:

– Пожалуйста! Ваш ребёнок будет рад! – И чуть не кланялся вслед: – Приходите ещё! Куклы у нас эксклюзивные. Мастерница живёт в Санкт-Петербурге.

«Зачем купил, зачем? – уже скрёб Агеев. – У Юльки полно таких кукол. Она отрывает им ноги. Зачем?»

– Такой красотке ножки ломать не будет. (Рука не поднимется?) Сразу полюбит её, – почему-то был уверен Табак. Шёл, прижимал коробку с куклой к бедру. Даже не засунул ни в одну сумку. Ни на плече которая, ни в левой руке, где был фен.

Без десяти двенадцать, как штык, были у 506-го кабинета на пятом этаже. Табашников ходил взад-вперёд. Без папки и паспорта явно нервничал.

– Спокойно, Женя, спокойно, – торчал при сумках на диванчике Агеев. Тоже напряжённый. Как кол.

Почему-то никого возле 506-го не было. Напутали что-нибудь? Не в своё время пришли? Но ровно в двенадцать дверь приоткрылась:

– Заходите.

Женский голос. Даже лица не показала. Табашников обогнул дверь и будто втиснулся за неё.

Теперь Агеев нервничал, поглядывал на часы.

Прошло пять минут. Потом десять.

Наконец, дверь опять чуть-чуть приоткрылась и, не нарушая порядок (традиции) этого кабинета, Табак вылез из щели в коридор. Глаза его были несколько безумны. Мужчинка с большой головой отирался платком.

– Ну? – подступил Агеев.

– Вот, – ответил друг и отдал паспорт: – С красной блямбой теперь. Поставлена.

Верно, разглядывал «блямбу» Агеев. Красная жирная. Размазанная даже. Будто и не видел точно такую же в своем паспорте. Точно. Она.

Рассматривали оба. Как два тупаря. Всё не верили. И вдруг со смехом начали колотить друг друга по плечам. Поддавать друг дружке. Как подзуживать на драку. Ну ты козёл! А ты – козлиная! Ха-ха-ха!

Из двери высунулось злое женское лицо, подпёртое погонами. Обнаружило на этот раз себя:

– Вы где находитесь!

Прикусили языки. На цыпочках пошли. С сумками, с коробками. Оборачивались, прикладывали руки к груди.

– Безобразие! – захлопнулась дверь.

Тогда чесанули. Как пацаны. На лестнице чуть не переломали себе ноги.

5.

Кафе называлось «Мы у Вани».

И прошли бы, наверное, мимо, но за широким стеклом увидели некую висящую колокольню из цветочных горшков с цветами, растущими почему-то вниз. Что за хреновина! Зашли. Сели за столик, по-прежнему таращась на необычные колокола. В которых, казалось, застрял зелёный взлохмаченный звон.

Подошёл официант. В белой высоко застёгнутой куртке. Больше похожий на Герберта, чем на Ваню. Никаких красных рубаш и кокошников вокруг. Выслушивал, не записывая. Ушёл. И почти сразу принёс графин, два мясных салата и сыр. «Приятного аппетита», – умёл поднос со стола.

Через какое-то время колокольня с цветами была забыта – наперебой говорили, едва успевая опрокидывать и кидать в рот вилками закуску. И всё хвалили самих себя: ах, какие мы молодцы, как ловко всё провернули.

– ...Она мне, главное, говорит: а где у вас купчая на дом? Ехидно так говорит, с подвохом. А я хлоп купчую на стол: вот она, уважаемая. Она и заткнулась...

– А я сию, жду. Нет и нет. Ну, всё, думаю, пропал, опять завернули. А ты – вот он: с паспортом, с печатью. А-а, знай наших! Уж если от Кугель колобок убежал, то уж от этой-то и подавно. А как она заорала на нас. А? В коридоре. Аж затряслась, бедная, вся, ха-ха-ха...

Потом, когда захмелели, сидели под горшочной колокольней с появляющимися цветами – грустно. Как два звоняра, оставшиеся без работы. Не знали, то ли ещё заказать один, стеклянный, пузатый, то ли – хорош.

Пошли на компромисс. Подозвали, попросили: «Нам бы по сто грамм только. На посошок. Сделай, друг». Официант двести граммов принёс, но как только проглотили – сразу расчёт на стол. Сколько выпили и съели. Опытный. Ну что ж, отлично. У Вани долго не засиживаются. Оба напялили зачем-то очки. Крутили в руках бумажку. Но цифру всё же поняли. Полезли за бумажниками. «Я». – «Нет я!» Табак победил. Выложил за всё и сверху пятьдесят рублей припечатал. На чай. «Спасибо, друг. Молодец!»

Пока одевались и собирали вещи, говорил по секрету. Кивая на уходящую белую куртку: «Новая поросль официантов. Ни грамма лакейства. Все застёгнуты до горла. Лорды». Ага, согласился Агеев, полсотни взял и не поперхнулся.

Погода в Краснодаре была прекрасная. Солнце сияло. Слегка покачиваясь, но бодро (лёгкая степень опьянения) шли в расстёгнутых плащах со сдвинутыми на затылок шляпками. Наплечными сумками и подарками в руках слегка задевали встречающих, но душа была нараспашку. Солнце же сияет, граждане, всё прекрасно.

О полном триумфе победителей две женщины в далёком городке уже знали. Теперь пытались отследить, правильно ли победители идут, в том ли направлении. Не свернули ли в очередную пивную. Всё время звонили. Гена! Женья! Где вы сейчас?

Звонки любимых женщин взбадривали. Не давали расслабиться. Останавливались победители. И снова, чуть покачиваясь, отвечали. То один, то другой. Говорили, что погода в Краснодаре прекрасная – и жизнь... тоже прекрасная! «Да где вы сейчас? Куда идёте? Ало, ало! Гена! Женья!» Нодвигающиеся на карте города два маячка были уже повреждены. Барахлили, глючили, и диспетчерам трудно было понять, где маячки находятся и двигаются ли вообще. «Всё нормально! – коротко и даже сердито хрипело в трубках. – Мы знаем... Рита, готовь фату... ЗАГС... 29-е... Как штык...» Вот черти! Набрались-таки!

Пока шли к автовокзалу, посетили ещё два кафе. Но – умеренно. На автовокзале мимо маршрутки промахнулись. Однако вовремя вернулись. И даже влезли в неё одними из первых. «Вот они мы, – доложил шофёру Агеев. – Два дедушки. Табашников Евгений Семёнович и Агеев Геннадий Андреевич». Просим любить и жаловать.

Теснились у двери, не давая влезать другим, и упали на первые два сидения. Опять же возле двери. Смотри, как повезло. И дорога будет как на ладони, и в кусты – первыми! Особенно тебе, деда.

Шутили, подталкивали друг дружку. Втихаря даже глотнули из миниатюрного фунфырика. Бутылочки, которую запасливый Табашников купил в дорогу в последнем кафе. В буфете.

Поехали.

Весёлый, раскованный, на автозаправке за городом Табак всё же спросил у полной женщины (специально обученного человека), куда подевался шофёр Семёнов. Почему его не видно? Скучно, знаете ли, без него в дороге. А? Оказалось, что Семёнов уволен. Нарвался на какого-то влиятельного начальника, случайно попавшему к нему в маршрутку. «И на другой же день выгнали засранца, – не без злорадства закончила женщина. – Вот так. Счастливого пути, товарищи!»

Агеев сразу начал приставать. Кто такой Семёнов? Расскажи, Женья. Но Табак только подленько хихикал, переваривая новость. Агеев настаивал, лез. Тогда заткнул его бутылочкой. Как младенца соской. А сам всё хихикал.

Однако и Семёнов закувыркался куда-то за горизонт, и вновь летели за окном весенние поля, перелески, весенняя природа. И опять душа радовалась, пела. Прикладывались и прикладывались к бутылочке. Уже ко второй.

Вдруг впереди Табак увидел рощу. Ту самую. С пустыми искривлёнными стволами. Взывающими к небу. «Смотри, смотри! Вся жизнь наша изломанная летит. Во, пролетела. Осталась позади. Гуляй теперь, Гена! Теперь всё у нас будет хорошо! Слышишь?» Но голова друга уже плавала. Бурая, лысая, явно стремилась упасть в проход.

Табашников тут же разбудил. Заставил пересесть на своё место у окна. Помогал, направлял. Будто вялого монстра. И друг влез-таки на его место. И сразу привалился с ладошкой к стеклу. Ну, вот и хорошо, успокоился Табак. И отхлебнул по этому поводу. Отметил переселение друга. Под укоризненным взглядом старухи через проход. «Не желаете?» – протянул бутылочку. Старуха отпрянула от фунфырика, как от чёрта.

Потом надолго задумался, загрустил. Вспоминал далёкую родину, куда вряд ли когда-нибудь придет, вернётся. Где остались могилы матери и отца. Где сам оставил всю свою жизнь.

На переезде под вечер опять стали. На этот раз оказались вторыми. Впереди только задастая хонда. Агеев спал, Табашников – крутил головой, ничего не мог понять: на удивление, Апельсин в жилете всё так же ругалась по телефону. Однако одновременно закрывала переезд. Вдруг начала крутить бандуру в обратную сторону. Поднимать железную штангу. Ошиблась перед этим, что ли?

Первая машина тронулась, переехала рельсы. Дальше всё произошло мгновенно. На машину с Табашниковым и Агеевым налетел ревуший товарный. Ударил, метров двадцать протаскил и отбросил. Как игрушку с высокого полотна...

Агеев у окна погиб сразу. Табашникова вытащили из искорёженного железа. Он долго мучился, умирал. И умер в небе, в медицинском вертолёте. Живым до областной больницы не долетел.

6.

На похоронах тестя и его дружка Валерий не был. Спрятался где-то в сараях. В одном из трёх. Потерялся.

Когда за женой заехали и увезли на кладбище – вылез из укрытия. Если точнее – из «укривища», как сказал бы писатель, всласть поковеркавший русский язык. Пошёл варить новую беседку. Прямо перед домом.

Сидел как длинноклювый скворец на самой верхотуре железного сооружения – искры сыпались во все стороны.

Прервался, откинув шлем. Спросил у двух проходивших старух:

– Правда, красиво? Старые?

Старухи не подняли голов. Боялись только одного: не наступить, не зацепиться за раскиданные провода под током.

Валерий опустил шлем, вновь углубился в сверканье. Глаза счастливого дурака смотрели через века.

2019 г.

Рафаэль ШУСТЕРОВИЧ

САРАБАНДА

аллегория осязания

В начале было касание, – поежилась протоплазма, –
что мне пророчит этот безумный Брайль
кроме непостижимого спазма,
который не может соврать?

Так коготком игла тревожит бороздку шеллака,
так обнимают мрамор, прижимают гранит,
так завершается безнадежная драка –
но еще болит.

Не вуаль ли Страцца, не мезонное ль облако,
входом в черный туннель?
Перед последним обмороком
шиповник, крапива, хмель.

NN преследуют две-три случайных фразы:
«зло, погибая, оставляет метастазы»,
«уймись, гордыня»...
Бредут слепые, не ощупывая почвы,
в себе и в спутнике не признавая порчи,
горчит пустыня.

Беги, NN, один, химерами гонимый,
в воображении своем незаменимый,
рудиментарный,
когда еще ты снова сможешь кодом речи
отточить что-то непреклоннее и резче
во тьме словарной.

Рафаэль Шустерович родился под Москвой, жил, учился и работал в Саратове, с 1993 года в Израиле. По профессии инженер-физик. Поэт, переводчик стихов с английского и других языков. Публиковался в журналах «Крещатик», «Иерусалимский журнал», «Интерпоэзия», «Зарубежные записки». Автор «Волги» с 2010 года.

сарабанда

Гейнсборо, Гендель, пудра на лица,
Выпад уколом из-за спины,
Все же придется поторопиться –
Масť отложилась, карты сданы.

Барри мой, Барри, где твоя слава;
Глаз насторожен, рука горяча.
Там, где сокровище – там и отрава,
Бейте наотмашь, рубите плеча.

Листья горчащие, свет незакатный,
Свадьбы небесные, приступов дым.
Только доверься меченым картам –
Как по листе, ускользаешь по ним.

Родина детство, так ли неправы
Те, кто бежать не желает от грёз...
Линдон мой, Линдон, где твоей славы
Подвиг младенческий, вызов желёз.

корона

*Дубы бывые ныне торф, но вязы лезут вверх.
Джеймс Джойс. Поминки по Финнегану*

Под вязом отрыли корону империи.
Такого еще не бывало в истории,
Не зря мы замечены в високомерии,
Хоть это уже из другой категории.

Поручим конторе распутывать дело –
Рентген, микрошлифы и генный анализ:
Пока здесь бурлило, пылало, кипело,
Столетия прошли, времена поменялись.

Где солнце? Над дубом. Где бездна? Под вязом.
Где зритель? В полях, на трубе – он в наличии,
Нанялся в спецназ, покалечен спецназом...
А всё же – величие. Всё же – величие.

кафедра

памяти Алексея Ивановича Гуляева

О, урок анатомии доктора Тульпа,
Чем ни тешится злая – чума ли, простуда, –

В расфуфыренный театр – рукава с кружевами –
На скоблённый помост попадаем мы сами.

То ли зритель ты здесь, то ли тема разбора,
То ли сам оператор, сменяемый скоро, –
Все при деле, всё в тон устроителю сцены,
Все нужны – и для хода урока бесценны.

Воздымаешь ты руку со скорбного ложа –
На живого тебя это больше похоже,
И из дали венозной, серозной, желтушной
Озаряешь улыбкой своей прямодушной.

Аве, царь препаратов, распахнутых почек,
Васильковых оттенков для будущих строчек,
Составитель трактатов, касик семинаров,
Проповедник тавлей, отражатель ударов,

Сам принявший удар от бесстрастной науки
Побеждать – и уже умывающей руки...

наброски

Дородный шах сражает тигра.
И выразительно, и тонко.
Менада тирсом бьет сатира,
Изида пестует ребенка.

Бог солнца обдирает кожу
С зарвавшегося конкурента, –
И я, зевака, все итожу
Детали яркие момента

И полагаю: в малых формах
С тобой мы сохранимся где-то –
На черепках нерукотворных,
В хламидах вольные одеты.

Что может быть земли надежней,
Добротней обожженной глины –
Для каждой выходки острожной,
Рассчитанной до половины?

И ты стило ведешь, и точной
догадкой воскрешаешь плоскость –
и лист бессмертный, непорочный
летит в раскрывшуюся пропасть.

второй пленэр

– Слишком фигуративно.

– Что?

– Слишком фигуративно, чтобы стать правдой. Поляны диких орхидей, коленца тесаного водопада. Выветренная клинопись известняков, вздыбленный хребет, холмики тающих градин у ног лазоревых горечавок. Застывшая грузноватая серна, выбирающая, куда прыгнуть. Осыпной перевал и тропа, нисходящая в туман. Еще текучий, янтарь соснового урожая. Двадцать тысяч тогдашних предательств против впятеро меньшего числа безнадежных гордостей. Надо убрать все это, разбросать несколько слов на тонированном листе:, мазнуть по ним черной краской: //.\.\./ / ..//.\.\./ /.\.\./ /.\.\./ ... Пусть каждый хоронит свое забвение, пусть каждый ласкает свой черный подсолнух.

династическое

Господин из Ришон-ле-Циона,
оснащенный традиционно
альпенштоком, ботинками, шляпой,
перепрыжкой слегка косолапой
сочетающий камень и камень
на тропе, в неуверенной карме,

господин из Ришон-ле-Циона,
выступающий грациозно,
попирающий влажные склоны,
где купены и анемоны,
подбирающий землянику –
на чужую долину взгляни-ка:

там, почти не имея веса,
голубянки парят и ванесса,
и туман рождается белый
над упрямой рекой пеннотелой,
и молчит на обрыве рябина
в ореоле внезапного сплина.

Господин из Ришон-ле-Циона,
семенí безапельяционно
по альпийским лугам необъятным
с ощущением каким-то невнятным,
что-то древнее вспоминая:
где нет ада – не надо рая...

счастливой годовщины

Чешуя жестяной рыбы дребезжит на перекрестке,
облетают хлопья краски с «Рюмин, Лямин и Ко»,

назирая, ходят парой хулиганы-переростки,
бесконечно повторяя горделивый цикл Карно.

Снова немцы портят вечер бесконечным понуканьем,
и судьбой бомбардировщик так несправедливо сбит,
что не видится различий меж Хайдеггером и Кантом,
и глаза газет закрыты, только трубный глас трубит.

Лейся, флейта, взвейся, песня, ной, походная жалейка,
остывая на лицах, метка от прощальных новых губ,
оглянуться – хоть ты тресни: суть-индейка, жизнь-копейка,
кто он, этот Рюмин-Лямин, всё бы высказать ему б.

культпросвет

музей материальной культуры
зал опалубки и арматуры

казематы убежища доты
архитекторы дутов зотов

папских замков подвалы до закладки вин
по ядру к ноге и вот ты один

так человека прячут от человека
приручи таракана и то утеха

стендовый доклад о структуре цемента
в свете исторического момента

расчеты толщин и прочности стен
чтобы уже не достало совсем

что же в стенку стучат стучат
не иначе весточки от внучат

Сергей БОРОВИКОВ

ЗАПЯТАЯ – 3
(В русском жанре – 63)

””

Долго не мог понять, и думаю, не я один, совершенно особого отношения советской власти к Олегу Ефремову.

То было не просто снисхождение к слабостям, где он был не исключением: на разводы и запои худруков власть смотрела куда безразличней, чем министров, секретарей обкомов или генералов.

Полностью не объяснить этой исключительности ни женским расположением Фурцевой, ни даже его социально близкими ухватками. В конце концов не один он был такой, а вот пил больше других, и дерзил круче, и даже идейно спотыкался, за что другие руководители с должностей слетали. А самоуправляемая структура рожденного им театра!

И всё-таки, кажется, понял: было в нем что-то не напоказ, глубинно людям власти родное, прежде всего безжалостность, вне которой и не может быть власти. Мне скажут, что сама должность худрука требует жесткости, что жестокими в своих театрах были Товстоногов, Гончаров или Любимов. Но именно природная, а не приобретённая в силу безжалостности театрального дела вообще, и главного режиссёра особенно.

Он был им подлинно *свой*, и как бы ни взбрыкивал, таковым и оставался, тогда как далёкие от политики Эфрос или Тарковский изначально и всегда были чужими и в подозрении.

””

Году в... нет, точно в 1997-м, когда мне исполнилось 50, редакция журнала «Волга» в лице моего зама Н. Шульпиной предприняла попытку эту дату чем-то, кроме редакционной пьянки, отметить, и с тем сходила в уже какие-то новые, всё еще непривычные структуры областной власти, чтобы попросить для меня звание заслуженного работника культуры России. Там, по словам ходатайки, крайне удивились такой фантазии и на корню пресекли.

А какие писатели (т.е. члены СП) Саратова имели звание «Заслуженный работник культуры»? Оказывается, совсем немногие: Н. Чернышевская, Н. Палькин, В. Гурьянов, В. Мяснян, Ю. Никитин, И. Шульпин.

Почему они? Ну, Чернышевская потому, что внучка, Палькин потому, что Палькин, остальные, надо думать, потому, что были ответсекретарями саратовского отделения СП, но почему тогда не дали заслуженных таковым же Б. Озерному, Г. Боровикову, М. Котову, В. Казакову, В. Сафронову, В. Бирюлину? К тому же в справке о Ю. Никитине сообщается, что в 1998 году «выходит из членов Союза писателей России в знак протеста против непрофессиональной литературной политики», а награда нашла героя в 2003-м... Стало быть, бывшие собратья по СП никак не могли представить его на звание, но кто же? А он сам вспоминает о своей книге «Царские забавы»: «Первым покупателем был губернатор, Д.Ф. Аяцков... говорил при вручении мне звания “Заслуженного работника культуры”, что подарил ее В.В. Путину, вице-спикер В.В. Володин подарил страстному охотнику С. Ястржембскому...»

Звания при всех режимах были куда важнее ордена, так как давали заметную прибавку к пенсии.

О них у меня был разговор с заслуженным деятелем искусств РСФСР Е. Водоносом. Слыша его жалобы на постоянные гонения и притеснения за инакомыслие, однажды спросил: как же тебя так отметили? Ответ Ефима был: не знаю, группой награждали. Но тогда искусствоведов, да ещё лиц еврейской национальности, да ещё с репутацией инакомыслящих, группами, да и не группами, не награждали.

И, поразмыслив на эту, скорбную для меня (пенсия за июнь 2019 г. 13 862 рубля), тему, я решил, что получает от государства звания лишь тот, кто очень хочет их иметь.

””

Саратовский поэт, вернувшись из дома творчества, делился: «Девяносто четыре стиха! Полторы тыщи строк, веришь, за месяц. Отвлечься невозможно, только, извиняюсь, в туалете сяду – бац! накатило, бегу к столу. Вот так. И поэму начал».

Вот добытый Алексеем Голицыным протокол партийного собрания саратовской писательской организации от 10 апреля 1958 года, на повестке которого стояло персональное дело коммуниста Ф. Кабарина.

«СЛУШАЛИ: Персональное дело Ф.В. Кабарина

Докладывает тов. Тобольский. Первый факт. Кабарин не выполняет обещания, данного собранию. После собрания, на котором стоял вопрос о снятии взыскания с Кабарина, его видели в ресторане и пьяным на улице. (Приводит примеры). Другой факт. Тов. Кабарин, как профорг, неправильно ориентировал обком союза работников культуры в вопросе выделения кандидатов из числа писателей на почетную грамоту ЦК союза за оборонную работу.

Третий факт. Кандидат философских наук тов. Иванов сообщил в Союз писателей (Котову и Тобольскому) о своем разговоре с приемным сыном Кабарина. Приемный сын сообщил Иванову о безобразном поведении Кабарина дома, о том, что он осыпает свою вторую жену площадной бранью.

Партийная организация пыталась помочь Кабарину устроиться на работу, но он не воспользовался этой помощью, как видно сам Кабарин не заботится о своем трудоустройстве. После всего этого я не считаю себя вправе защищать в райкоме решение предыдущего собрания о снятии выговора с тов. Кабарина, который был ему вынесен в свое время за утерю партбилета.

КАБАРИН: Я уже не первый раз объясняюсь по одному и тому же вопросу. Последнее время (после собрания) я не выпивал. В ресторан заходил обедать, был трезвым. О семье. С женой у меня размолвок не было. Были размолвки с приемным сыном. Я устраивался на работу в совнархоз, но мне по существу отказали. Думаю в конце апреля уехать в другую область. В отношении списка писателей на почетную грамоту. Меня попросили из обкома составить список о выступлениях читателей в воинских частях. Я такой список составил, не зная, для чего он нужен.

На детей от первой жены я деньги все время переводил. Сейчас я не работаю, но по мере возможности помогаю первой семье. В прошлом месяце перевел 300 руб.

БОРОВИКОВ: Тов. Кабарин, ты считаешь, что заслужил почетную грамоту за оборонную работу?

КАБАРИН: Нет.

БОРОВИКОВ: Какие меры ты принял, чтобы этот вопрос был решен правильно?

КАБАРИН: Я собирался заявить об этом, но не знал, как это сделать.

БОНДАРЕВА: Меня в данном случае не интересуют его семейные дела и история с грамотой. На прошлом собрании все по-человечески подошли к Кабарину. Он дал слово партийному собранию. И должен был сдерживать его. За эти дни я не видела Кабарина пьяным, но я слышала все разговоры в союзе и верю им. Я верю Кабарину, что он не помнит. Это стало для вас обычным. Все слова, которые я высказала на прошлом собрании, я беру обратно. Я не могу больше верить Кабарину.

ОЗЕРНАЯ: Жалоба сына пока что не очень основательна. Принимать ее во внимание не следует. Но что касается выпивок, здесь идти на поводу обещаний Кабарина нельзя. Надо отложить решение вопроса о снятии взыскания с Кабарина и посмотреть, как он будет вести себя.

БЕЛЯЕВ: Постановка вопроса о Кабарине не подготовлена. Всплывает ряд обвинений, но они не подкреплены достаточно фактами. Вопрос о пьянке. Кто видел? Корректор. Можем ли ему верить.

ТОБОЛЬСКИЙ: Я сам видел Кабарина пьяным около рынка.

БЕЛЯЕВ: Ведь никто не говорит о том, что нельзя выпить рюмку. Нужно знать меру. Выступила Бондарева, а фактов нет. Это не серьезная постановка вопроса. Надо было выделить комиссию для расследования фактов.

ТОБОЛЬСКИЙ: Тов. Декатов, выпивали вы с Кабариным после собрания?

ДЕКАТОВ: Да. Действительно, мы с Кабариным выпивали, но ничего недостойного не было.

ТИМОХИН: Факты выпивок после собрания налицо. Они говорят о том, что нужно задержать решение предыдущего собрания. Предлагаю выделить комиссию для расследования его поведения в семье.

БОРОВИКОВ: Все мы желаем Кабарину добра. Никто из нас не занимается злопыхательством. В том, что Кабарину трудно устроиться на работу, виноват он сам. Надо прекратить хождение по ресторанам по любому поводу. На прошлом собрании Кабарин дал слово, но нарушил его. Кабарину надо вообще отрешиться от выпивок.

БОНДАРЕВА: Меня удивило и обидело выступление Беляева. Тон был такой, что мы все злорадствуем по поводу Кабарина. Мы все желаем Кабарину добра. Я удивляюсь тов. Декатову, который разделит компанию с Кабариным.

БЕЛЯЕВ: Я не собирался брать под защиту Кабарина. Я хотел, чтобы мы лучше разобрались. Конечно, если есть данные о выпивках Кабарина, надо отменить решение предыдущего собрания.

ПОСТАНОВИЛИ: (решение прилагается).

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. – (Кабарин) (Так! – С.Б.)

СЕКРЕТАРЬ. – (Тимохин)

Заслушав и обсудив сообщение секретаря парторганизации Саратовского отделения Союза писателей тов. Тобольского о новых фактах недостойного поведения члена КПСС тов. Кабарина Ф.В., партийное собрание постановляет:

1. Отменить решение партийного собрания Саратовского отделения Союза писателей от <...> марта 1958 года о снятии с члена КПСС тов. Кабарина Ф.В. партийного взыскания – строгого выговора.

2. Самым строжайшим образом предупредить тов. Кабарина, что если он немедленно не сделает для себя соответствующих выводов и будет продолжать вести себя недостойно, он будет привлечен к суровой партийной ответственности.

3. Рекомендовать тов. Кабарину трудоустроиться, а коммунистам т.т. Котову и Тобольскому помочь ему в этом, договорившись с соответствующими организациями.

4. Рекомендовать профсоюзной организации Саратовского отделения Союза писателей рассмотреть вопрос о возможности дальнейшего пребывания т. Кабарина профгором».

Юмор в том, что Коновалов, Тобольский и Тимохин мало чем уступали подсудимому по алкогольной части, за что и бывали наказаны по партийной части, но, в отличие от него, социального статуса не теряли. А все прелести вроде присвоения грамоты или хождения в ресторан из-за болезни жены читатель, думаю, оценит.

«Кабарин Федор Васильевич – журналист, поэт, прозаик Фёдор Васильевич КОБЫЛИН (настоящая фамилия) родился около 1925 года в деревне Тюли Ханты-Мансийского района. После войны жил в Кишинёве, где и опубликовал сборник стихов «Очень весело у нас» (1953). Затем жил в Саратове, там вышел его роман «Самарьяне» (1964). В саратовской периодике публиковал рассказы, очерки, стихи, переводы с украинского. НФ-повесть Кабарина «Сияние базальтовых гор» вышла и в Кишинёве (1956), и в Саратове (1957). Умер писатель после 1975 года».

В Сети можно прочитать не раз издававшееся «Сияние», где есть и старый бородатый профессор, и его ученик-изобретатель по фамилии Споряну (автор жил тогда в Кишиневе), за которым охотится иностранная разведка, есть полковник с седыми висками и шпион Эмиль Яковлевич Фирсун, «жгучий брюнет, внешне напоминавший кавказца».

В начале 60-х годов Кабарин, уже исключенный из партии, а в СП окончательно не принятый, работал грузчиком в Саратовском облкниготорге – последнем месте навсегда проштрафившихся «бывших». Там был редактор рязанской областной партийной газеты Афанасьев, с которым при встрече мой отец непременно останавливался побеседовать; я знал от мамы, что во время войны тот выручил её, забиравшую из рязанского госпиталя отца, с проездом до Саратова. Приятный был дядька, чего нельзя сказать о Кабарине, сохранявшем при грубом от природы и запянянцовском облике черты крайнего «писательского» высокомерия.

Погрузившись в текст «Сиянья базальтовых гор», долго не мог оторваться не по причине литературных достоинств, коих конечно нет, а по какой-то образцовой советско-писательской пошлой подлости в её приключенческо-гэбешном варианте. И я задался вопросом: каким образом человек мог прийти к этому жанру и каким образом органы могли поощрить его в этой работе? Не буду гадать про поощрение материальное – в конце концов им был немалый гонорар, имею ввиду помощь творческую.

Кто были авторы советских шпионских книг? Было их не так много: от талантливого Григория Адамова до таких как его бездарный сын Аркадий, столь же бездарные Николай Томан или Василий Ардаматский, всего думаю, десятка три, почти исключительно москвичей. Линия более-менее продолжалась до конца СССР, замкнувшись на Юлиане Семёнове.

И вот в 50-е годы живёт в Кишиневе начинающий русский поэт, много пьющий и мало пишущий, и вдруг выпускает толстую шпионскую повесть.

Много пьющие и мало издающиеся поэты жили тогда повсеместно, но за такую работу не брались. Сочинять здесь полностью из головы невозможно, нужен специфический сюжет и наполнение его спецфактурой. И почему в подобных книгах так всё липово?

Вот свидание вражеских агентов в кафе:

«Наконец, он услышал за спиной голос:

– Прошу за мой столик, товарищ, здесь больше света.

Фирсун обернулся. За столиком у окна сидел одновременно с ним вошедший в кафе человек неопределённого возраста с пергаментного цвета лицом. Фирсун взял свой стакан, пересел за столик у окна и осмотрелся: поблизости никого не было. Официантки переговаривались с буфетчицей в противоположном конце зала. Незнакомец заговорил полушёпотом:

– Персональное задание разведцентра вам, “Брюнет-прима”, – сфотографировать чертежи двигателя Споряну. Вы имеете доступ в ЦАВИ. Командировку продлим... Через несколько дней встретимся. – Незнакомец поднялся, сказал нарочито громко: – Благодарю за компанию. До свидания! – И вышел.

Минуты через две покинул кафе и Фирсун, думая: “Легко сказать: сфотографируй. А если замят?..”»

Вот красавица-балерина, ставшая сотрудницей органов. Советскому читателю полезно узнать, как это бывает:

«Ей вспомнился первый разговор с полковником Вересаевым. Вспомнилось, как она сама взялась за опасное поручение и как с тех пор самозабвенно служила этому делу.

Начинающая балерина Наташа пришла на этот тернистый путь по велению сердца. Вращаясь среди поклонников балета, она заметила однажды молодого человека, упорно искавшего знакомства с семьёй профессора Кремлёва. Это и привело её к полковнику Вересаеву – отцу её школьной подруги. Он внимательно выслушал Наташу, но не поверил в её предположения.

– Ну, благодарю вас, Наташа. Факты любопытны. Но об этом никому ни слова. Если будет удобно, наблюдайте, запоминайте, с кем встречаются художник и этот молодой человек. Неплохо было бы ближе познакомиться с ним.

– Мы немного знакомы.

– Очень хорошо. Но будьте осторожны. Не слишком назойливы в наблюдениях. Нам не звоните, не заходите. Мы найдём возможность видеть вас...

Вспоминая этот разговор, Наталья Ивановна мысленно пересказывала от одного эпизода своей жизни к другому, с теплотой думала о полковнике Вересаеве, который, как ей казалось, заменил ей отца».

Может, так у них и бывает? ведь поведал же наш президент, что сам туда попросился, очарованный кинофильмом «Щит и меч»...

Но как бы то ни было, раз ведомство допускало издание этих «сияний», оно в них нуждалось. Юлиан был один, а в 50-е годы и его ещё не было.

«Ярусов прошёл тенистой аллеей бульвара, укрываясь от лишних глаз, и зашёл в магазин, чтобы сменить илему, галстук, купить тёмные очки. Приближаясь к галантерейному отделу, он невольно вздрогнул: у прилавка стоял Энрике Томмах. Ярусов дождался, пока тот сделает покупки, купил сам, что нужно, и догнал его на улице. Поравнявшись, незаметно задел локтем и тихо сказал:

– Продаются апельсины...

Ярусов заметил, что юноша вздрогнул, и пошёл рядом, ожидая ответа. Энрике не спеша достал портсигар, взял сигарету и, повернувшись к Ярусову, сказал:

– Разрешите прикурить... – Пока Ярусов зажигал спичку, Энрике добавил полушёпотом. – Завтра в одиннадцать, в кафе “Гранатовые соки”, – прикурил и свернул за угол.

Ярусов пошёл в косметический магазин-ателье изменить причёску, брови.

Оказавшись на улице, он остановился, широко улыбаясь созревшей в его голове сенсационной для разведки крупной провокации, на волнах которой можно будет высоко прыгнуть по служебной лестнице, не говоря уже о крупном бизнесе. Оказавшись на улице, он остановился, широко улыбаясь созревшей в его голове сенсационной для разведки крупной провокации, на волнах которой можно будет высоко прыгнуть по служебной лестнице, не говоря уже о крупном бизнесе. Он прошёл по бульвару, занял столик в открытом кафе, чтобы можно было наблюдать за движением на аллеях, заказал коктейль и начал обдумывать детали проведения операции. Он отпил полбокала, закурил апельсином, закурил, продолжая обдумывать последствия родившейся в его голове

провокации Митчелл в восхищении потёр руки, допил бокал и пошёл готовиться к задуманному им «блестящему делу»».

Трясущийся с перепою кишинёвский поэт Федя Кабарин мог разве что про полбокала сообразить, а далее?

« – Что, по-вашему, самое главное в шпионской деятельности Кинга?

– Разбрасывание ампул с бактериями энцефалита и холеры.

– Вносишь в почву с осени. Можно и зимой рассеивать по снежному покрову. Весной злаковые, овощные культуры и даже травы впитают этот препарат вместе с влагой. Ну, а дальше всё пойдёт обычным порядком: кто бы ни употребил в пищу продукты из этих злаков и трав – люди или животные – финал один. Сорок дней длится инкубационный период, а затем наступает сонный паралич.

– С разведением колорадского жука выбросили на ветер 20 миллионов долларов, в Корею получили слишком дорогую пощечину, теперь выбросите полмиллиарда, к тому же посеете чуму и холеру в Штатах.

– Каким образом?

– Да очень просто. Взлетит ваша лаборатория с чумными бактериями и холерными вибрионами в воздух...

– Шпиону к нам не проникнуть...»

Полагаю, что даже Феиным консультантам из молдавского ГБ такие темы были не плечу. Вероятно, существовали какие-то центральные сценарные разработки для производства «Сияний»...

”

«Их объединяет не организация, и не общая идеология, и не общая любовь, и не зависть, а нечто более сильное и глубокое – бездарность.

К чему удивляться их круговой поруке, их спаянности, их организованности, их настойчивости? Бездарность – великая цепь, великий тайный орден, франкмасонский знак, который они узнают друг на друге моментально, и который их сближает, как старообрядческое двуперстие – раскольников». Эммануил Казакевич.

”

Из дневника М.М. Пришвина, 1946 год:

«Леонов выступает в “Правде” с торжественным словом Сталину, как «первому депутату». Неискренность, напыщенность, риторика последних высказываний его, мучили, вероятно, не меня одного. Но есть и поклонники этого кушанья, это, наверно, те наивные советские граждане, которым в этом мутном потоке слов чудится та настоящая великая литература, о которой они, вообще, слышали, но прочитали это “Слово”, отбросив все старое... <...>

Вчера встретил Катаева и, чтобы не молчать, спросил о собаке его покойного брата. Я не первый раз его об этом спрашиваю и вполне его понимаю, что он обозлился. Я, говорит, не люблю ни собак, ни охоты. Началось ожесточенное *qui pro quo*. И почуяв, что он зарвался, пошел на отступление. – Охота, – говорит, – это у вас поза, но писатель вы превосходный: какой язык, но пишете вы не о том, что надо. – Как! – закричал на него я, наступая и сжав кулаки, – я именно тот единственный, кто пишет что надо. Так и запомните: “Пришвин пишет только о том, что надо”. После того Катаев смутился и смиренно сказал: – А может быть, и правда: пишете что надо. – То-то, – сказал я. И простился довольно дружелюбно».

”

В 1925 году, в № 25 журнала «Крокодил», за подписью Мих. Зощенко был опубликован текст «Джентльменские нравы», изобличающий американских журналистов:

«Пирсон заслуживает того, чтобы его знали. Тем более, что там, у себя в США, это довольно-таки крупная личность, согретая лучами сомнительной славы. В двух словах расскажем, что он собой представляет. Это журналист. Ближайший сотрудник газеты «Дейли миррор». Видный радиокомментатор и радиообозреватель. Политическая физиономия его лишена полутонов. Его собрат по перу, некто Роберт Аллен, так охарактеризовал Пирсона: “Среди представителей печати Дрю является самым ярым сторонником программы справедливого курса”. А так как в Америке “справедливым курсом” официально называют курс нынешнего правительства, то (в переводе с английского) получается, что Пирсон является ярым сторонником и поджигателем новой мировой войны. И общеизвестно, что эту свою линию он ведёт систематически и неуклонно. Свою карьеру Пирсон начал довольно оригинально. На поприще журналистики он избрал также и обличительный жанр. Он разоблачал видных деятелей США. Описывал скандалы из их личной жизни и всякого рода аферы этих власть имущих людей. Конечно, особого вреда (кроме беспокойства) видным деятелям он не причинял, тем не менее в журналистике он занял позицию обличителя. Однако, “бичуя” пороки и “вскрывая” язвы, Дрю Пирсон отнюдь не стремился к уничтожению их. Напротив, как раз на обилии пороков он строил свой “маленький бизнес”. Нарывы и язвы помогли ему “делать деньги”. Зачем же уничтожать то, что приносит благо? Абсурд с коммерческой точки зрения. Такая маскировка под благородного обличителя приносила Пирсону добавочные доходы и выгоды. Обывателям нравились его скандальные статейки с благородной моралью. Спрос на его продукцию возрастал. И Пирсон стал богаче. Его заработок достиг 300 тысяч долларов в год. Это уже были те приличные деньги, которые открывали двери в высшие сферы. Правда, о Пирсоне отзывались кисло. Нередко добавляли к его пресветлому имени колкие эпитеты, например: “лживый дегенерат”, “продажная свинья”. Но это не меняло дела, и Пирсон со своими распухшими карманами поднимался всё выше и выше по ступеням капиталистической лестницы. И наконец исполнилась мечта его жизни: его стали приглашать в лучшие американские дома на званые обеды и балы. На одном таком званом обеде случилось происшествие, которое увенчало Дрю Пирсона неувядаемой славой. Однако окажем несколько слов о том, что случилось до званого обеда. Незадолго до этого пышного события мистер Пирсон имел неосторожность коснуться своим нержавеющей пером сенатора Джо Маккарти – бешеного сторонника всего реакционного и фашистского. Конечно, Пирсон знал, с кем он имеет дело, но он, так сказать, недоучёл некоторые душевные свойства сенатора. Это только потом, по окончании всей истории, Пирсон (в своём заявлении, поданном в суд) охарактеризовал сенатора Маккарти как человека “с жульническими манерами гангстера”. А до этого Пирсон, не ожидая никаких бед, задел сенатора в своём выступлении, уличая его в каких-то неблагоприятных поступках. Обвинения были близки к истине. Сенатор Маккарти пришёл в неопишемую ярость и решил при случае расквитаться “с этим дегенератом Пирсоном”. Такой случай вскоре представился. Журнал “Тайм” игриво сообщает, что “в столице США имеют привычку забавляться: приглашают на званые обеды заядлых врагов и затем потешаются теми скандалами, которые возникают в результате этих встреч”. Так произошло и тут. Некая представительница высших сфер, Луиза Штейман, желая повеселить своих гостей, пригласила на обед сенатора Джо Маккарти и журналиста Пирсона. Враги столкнулись почти что сразу, ещё не успев, так сказать, вкусить обеда. Сенатор Маккарти, узрев среди гостей журналиста, с яростью тигра кинулся на него. Солидная газета “Вашингтон пост” не без удовольствия сообщает, что “сенатор Маккарти схватил Пирсона за шиворот и, ударив по животу, причинил ему боль”. Журнал “Тайм” описывает эту дикуню более подробно: “Схватив

Пирсона за шиворот, сенатор потащил его за собой. Затем, ударив ладонью по лицу, сбил его с ног. А когда Пирсон поднимался с пола, сенатор дважды ударил его ногой по животу". Всё произошло так быстро, что гости не успели как следует насладиться зрелищем. Тем более, что Пирсон (по словам журнала) "поспешил уйти в туалет". Однако сенатор выгреб его оттуда и новым "ударом ноги в низ живота опрокинул его на пол". Журнал "Тайм" авторитетно добавляет, что "никакой судья не засчитал бы этих ударов". Ошеломлённый Пирсон хотел было подняться, но тут сенатор (с помощью гостей) "подбросил Пирсона в воздух на три фута над полом". Печать не сообщает, что было дальше, но надо полагать, что после падения с высоты Пирсон уже не смог драться. Однако обед (без участия Пирсона и Маккарти) всё же состоялся. За обедом именитые гости, вероятно, делились впечатлениями. Кушая, лениво перекидывались фразами: – Да, этот Маккарти, пожалуй, забьёт любого гангстера... – Должно быть, он прошёл хорошую школу среди них... – А кто его знает, может, он и сам гангстер... – Между нами, господа, сейчас сам чёрт не разберёт, где кончается гангстер и начинается сенатор. Обед прошёл в тёплой и дружеской атмосфере. Гости единственно сожалели, что драка закончилась слишком быстро. Но надо полагать, что хозяйка утешила гостей, обещав на следующем обеде устроить побоище более грандиозное, так сказать, соответствующее их вкусам.

Чем же кончилась вся эта история? Быть может, вы думаете, что Пирсон повесился, не перенес публичного оскорбления? Нет, он и тут остался верен себе: решил "делать деньги" из создавшейся ситуации. Побитый и растерзанный, он поспешил в суд и подал заявление с просьбой взыскать с сенатора и гостей... нет, сколько, вы думаете, он потребовал? Пять миллионов сто тысяч долларов! Солидная цифра за столь пакостную личность! Впрочем, Пирсон сам собой торгует, и ему видней, сколько он тянет на коммерческих весах Америки. Следует учесть, что сенатор Маккарти уже успел ударить его по карману и, как говорится, "выбил из бизнеса": угрожал субсидировавшую выступления Пирсона фирму "Эдэм РСЭТ Сторс" не возобновлять с ним контракта как с радиокомментатором. Нет, мы не думаем, что Пирсон получит по суду пять миллионов. Не такой человек сенатор Маккарти, с которого можно будет что-либо взять. Он сам с любого возьмёт, судя по его мёртвой хватке.

Потерпев неудачу в рукопашном бою с сенатором, Пирсон не упал духом. Недавно он широко оповестил поклонников своего таланта о намерении приступить к разоблачению самого Маршалла. Зачем понадобилось ему это новое "разоблачение"? Это понадобилось ему для того, чтобы по-прежнему маскировать истинные намерения поджигателя войны. Ведь под такое разоблачение нетрудно будет освежить кампанию по разжиганию военной истерии. Надо думать, что запросит он за это немало, если за простой мордобой заломил пять миллионов!»

Я немало знаю о тогдашнем состоянии Михаила Михайловича, и всё же, прочитав, заново удручился: что же они сумели сделать с последним великим русским писателем!

...

Моё детство (родился в 1947 г.) пришлось на разгар холодной войны. Однажды летом 1952 года взрослые велели опасаться появившихся мух цеце – крупных и с тремя полосками на спине, которых американцы запустили, чтобы перекушали советских детей. Порой это воспоминание стало казаться фантазией, но вот:

Сергей Швецов. Пчела и муравей. (Журнал «Крокодил», 1952)

Американские самолёты сбрасывают вместе с другими насекомыми пчёл и муравьёв, зараженных смертоносными бактериями (из газет).

*Один холерный муравей
Беседовал с пчелой чумною:
– Как надругался надо мною
Палач Кореи – Риджуэй!
Как изменилась жизнь моя
С её миролюбивым бытом:
Был честным тружеником я.
А стал гнуснейшим паразитом!
– Творятся страшные дела!
– Сказала муравью пчела.
– Мне чудный дар дала природа,
Меня принять был всякий рад,
А нынче людям вместо мёда
Я приношу смертельный яд!*

Если и сейчас первые пропагандистские каналы ТВ такими же страшилками угощают, что же завтра?

2019

«ЛУЧШЕ, ЧТОБЫ ПРЕМИЯ ДЛЯ КРИТИКОВ БЫЛА,
НЕЖЕЛИ ЧТОБЫ ЕЁ НЕ БЫЛО – КРИТИКИ ВЕДЬ ТОЖЕ ЛЮДИ»

Всероссийская литературно-критическая премия «Неистовый Виссарион», организованная Свердловской библиотекой им. Белинского, объявила в июне 2019 года первых призеров. Лауреатом в главной номинации стала Ольга Балла.

В качестве подведения итогов первого премиального сезона Библиотека им. В.Г. Белинского совместно с журналом «Волга» предложила ряду критиков ответить на несколько вопросов, касающихся нынешнего состояния русскоязычного литературно-критического поля.

Иванов Е.С., секретарь премии

Симонова Е.В., технический координатор премии

1. Какие процессы происходят в современной критике? Что влияет на ее функционирование в качестве арт-институции? Способствует ли премиальный процесс изменению/расширению представлений о литературной критике как явлении, переопределению границ etc?

2. Стоит ли разводить критику и эссеистику? Критику и анонсы? Критику и ...? Есть ли в пространстве современной критики высказывания/типы высказываний, которые нелегитимны?

3. Насколько необходимым и своевременным было появление премии «Неистовый Виссарион»? Какие типы осмысливающих литературу текстов, по Вашему мнению, не были представлены в лонг-листе премии? Что Вы бы хотели увидеть во втором сезоне?

Дмитрий БАВИЛЬСКИЙ

1. В культуре сейчас нет центра и центровых институций, вокруг которых могли бы группироваться современное искусство и литература. Общество предельно атомировано и точно также разобщены все его составляющие, в том числе критические. Существует масса самых разных очагов деятельности, влияние которых стремится к нулю, поскольку нет ни единого информационного поля, ни общих критериев качества или полезности. Если в СССР все расходилось по полюсам «западников» и «славянофилов», официальных СМИ и полуподпольного андеграунда, то теперь зеркало не просто треснуло, но рассыпалось на миллионы автономных вселенных – и им не сойтись никогда. Отдельно существуют, например, университетские и институтские филологи со своими журналами и конференциями, отдельно интернет-блогеры и обозреватели сетевых порталов. В стороне от них живут совершенно обособленной жизнью островки традиционных институций – толстых журналов, локальных школ и литературных премий, которые одно время претендовали на статус зонтичных явлений, да быстро выдохлись. Нет более ни повсеместных авторитетов, ни безусловных фигур, ни-че-го.

В критике, как и во всей прочей общественной жизни, идёт переориентация с общего на частное мнение, когда главными поставщиками новостей и оценок оказываются соцсети, включающие в себя Телеграмм-каналы. Каждый выстраивает собственную информационную повестку и ориентируется на знакомые или проверенные бренды и имена. Большую часть этой поляны занимает обслуживание книгоиздательской индустрии, которая всё дальше и серьёзнее расхо-

дится с собственно литературой – то есть чем-то принципиально неповторимым, осмысленным, экспериментальным, прорывным. Настоящим.

Ещё совсем недавно в критике преобладало внимание к деятельности толстых журналов, где проценты «подлинной литературы» были максимальными, а книги, чаще всего выходявшие по итогам журнальных публикаций, обзоревались по остаточному принципу. Теперь заставить обзоревать толстые журналы никого нельзя и публикации в них оказываются событийными, только если к продвижению их подключаются деятели из других культурных и медийных полей. Такое случается крайне редко, и иных осмысленных институций, занимающихся не дурно понятой коммерцией, а тем, что когда-то называлось «процессом», я пока не знаю. Самоорганизация новых поколений, приходящих в мир со своими эстетическими исканиями и «свежим взглядом» только организуется в виде небольших, нерегулярных изданий (в основном, безбумажных), мало посещаемых сайтов и любительских издательств. Но без серьёзной и систематической поддержки это всё временные меры и чистый «фан»: в перестройку пытались выходить десятки оригинальных изданий, но где они? Кто-нибудь сегодня помнит, например, «Соло» или «Лабиринт/Эксцентр», «Другие берега» или «Здесь и теперь»?

Акцент, таким образом, перемещается с деятельности писателей на активность издателей и редакторов – тех, кто закупает и перепродает авторские права и отбирает тексты для книжных публикаций, которые должны быть понятными и проходимыми в продаже. Один известный издатель сказал мне, что его интересуют прежде всего «потокосные продажи», то есть публикации приятные сразу всем. А какую инновационную и художественную ценность они при этом имеют – дело уже сто десятое.

Сейчас живёт и плодотворно работают десятки оригинальных и мощных авторов, но кто о них знает? Они ведь пишут, а не занимаются собственным продвижением, из-за чего на слуху совсем другие имена, которые, как в политике или на эстраде, не меняются десятилетиями, давным-давно превратившись в карикатуры на самих себя. Вот недавно умер замечательный прозаик Владимир Шаров и все заговорили о его выдающемся месте в актуальной культуре. Но пока Шаров был жив, его долгие годы, на свой страх и риск издавало маленькое, но крайне гордое и независимое издательство «Арсис букс» да публиковал журнал «Знамя». Издание Шарова, о котором критики вспомнили после его смерти, и его писательское выживание было частным делом самого писателя и его семьи, так как «широкой общественности», обеспечивающей продажу хотя бы минимальных тиражей, никто не объяснил, что Шаров – это круто и важно. Впрочем, романам Владимира Шарова ещё повезло – они все изданы. Если и есть у критики сегодня задачи, то, видимо, с отделением мух от котлет, а третьестепенных переводных романов от текстов, действительнодвигающих литературу вперёд.

Сложно себе представить, чтобы театральные критики занимались серьёзным разбором премьер антреприз, собранных для чёса по домам культуры, однако, даже самые солидные издания и рецензенты с респектабельным имиджем не чураются реагировать на очевидное беллетристическое фуфло, по каким-то своим внутренним причинам продавливаемое «лидерами рынка».

Издательский цикл крутится вокруг ярмарок и премий, которым необходимы постоянные новинки и информационные поводы с яркой подачей. Это облегчает работу отделов рекламы и маркетинга, и если кем-то может быть сегодня востребована (то есть оплачена) критическая деятельность – то, в основном, вот такая, к сожалению, выхолощенная. Подмены идут по всем фронтам, и здесь критика оказывается в том же самом положении, как и прочие отрасли человеческой деятельности, существующие в современной России в перевернутом (искажённом, подменённом) виде.

Книг выходит всё больше, так как издательская деятельность всё ещё остаётся областью чистой частнособственнической инициативы, но большинство стоящих изданий проходят практически незамеченными – энтузиастов рыться в развалах всё меньше и меньше, так как на маргинальном контенте особенного имени себе не сделаешь, а критики тоже люди и тоже хотят жить.

2. В отсутствии единых критериев и общего информационного поля ничего нелегитимного уже быть не может – это очень хорошо заметно по соцсетям, постоянно сталкивающимся прямо противоположные мнения даже в одной ветке комментариев. То, что одним кажется чудовищным, у других вызывает приступы бешеного энтузиазма. Это такая норма жизни, и она будет лишь нарастать и развиваться, так что ничего разводить не нужно, каждый пишет как он дышит, нужно учиться фильтровать белый шум и отцеживать крупинцы ремы.

Будущее наступает каждый день, и я наблюдаю, как меняется «парадигма потребления» текстов, как мутируют формы бытования обыденного чтения. То, что еще недавно казалось незбылемым и традиционным, устаревает и съёживается, зато расцветают бурным цветом всякие там подкасты и книжные инстаграммеры, что и вовсе кажется оксюморонным, так как тексты – это про буквы, а не про картинки, даже если и с обложками.

Дело же не в том, что есть критика, а есть эссеистика, есть обозреватели быстрого реагирования, а есть общепризнанные аналитики, которых все днем с огнем ищут, но почему-то все никак не находят, хотя люди, привыкшие писать аналитические статьи, чаще и чаще сидят без работы, а в том, что нет вменяемой культурной экономики, разветвлённой и нишевой издательских инфраструктур, отработанной книготорговой практики. Если критикам что и нужно разводить по разным полюсам, так это удалой коммерческий мейнстрим и полноценное художественное высказывание, имеющее подлинную, а не напускную культурную ценность, но разводить их так, чтобы любые нишевые и субкультурные интересы в публичном поле были представлены и доступны на равных.

Нужно разводить не жанры, а писателей и рыночную экономику, в которой мейджоры бы не выжидали напалом «пространство смыслов» и желание писать не очередную потоковую серйтину, но что-то действительно живое, прорывное и неоднозначное. И если, после наведения порядка в стране, отладится публикационная инфраструктура, то критика и прочая незаурядная рефлексия сама за всем этим подтянется. Сейчас всё, что есть в культуре-литературе интересного, распространяется по неофициальным каналам, интернетом и соцсетями в нем. А сети принципиально лишены иерархии жанров и тем, из-за чего искать здесь свою собственную питательную травку – отдельное и практически уже высокое искусство.

3. Лучше, чтобы премия для критиков была, нежели чтобы её не было – критики ведь, кем бы они, на самом деле, ни были, тоже люди. Такую премию для критиков, кстати, я и сам придумал еще в 90-е годы, когда рецензионные разделы газет и журналов были главным развлечением интеллектуально продвинутой публики. Все начинали чтение их именно с петитных разделов, но осуществить свою идею тогда мне не удалось, да, честно говоря, я и не особо пытался, понимая, что шуму будет много, а выхлопа – на копейку.

С тех пор от критики остались рожки да ножки. Появление критической премии должно поддержать не столько интерес к критике, сколько самих критиков, которые смогут хотя бы на время почувствовать себя кому-нибудь нужными. Идея Белинки остроумная, поскольку случайный нейминг оказался обращён в игру с некоторым потенциалом. Другое дело, что первый розыгрыш «Неистового Виссариона» вышел односторонним, поскольку формировался из «сегодняшнего дня». С одной стороны, разумеется, это логично, так как участвовали в нем актуальные критики, работающие в сегодняшних полевых условиях, но, с другой, критика, может быть, как ни одна форма литературной деятельности, зиждется на идеях преемственности и эволюционного развития. Нынешних писателей в рецензионные разделы не было бы без тех, кто работал вчера и даже позавчера. Хорошо, что приз «за честь и достоинство» выдали Ирине Бенеционой Роднянской, продолжающей интересно и продуктивно работать, а в следующих розыгрышах наверняка отметят и других «представителей старшего поколения» (что бы это ни значило), но почему эта премия Роднянской выглядит такой утешительной?

Хочется более активного «участия регионов», поскольку критики обоих культурных столиц теснее других связаны с обслуживанием книгоиздательской индустрии, но как же тогда

сформировать уравновешенный список претендентов вне постоянных авторов столичных медиа? Впрочем, интернет снимает и проблему местожительства, которая в годы моей критической юности была судьбоносной, а теперь никто не обращает внимание, на то в каком городе живет интересный книжный блогер или литературный обозреватель. Главное, чтобы писали хорошо и интересно.

Впрочем, самым слабым звеном первого года существования «Неистового Виссариона» мне кажется состав жюри, подобранного по каким-то не вполне очевидным критериям. Хотя решение они приняли, кажется, единственно правильное. Ну, или, по крайней мере, удовлетворившее максимальное число болельщиков, что бы там ни происходило за кулисами: Ольга Балла – действительно идеальный герой критической рефлексии, задающая своей работой высочайшую планку. Важно, что Балла любит писать о текстах сложных, узконаправленных и малотиражных. Может быть, награждение её критической премией послужит примером другим авторам, promышляющим рецензиями и обзорами. Все возьмут да и ломанутся размышлять над сборниками антропологических штудий и коллективными монографиями. Круг малотиражных новинок, попадающих под пристальное внимание, расширится, наступит новый расцвет искусств и ремёсел. Нашей прекрасной России будущего он жизненно необходим.

Ольга БУГОСЛАВСКАЯ

Какие процессы происходят в современной критике?

Критика становится всё более и более дифференцированной и разнообразной, возникают и заполняются новые ниши, диапазон высказываний расширился от коротких и эмоциональных читательских реплик до академически строгих и обстоятельных лонгридов. Появились, как известно, жанры книжных блогов и видеоблогов. Первый требует от ведущего навыков дизайнера, второй – шоумена. Кроме того, критики всё чаще выбирают узкую специализацию, выбирая прозу или поэзию, фикшн или нон-фикшн, отечественную литературу либо зарубежную, литературу для взрослых или для детей и подростков и так далее. Иными словами, критика в целом переживает этап интенсивного развития, освоения новых форм и адаптации к существующим условиям.

Что влияет на её функционирование в качестве арт-институции?

Думаю, влияют в основном два фактора.

Первый – интернет и предоставляемые им свобода и неограниченные возможности самопрезентации.

Второй – нехватка читателей. Та же проблема существует и у писателей. Литература сегодня функционирует во многом как вещь в себе, как замкнутая система. Выйти к широкому читателю удаётся очень малому числу писателей и ещё меньшему числу критиков. Ножницы между неограниченными возможностями интернета и сравнительно небольшой аудиторией – условия, в которых критика функционирует сегодня.

Способствует ли премиальный процесс изменению/расширению представлений о литературной критике как явлении, переопределению её границ etc?

Откровенно говоря, я этого не замечаю. Премиальный процесс делит критиков на тех, кто, условно говоря, «за», и тех, кто «против» выдвижения и награждения конкретных кандидатов на премии. Вряд ли именно это расширяет представления о критике. Развитие критики и расширение её границ происходит исключительно благодаря отдельным личностям. К примеру, работы Ольги Баллы – опыт создания собственной философии посредством критических высказываний.

Это расширяет представления о критике. А вопрос о том, привязаны эти высказывания к премиальному процессу или нет, большого значения не имеет.

Стоит ли разводить критику и эссеистику? Критику и анонсы? Критику и...? Есть ли в пространстве современной критики высказывания/типы высказываний, которые нелегитимны?

Мне представляется, что стоит. В идеале было бы правильно развести критику не только по жанрам, но и по специализации, отделив взрослую литературу от детской и подростковой, фикшн от нон-фикшн, отечественную литературу от зарубежной. Чем выше степень детализации, тем точнее результат.

Как мне кажется, сегодня общепринятых критериев легитимности не существует, всё зависит от субъективной оценки каждого читателя. На мой взгляд, неприемлемым является переход на личности, не говоря уже об оскорбительных выпадах в адрес писателей или коллег-критиков. Даже в тех случаях, когда такой переход провоцируют сами писатели, особенно настойчиво предлагающие вниманию публики не только свои произведения, но и самих себя.

Насколько необходимым и своевременным было появление премии «Неистовый Виссарион»?

В ситуации, когда все читатели получили возможность публично высказываться о книгах, что само по себе очень важно и правильно, стало складываться и распространяться мнение, что в профессиональной критике отпала необходимость. Новая премия заново переутверждает статус профессионалов, заявляет об их необходимости и задаёт определённую планку-ориентир.

Какие типы осмысливающих литературу текстов, по Вашему мнению, не были представлены в лонг-листе премии? Что бы Вы хотели увидеть во втором сезоне?

Мне представляется, что отдельной номинации заслуживают те, увы, немногочисленные критики, которые сумели пробиться к широкой публике и завоевать её внимание. Они способствуют популяризации литературы вообще и критики в частности, совмещая литературно-критическую деятельность с просветительской. На мой взгляд, это заслуживает большого уважения и отдельной благодарности. Первой в ряду таких критиков является Галина Юзефович. Жаль, что в этом году в лонг-листе не были представлены некоторые имена. К примеру, Елена Иванецкая, которая имеет мужество идти против мейнстрима, своими трезвыми и острыми суждениями уравновешивая иногда чрезмерный всеобщий восторг по поводу той или иной книги. Или Анаит Григорян – автор глубоких аналитических статей. Или Ольга Бухина, много пишущая о литературе для детей. Но, разумеется, нужно иметь в виду, что премия существует всего год, за это время невозможно было объять необъятное. Надеюсь, что со временем всё можно будет навестать.

Евгения ВЕЖЛЯН

Думаю, что состояние литературной критики в той же степени, что и других областей литературного производства, сейчас определяется общим институциональным кризисом собственно литературы. Мы присутствуем при тектоническом сдвиге: в том ее виде и смысле, который литература как институт имела на протяжении последних трехсот лет, она, безусловно, больше не функционирует. Что закономерно влечет за собой «пробуксовку» всех, даже самых «продвинутых» и радикальных, языков ее описания. Обмен «центрального» и «маргинального», определяющий динамику «литературной конструкции» (Ю. Тынянов), борьба за власть, подкрепленная «институционализованной аномией» на поле литературы (П. Бурдьё)

предполагает, что «литература» существует как некоторое единство, гомогенное пространство, каждая часть которого определяется одними и теми же закономерностями, что делает эти части взаимосотнесенными друг с другом. Но (и этот тезис – уже, конечно, банальность) интернет принес возможность самопубликации, в обход «старых» литературных институтов легитимации, и стал тем медиумом, который соединил, казалось бы напрямую, авторов и их читателей. Опуская подробности, в сухом остатке мы получаем не одно однородное пространство литературы, а много разных гетерогенных литературных миров, которые по-разному устроены (хороший пример здесь – «поэзия пабликов» и «профессиональная поэзия»). Они взаимодействуют друг с другом, конечно, и, кстати говоря, описание этих взаимодействий – отдельная научная задача, к решению которой мы только приступаем. Книжная индустрия – это, конечно, теперь не единственный социальный мир, выстраивающийся вокруг создания и потребления текстов, но только один из имеющихся в наличии.

Как это все сказывается на критике? «Традиционная» критика – это, конечно, одна из тех легитимирующих инстанций, которая в едином институциональном пространстве «старой» литературы задавала норму вкуса и старалась отследить «тенденции развития» той или иной литературной области, исходя, конечно, из пресуппозиции литературы-как-целого. Именно это «целое» и было, в сущности, основным объектом, которому была посвящена старая литературная критика, для которой именно коммуникации в сообществах «производителей» литературы становились отправной точкой для «оценивания» (придания ценности) и систематизации литературных явлений. Но в нынешней ситуации этот объект утрачен. И именно это, а не, как можно было бы ожидать, потеря авторитета или «прекаризация» профессии критика, привело эту «старую критику» к кризису. Это отчасти объясняет и парадоксальность сложившейся картины: мы видим критиков, влияние которых растет, но не видим критики в том смысле, который был привычен в XX веке. Новая литературная критика больше не посвящена «литературе». Она работает с единичностями. Ее заботит прежде всего текст в поле его предъявленности читателю, текст, который существует здесь и теперь, вне какой бы то ни было большой временной перспективы. Новая критика, как это было завещано, например, рецептивной эстетикой, сами тексты рассматривает как производную от их читательского восприятия, тонко работая с ним, обогащая его и находя для него слова и термины.

В этом смысле новая литературная критика имеет свои ограничения. Так, она не работает с теми текстами, которые еще не вышли к широкому читателю, значение которых устанавливается через обсуждение в узких или «профильных» сообществах. Отсюда и ее «слепые зоны», такие как поэзия (как написал однажды в блогах ярчайший представитель «новой литературной критики» Василий Владимирский, «у поэзии нет шансов») или малотиражная элитарная проза. Впрочем, к «слепой зоне» новой критики относится до сих пор и беллетристика, опубликованная в литературных журналах, которая часто замечается ею лишь тогда, когда она оказывается опубликована в каком-нибудь крупном издательстве.

Отсюда вывод: и «новая литературная критика», при всей ее «массовости» и «эффективности» – это вполне нишевое явление, рядом с которым могут и должны развиваться иные, направленные на иные явления и пространства, формы критического письма (и не только «письма», поскольку в систему металитературных высказываний должны быть включены и те, которые используют аудиовизуальные носители). Так что «кризис» в этом смысле – это эффект точки зрения. Если представители различных литературных сообществ откажутся от мешающей им генерализирующей оптики и научатся видеть литературу не как единое целое, а как множество полей/миров/пространств, то станет понятно, что сейчас – самое время для создания новых жанров и форм, посвященных самым разным явлениям. И – отдельно – само это многообразие также нуждается в экспертной и аналитической работе, поэтому тут становится возможен проект чего-то вроде «новой институциональной литературной критики». Вроде той, которой я вот в этом тексте пытаюсь заниматься.

Что же касается премии «Неистовый Виссарион», то, пожалуй, она была своевременной хотя

бы потому, что создала вокруг себя волну «хайпа», что, по нынешним временам всегда скорее полезно, чем вредно. Но было бы здорово, если бы в дальнейшем премия учла все сложное многообразие текущей литературной ситуации и ее проявление в области литературного метадискурса, где уже никогда не будут уместны критики «тотализирующего» типа, вроде, например, Писарева или, если говорить о современной ситуации, того же Виктора Топорова.

Анна ГОЛУБКОВА

1. Главные тенденции литературной критики и прошлого и текущего года, на мой взгляд, это попытка переосмыслить свое место в литературном процессе и заново определить наиболее востребованные критические жанры. Об этом свидетельствуют и серия высказываний критиков о предмете своей деятельности, которая по инициативе Даниила Давыдова публиковалась в интернет-журнале Литтегатура, и цикл круглых столов, проведенных Людмилой Вязмитиновой в рамках клуба «Личный взгляд», и ряд неформальных высказываний о сути критики и личностях критиков в соцсетях, в частности, в фейсбуке.

На функционирование критики в первую очередь, естественно, влияют условия ее существования, а именно – насколько она востребована и каким образом оплачивается (очень востребована и практически не оплачивается).

Премияльный процесс, безусловно, способствует выведению проблемы критического высказывания в сферу общественного внимания и хотя бы в некоторой степени стимулирует и поощряет преимущественно волонтерскую деятельность критиков.

2. На мой взгляд, в критике вообще имеет смысл выделять отдельные жанры и способы высказывания. Делить дополнительно на критику-критику, критику-эссеистику, критику-анонсы, мне кажется, не нужно.

Нелегитимными, как правило, являются высказывания, обусловленные исключительно личной обидой на недостаточное критическое внимание и степень собственной авторской востребованности. Легитимная критическая статья все-таки должна иметь какую-то дистанцию с собственно авторской позицией критика. То есть для нелегитимного критического высказывания характерно отсутствие не просто полной объективности, но и даже малейшего к ней стремления.

3. Премия «Неистовый Виссарион», как мне кажется, появилась вполне своевременно, как раз в тот момент, когда происходит переосмысление целей, задач и методов современной критики. И прежде всего она помогает очертить границы этого процесса, показать весь спектр существующих критических практик, а также выявить лакуны и слабые места, на которые следовало бы обратить внимание литературному сообществу. В лонг-листе премии, как и собственно в литературной жизни, не хватает обзорных статей с осмыслением литературной ситуации. Но такие статьи за два дня не пишутся, так что лучше всего их появлению способствовала бы адекватная оплата труда критика. Жаль только, жить в эту пору прекрасную...

Во втором сезоне я бы предложила ввести номинацию «Зоил» и присудить ее без конкурса Александру Кузьменкову.

Данила ДАВЫДОВ

1. В современной критике происходит множество процессов, многократно уже обсужденных, но главный, думаю – это ее окончательно и бесповоротное расслоение по сферам бытования и применения. Дело не в разнице позиций, не в партийности, которые всегда были. И даже не в разности жанров, которая тоже, по сути дела, всегда была. Дело в функциональном расслоении. Соб-

ственно, я должен был бы радоваться этому процессу. Я многократно повторял, что есть рекламная деятельность, есть книжная журналистика, есть работа с чистым информированием читателя, есть субъективное-эссеистический, практически художественный тип письма, метаписьмо, литература о литературе. Есть, наконец, первичная аналитика текста (филологическая, – либо социологическая, антропологическая, философская... – не суть важно), за которой может и должна последовать аналитика более системная, уже сугубо научная. Именно последний тип дискурса обыкновенно понимается под критикой, это закономерно, но не отменяет межеумочности такого рода письма, в котором сказано «а», но не сказано «б», и уверенность в объективных факторах говорения всегда страхуется потенциальной субъективностью. Таким образом. То, что принято считать критикой – это своего рода модус «недо-»: недожурналистика, недонаука, недолитература. И *de facto* место такого рода критике почти не остается, кроме, пожалуй, толстых журналов, которые сами постепенно скатываются в зону «недо-», не заменяя ни живого гуманитарного портала, ни книги, но и утрачивая свою историческую роль, окончательно мумифицируясь. Рецензия или аналитический проблемный текст, приближенный к живому гуманитарному знанию, нужней «большого обзора», жанрово растущего еще из Белинского, Добролюбова, Писарева (при всей блистательности первого и особенно третьего). Конечно, ее, эту межеумочную критику, немного жаль. Всех жалко. И критика тоже жалко, и продукт его, и трех немолодых читателей, ищущих в последнем номере «Запредельских далей» обзор Ковырялкина и статью Записочкиной. Но мертвые жанры вообще жалко.

Премияльный процесс мог бы сыграть важную роль в пересмотре взгляда на критику. В смене парадигм, не побоюсь. – но для этого сам премияльный процесс пока слишком маргинален. Впрочем, здесь как раз что-то можно сделать, в отличие от реанимации старокритического бла-бла-бла.

2. См. ответ на предыдущий вопрос. А легитимно, конечно же, все, что не запрещено законодательство РФ типа пропаганды разного всякого. Другое дело, сообщество вправе самоопределяться по отношению к определенным типам высказывания и делегитимировать некоторые из них в рамках тех или иных конвенций: не буду называть имен, но существует категория критиков, с которыми приличному человеку в одном социокультурном поле делать нечего. С третьей же стороны, всегда найдется некоторая часть людей, которых приличные люди считают приличными, но которые при этом полагают признаком свободы общение с неприличными людьми, вызывая разного рода когнитивные диссонансы и окололитературные бурления вследствие оных.

3. Хорошая премия. Случайно с самого начала попавшая – не по своей вине – в не очень хорошую историю. Пусть будет, но никаких специальных пожеланий высказать не готов, т.к. при всей своей прекрасности эта премия еще не готова быть институцией, формирующей поле, а следовательно, при всём желании ей придется работать с наличествующим материалом.

Наталья ИВАНОВА

Вопросов много и они существенны, в ответ можно сочинить книгу. Но времени – и места – мало, поэтому замысел книги о критике отложу. Постараюсь ответить вкратце.

Итак.

Процессы? Их – два, и они друг друга дополняют и усиливают. Это процесс усыхания и процесс упрощения.

Критика сегодня разделилась, даже разломилась – на критику как она есть, назовем ее органической, ибо происхождение ее естественно, и она обращена к литературе как институту и является частью этого института, – и книжную критику, предназначенную читателю-покупателю, потребителю, и она отвечает на вопрос «интересоваться или забыть?». Книжная критика относится

не столько к литературе как институту, а к сфере услуг, объясняя возможному покупателю, «брать или не брать». Я приветствую КК, то есть книжную критику, когда она не превращается в облегченную аннотацию, когда она адекватна книге. А когда автор-критик амбивалентен – и объясняет, почему – становится совсем интересно.

Конечно, критик должен знать контекст – 1) в идеале все, что написано этим автором и все, что было написано вокруг этой книги, 2) контекст литературы сего дня, то есть в каком окружении эта книга появилась на свет. Так учил меня Турбин, о том же напоминал давнишний Аннинский. Контекст придает артистизм! Играющий с контекстом критик – волшебник, а не начетчик.

Сегодня есть попытки объявить все, что появляется на просторах интернета, любой чих о книге – критикой. Это не так. Или мы считаем критикой самодеятельность, а не профессиональное суждение? Я – за профессионализм. И хорошо, что первая премия по критике поддерживает профессионализм (сужу по лонг-листу). Иначе самый главный, основной, фундаментальный для критики жанр рецензии превращается в порхающий отклик. Бывает забавно, наивно, как домашняя поделка, но это не критика.

Это я о процессе упрощения.

Теперь об усыхании.

Усыхание – это сокращение присутствия критики в ЛЮБОЙ периодике. Все меньше, и меньше, и меньше – в отличие от наших западных коллег, газеты и журналы там имеют своих штатных критиков-обозревателей, постоянно печатающих свои обзоры и рецензии – на книги, премьеры, выставки, новые экспозиции, балет и оперу, концерты и т. д. Расцвет такой критики у нас – 90-е годы. Целые полосы еженедельно или два раза в неделю у ежедневных газет. Колонки. Реплики. Обзоры – ехидные в том числе – премиальных листов. И выдвигений, не говоря уж о решениях. Это кончилось. Где Борис Кузьминский? Молчит. Где Андрей Немзер? Ушел в преподавание и академическую науку.

Неучастие – выбор многих достойных. А жаль. Особенно тогда, когда невооруженным глазом видно, что, кто и как рулит сегодня процессом через систему премиальных поощрений, от которой в несколько приемов отсекается все неродное как ненужное. Отсекается критика в ее неуправляемых проявлениях, на самом деле составляющих ее сущность.

Далее.

Критику и эссеистику разводить не стоит – академизм и эссеизм составляют два полюса ее тяготения. Иногда переходы с языка на язык, переходы через стилистические границы совершает один и тот же человек, и неоднократно. Билингва такая. Но это трудно.

Критикам должны быть доступны все лит-крит-жанры; настоящий критик владеет оружием аннотации (не говоря уж о деепричастном обороте) так, что другой только поеживается. Нелигитимный тип высказывания мне неизвестен. Может, переход на личность? Намеки? Месть автору за обидевшего издателя? Или кровная месть автору книги – например, за неправильного родственника? И такое бывает, но это не критика. Желание задеть за оскорбить? Ну да. Но не стоит это обсуждать.

Толстые журналы продолжают ока делать важнейшее дело – сохранять цветущее жанровое разнообразие критических жанров. Чтобы вся поляна не выродилась просто в рецензию как комментированный пересказ с оценкой, но без спойлера.

Премии «Неистовый Виссарион» приветствую. И не только потому, что «наша» знаменская Ольга Балла вышла в победители. Она неистовая по плодovitости. По темпераменту – нет, никак не неистовая, она очень мирная.

Больше внимания критике – отличная идея премии. Тем более – что выдвинуть много прекрасных критиков! Оказывается, их, то есть нас, у нас много! Откройте еще раз длинный список и убедитесь сами, и почитайте-перечитайте, и задумайтесь о том, что похоронить критику не получится.

Чего не хватает премии? Номинаций. Разные типы критических высказываний, разные жанры должны быть представлены в разных номинациях. Пока большинство – рецензии. А вот

диагнозам, полемическим и проблемным статьям, книгам критиков (почему бы и нет?) места не нашлось. Новые номинации – для разных форматов. В том числе и лит-крит-проектов. Надеюсь, что это поможет нашему литературному сообществу избавиться от навязчивого синдрома исчезающей критики.

Моя личная летняя премия 2019 года присуждается проекту «Неистовый Виссарион».

Владимир КОРКУНОВ

1. Сегментирована литература – и сегментирована критика. И жанры есть, но в своём регистре: филологическая, толстожурнальная, тонкожурнальная (чаще всего в разрезе: «чего изволите?»), блогерская и т.д.

Несмотря на разнообразие форм и воплощений, уровень критики падает или – вопреки пока ещё повсеместной грамотности – стоит на месте: как и во времена Белинского, внятную статью может написать считанное число людей. Чаще экспертная оценка сводится к пересказу сюжета и рефлексии над анамнезом текста – или же текст становится отправной точкой для рассуждения о наболевшем не для мира, созданного автором, а – для себя, критика.

Премияльный процесс, если говорить о премии «Неистовый Виссарион», представления о сфере практически не меняет. Соискателей номинируют сами критики (то есть ядро остаётся внутри профессионального поля). Если бы речь шла о писательских/читательских номинациях, новые имена могли бы возникнуть, а так – откуда? (Номинация малоизвестным журналом своего малоизвестно же критика не в счёт, это погрешность, подтверждающая правило.)

Номинаторы таким образом *очертили границы* профессионального поля (и я благодарю журнал «Волга» за номинацию моих текстов). Не переопределили (ведь никого не сбросили с литпроцесса), а – обвели на контурной карте границы «страны критиков».

Страна критиков – издали, по касательной смысла напоминает название драмы «Страна глухих». Общение на дистанции писатель-критик, броуновское движение внутри литпроцесса (минуя точки притяжения им. Галины Юзефович или Анны Наринской, которые в самом деле формируют читательские предпочтения) происходит внутри сообщества. Мы пишем на русском языке, а кажется, общаемся на жестовом языке или дактиле – как слепоглухие, из руки в руку; и понимает нас допущенный круг, люди, обученные тому же способу передачи/восприятия информации.

Но даже произошедшая инвентаризация (всерусскоязычная перепись) оставила ощущение недостаточности – в лонг попали не все ожидаемые и достойные номинанты (например, Данила Давыдов). А потому возникает необходимость в привлечении экспертов-номинаторов, выдвигающих не конкретного человека (шестеро индивидуально и заслуженно номинировали Ольгу Балла), а фиксирующих самые важные статьи/рецензии/обзоры года, как это происходит, например, в кулуарах премии «Поэзия».

2. Качели легитимности/нелегитимности оказались так плотно заняты участниками литпроцесса, что места для читателя не осталось – они, как сказано выше, посещают площадки отдельных критиков (легитимность – личный бренд, а без него текст: смиксованный алфавит).

В недавней колонке «О профессии критика» для журнала «Литература» я писал, как, работая в одном журнале, получал *на день* две книги – и в конце рабочего дня должен был отчитаться/отписаться двумя рецензиями. Эти непрофессиональные тексты массово появлялись в «Журнальном зале», месте, которое легитимирует профессиональное высказывание. (Как известно, прогоняя персону по критериям значимости, модераторы «Википедии» учитывают присутствие человека в ЖЗ.)

Отчётливо понимаю – халтурный марафон дистанцией в десяток статей за пятидневку (и +100 в ЖЗ в 30 годах; ну хоть не подряд) дорого обошёлся моей репутации, и хотя эта работа

в режиме ошпаренной кошки в прошлом, я до сих пор не чувствую, что очистился. Даже сейчас, подчас по несколько недель/месяцев работая над рецензионным текстом/статьей.

А потому – нелегитимен обман; а остальное – эссе, анонсы, блогерский пересказ и блогерская же аналитика – написанное честно, в силу уровня и знаний (опять же: профессионалы от слова «мастерство» наперечёт), в той или иной мере легитимны. Какие-то в качестве ученических попыток осмыслить прочитанное (и это видно сразу, и с такими текстами нужно работать, и мы в Paradigma начали эту работу), какие-то – в границах профессионального поля. Его-то и очерчивает «Неистовый Виссарион», легитимируя не тексты – критиков. И это представляется своевременным и необходимым.

3. В конце прошлого ответа – ещё не видя формулировку третьего вопроса – я употребил оба слова: и «необходима», и «своевременна». Премия (как и выпуск книги в хорошем издательстве, например) – легитимирующая институция. Она *необходима* для разграничения профессионального и любительского письма о книгах, а *своевременна* постольку, поскольку читатель (часто сам пишущий – из сообщества) уже *разут перед текстом*, но не видит брода. Так вот, «Неистовый Виссарион» призван проложить этот брод.

Механизм, разумеется, нуждается в корректировках (ну да и рай был не идеален – змей явно нуждался в переселении) – за границей премии оказалось немало ключевых имён: Денис Ларионов, Дмитрий Кузьмин, Алла Горбунова, Александр Сорочан, Александр Скидан и др. Потому и видится необходимым, как я уже написал, создание не только института «свободного номинирования», но и экспертного – с задачей не упустить значительные явления, тексты и имена в современной критике. (А среди типов критических текстов я не углядел в лонге кратких обзоров, рецензий-аннотаций, которые подчас написать сложнее, чем выдохнуть 2-4-страничный текст.)

Это, однако, не отменяет особого значения премии. «Неистовый Виссарион» – первая попытка охватить (и оценить) *всё критическое поле* в русскоязычном сегменте литературы. Когда экспертное мнение размывается соцсетями и блогами, когда мысль подменяется пересказом или заимствованием, когда личность теряется в границах ошетинившегося пустопорожними словами внешне качественного текста, – премия «Неистовый Виссарион» замедляет маховик дутых репутаций, предлагая сообществу (пусть и не без нареканий, вспомним «топорят») ориентир, требующий уточнений (и расширений, и сокращений), но: появившийся именно благодаря премии.

Сергей КОСТЫРКО

Какие процессы происходят в современной критике?

Это вопрос, который и провоцирует, и одновременно ставит в тупик неоглядностью темы. Потому как процессов, происходящих сегодня в критике, много. Очень много.

Начну с процесса, который чуть ли не заново ставит сегодня вопрос, а что такое вообще литературная критика, – с отделения от литературной критики ее информационно-аннотационной составной в так называемую «книжную критику». «Книжная критика» оформлялась в свое время в текстах литературного обозревателя журнала «Афиша» Льва Данилкина. При том, что Данилкин очень часто писал именно о литературе, а не о «книжных новинках», все-таки главной функций его текстов, определяемой самим типом его журнала, была реклама «книжных новинок». Возможно, поэтому, то есть почувствовав стесняющие рамки этого жанра, Данилкин и ушел на «литературную волю». Сегодня же в качестве лидера «книжной критики» я бы назвал Галину Юзефович. Нет, ничего против целей, которые ставит перед собой Юзефович, я, разумеется, не имею; работу она делает необходимую – аннотированные списки достойных внимания

книг, а также – более развернутые разборы. Собственно, любой профессиональный разговор о литературе начинается именно с этого – с отбора текстов и выяснения, какому читателю эти тексты предназначены. Но вот естественное продолжение такого разговора требует от критика проработки самих критериев анализа, которыми он пользуется; литературно-критической импрессионистской эссеистичностью здесь не обойтись, критик все-таки должен объяснить, что именно позволяет ему ставить в один ряд, скажем, книги В.Г. Зебальда, демонстрирующие одну из высочайших точек в культуре сегодняшней литературы, и роман Донны Тратт «Щегол», высокопрофессиональную имитацию «литературы XX-XXI века», писавшуюся с ориентацией на сегодняшний вариант «интеллектуального глянца». То есть употребление слова «шедевр» к книгам этих двух авторов вполне допустимо исключительно как рекламный жест, но не как литературно-критическое суждение.

Свои размежевания происходят и внутри уже собственно литературной критики.

Опору современной литературной критики я, например, вижу в творчестве критиков, которые, выстраивая концепцию литературы, из которой они исходят, соблюдают традиционное соотношение опоры на науку (современную филологию) с собственным художественным чутьем, своей интуицией художника. Типы этих критиков представлены в списке шорт-листа «Неистового Виссариона»: Андреем Пермяковым, Юлией Подлубновой, Дмитрием Бавильским, Ольгой Балла, Марией Галиной и другими. И тут уже не важно, берут ли эти критики на себя труд отдельно прописывать свои опорные представления о литературе (как скажем, это происходит в статьях Пермякова или Подлубновой), или же критик реализует себя почти исключительно в жанре рецензии, как Ольга Балла. И там, и там присутствие своей проработанной каждым из них концепции современной литературы для меня как читателя легко восстанавливается уже самой логикой их анализа и системой критериев оценки. Определение «традиционная критика» в данном случае отнюдь не означает критику эпигонскую. Напротив, одной из традиций русской литературной критики в каждый ее период было ее соответствие эстетическому состоянию рассматриваемой этой критикой литературы. И как раз здесь сегодняшние «традиционалисты» выступают как «авангардисты» – они противостоят критикам «книжным», опирающимся в своих разборах на привычные широкому читателю представления о литературе.

Ну а рядом с этими вот критиками-«традиционалистами» продолжают свою работу критики, вдохновленные обозначившейся в 90-е годы новой волной литературной критики, которая была оформлена в журнале «Новое литературное обозрение». Цель этих критиков все та же: поиск ответа на вопрос, как делается подлинная литература, из какого материала и по каким технологиям. Ну а опорой в достижении этой цели предполагается нынешнее состояние отечественной и мировой филологии (прошу прощения за неизбежное здесь огрубление схемы). Нет-нет, я здесь не иронизирую – это задача, на самом деле, актуальнейшая. Это главная задача критики, и, соответственно, каждый критик в каждом своем литературно-критическом разборе всегда занимается еще и выяснением вопроса, что же, на самом деле, делает литературу литературой. В «энзловском» же варианте задача эта была поставлена в лоб: найти научно проработанную формулу литературного творчества, или хотя бы выстроить некую модель работы этой формулы. Для меня, скажем, абсолютной персонификацией этого направления в критике являются литературно-критические тексты Даниила Давыдова. Давыдов – человек умный, я уверен, что он и сам знает, что вывести формулу художественной состоятельности текста невозможно в принципе. И что принципиальная невозможность существования такой формулы – залог существования литературы. Но вот сам процесс поиска этой формулы при всей очевидной его безнадёжности необыкновенно плодотворен и необходим литературе. И потому у критика Давыдова и его единомышленников свое законное место в современной русской критике.

Ну а по другую сторону от «традиционалистов» я, например, вижу критиков, для которых литературная критика постепенно становится еще и формой лирической исповедальной прозы. Критиков, которые реализуют свой критический дар в вольной, часто очень личной эссеистике – в шорт-листе «Неистового Виссариона» эта критика представлена Дмитрием

Бавильским, равно владеющим и стилистикой критика-«традиционалиста» и стилистикой литературно-критического эссе. И нужно сказать, что у такой вот критики есть свои, только ей присущие возможности, и что здесь соединение «филологической физики» и лирики абсолютно органично. Ну скажем, литературно-критические эссе Александра Кушнера или эссе Юрия Казарина в ежемесячной рубрике журнала «Урал» «Слово и культура» – это что? Критика или лирико-исповедальная проза поэта? И то, и другое.

Что влияет на ее функционирование в качестве арт-институции?

Наличие толстых литературных журналов с разделами критики. И только. Увы.

Способствует ли премиальный процесс изменению/расширению представлений о литературной критике как явлении, переопределению границ etc?

Об этом судить пока рано. Пока этот вот «премиальный процесс» (я имею в виду сюжет «Неистового Виссариона») является фактом исключительно внутрилитературной жизни. Я пока не вижу дальнейшего продвижения этого процесса в виде, скажем, какой-то книжной серии, ориентированной на широкого читателя и готовой представить творчество отобранных экспертами «Неистового Виссариона» для шорт-лист авторов. А шорт-лист премии в этом году, на мой взгляд, абсолютно репрезентативен для состояния нынешней литературной критики.

Стоит ли разводить критику и эссеистику? Критику и анонсы? Критику и ...? Есть ли в пространстве современной критики высказывания/типы высказываний, которые нелегитимны?

Я думаю, что нет, не стоит. Все дело в том, насколько литератор, пишущий литературно-критическое эссе или анонс, или просто пост в сети, посвященный литературе, чувствует рамки своего жанра и способность его – выбранного жанра – выполнять функцию литературно-критического высказывания.

Насколько необходимым и своевременным было появление премии «Неистовый Виссарион»?

Такая премия как «Неистовый Виссарион» необходима. По причинам очевидным: литература существует как литература только при наличии ее рефлексии над самим процессом своего функционирования. То есть при наличии литературной критики. Литературная критика – это то, что оформляет движение множества разных текстов в то, что мы называем литературой. Ну а сегодня от имени литературной критики в наших СМИ представляет по большей части рекламно-аннотационная литературная журналистика. Поэтому необходимы и вот такие, принадлежащие прежде всего культуре, формы продвижения литературной критики.

Какие типы осмысливающих литературу текстов, по Вашему мнению, не были представлены в лонг-листе премии? Что Вы бы хотели увидеть во втором сезоне?

Не было места для номинации, которую я бы назвал «Зоил года» (если бы, конечно, исторический Зоил не был настолько отвратным типом) или «Гераклом года», если вспомнить пятый подвиг Геракла с очисткой Авгиевых конюшен. Очевидный претендент на это место – критик Александр Кузьменков со своей (увы, завершившейся) колонкой «Черная метка» в «Урале», без которой уже невозможно представить наш литературный пейзаж последних лет. Колонку составляли тексты, написанные необыкновенно живо, энергично, без оглядок на сложившиеся в литературе иерархии и репутации; но самое главное здесь – тексты этой колонки рождены были отнюдь не зоиловским намерением как можно больше уязвить рецензируемого

автора, а – защитой подлинной культуры. На самом деле, «Черная метка» Кузьменкова была своеобразной попыткой написать – от противного – чем является подлинная литература.

Александр МАРКОВ

1. Обычные жалобы на вытеснение аналитической контекстуализирующей критики рекомендательной звучали и сто лет назад, и больше, например, в книге Гюстава Лебона «Психология масс» (1895). В 1990-е годы так же обсуждали Андрея Немзера, как сейчас – Галину Юзефович, спрашивая, какая общая идея стоит за его яркими критическими суждениями, неужели только какие-то любимые им частные идеи, и в конце концов делали вывод, что Немзер отстаивает идею критического профессионализма. Так же точно и сейчас о Галине Юзефович говорят, что она создает квалифицированного читателя, будучи таковым – но это уже 25 лет назад сказали о Немзере, что будучи филологом-профессионалом, он создает профессиональную критику. Поэтому жалоба на засилье рекомендательной критики кажется мне совсем не основательной, наоборот, в России ее очень мало: ни в толстом журнале, ни в глянце мы не можем представить «Максим Галкин о пяти лучших мировых романах о шоу-бизнесе» или «Роман Абрамович о своих любимых книгах о работе крупного бизнеса», разве что в виде исключения в результате стечения обстоятельств. Очень хорошо это показывает выбор книг для перевода издательствами равно крупными и малыми: это обычно не результат рекомендаций знаменитых людей «оттуда» или «отсюда», но каких-то кулуарных договоренностей и маркетинговых расчетов.

Если говорить о процессах в современной критике, то мы видим, что возникают постоянно точки притяжения, и хотя невозможно сказать «Школа Даниила Давыдова», «Школа Ольги Балла» или «Школа Ильи Кукулина», но тем не менее видно и какие критики, и какие литературные произведения тяготеют именно к этому центру, а не к другому. Но замечательно, что все притягивающие к себе литературу критики работают в университете или, во всяком случае, имеют опыт академической работы – этим они отличаются от Белинского, который хотя очень хотел получить университетское образование, выстраивал свое повествование как ценностно очень отличающееся от университетского. Грубо говоря, критику профессору Шевыреву или профессору Надеждину полагалось быть центростремительным и даже анекдот превратить в повод для утверждения академической нормы высказывания о литературных контекстах, тогда как Белинский был центробежным, и он превращал анализ произведений в способ произвести новые контексты. В этом смысле можно считать «Транслит» наследниками Белинского и демократической критики: ведь они берут хоть и экзотические, но уже освоенные даже местными интеллектуалами идеи и имена, от Альтюссера до Мейясу, и просто показывают, как много новых контекстов они вдруг могут произвести, если их еще раз перевести или еще раз внимательно прочитать. Это, разумеется, не значит, что толстожурнальная критика – «шевыревская», при всем уважении к таланту Шевырева, это просто значит, что она существует и потому, что существует шевыревский принцип в производстве высказываний о художественной литературе, иногда дрейфующий в сторону консерватизма, а иногда подрывающий его изнутри – о чём мог бы быть долгий разговор.

2. Исторически, конечно, всё это разводить стоит. От античности до Просвещения критика понималась как высказывание ценителей, тогда как эссеист или автор анонсов не обязан быть ценителем, напротив, чрезмерная изысканность вкусов ему может даже помешать. Но в современном мире они могут оказаться сведенными от обратного, в спорах, например, о границах документальности и художественности, об адаптациях и популяризации, о романе как о тотальном жанре и подрыве этого тотального жанра изнутри, о кружковой литературе и массовой, о романах с ключом и метароманах, о конце постмодерна, в конце концов. Одних аргументов критиков будет недостаточно, чтобы разобраться, можно ли считать данное собрание статей романом, или имеет

ли право историк на публицистичность. Всё это вопросы, которые нельзя решить, не привлекая филологического аппарата, а эссеистика как инструмент показывает, насколько внешние читатели могут воспринять профессиональное филологическое высказывание, насколько оно вообще может прозвучать как факт опыта, а не только как факт коммуникации.

С нелегитимностью совсем просто: есть вполне разделяемые представления, что передергивание чужих слов или *argumentum ad hominem* нелегитимны. Но сейчас, думаю, список нелегитимных аргументов надо расширить, например, частое на обсуждениях монографий «а почему вы не написали еще об этом» или различные формы эссенциализма, превращения понятий в сущности, в духе «роман должен выглядеть как роман» или «любую высказываемую мысль нужно делать законченной». Пока такие тавтологии оказываются сильнее свободной мысли, ничего хорошего критику не ждет.

3. Любая премия, в том числе критическая, очень полезна. Личное пожелание – прочесть в следующем сезоне вдруг вернувшихся в критику моих проницательнейших друзей, которые не попали в этот лонг-лист, независимо от того, кто они, «консерваторы», как Вероника Зусева-Озкан, или «либералы», как Ирина Каспэ – но это «письмо Деду Морозу». А если говорить не о личном, мне не хватило имен тех, кто, не являясь критиками в строгом смысле, по-новому членит литературу в своих исследованиях и размышлениях и вносит вклад в будущее критики не меньший, чем профессиональные критики. Это, скажем, Олег Лекманов, Валерий Подорога, Ольга Седакова, Сергей Ушакин, Михаил Эпштейн, Александр Эткинд, Алексей Юрчак. У всех у них в последние год-два вышли книги-события, будь то монография, биография Венедикта Ерофеева, как у Лекманова, или сборник интервью, как у Седаковой – это вклад в общее развитие и самоориентацию критики. Это и некоторые социологи и урбанисты, например, Наталья Граматчикова, Галина Орлова, Елена Трубина, которые даже если рассказывают истории заводов и НИИ, сразу невольно показывают, каковы минимальные условия возникновения литературы в большом городе. Эти и некоторые организаторы книгоиздания, как Валерий Анашвили, Александр Иванов, Ирина Прохорова – они критики, даже если не пишут критических текстов, не только потому что отбирают книги для своих издательств, сколько потому, что имеют свои концепции, как соотносятся автор, читатель и критик. Вокруг каждого из названных формируется своя аура, привлекающая тех, кто любит читать и обсуждать книги, и прибой новых поколений молодых гуманитариев рядом с ними всё слышней. Во втором сезоне хотел бы увидеть хотя бы половину этих имен, тогда и дискуссии о читателе литературы и читателе критики будут содержательнее.

Лев ОБОРИН

1. Несмотря на появление нового поколения, профессия по-прежнему в дефиците. Критика ищет новые платформы, сростается с блогосферой (то, что институционально не удалось когда-то ЖЖ, до какой-то степени удалось телеграму) – и остается частью не то чтобы огромной экосистемы. Чтобы она расширялась, нужны новые площадки – и, конечно, новые и качественные книги; на обзорах зарубежной прозы далеко не уедешь. Радует, впрочем, что у нас появились критики нон-фикшна, занимающего все большее место в книжном мире.

Премии, делающие упор именно на критику (назову такие инициативы, как премия «Фикшн35», премия «НОС», третий год подряд включающая специальную номинацию – приз критической академии; в каком-то смысле и покойное «Различие», выпускавшее по итогам сезона сборник статей о лауреате), мне кажутся совершенно правильной идеей – как и отдельные премии для критиков: помимо «Неистового Виссариона», можно вспомнить «Московского наблюдателя» и несколько недавних премий за литературные блоги. С одной стороны, последнее кажется пока историей немного игровой, с другой – так можно и обо всем остальном сказать.

2. Эти границы эфемерны, но интуитивно определимы. С анонсами, небольшими обзорами – проще всего: они выполняют именно ту информативную функцию, на которую претендуют. Не то что нелегитимным, но попросту неэкологичным мне по-прежнему кажется хамское паясничанье: под видом заботы о больной литературе здесь скрывается жажда быть услышанным независимо от сообщения. Завуалированная самореклама.

3. К сожалению, я не очень пристально следил за первым сезоном премии, но рад победе Ольги Баллы – критика высокого уровня. Ольга самоотверженна, скромна и внимательна к разному, она пример книголюба, ее работа давно заслуживала награды. Мне хотелось бы, конечно, больше текстов о поэзии – но мне этого всегда хочется.

Юлия ПОДЛУБНОВА

1. У меня есть ощущение исчерпанности высказываний о состоянии современной критики и о современных критиках – столько в последние годы было различного рода опросов, круглых столов, посвященных этому, потом рубрика «О профессии критика» на портале «Литература» – в общем, не знаю, что еще добавить: да, функционирует, да, меняется, как меняется сама литературная ситуация. О «Неистовом Виссарионе» по первому сезону судить сложно, хотя финалистов жюри выбрало, надо отдать должное, умно, и этим выбором легитимировало премию.

2. Скажем так, не всякую критику я готова воспринимать – включаются политические и эстетические фильтры. Формат критического высказывания во многом зависит от того, где оно будет опубликовано – это понятно, и от творческих/аналитических возможностей самого автора. В конце концов, не так уж важен формат, важно, что и как говорится, есть ли новые смыслы в высказывании, насколько интересно его читать. Нелегитимны агрессия и невежество, но это тоже понятно.

3. Лонг-лист мне показался апофеозом эклектики, но очевидно, что круг номинаторов и институций, которые могли номинировать критиков на премию, не был каким-либо образом ограничен. Некоторых авторов выдвигали несколько номинаторов – вот здесь, мне кажется, стоит продумать регламент приема заявок во втором сезоне, потому что мне, например, ясно, как можно выстроить механизм накрутки условного рейтинга внутри премиального лонга, хотя я сама, разумеется, так не делала, как, думаю, ничего не предпринимала Ольга Балла, абсолютный чемпион по количеству выдвижений, и другие «популярные» критики из первого сезона.

И не помешала бы большая осмысленность шорт-листа. Может быть, стоит организовать какие-то публичные обсуждения работ финалистов.

Дмитрий БАВИЛЬСКИЙ

К ВОСТОКУ ОТ ВОСТОКА

Матиас Энар. Компас: Роман / Перевод с французского Ирины Волевич и Елены Морозовой. – М.: Иностранка, 2018. – 512 с.

Роман получил Гонкуровскую премию (2015) и вошел в шорт-лист интернационального Букера (2017), между тем у нас остался незамеченным.

Поначалу избыточная эрудиция рассказчика, страдающего бессонницей, кажется какой-то бессмысленной – вот, примерно, как у экскурсовода, обрушивающего на случайного туриста цунами ненужных, мгновенно забываемых сведений.

Все они, так или иначе, связаны, в-первых, с музыкой, поскольку Риттер Краус, которому в этот день лечащий врач поставил опасный диагноз, венский музыковед, изучающий восточный (иранский, сирийский, турецкий, индусский, российский) мелос.

Во-вторых, музыка для Крауса сильно связана с литературой, в частности, с поэзией, поскольку Сара, главная любовь его жизни и вечно ускользающий объект, которой он пишет письма, изучает восточных писателей в диапазоне от средневековья (Хафиз и Авиценна, Руми и Хайям) до модернистов, вроде Садега Хедаята, турецкого автора романа «Слепая сова», покончившего с жизнью в послевоенном Париже.

В-третьих, потоки многословного знаточества Риттера подпитываются постоянными путешествиями и долгими зависаниями в Дамаске, Алеппо и Тегеране, в Стамбуле, Пальмире и в Каире, на которые и выпадают главные встречи с Сарой – как раз накануне революции в Иране или гражданской войны в Сирии, свидетелями которых автоматически становятся иностранные учёные,

занимающиеся здесь исследованиями и раскопками.

Научные интересы тут намертво сплетаются с городским колоритом (Тегеран кажется экспатам выцветшим и особенно пыльным), любовными историями, дружескими посиделками, чтением книг, приёмами в посольствах и прогулками по периферийным кварталам, не лишёнными умеренной опасности.

Подобно многим коллегам, Риттер и Сара влюблены в восточные языки и культуры, вот и не мыслят жизни без регулярных выпадов (sic!) из удручающих объятий родимой Европы, где всё уже давным-давно вычищено, выскоблено, расчислено и изучено до самой последней запятой. Восток для них – это, прежде всего, хаос и неподтасованность, стихийная органика грязи, крови и почвы, находящаяся в становлении и одновременном разрушении. То есть совершенно иначе организованная, непривычно устроенная система социального времени и общественного пространства. Самодостаточный романский хронотоп, в котором все ещё можно найти следы чего-то подлинного.

Дотошный Краус знает о предмете своей страсти всё и даже более нужного. Мысленный монолог его, вырастающий из тяготы ночных бдений (вместо глав в «Компасе» обозначены часы вынужденного бодрствования), цепляется не только за всяческие экзотические персоналии, биографии политиков и поэтов, ученых-арабистов (вполне, кстати, реальных и до сих пор действующих, живых) и того, что с ними происходит, а также колоритных типов, революционеров, хиппарей и наркош, но и расширяет наши знания мини-экскурсами в обстоятельства жизни европейских классиков – Гейне и Бальзака, Гёте и Курбе, Стендаля и Флобера, Рембо и Кафки, классика азербайджанской оперы Гаджибекова и Мендельсона, Вагнера, Листа и Гюго.

Иногда кажется, что многое и многих Энар придумал (роман «Слепая сова» или

оперу «Меджнун и Лейла»), однако, в книге есть пространные комментарии, да и Гугл не скрывает, что книгу Садега Хедая не просто перевели на русский, но ещё и издали в СССР. Его можно прочесть онлайн, а оперу Гаджибекова, которого рассказчик в одной из своих музыковедческих статей сравнивает с Россини и с Верди, висит в ютубе.

Представьте новеллу Борхеса, растянутую до размеров вместительного романа, непреходящую, предельно насыщенную литературоведческую пургу, в которой каждое упомянутое имя может оказаться нарративной развилкой и креном вбок. Ассоциация с Борхесом становится неизбежной, если вспомнить, что роман Матиаса Энара, получивший Гонкуров в 2015-м, так и называется «Boussole», а смерть ходит всё время с персонажами где-то рядом. По касательной, впрочем, так их и не задевая: известно же, что экспатам всегда везёт больше, чем аборигенам.

Некоторые рецензенты решили, что Риттер Краус смертельно болен, однако диагноз его в книге не упоминается. Скорее всего, заболевание его опасно, но не смертельно (лечащий доктор так и сказал накануне: «...когда вы поправитесь или умрёте, я буду ужасно скучать...»), но умирают все 100%, а шанс на выздоровление отметить нельзя): кажется, это принципиальное условие для описания безопасной и комфортабельной европейской жизни, словно бы лишённой вкусов и запахов, за которыми европейские паломники и ломаются, замороженные, на край ойкумены. Чтобы в конечном счете, как это ни банально, приземлиться в непосредственной близости с собой и собственным домом.

«Восток является воображаемой конструкцией, совокупностью представлений, откуда любой, где бы он ни находился, может черпать до бесконечности. Наивно полагать, продолжала рассуждение вслух Сара, что сегодня наличие чемодана с представлениями о Востоке характерно только для Европы. Нет. Эти образы, этот чемодан с сокровищами доступен всем, и все, по мере производства культурной продукции, добавляют в него новые рисунки, новые портреты, новые музыкальные

произведения. Алжирцы, сирийцы, ливанцы, иранцы, индийцы, китайцы также черпают из этого сундука, из этого мира воображаемого...»

Энар плетёт ассоциативные ряды подобно Шахерезаде, из-за чего первоначально я хотел назвать рецензию «Тысяча и один день», ну, или же вспомнить «Паломничество в страну востока» Гессе. Однако, на странице 414 Энар, вместе со своим музыковедом, долго и подробно рассказывает о том, как в 1860 году в Пекине горел единственный экземпляр «*“Юнгло та-твен”, объёмной энциклопедии династии Мин, составленной в XV веке и охватывающей все знания мира – одиннадцать тысяч томов; одиннадцать тысяч томов, двадцать три тысячи глав, миллионы и миллионы выписанных иероглифов развеялись как дым в гудении пламени императорской библиотеки, расположенной, на её несчастье, рядом с британской миссией. Только один неизвестный китайст заплачет: один из тех уникальных людей, кто в воинственном пылу сумел осознать, какое сокровище только что исчезло; он находился там, в самом центре катастрофы, и его собственная смерть внезапно стала ему безразлична, он видел, как дымом разлеталось знание, как уничтожалось наследие древних мужей...*»

Выходит, что это и есть та самая «Энциклопедия китайского императора», с подачи Борхеса, вдохновившая Фуко на создание «Слов и вещей», а теперь, значит, и Энара на свой собственный, принципиально не заканчиваемый границами конкретного текста, «Компас».

Иногда, правда, автор перестаёт плести знаточескую паутину, переключаясь на роман Риттера и Сары, поскольку отношения мужчины и женщины, хотя бы и заочные, интереснее любых ходячих энциклопедий. Тем более что инь и янь, заранее предназначенные друг для друга, существуют в таком же неразрывном, диалектическом единстве, как Европа и Азия.

Краус начинает вспоминать совместные с Сарой поездки и вылазки (ночь в сирийской пустыне возле Пальмиры), интеллектуальные

сборища и интеллигентские вечеринки с пупопорожним умничаньем.

Из-за этого Борхес на время плавно переплывается в Кортасара, периода «Игры в классики» и «62. Модель для сборки» (ключевое слово: «неприкаянность»), а также в Байетт и технологии её самого известного романа, так как «Компас», как и «Обладать», напичкан массой подложных документов – писем и статей Сары и её недолюбовника.

Целый корпус текстов, благо не такой объёмный, как у Байетт, сопровождают выцветшие снимки обложек с арабской вязью и открытки с изображениями курильщиков опiums. Для того, чтобы в мизансценах, напоминающих жанр субъективного путеводителя, «Компас» уже почти ничем не отличался от меланхолических путешествий Зебальда, писателя ныне столь модного, что им теперь возможно измерять творения любых других литераторов.

Впрочем, увлечение Зебальдом – явление временное и стихийное, тогда как есть другой, более фундаментальный закопёрщик темы памяти и воспоминаний, которого Энар, разумеется, тоже не минует.

«...Поистине нужно быть итальянцем, чтобы выдумать такое: вымачивать в кофе кусочки бисквита; всем известно, что их нельзя вымачивать в чём бы то ни было, они только кажутся твёрдыми, но стоит их опустить в жидкость, как они начинают таять и падать с ложечки в чашку – жалкое зрелище!»

И если такой легкой отсылки недостаточно, то вот вам совсем прямое высказывание (Энар, разумеется, учитывает способность читателей разной степени квалифицированности, из-за чего разжевывает и добывает любую «шутку»), идущее следом:

«Пруст взял за один из образцов сказки “Тысячи и одной ночи” – книгу ночи, книгу борьбы со смертью. Как Шахерзада еженощно борется, после любовных объятий, с нависшей над ней угрозой казни, рассказывая султану Шахрияру историю за историей, так и Марсель Пруст берётся за перо каждую ночь, много ночей подряд (по его словам, “может, сотни ночей, может, тысячи”), в надежде победить

безжалостное время. В “Поисках” Пруст более двухсот раз намекает на Восток и на сказки “Тысячи и одной ночи”, которые он знает по переводам Галлана (дышащим детской чистотой – чистой Комбре) и Мардрюса (более искромётной, более эротической – версией для взрослых), – на всём протяжении своего огромного романа он словно прядёт золотую нить великолепного арабского повествования: Сван уподобляет звуки скрипки духу, вылетевшему из волшебной лампы, симфония у него блистает «всеми алмазами “Тысячи и одной ночи”». Без Востока (этой грёзы, звучащей на арабском, персидском и турецком языках, без этого апатрида, называемого Востоком) не было бы ни Пруста, ни “В поисках утраченного времени”...»

Протяжённые цитаты неизбежны. С одной стороны, они дают образцы авторского стиля и путанного, вполне прустянского синтаксиса, впрочем, слегка упрощённого двумя превосходными переводчицами, с другой показывают, что любой пассаж «Компаса» оборачивается символически насыщенным описанием внутреннего сюжета книги, натуральной метарефлексией над собственным методом.

Он в том, чтобы понять, зачем нам, всем людям доброй воли, нужна столь избыточная эрудиция. Зачем постоянно узнавать новое в эпоху Википедии и почему важно копить лишние сведения. Куда их можно девать в годы раздумий и в минуты роковые, если долго не спится. Так вот как раз сюда – для поддержки личного душевного иммунитета: многие мудрости не только печаль, но и поддержка. Вспомним читателей стихов в блокадном Ленинграде, о чем рассказывают дневники военных лет, ну, например, Софьи Островской, Любови Шабалиной и Лидии Гинзбург, тюремные воспоминания Иванова-Разумника или переписка Шаламова с Пастернаком.

Нынешнее существование срединного европейского интеллектуала (и, тем более, статусного, заслуженного да известного хотя бы в своей отрасли) безбедно и безобидно. В нём, если верить Энару, вообще ничего не происходит, кроме командировок и конгрессов, а

самой опасной является борьба за получение грантов.

Поэтому и возникает необходимость Востока – символа первородства и хищной хтони, поглощающей не только отдельные культурные объекты, но и целые цивилизации. Слегка забавно, что в него Энар включает все территории бывшего Советского Союза.

Это мы до хрипоты можем спорить, скифы мы или же европейцы, а вот герой «Компаса» уже давно всё для себя определил.

«Сара взяла прямой рейс до Бендер-Аббаса на самолёт новой авиакомпании с поющим названием "Ария-Эйр", эксплуатирующей потрясающий Ил тридцатилетней давности, переоборудованный "Аэрофлотом", где надписи все еще оставались на русском; я укорил Сару за идею экономить на спичках, рискуя собственной жизнью, чтобы выиграть несколько сот риалов на разнице цен; вспоминаю, как в самолёте талдычил ей, что на спичках не сэкономишь, что ты мне это напишешь, напишешь не меньше сотни раз: "Я больше никогда не буду путешествовать левыми авиакомпаниями, использующими советскую технику", она смеялась, холодный пот, которым я обливался, вызвал у нее смех, а меня при взлете охватил мандраж, потому что самолет дрожал так, словно готов был развалиться на части уже на взлетной полосе. Но все обошлось...»

Пять минут, полет нормальный: Россия – все-таки не Восток, так как мы по-прежнему опасны для мира. Хотя бы оттого, что все мы, как и самолеты наши, реальны!

Барт, кажется в «S/Z», продвигает мысль о том, что любой текст является, прежде всего, суммой всех текстов, написанных до него. Впрочем, о гибели самого Барта этой весной выпущен другой современный французский роман, мне же пока интересно остановиться на том, как достижения авангардистов плеяды «нового романа» способны оживить грамотную, но не слишком харизматичную беллетристику, куда много всего понапихано, но в которой ничего не происходит кроме потока сознания, направленного на неважно скроенный конструкт. Так как Сара, несмотря на все письма к ней и отрывки из

её статей (одна из них посвящена трупному вину, получаемому на Борнео из разлагающихся трупов, замурованных в глиняные кувшины до полного разложения, чтобы можно было снять в тексте оппозицию между жизнью и смертью: «...для них смерть – это не мгновение, а долгий процесс. Жидкость, образующаяся во время гниения, является подлинным свидетельством того, что жизнь ещё здесь. Жизнь текучая, осязаемая, пригодная для питья...»), так и остаётся фигурой речи, призванной придать бесконечной интеллектуальной мастурбации Риттера Крауса хоть какое-то жизнеподобие.

Женщина интересует автора меньше Востока, позволяющего превратить свой виртуальный архив «в золотую нить великолепного повествования», чтобы хоть как-то использовать его по назначению и, может быть, развязаться с частью ненужных сведений, накопленных за десятилетия. Интересно же следить, как Энар плетёт сети эрудиции, составляя роман, точно мозаику, когда один фрагмент разноцветной смальты притягивает другой.

Его цепочки ассоциаций сконструированы искусственно и крайне искусно – это понимаешь, задумываясь, например, зачем же он поселяет Крауса в Вену, а не в Париж.

Ну, во-первых, Париж – место жительства Сары, во-вторых, таким же точно образом, как и всё остальное в этом романе, он может сконструировать из собственных знаточеских пазлов и локальных открытий Вену, чужеродную ему, чистокровному французу, но якобы являющуюся европейскими воротами на Восток.

Вообще-то, воротами в чужие цивилизации всегда являлись порты. Чаще всего морские. Не уверен, что Вена, в том, что касается европейских контактов с чужими краями, может тягаться торговыми связями, например, с Венецией. Вряд ли следует поддаваться авторской провокации и принимать «Компас» за ещё один вариант «Энциклопедии китайского императора».

Всё-таки, это не справочник, а роман.

Ольга БУГОСЛАВСКАЯ

НИЧЕГО СВЯТОГО

Лев Гурский. Корвус Коракс. – М.: Время, 2019. – 416 с.

Р.С. Кац. Альтернативная история литературы. – Волгоград: ПринТерра-Дизайн, 2019. – 120 с.

Писатель, литературовед и критик Роман Арбитман выпустил в текущем году две новые книги. Под псевдонимом Льва Гурского – фантастический роман «Корвус Коракс», а в качестве литературоведа Рустама Каца – «Альтернативную историю литературы». Обе книги служат святому делу десакрализации. В одном случае – властной иерархии, в другом – культурного канона.

«Корвус Коракс» – готовый сценарий для студии «Марвел». Его можно было бы назвать произведением для подростков, если бы мы не знали, что комиксы «Марвел» собирают кассу, которая одним подросткам была бы не в подъём. Это даёт основания предположить, что автор искусно иронизирует над взрослой аудиторией, столь, как оказалось, падкой на детское кино.

Как и должно быть в комиксе, все персонажи здесь делятся на очень хороших и очень плохих. Главный злодей – внук нацистского преступника, проникший в окружение бесменного российского президента и возглавляющий фланг патриотических сил. Под контролем заговорщика находится военизированное подразделение, называющее себя пионерами и имеющее черты провластных молодёжных объединений. Главному злодею принадлежит идея новой перекройки европейских границ, который заключается на этот раз в разделе Украины между Россией и Польшей с последующим созданием на расширенной территории РФ масштабного образования, которое можно будет назвать Четвёртым рейхом. Реализация плана грозит новой мировой войной, но это никого не смущает.

Антигерою противостоит группа положительных персонажей – юноша Иннокентий Ломов, недавно потерявший родителей, и ветеран ещё советской разведки легендарный Вил-

ли Максович Фишер. Они представляют собой классическую пару – герой и волшебный помощник. Их ближайшие союзники в борьбе с главным злодеем и его пионерами – радикальный оппозиционер Наждачный (Навальный) и его команда, в состав которой входят Лёля Горностай (Любовь Соболев) и другие узнаваемые лица. В итоге мы имеем наглядный и яркий стилизованный комикс, утверждающий, что сталинисты и милитаристы плохие, а анти-сталинисты и пацифисты хорошие. Как дважды два четыре и без колебаний между «с одной стороны» – «с другой стороны».

Фишка состоит в том, что роман изображает альтернативную реальность, в которой не оказалось места многим достижениям науки и техники. В этом мире отсутствуют компьютеры, телевидение, звукозапись, современные виды транспорта и связи и многое другое. Поэтому наиболее мобильным средством передвижения здесь является дирижабль, а срочные сообщения пересылаются с помощью телеграфа, а то и вовсе голубей. Однако замедление технического прогресса на человеческих привычках и пристрастиях почти никак не отражается. Например, сериалы, за отсутствием телевидения, идут на театральных подмостках в виде сценических постановок. Любителей мыльных опер необходимость каждый вечер посещать храм Мельпомены ни в коем случае не останавливает. Наиболее стойкие уже посмотрели 400-ю серию «Кармелиты» в театре «Ромэн». Техническая отсталость всерьёз не влияет и на выполнение рабочих задач. Передовая и мобильная команда Наждачного, не имея в своём распоряжении дронов и фототехники, овладевает навыками быстрых зарисовок и полётов на дельтаплане, чтобы оперативно получать изображения недвижимого имущества российских чиновников.

Музыку можно записать на так называемого носителя, то есть птицу подходящего вида. Завязкой сюжета служит момент, когда Иннокентий Ломов, сотрудник агентства по защите авторских прав, становится владельцем редкого носителя – ворона, у которого под дорожками с Киркоровым и шансоном обнаруживается оригинальная запись итоговой речи Сталина на секретных переговорах с Германией. За этим носителем и охотится заговорщик.

Положительным героям предстоит уберечь уникальную запись, а также найти подлинный оригинал договора, подписанного Молотовым и Риббентропом.

Двуслойный ворон, прячущий под глянце-вым слоем попсы зловещий голос вождя народов, – метафора всей нашей современной жизни: какими бы беззаботными и легкомысленными мы ни казались, на подкорке у нас записан товарищ Сталин, до сих пор нами управляющий. Иннокентий Ломов и Вилли Фишер – тоже двуслойная композиция. Кеша Ломов – носитель фейка, прилежный и доверчивый читатель поповых пропагандистских комиксов о героях-разведчиках, в том числе о Вилли Фишере. Сам же Фишер – носитель исторической правды, участник и свидетель эпохальных событий. Одна из главных задач Фишера как воспитателя – стереть из сознания своего подопечного дорожку с фейком и нанести подлинный слой. В целом «Корvus Коракс» – это, если можно так выразиться, комикс о борьбе с комиксом, роман, бьющий попу и пропаганду их же оружием.

Роман получился очень необычным и чрезвычайно дерзким. Автор обходится со своими высокопоставленными героями без всяких церемоний. И с президентом Прониным и премьером Михеевым, в честь которых названы два допотопных цепеллина, и с советником-интриганом Сверчковым, внимательно изучившим «Государя» Макиавелли, и с несчастным внуком Молотова, который расплачивается за преступления деда тяжёлой душевной болезнью, и с министром обороны, носящим имя Олгой Хорхой, и с любителем гламурных вечеринок и глянце-вых журнальчиков Романом Абрамовичем... Правда, некоторые прототипы уже настолько сами себя изжили, что над ними уже и пошутить трудно. «Корvus Коракс» вскрывает, что комедийный потенциал, например, Филиппа Киркорова ниже, чем у египетской мумии. Из тандема президент – премьер искру высечь тоже удаётся далеко не всегда. Зато дебютировавший в качестве литературного персонажа Навальный выглядит, хоть и забавно, но на зависть бодро и свежо.

Автор замечательно рисует всем нам знакомую реальность. Причём альтернативная плоскость, в которой эта реальность изо-

бражается, делает её черты ещё более узнаваемыми. Замечательно схвачено то, как отражаются на нашей жизни успехи отечественной дипломатии. Отношения с Польшей резко теплеют – в супермаркетах появляются польские яблоки, а в Большом театре срочно переписывают финал оперы «Иван Сусанин». С Красной площади исчезает монумент Минину и Пожарскому, которому тоже предстоит концептуальная переделка. Отдельный пункт – наша «тяга к святыням». Одна из самых удачных и метких сатирических зарисовок изображает появление на одном из подмосковных кладбищ захоронения братьев Grimm: «Депутат однажды съездил в Европу, хотел прикупить для храма в Одинцове каких-нибудь святых костей – у нас тогда только-только пошла мода на мощи. Святых по доступной цене не нашёл, зато приобрёл на аукционе в Шенеберге сундучок – по местной легенде в нём и были настоящие останки знаменитых братьев. А на тамошнем кладбище Святого Матфея будто бы похоронены другие Гриммы, однофамильцы... теперь у сказочников технически две могилы – одновременно в Шенеберге и в Улитине, куда он привёз сундучок. И здесь могилу для братьев обустроили намного солиднее... Скульптор Клыков делал памятник. Огромные улитинские Якоб и Вильгельм почти ничем не отличались от Кирилла и Мефодия на Славянской площади в Москве – только вместо креста братья обнимали за талию девушку с толстой косой. Из-за огромной длины этой косы... я догадался, что скульптор Клыков, наверное, имел в виду Рапунцель».

Все оттенки смешного и зловеще-страшного соединены в романе в органичное и непротиворечивое целое. Единственное, что вызывает сомнения, это насколько можно напугать современного российского читателя угрозой войны, развязанной нашей страной. Думаю, никто не испугается. Воспитанная российским телевидением вера в грядущие победы на всех направлениях может пересилить любые опасения. Чтобы всерьёз напугать, нужно, наверное, нарисовать ужасную картину поражения, разрухи и всеобщей нищеты. А так есть риск, что зрители Первого канала отнесутся к проекту под названием «Четвёртый рейх» вполне одобрительно.

Властная вертикаль – не единственная святыня, на которую покушается Роман Арбитман. Под псевдонимом Р. С. Каца он ведёт непринуждённую игру с авторами и героями литературной классики. При этом писатель смело перемещает их как в пространстве литературы, так и за его пределами, всякий раз задаваясь вопросом, что было бы, если...? Если бы Достоевский дал своему персонажу фамилию не Девушкин, а Деточкин, тот стал бы угонять у петербуржцев незаконно нажитые кареты и брички, а вырученные за них средства раздавать бедным людям, что оправдало бы и название произведения. Если бы Пушкин, образуя фамилии своих героев от названий северных рек, иначе распорядился суффиксами, мы бы читали роман о Евгении Онежском и Владимире Ленине. Если бы пьесе «Гроза» потребовался сиквел, им могла бы стать драма «На дне». К продукту творчества нужно относиться тоже творчески. Подмывает продолжить. Если бы Достоевский поручил Порфирию Петровичу расследовать убийство не только старухи-процентщицы, но и студента Шатова и старшего Карамазова, у нас был бы свой Шерлок Холмс. Если бы Анна не бросилась под поезд сама, а столкнула бы туда Вронского, Толстой стал бы знаменем русских феминисток. А если бы автором «Мастера и Маргариты» был Стивен Кинг, то главной героиней романа оказалась бы Аннушка с Садовой. Одержимая идеей мести за любимую литературную героиню и свою тёзку, она бы намеренно разливала масло на рельсах.

Известно, что смех и смешное – прекрасное средство борьбы с застоём. Что в политике, что в искусстве. А Роман Арбитман – один из лучших изготовителей этого лекарства.

Борис КУТЕНКОВ

ОДНА ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ЦИТАТА

Олег Дозморов. Уральский акцент. – М.: Воймега, 2019. – 172 с.

Когда в рецензии на предыдущую книгу Дозморова «Смотреть на бегемота» Евгений Абдуллаев написал об отсутствии «живого,

в нефилологической простоте сказанного слова»¹ – это высказывание представлялось нонсенсом.

Действительно, можно ли сказать таким образом о книге, автор которой способен признаться в плодотворном чувстве стыда, апеллируя к своей эмигрантской биографии: «Я за страну не выступаю, / стою на кельтском берегу, / недальновидно поступаю, / но стыд, как песню, берегу»? Который способен уместить сюжет жизни в афористичную, мгновенно запоминающуюся формулу: «И прошлое – неаккуратно, / и будущее – непонятно, / и настоящее – смешно»? И – с ужасом признаться в репутационной зависимости от чужой – но нет, не чужой, поскольку речь идёт о Борисе Рыжем, трагически покончившем с собой друге, – биографии: «...А между тем / я стал герой его поэм / в глазах литературы».

Между тем спустя семь лет выходит новый сборник – окончательно легитимизирующий Дозморова в амплуа канонического автора уже своим объёмом («прижизненный памятник самому себе», как едко заметил бы всё тот же коллега Абдуллаев): кажется, такого тома в «Воймеге» удаивались немногие. Книга включила как стихи, написанные до «Бегемота», так и после него, – и явно закрепляет его успех. И становится ясно, что первое замечание Абдуллаева имеет под собой почву, – поскольку книга имеет плотно утрамбованный реминисцентный пласт.

Но об этом подробнее скажем позже, а пока – о целостном впечатлении. В отличие от медлительного, элегичного «Бегемота» «Уральский акцент», хотя и довольно увесист, отчётливо демонстрирует метафизический нерв. И это – несмотря на приметы явной дневниковости, фиксируемости каждого дня, что вызывает в памяти прежде всего Катю Капович, поэта, эстетически и человечески близкого Дозморову. Конечно, такие стихи выгоднее смотреться в формате книги – тщательно отфильтрованные, с «причёсанной» композицией – и тут вновь сложно согласиться

¹ Евгений Абдуллаев. От 30 до 1300. Семь поэтических сборников 2012 года // Дружба народов. 2013. № 4.

с высказыванием Абдуллаева о «Бегемоте»: «Вообще, далеко не всем поэтам показано издаваться в книжном формате. Однообразие интонации, темы, стиля, не слишком заметное в подборке, в книге нарастает». Дозморов – поэт многопишущий, по-случки тяготеющий не к выжимке из золотой жилы, а к подробному, психотерапевтически обоснованному переложению повседневных реалий. Надо отдать должное издательству «Воймега»: для тех, кто читает ленту Дозморова в соцсети, впечатление заметно улучшается: альбомная безвкусица, неизбежная в жанре «лирического дневника», большей частью осталась за пределами тома. Но, вопреки признанию – «в юности достаточный для речи, / а теперь лишь вымочивший плечи» (о дожде), для речи достаточен любой новостной повод: просмотр теленовостей трансформируется в сильное стихотворение о гибели террориста, а в итоге – становится частью ключевого для сборника сюжета метафизической растерянности:

Выключаю глупый телевизор.
Много пролил крови имярек.
Вот он умер и лежит как высер,
значит, это тоже человек?

Если божий дух летит в пространстве,
если мы не просто вещество
(Хоть гниём в чудовищном засранстве),
если мы подобие Его,

неужели и на *том* есть тайна?
Есть на *этом* высшего печать?
И душа – безумна иль случайна?
Я не знаю, как это сказать...

Всё это могло бы показаться скептической оценкой книги, если бы не её плотная, особого рода, трогательная интертекстуальность, – превращающая «Уральский акцент» в один большой оммаж живущим и ушедшим друзьям. Иногда кажется, что аллюзии и реминисценции настолько плотно вросли в плоть и кровь дозморовского стиха, что написать что-то без опоры на цитату и переосмысление цитаты уже невозможно (по Андрею Василевскому, «как спросонья, одутловато / сквозь цитату

глядит цитата»)¹. «Вот когда человек средних лет, багровея, шнуры / наконец-то завяжет...» Гандлевского – с его мотивом возрастного усилия – трансформируется у Дозморова в «Потом смотрел на двор в окно. / Потом пошёл помыл посуду. / Потом подумал: всё равно. / Потом подумал, что не буду»; «я ль не лез в окно к тебе / из ревности, не по злобе...» – в «Я ли, Ленка, не дежурил / Под окном в вечерний час? / Я ль не прятался, как жулик, / дверь не выпускал из глаз». Бесконечное количество отсылок заставляет задаться вопросом об «опознаваемости» паролей. Если строка из шаблонного советского стихотворения «вот тропинка, вот лесок», вкрапленная в ткань индивидуального дозморовского повествования, узнаётся без труда благодаря известному фильму, то «длинные чёрные трусы» (в стихотворении Гандлевского, как известно, памятная реалья) или «несмертельная рана» в отнюдь не гандлевском, самостоятельном контексте предстают перед нами в ситуации, когда общий культурный код потерян даже внутри всё более распадающегося литературного сообщества. Наш с Олегом Дозморовым разговор во время последней краткой встречи зашёл о цитатном фонде в стихах Рыжего; я упомянул, что, достаточно хорошо зная Заболоцкого, впервые обратил внимание на строку у него «обожжённые крылья влача» – при этом много лет перечитывая Рыжего и не опознавая первоисточник его строки «одинокое крылья влача» (стихотворение «Не во гневе, а так, между прочим...», опубликованное в «Знамени» в 2000-м). Олег мгновенно поправил меня, обратив внимание, что я перепутал эпитет в стихотворении Бориса, и воссоединив мосты между Заболоцким и Рыжим, между временными точками.

¹ В рецензии на «Смотреть на бегемота» эту особенность дозморовского стиля уже отмечала Людмила Вязмитинова: «...Дозморова, стихи которого пересыпаны отсылками – от прямого упоминания и строгих цитат до едва уловимых аллюзий – к (по мере убывания частотности) Ходасевичу, Пушкину, Лермонтову, Блоку, Брюсову, Бродскому, Гандлевскому и многим другим – до “Повести временных лет” и Библии» (Людмила Вязмитинова. Такая вот традиция // Новый мир. 2013. № 7).

«Уральский акцент» и есть своеобразное воссоединение мостов. И «филологическая простота» (перефразируя абдуллаевское определение), возникающая в произвольности вкрапления культурной отсылки, в рассчитанности на читателя, умеющего опознать «пароль», – скорее примета доверия к читателю, но читателю определённого, «культурного» типа. Книга вообще написана с большой оглядкой – и если местами она не чуждается фривольного кокетства с расчётом на одобрение «с Урала», как бы оправдывая своё название («Поэт с Урала? По-любому гопник. / О, слабые Московии сыны! / Вы заслужили разве что поджопник, / пускатели завистливой слюны» – не аллюзия ли на екатеринбуржца Константина Комарова: «и, не дай бог, вперёд меня помрёт / какой-то нежный верлибрист московский?»), то временами художественная слабость оборачивается честной манифестарностью визитной карточки:

Молчи уж. Где она, Россия?
Да уж не там, где калачи,
народ, менты и палачи,
и где Георгий мочит змия.

Не где береза и рябина
и всяческие лопухи
обсеменяются у тына.
Она – где я пишу стихи.

Что ж, в разумных пределах поэту дозволено не только простота, но и опрощение – и, не присутствуя подобное стихотворение в дозморовском контексте, оно могло бы показаться ненужным манифестом квазипатриотического стиля. Не оставляет впечатление, что напиши подобное не Дозморов, это подобное легко затерялось бы в поэтическом самотёке; но я процитировал текст, опубликованный в «Арионе» – и очевидно лишённый примет авторской индивидуальности.

Если аллюзии на классиков разбросаны по книге весьма произвольно – будучи иногда продиктованы мимолётным межтекстовым импульсом, – то сюжет поэтических взаимоотношений с Борисом Рыжим про-

сматривается наглядно: в постоянных обращениях, как эксплицитных, так и «за-прятанных» до полной неопознаваемости для тех, кто не изучал (в отличие от автора этой рецензии) досконально его творчество. Да и для тех, изучавших, отсылки не вполне очевидны: «Мы гуляем, палим с наганов / да по газовым фонарям. / Чем оправдывается это? / Тем, что завтра на смертный бой / выйдем трезвые до рассвета, / не вернётся никто домой» не откликается ли у Дозморова в узнаваемой браваде: «Чудо-юдо – от древнего грека / до семнадцатилетнего человека / гордо тянется ДНК. / Вы – из конторы. Мы – от поэтического станка»? В другом стихотворении – ещё более явная (но осознанная ли?) интонационная цитата из процитированного стихотворения Рыжего:

Вводим танки сразу после пьянки
в серую притихшую Москву.
Окружаем телеграф без паники.
Рифмы в лентах, строфы на боку.

Залегла пехота в сквере мгlistом –
верлибристы, геи и т. п.
Мало нас, традиционалистов,
не прокатит наш ГКЧП.

От Рыжего в этой книге – мотив братства («тайный знак царскосельского круга», как об этом пишет Дозморов); тесное, чуть ли не до контаминации пограничье языковых пластов – арг, привнесённого из «того», общего для друзей «сказочного Свердловска» (Рыжий), и также общего для двух друзей «филологического» языка – иногда они сопрягаются в одном образе: «...в просодии кентами». От него же – признание в боговдохновенной природе высокой лексики, профанированной пародийным употреблением и оставшейся как примета наследия символизма. Эта лексика, так отличавшая стиль «мёртвого брата», возникающая у него на фоне сниженной – и создававшая неповторимый эффект равновесия между «земным» и «небесным», – выступает у Дозморова как предмет ностальгии в одном из манифестарных стихотворений:

символизм оттеняет прозу жизни, которой в этой книге с избытком:

Возникают претензии, пусть.
Ни строки без кокетства, без «драмы».
Что за бархат, Бугаев? Но грусть,
но воздушные храмы!

Мне сейчас не хватает их. Зря,
может быть, но оттуда
прилетала, пылая, заря,
бесконечное чудо.

Отличие же от Рыжего – в постоянном снижении сакрального пафоса поэзии, с трезвым при этом, лишённым иллюзий осознанием её антропологической принадлежности – и своего места в литпроцессе:

...со всем своим лирическим дерьмом
(что вечно оставлялось на потом)
осядем буквами в мелкий том.
Хотя, конечно, мелкими шрифтами.

Отношения с ушедшим другом – однако, и сюжет поэтического соперничества. Борис Рыжий останется последним в истории современной литературы поэтом, чья известность стала всероссийской – и горделивое дозморовское понимание «осядем буквами в мелкий том...» ничуть не противоречит горькому признанию, снимающему все вопросы о преемственности и о зависти:

И не завидуй, не. Тебе не светит, мне.
Хоть что, хоть двести раз
повисни на ремне, в предутреннем окне,
с слезой у ясных глаз.

В другом стихотворении – ещё более прямо:

Всяк любознательный пиит
мне говорит:
так почему же суицид?
А я весь стыд.
<...>

И у меня ответов нет,
погиб поэт.
Мне ваша пьяная слеза
саднит глаза.

Я жив остался, а другой
сыграл с судьбой
в одну опасную игру,
а я тут вру.

Ясно из этой книги – вопросов о самоубийстве Рыжего лучше не задавать, ибо ответов не предвидится, но сама зависимость от этой темы – и тема этой зависимости, не только в психологическом, но и в литературно-биографическом контексте – стала очевидной. Другому стихотворению Дозморов предпосылает эпиграф из Полежаева («О, дайте мне кинжал и яд, / Мои друзья, мои злодеи!») – и без труда вспоминается, что именно на этом стихотворении был раскрыт том Полежаева, лежавший на рабочем столе Рыжего в роковую ночь 7 мая 2001.

Книга вообще временами выходит далеко за пределы частной истории, становясь частью большого контекста, ориентированного на понимающих. Отголоски чужого «коллективного мнения» – мол, эпигон Рыжего, спекулирующий на общей с ним истории и получивший биографию как бы из его рук – слышны в начале стихотворения «Ну да, и на плечах у мертвеца...». Следующий за этой начальной строкой ироничный, как бы откликающийся эхом сарафанного радио автопортрет с блеском «расправляется» с говорящими кумушками и кумами, вновь в финале выходя на осознание места поэта Дозморова в литпроцессе, с неизбежной «властью и спесью»:

...Но всё-таки какая-то есть власть
и даже спесь, хоть это не в почёте.
И всё-таки – немного удивясь
меня прочтёте.

«Большой контекст» здесь имеет и важную географическую привязку. Дозморов – хранитель «того» Екатеринбурга («город Рыжий»): именно поэтому симптоматично обращение к фигуре Арсения Тарковского, за которым прочно закрепилось реноме

хранителя традиций Серебряного века, проводившего учителей – Мандельштама, Ахматову, Цветаеву – в мир иной и воспринимаемого в их контексте¹. Одно из самых горьких стихотворений в книге – «Нет, ничего почти что не осталось...», об исчезнувшем Свердловске – в своей эмоциональной беспомощности опирается на реминисцентный пласт известного стихотворения Тарковского, одновременно вступая с ним в диалог соперников, доводя этот диалог до чаемой Дозморовым эстетической одномерности: «Всё меньше тех вещей, среди которых / Я в детстве жил, на свете остаётся...» у Тарковского и «Нет, ничего почти что не осталось / от города, где я когда-то вырос...» Дозморова. В заключительном стихотворении книги реминисценция из этого же стихотворения Тарковского не оставляет поэта – и, заканчивая его оммажем Маяковскому («бесценных слов сквалыга, скряга, жмот»), полемизируя с «горланом и главарём», у которого, как мы помним, было «транжир и мот», Дозморов акцентирует внимание на мотиве бережности.

Лирический герой «Уральского акцента» как бы длит существование ушедших уральских друзей («как будто вас читаю из могилы, / товарищи, поэты, лицеисты») – Рыжего, Тягунова – попутно развенчивая легенды. В довольно-таки художественно необязательном верлибре («В 1909 году Александр Блок получил наследство от отца...») герой, максимально приближенный к Дозморову, смотрящий из единой с ним временной точки, излагает подлинную (ли?) историю

их совместной встречи с Рейном 1997 года, знакомую по стихотворению Рыжего «Рейн Евгений Борисыч уходит в ночь...». Дозморов, насколько мне известно, не пишет мемуаров (за исключением «Премии “Мрамор”», опубликованной в «Знамени» в 2006 году и уже основательно подзабытой, – мозаичного повествования полухудожественного-полудокументального жанра, обращённого к Рыжему). Поэтому верлибр, близкий к прозе, – возможно, единственный шанс развенчать некоторые мифы, неявно, но всё же подчёркивая обращение к знающим контекст. Рыжий, описавший в стихотворении эту историю по-другому, после дозморовского «ремейка» предстаёт тонким мифологизатором, трансформирующим реальность в свойственном ему сентиментальном духе. «Документалист» Дозморов, как бы оказываясь в «победительной» позиции непозта, оставляет за собой право на окончательную истину, на развитие темы в устных репликах (вопросы к деталям неизбежны, а стихотворение Рыжего в дозморовском верлибре не поминается ни словом) и, наконец, на абберрации памяти, а если вчитаться в детали – всё на ту же литературную мифологию. Эпизод встречи с Рейном с той же документалистской (но документальной ли?) точностью описан в «Премии “Мрамор”», но детали слегка видоизменены. «В суете и потемках прихожей я взял не свой зонтик, который, по общему согласию, оставил в качестве литературного трофея и сувенира. Обменяться зонтами с учителем нобелевского лауреата – это сто очков вперед на любой вечеринке. Байка сезона, исполняется по просьбам слушателей. Евгений Борисович, не волнуйтесь, ваш большой клетчатый зонтик в целости и сохранности и очень пригодился мне в Шотландии, где и в июне холодрыга и дождь. Обратный обмен невозможен, увы» (Дозморов в «Премии “Мрамор”»). «Это ваш зонтик?» – спросил Рейн. Мы были без зонтов, / но от растерянности сказали, что наш. / И на прощание Рейн отдал нам чужой клетчатый зонтик, / похожий на шпагу» (Дозморов в «Уральском акценте»).

Лирический сюжет Олега Дозморова вновь и вновь варьирует тему утраты – в том числе и утраты сакральной сущности поэзии,

¹ К слову, и «мне сорок пять, а кажется, что вечность» отсылает не только к очевидному первоисточнику – «Мне тридцать лет, а кажется, что триста» Максима Амелина, но и – не столь очевидно – к Тарковскому: «Как много я прожил на свете! / Столетие! Тысячу лет!». Важность фигуры Тарковского для себя Дозморов подчёркивает и в отдельном стихотворении из «Смотреть на бегемота», посвящённом ему («Когда дождливое, сырое...»): там, в частности, упоминается и про «шестнадцать строчек», которые лирический герой по-гандлевски «протрубил в осенний сумрак». Не идёт ли речь о шестнадцати строчках из стихотворения Тарковского, на котором строится упоминаемый нами текст, построенный на последовательной аллюзии?

– акцентируя внимание на профанированной природе жанра: «лирическое дерьмо» – не самое уничижительное из определений. В одном из стихотворений «слабый ночной стихок» приравнивается чуть ли не к мочеиспусканию, в другом («...только стоял занимался стихом. / Вот и стихок завершился») – к кратковременному акту онанизма. В этом можно увидеть лукавство – к чему бы 172-страничный томина при таком отношении к стихам, да и явно рассчитанном на понимание цитатном пласте? – но можно и самоумаление, через которое, как известно, предписывал возвыситься апостол Павел. Согласно дозморовской философии самоумаления, всё более ценно, чем поэзия – животные, вещи: здесь можно встретить стихотворение от имени кошки, гордящейся «обездоленностью изгнанием» и произносящей отповедь эмигранту, или диалог с велосипедом, придавленным в прямом и переносном смысле – хозяйским телом и хозяйским высокомерием. И концовка стихотворения про велосипед, сначала кажущаяся искусственно привнесённой, внезапно обретает смысл ворчливой недопонимающей реплики:

Я пернатым сродни,
У меня есть душа...
– Ну, пошёл не спеша.
(Душа у него, ежа.)

За кадром в этом срежиссированном спектакле слышится авторская позиция, столь сильно отличающаяся от «внешнего» смысла финальной реплики. Иногда, впрочем, этот голос одёргивает себя в разговоре с животными, цветами, вещами – порой в реминисцентном отталкивании от Рыжего: ср. у последнего: «Я не люблю твои цветочки, / выюнки и кактусы, болван, / и у меня растёт в горшочке / на подоконнике тюльпан...» и у Дозморова: «Как страшно раскрылись тюльпаны, / как жадно раззявили рты / и тянутся к свету, болваны. / Болван, впрочем, это ведь ты». Аппелируя к строкам поэта о «лучшей девушке», «которой всегда недостоин», можно заметить, что в этой книге «недостойны» все, кроме лирического героя: оглушительно кричащий голубь наделяется значением «деятеля» с «лирой» (здесь не может не вспомниться ахматовское «и назови

лесного зверя братом», к которому Дозморов отсылает и в другом стихотворении: «и есть соблазн назвать придурка братом»). Потребность в поэзии, однако же, остаётся видовой, антропологической: недаром ходоасевичский мотив «неужели вон тот – это я?» в сочетании со смеяковским «и советы мальчикам даём» создаёт эффект в духе Георгия Иванова – с желанием наотрез отказаться от того, что должно было принести «иное внимание», и с разумеющейся невозможностью другой планы.

Для того чтобы мальчик, в Уральских горах пропадающий, говорящий с уральским акцентом, прочёл и сказал:
«Во даёт, сукин сын!», я, иного внимания чающий, это всё написал.

Я и есть этот мальчик. Точнее, я был этим мальчиком.
Я таскался на почту и эти журналы читал, где печатался сноб-эмигрант с оттопыренным пальчиком.
Стать таким же мечтал.

Кофе лавою в глотку, сонеты помалу в журнальчики,
в горле жёлчная горечь и ком.
Извините, я не консультирую, мальчики.
Наперёд не скажу ни о ком.

Эмигрант в окружении «священных теней», с биографией хранителя ушедших героев «царскосельского круга», разрываемый рефлексией над субъективно понимаемым «предательством» родины и непритворным одиночеством, – такой герой обречён на внимание, какого бы внимания он ни чаял. «Уральский акцент» – та живая, неподдельная нота разочарования, за которой наступает... хочется верить, не то, что прокламировано в финалах некоторых стихотворений («может, лучше кинжал бы да яд?»), но – принципиально иной вектор осмысления явленной и уже знакомой читателю биографии. В самом деле, третий сборник, перемалывающий те же мотивы, будет явным избытком.

Алексей ГОЛИЦЫН

«ХУДТЕХНИКУМ СЪЕСТ ВАС»: РАЗГРОМ КОРНЕЕВСКОЙ ШКОЛЫ В САРАТОВЕ

Саратов начала XX века был известен не только как крупный промышленный и торговый город, но и как центр культурной, в частности – художественной жизни. Так, в 1897 г., на 12 лет раньше университета и на 15 лет раньше консерватории, здесь было открыто Боголюбовское рисовальное училище¹ – alma mater десятков знаменитых художников. Спрос на художественное образование был настолько велик, что одновременно с училищем работали и частные студии. В 1906 г. в Саратове открылась школа Федора Корнеева – одного из основателей Общества любителей изящных искусств, близкого друга Виктора Борисова-Мусатова², Василия Коновалова³, Гектора Баракки⁴ и многих других саратовских художников. На протяжении почти четверти века школа существовала параллельно с Боголюбовским училищем, а к концу 1920-х годов – конкурировала с ним. В наибольшей степени это было связано с личностью ее основателя и главного учителя. И если до революции престиж школы держался на педагогическом даре Корнеева, то при советской власти студентов привлекал либеральный дух и далеко не пролетарские методы обучения.

Федор Корнеев никогда не шел на конфронтацию с новой властью. Более того, в 1918 году художник «желал послужить своим опытом, знаниями и искусством культурно-просветительным целям и делу народного образования... хотел бы помочь советской власти в созидании новых культурных начинаний»⁵. Корнеев даже предложил создать в Саратове исторический музей, «где будут собраны... портреты всех великих вождей революции с древнейших времен и до наших дней, как крупнейших европейских, так и местных деятелей»⁶.

И хотя музей революции создан не был, расчет Корнеева на декларативное сотрудничество с большевиками оправдался. Его частная школа сменила вывеску на государственную, но по сути осталась прежней: директор самостоятельно принимал учеников и педагогов, устанавливал расписание и плату за обучение и даже получал за свой труд столько, сколько считал нужным.

Однако если в период НЭПа власти еще могли мириться с таким рассадником свободы, то с переходом на пятилетки терпеть частную школу в центре города стало невозможно. К тому же, Федор Корнеев демонстративно игнорировал социальное происхождение своих учеников, брал на работу опытных педагогов и не спешил вводить в учебный план политические дисциплины. В итоге саратовский отдел народного образования принял решение закрыть Корнеевскую школу, а освободившееся помещение передать музею (к слову, так и не передал). Опасаясь бунта учащихся, чиновники замаскировали ликвидацию под объединение школы с художественным техникумом.

¹ В 1918 г. Боголюбовское рисовальное училище было переименовано в свободные художественные мастерские, в 1919 г. – в высшие государственные художественно-технические мастерские, в 1920 г. – в художественно-практический институт, в 1923 г. – в художественно-промышленный техникум, в 1937 г. – в Саратовское художественное училище.

² Виктор Эльпидифорович Борисов-Мусатов (1870, Саратов – 1905, Таруса) – выпускник Московского училища живописи, ваяния и зодчества и Императорской Академии художеств.

³ Василий Васильевич Коновалов (1863, Санкт-Петербург – 1908, Екатеринбург) – выпускник Императорской Академии художеств, преподаватель Боголюбовского рисовального училища.

⁴ Гектор Павлович Баракки (Этторе Паоло Сальвини-Баракки) (1852, Верона – 1915, Саратов) – художник, с 1870-х гг. жил и преподавал в Саратове, в том числе в Боголюбовском рисовальном училище.

⁵ ГАСО, Ф. Р-494, Оп. 1. Д. 32. Л. 26.

⁶ Там же. Л. 27.

В середине октября 1929 года к Корнееву нагрянула комиссия, в состав которой вошли по одному члену горсовета, Рабпроса и Рабиса¹, а также заинтересованные лица из худтехникума – заведующий Иван Бурмистров², преподаватель Федор Белоусов³ и два студента. Кроме того, в комиссию делегировал своего активиста райком ВЛКСМ.

Претензии советской власти к Федору Корнееву наиболее полно сформулировал его прямой конкурент, член партии Иван Бурмистров. Последний заявил на допросе в ОГПУ⁴.

«Бывший заведующий частной школой Корнеев Федор Максимович до настоящего времени со- держал частную художественную школу, где имелось 80 чел. учащихся сомнительного соц<иального> происхождения, а сам Корнеев один руковод<ил> и преподавал в этой школе вплоть до полит гра- моты. Школа эта находится на М-Казачей улице, она существовала до Октябрьской революции и после октября до сего времени.

В настоящее время эта школа реорганизована в подготовительное отделение Художествен- но- промышленного техникума гор. Саратова. Для этой цели <...> зав. КрайОНО⁵ т. Бройдо⁶ предписал реорганизовать Корнеевскую школу в подготовительное отделение Сар<атовского> Худ<ожественно>-промышленного техникума, принять имущество и освободить помещение под краевой музей. <...> Как сам Корнеев, так и учащийся выступали резко против реорганизации и про- тив Художественного техникума, говоря, что этот техникум ничего учащимся не даст. <...> Вы- ступавшие ученики Корнеева его поддерживали и были настроены враждебно против мероприятий КрайОНО. Имущество стали мы увозить 27-28 окт<ября> и при этом нами обнаружено в этой школе два литографских станка, из которых один на полном ходу, а другой в разобранном виде. <...> гр-н Корнеев сопротивлялся против изъятия этих станков, доказывая, что эти станки его лично, а не принадлежат к школе, но однако же, мною Бурмистровым, эти станки были взяты в настоящее время они лежат в Художественном Техникуме, один стоит как был взят, мы его не трогали».

Через несколько дней после допроса директор художественного техникума Иван Бурмистров счел нужным собственноручно дополнить свои показания:

«Корнеев содержал школу в своих лично шкурных интересах – и под вывеской “Государственная худож<ественная> профшкола” Корнеев ловко прикрылся от муниципализации имущества – и в продолжении 12 лет пользовался грамадную площадью своего дома – и имуществом в котором нуж- далось общественность (как-то богатая библиотека по искусству) на ряду с этим имеющая школа именуемой “Государственной проф. Школой” имела лицо долеко не советское, где как самому Корне- еву (как бывшему крупному торговцу и дворянину, так и другим подобным ему легко было строить антисоветскую работу. – Основанием данного вывода может служить явным показателем про- шедшее собрание при реорганизации школы в подготовительное отделение техникума настроение всех учащихся (которые были заранее подготовлены во все оружие к бою отвоевать имеющиеся права Корнеевской школы) и его наглое выступление на том же собрание, с попыткой нанести кле-

¹ Профсоюзы работников просвещения и искусств.

² Иван Дмитриевич Бурмистров (1898, Власовка, Пензенской губ. – ?) – С 1913 по 1923 г. с перерывами учился в Боголюбовском рисовальном училище, затем в Саратовском художественном училище. В 1929–1932 гг. – заведующий Саратовского художественного техникума, в 1932–1933 гг. – директор техникума национального калмыцкого искусства, в 1937–1949 гг. – директор и в 1949–1951 гг. – главный хранитель Радищевского музея.

³ Федор Васильевич Белоусов (1885, Саратов – 1939, Саратов) – художник, педагог. В 1903 г. закончил Боголюбовское рисовальное училище, затем Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Вернулся в Саратов в 1918 г., с 1920 г. преподавал в высших художественных мастерских.

⁴ Здесь и далее цитируется с сохранением орфографии архивное прекращенное уголовное дело ОФ-23688.

⁵ Краевой отдел народного образования.

⁶ Григорий Исаакович Бройдо (1884, Вильно – 1956, Москва) – партийный и государственный деятель. В 1927–1930 гг. – ректор Саратовского коммунистического университета, заведующий Госиздата, секретарь и заведующий агитационно-пропагандистским отделом Нижне-Волжского краевого комитета ВКП(б).

вету на новые формы учебного худ. строительства в госуд. учебн. заведениях (прокатываясь по адресу выдвижения говоря), что все лица как худ. техникума так и следственная комиссия от Крайно не компетентны и ничего не понимающие в искусстве, подбрасывая щеголеватую фразу: "что "мы нашей школой хотели вызвать на соревнование технику – а он испугался так-как он имеет постановку хуже то техникум и хочет нас закрыть" после таких слов Корнеева у учащихся сидящих на собрании видно было бурное ликование, и чувствовалось полное намерение выгнать всю комиссию и инспектора Крайно тов. Сергеева, из стен Корнеевского дома.

Тогда как по существу вопросу имеется следующая картина: все пришедшие в техникум воспитанники Корнеева, не смотря на их ранней возраст свободно владеют старым буржуазным языком, но полетически совершенно не грамотны – а равно и художественно-профессион. что подтверждает материал отборочной комиссии. <...> По вопросу методике в школе можно сказать следующее: что ни всегда возможно встретить в самых лучших арабских сказках: сам Корнеев относящийся к явно чуждому элементу – нес в школе следующие роли: Заведывающий школой, преподаватель живописи Igo Пго III и IV курса тоже рисунка – то-же производственными заданиями и практикой – преподаватель черчения – преп. объемных дисциплин – методист – и прочие и прочие и т.п. даже и "политграмоту", не довая совершенно в пользование имеющую у него богатую библиотеку по искусству.

Как вывод, школа Корнеева имела старый тип дореволюционной формы, антиобщественные программы и постановка (с нагрузкой количества часов в неделю до 100 самого Корнеева) явно говорит на ненормальность и не допустимость – Корнеев готовил работников не для советской общест-венности а морочил всем голову с явно своей целью».

30 октября 1929 г. Федор Корнеев был арестован за то, что «сознательно саботировал рас-поряжения советских органов и вел контрреволюционную агитацию». 60-летнего преподавателя поместили в изолятор спецназначения.

Кроме того, были арестованы школьные помощники Корнеева: Александр, Ольга и Елизавета Лаптевы, Сергей Покровский и два любимых ученика художника: Василий Саенко и Александр Браун. Их подозревали в расхищении арестованного имущества и содействии Корнееву. Все они также содержались в изоляторе, в их домах прошли обыски. Дело в том, что сотрудники ОГПУ намеренно не отделяли личные вещи директора школы от учебных материалов и пособий, тем более что сам Корнеев никакого их учета не вел. В результате конфискованы были не только парты и мольберты, но и личные вещи, картины, негативы и даже «штукатурка с серебром». Особое внимание при реквизиции привлекли два литографских станка, которые, по мнению чекистов, можно было использовать для печати листовок и прокламаций. Видимо, по этой же причине в основу обвинения легло и наличие в школе двух пишущих машинок, на которые отсутствовала регистрация.

Ситуация усугублялась тем, что жена¹ Федора Корнеева не выдержала потрясения, у нее про-изошел, вероятнее всего, инсульт, и 13 ноября она скончалась. Как утверждали арестованные дру-зья семьи Корнеевых, перед смертью Ольга Григорьевна раздала им все ценные вещи, оставшиеся после разгрома школы. Однако чекисты считали конфискованными в свою пользу буквально все предметы по указанному адресу, включая солонки и записки. Поэтому во время обысков по квар-тирам помощников Корнеева были изъяты постельные принадлежности, одежда, посуда, деньги и многочисленные бытовые предметы, которые, на взгляд оперов, не могли принадлежать про-стым обывателям. Впрочем, у Лаптева изъяли и «кальсоны военного образца».

Обыскивали и само помещение школы на Малой Казачьей. Корнеев признался следователю, что еще в 1917 году они с Лаптевым зарыли в подвале два ящика с ценностями. После визита ко-

¹ Ольга Очкина была приемной дочерью крупного саратовского предпринимателя и мецената Григория Васильевича Очкина (1835–1902). По слухам, корзинку с младенцем подбросили к дому купца в день религиозного праздника. Однако Федор Корнеев на допросе 26 ноября 1929 г. показал: «Она была сирота ранее, была взята на испытание Очкиным, у которого была мастерская и магазин. Девичья ее фамилия неизвестна. Родства Очкиным никакого не имела».

миссии, которая реквизировала все, что попадало под руку, ящики решили выкопать, но смогли найти только один. Второй, как рассказал в ОГПУ Корнеев, так и не был обнаружен. По словам владельца, в нем хранились *«деньги бумажные старые тысяч десять, серебро было руб. 100-200, золота не было»*. До сих пор неизвестно, удалось ли чекистам выкопать ящик, в материалах следствия об этом ничего не сказано.

А самому Корнееву даже не сочли нужным сообщить о смерти жены. Управляющий школы Лаптев 14 ноября, на следующий день после смерти Ольги Григорьевны, пришел в ОГПУ и рассказал о случившемся коменданту, который обещал передать известие уполномоченному. Однако 16 ноября бывший студент Василий Саенко отнес Корнееву передачу и получил взамен записку, в которой учитель просил прислать ему масло, валенки, сапоги и сообщить ему о состоянии здоровья жены.

Пока шло следствие, ученики Корнеева не оставляли попыток как-то повлиять на решение властей закрыть школу. Члены исполнительного бюро (в то время школьное самоуправление еще не было пустым звуком) добивались публикаций в газетах, ходили в прокуратуру и отдел народного образования. Там их успокаивали, несмотря на предостережение Корнеева: *«Школу закроют совсем и навсегда, а то, что говорят относительно перевода нас в техникум, это только на первых порах, для обмана»*. Так и получилось. Директор худтехникума Бурмистров в свойственной ему манере донес следователю: *«Из числа 65 чел. могли выдержать испытание на 1^й курс техникума 5 челов. а все остальные (не смотря на их учебный стаж в Корнеевской школе до 3^х лет) с трудом оспались на I и II кур. подготовительного отделения»*.

В состав комиссии, громившей школу Корнеева, входил и его бывший ученик, а ныне комсомольский активист Нисон Фрост¹. 18-летний представитель райкома рассказывал на следствии:

«Прием в школу был без классового принципа. По окончании школы ученику сыну попа Попкову выдал хорошую характеристику и платную работу передавал ему, а не другим. <...> Работа ученических организаций и инициатива комсомольцев находилась под влиянием Корнеева, который направлял по усмотрению т. например использовывал их в различного рода ходатайствах по реорганизации школы <...> Вся обстановка раб. школы была затохлой, от которой веяло старым академизмом. В разговоре с учащимися Корнеев старался оттенить лучшую постановку школой музеей и др. художественной жизни на Западе, сопоставляя с плохой постановкой дела наших государственных худож. организаций (в личных беседах). <...>

Стиль который изучали ученики был какой угодно, но только не современный (египетский, ассирийский, готический и проч.) <...>

Показывая и объясняя какой либо рисунок или фотографию Корнеев, касался о своей прежней жизни и бывлых поездках по Западу. Живописно описывая тогдашнюю жизнь, работу тогдашних мастро и проч. <...>

С кем он имел связь сказать трудно, т.к. знаком я с ними (посетителями) не был и как людей в социальном отношении я не знал, но по внешности это – допотопные старушонки и им подобные. Правда посетителями были и рабочие-партийцы с которых К. писал портреты. Часто ходила одна женщина, которых принято наз. “грандами”. <...>

Рисуя один раз с натурщика портрет я слышал что сий натурщик был сам Рейнке². Чтобы не ошибиться я его опишу. Возраст примерно 50 лет, узкое лицо, короткая борода, калмыцкие выразительные глаза. Впрочем в архиве школы портреты вероятно сохранились.

По части того были ли натурщицами – проститутки, чрезвычайно трудно сказать обна-

¹Нисон Михайлович Фрост (1911, Саратов – 1986, Саратов) – художник-оформитель, штангист, спортивный организатор, педагог. Закончил школу Корнеева в 1927 г. В дальнейшем занимал должности ассистента кафедры физкультуры Нижне-Волжского коммунистического университета (1930–1933), председателя Нижне-Волжского краевого бюро физкультуры (1932–1934), ответственного секретаря краевого совета физкультуры (1934–1936), начальника управления эвакогоспиталей (1941–1946). С 1943 по 1967 гг. преподавал в Саратовском медицинском институте. Отличник здравоохранения.

² Имеется в виду один из представителей известной в Саратове семьи мукомолов Рейнке.

женные фигуры женщин, и только, видишь перед собой, когда рисуешь, а социальное лицо конечно трудно увидеть, но по слухам были мнения 1-2 женщины-натуристы были вроде женщин "легкого поведения"».

Итог «обследования» школы подвел некий А. Подольский, вероятно работник Горono:

«Корнеев, будучи весьма плохим художником, но домовладельцем и б<ывшим> торговцем (имел до революции магазин худ<ожественных> принадлеж<остей>), сумел прикрыться вывеской, что он основатель худ. школы, что он якобы делает какое-то полезное дело и т.д. На самом же деле, просто сумел примазаться, чтобы сохранить за собой его б<ывший> дом, сохранить имущество от конфискации и спрятать свое настоящее лицо торговца и богача. Под вывеской же школы он организовал мастерскую, в которой не было духа советской школы, в которой преподавание шло по старым методам, давно забытым и брошенным.

В результате после 4х лет срока обучения учащийся выходил без достаточных знаний и без своего места в производстве, воспитывая в учащихся совершенно неправильные понятия об искусстве; выпущенные же учащиеся, идя в школу и на производство, продолжали уже дело калечения детей в школах и отрыв искусства от масс в производстве.

Будучи совершенно против соввласти, Корнеев, конечно, кроме вреда, ничего не мог принести».

Первый допрос художника датирован 1 ноября 1929 г. и записан рукой следователя:

«Я, Уполном<оченный> секретн<ого> отдела П.П. ОГПУ по Н.-В. краю¹ Чувилин допрашивал в качестве заподозренного по делу №___ гражданина Корнеева, Феодора Максимовича 60 лет, происходит г. Саратов проживает по М<алой> Казачьей ул. дом. №5 род занятий Зав<едующий> школой Губпрофобра² – Художник. Педагог. партийность Безпартийный Предупрежденный об ответственности за ложные показания, по существу дела могу показать

Родился в 1869 г. феврале в г. Саратове, в семье Сарат<овского> цехового-мастерового. Отец имел сапожную мастерскую с применением наемного труда (сколько наемных рабочих имел, я сказать не могу). Затем эта мастерская закрылась, т.к. отец выстроил домовладение под номера, от которых имел средства к существованию. Отец умер в 1902 г., а мать в 1925 г.

От моей матери в наследство мне осталось 6 тыс. руб. От продажи ее дома, рядом находящегося по М<алой> Казачьей №7, причем, дом был продан за 26 тыс.

С юных моих лет меня тянуло к искусству. Я этого и добивался, но отец был против. Но, тем не менее, я настоял на своем. Первые мои шаги по художеству начались в литографии Шат (Сытник) в 1883-4 г., работал в качестве ученика-подмастерья, получая 3-5 руб. в м-ц. Затем учился в воскресной школе у Ананьева, г. Саратов, где подготовился к поступлению в Академию Художеств г. Петербурга. В Академию Художеств я поступил в 1886 г., проучившись в течении 6 лет и окончив Академию Художеств, получил право преподавания в средних учебных заведениях по специальности. В бытность в Академии Художеств я занимался частной практикой, имел заработок от частных уроков и в то же время получал от своих родителей в м-ц 10 р. поддержки. На последнем курсе Ак<адемии> Худ<ожеств> я участвовал на выставках в 1891 г. в г. Петербурге, где выставлял картину из быта волжских рабочих "Расчет рабочих на Волге", картина имела революционный характер.

По окончанию Акад<емии> Худ<ожеств> вскоре я уехал на педагогическую работу на заня-

¹ Полномочное представительство Объединенного государственного политического управления при Совете народных комиссаров СССР с 1923 по 1934 гг. Нижне-Волжский край – административно-территориальная единица РСФСР с 1928 по 1934 гг.

² Губернский комитет профессионально-технического образования.

тия по художеству в имение графа Несельроде¹ в с. Царевщина, Вольского уезда Сар<атовской> губ<ернии>, где находился с зимы 1891-2 г., пробыв у указанного графа в течение 4 лет, получил от него командировку и средства для самоусовершенствования за границей, где и учился в Академии Художеств у проф. Колярьен² г. Париже в течение нескольких зимних учебных м-цев. По возвращению из заграничной научной командировки я работал снова у графа Несельроде на продолжении около 3^х лет, т.е. до 1898 г.

На средства Носельрода я поехал в заграницу потому, что он был либерального толка, поддерживал развитие худ<ожественной> культуры, а в 1900-1 г. он был председателем Сарат<овского> об<ществ>а любителей изящных искусств³. После закрытия этого общества, где Носельрод был руководитель, он был выслан⁴ за границу Местн<ой> Властью. Причем, означенное об<ществ>о закрывалось два раза, очевидно в 1900 г. был закрыт первый раз.

При этом об<ществ>е существовала, в период с 1890 – по 1900 гг., школа о-в любителей изящных искусств, где в разное время я был ассистентом у Коновалова и Бараки⁵, а с 1901 года заведывал этой школой в течение одного учебного года.

После этого я поступил преподавателем художеств в Боголюбовское рисовальное училище г. Сар<атова>, где проработал около 18 лет, т.е. до ее закрытия в 1918 г.

Боголюбовская рисовальная школа имела в своем составе около 275 чел. учеников, т.к. она была самая доступная для присутствия по своим взносам – плат<а составляла> 1-50 к. за полугодие, были стипендиаты и бесплатные ученики. По своему политическому направлению была самая либеральная школа г. Саратова. В этой школе я был одним из преподавателей, и система, выработанная мною, а также методы преподавания были осмотрены Бенуа⁶, приезжавшего для ревизии школы-музея. Параллельно с этим моим педагогическим трудом в 1906 г. я открыл студию школу при своей личной художественной мастерской. В сост<ав> этой студии привлекались свободные любители искусств, но которые не могли по тем или другим причинам посещать занятия Боголюбовскую школу. Мастерская моя как худучилище была организована в 1902 г., которую начал расширять в студию-школу ввиду того, что развивался и рос спрос любителей искусств. Различие моей школы от Боголюбовской заключалось в том, что моя школа в системе своих занятий была более приемлемой для свободно развивающихся любителей. В ней по стилю демократического регламента занятий вводились мною прикладные искусства – по дереву, металлу и ткани, что в Боголюбовской школе не имелось.

Для означенной школы Мной в 1902 году было выстроено здание-гостиница художников с рабочей мастерской. Стоимость этого здания обошлось десять тысяч руб., куда вошли и оставшиеся после смерти матери 6 тыс. руб. Программа была расширена, уточнена и углублена. Например, было введено изучение орнаментации, стиля, творчества по заданию момента и требованию жизни, введено изучение перспективы, проводились работы по изучению техники материала, и все проводимые дисциплины были разделены на четыре курса.

Начиная с 1925-26 г. по предложению Глафпрофобра⁷ (отдела рабочего образования) были запрошены программы и учебный план школы и работы учащихся. Учебная программа была просмотрена Глафпрофобром, предложено им было ввести черчение, наброски живой натуры на первом курсе и отменены были занятия пластической анатомии как отдельный предмет, что

¹ Анатолий Дмитриевич Нессельроде (1850, Санкт-Петербург – 1923, Париж).

² Филиппо Коларосси (1841–1906) – итальянский художник и скульптор, в 1870 г. основал в Париже академию своего имени.

³ Существовало с 1889 по 1903 гг.

⁴ А.Д. Нессельроде эмигрировал в 1909 г.

⁵ См. прим. 3 и 4 на с. 247.

⁶ Альберт Николаевич Бенуа (1852, Санкт-Петербург – 1936, Париж) – художник, архитектор, действительный член Императорской Академии художеств.

⁷ Главное управление профессионального образования РСФСР (1920–1930).

и было школой выполнено. Методы работы Глафпрофобром были признаны целесообразными и все <постоянные?> работы учащихся (работы всех курсов и всех дисциплин) одобрены. Поэтому по этой программе занятия продолжались до настоящего времени. Причем, начиная с 1924 г. была введена новая дисциплина обществоведения, которая проводилась наравне с др. дисциплинами. С 1922 г. школа работала по местной программе, составляемой мною и утвержденной Сар<атовским> Губоно¹, но с 1925 г. она уже руководствовалась программой Глафпрофобра.

Состав учащихся – состав учащихся укомплектовывался в дореволюционное время – прием был доступен для каждого и <в> неограниченном количестве, т.е. принималось столько, сколько помещалось в здание школы помещение студии. После революции, начиная <с> 1918-1919 учебного года, появились и командированные организации, что особенно заметно с 1919 г., как то – военно группы красных рабочих и служащих, в том числе учащиеся, а с 1925-26 гг. уже начали подбирать по классовому принципу, а именно: давались преимущества рабочим и крестьянам, следуя при этом распоряжениям Губоно. Прием учащихся производился приемочной комиссией, председатели которой назначались (за последние два года) Губоно. Ранее же до 1923-24 учебного года комиссии не создавались, и прием производился по спискам, представленным Губоно.

Количество учеников в школе начиная с 1922 г. было от 50 чел. до 90 чел. в последний настоящий учебный год.

Состав педагогов – в дореволюционное время педагогов, кроме самого меня, Корнеева, не было, после революции, когда школа реорганизовалась в студию-школу в 1923 г., было 3 преподавателя – по искусству, а в 1925 г. ввиду отсутствия средств остался один преподаватель по искусству, один по обществоведению (в этом числе и сам заведывающий). С 1926 г. был приглашен преподаватель по черчению, поэтому их стало 3 чел., которые работали по сие время.

Оплата педагогов производится из расчета 3 р. 88 к. за один <недельный?> час, а сам заведывающий школой получил 97 р. в м-ц.

Школа состояла на бюджете Саргубоно с 1919 г. по 1922 г., а после этого она существовала исключительно на взносы, взываемые с учащихся за право учения. Размер этого взноса от 3^х р. 30 к. до 9 р. 90 к., считая в том числе 10% комсодских². Причем от 10% до 16% из общего числа учащихся освобождались от платы к<а>к неимущие, в число таких бесплатных входили командированные воспитанники д/домов и др. лица.

Обслуживающий персонал школы – состоял из уборщика – 1, он же истопник школы, временный канцелярист работник делопроизводитель, причем временами канцелярского работника не было – он увольнялся, т.к. работа временная.

Администрация школы – один заведывающий школой, который работу вел бесплатно при 39 часов недельной нагрузки.

Всю работу по счетоводству приходилось вести самому заведывающему, была заведена кассовая книга. Отчетность финансовая представлялась в Губоно за учебный <...> год, а также отчитывался перед учащимися на собраниях тоже за учебный год. Ревизионной комиссии за последнее время не было, так <как> я не настаивал, а учащиеся не требовали этого.

Взаимоотношение администрации с организациями учащихся – Исполбюро и Культкомиссии – <...> в работе было, я всегда помогал в их работе. Подавление со стороны администрации ученической инициативы не было, наоборот, оказывалось содействие в деле организации кружков – изучения Ленина и революции с точки зрения художественной; в прошлом году по моей инициативе хотели организовать военный кружок, но ввиду <...> дней <...> и времени и отсутствия руководителя кружок организован не был.

Опись имущества школы которое приобреталось на средства школы, приобреталось имущество начиная с 1922 г. и кончая 1929 г., причем, записывалось на основе оправдательных до-

¹Губернский отдел народного образования.

² Многочисленные в 1920-е годы «комитеты содействия».

кументов и соответствующих статей расхода. В вышеозначенных инвентарных списках имеются оговорка, что все не внесенные в инвентарный список предметы, находящиеся в помещениях школы, принадлежат основателю школы Корнееву, находятся в данном помещении временно и должны быть возвращены по первому требованию их владельца.

Всего ревизий и обследований за время существования было – ревизия в 1927 г., вторая ревизия ревизором Горюно в декабре м-це 1928 г. и наконец обследование состояния школы в октябре м-ц 1929 г.

Первый раз ревизию производил Курляндский финработник Губоно.

Вторую ревизию делал контролер Горюно тов. Сайковский.

Третий раз финревизию делал Роткевич, представитель Горсовета, нашедший состояние финчасти в полном порядке.

Приблизительно круг лиц из моих учеников, принадлежащих моей школе. Один <Ноитепер?> до войны 1914 г. уехал за границу, избрав себе специальность историю искусств – <Бонович?>. Из общей массы учащих я могу указать следующих лиц.

1). Спирин – жд. мастер, был рабочий, он известен тем, что он написал картину вместе с Бродским. Заседание во Дворце тов. Урицкого III конгресса Коминтерна¹.

2) Перельман² – б/заведующий художественным отделом “Рабочей газеты”, теперь секретарь “АХРР”³.

3) Загреков⁴ теперь профессор государственной художественной школы Берлина и его жена по прикладному искусству – Галлер.

4) “Саратовские Известия” <...> почти исключительно моими учениками Дундуком⁵ и ныне умершим Селеверстовым⁶, а также сотрудники

5) Заведующий Дворцовым музеем СССР б/мой ученик тов. Ятманов⁷.

6) Полосухин – руководитель художественным кружком в Смольном

7) Профессором бывшего института графических инженеров состоит мой б/ученик <Логоинов?>

8) Кузнецов Павел⁸, профессор “ВХУТЕМАС” г. Москвы, мой б/ученик.

¹ Картина Исаака Бродского «Торжественное открытие II конгресса Коминтерна во дворце Урицкого в Ленинграде» была написана в 1920–1924 гг.

² Виктор Николаевич Перельман (1892, Липецк – 1967, Москва) – художник, в 1910–1912 гг. учился в Боголюбовском рисовальном училище, в 1920–1922 гг. – заведующий Высшими государственными художественно-техническими мастерскими в Саратове.

³ Ассоциация художников революционной России (1922–1932).

⁴ Николай Александрович Загреков (1897, Саратов – 1992, Берлин) – художник и архитектор. Учился в Боголюбовском рисовальном училище (1914–1918), в 1921 г. с женой поволжской немкой Гертрудой Галлер эмигрировал в Германию. В 1925–1933 гг. преподавал в берлинском Профессиональном училище искусства и ремесла (Gewerbeschule für kunst und Handwerk).

⁵ Павел Федорович Дундук (1889, Саратов – 1940, Ялта) – скульптор, карикатурист. В 1904–1908 гг. учился в Боголюбовском рисовальном училище. В 1918–1920 гг. руководил скульптурной мастерской Пролеткульта в Саратове.

⁶ Федор Корнеев имел в виду, что в 1908–1909 гг. Павел Дундук учился в Пензенском художественном училище имени генерал-губернатора Николая Дмитриевича Селиверстова.

⁷ Григорий Степанович Ятманов (1878–1949) – выпускник Боголюбовского рисовального училища. В 1917–1927 гг. возглавлял Петроградский (затем Ленинградский) отдел по делам музеев и охране памятников, затем был инспектором музейных учреждений Ленинграда и его пригородов (в том числе и по Эрмитажу).

⁸ Павел Варфоломеевич Кузнецов (1878, Саратов – 1968, Москва) – художник, в 1917–1937 гг. преподавал во Вхутемасе (Высшие художественно-технические мастерские).

9) Карев¹ – проф<ессор> и реорг<анизатор> б/Императ<орской> Академии худ<ожеств>, мой б/ученик

Знакомые мои в прошлом, до революции были – потребители моей продукции в лице круга заказчиков работ. Наиболее интересные Кроме того, одним из моих знакомых был жандармский полковник Мартынов² г. Саратова, который также любил художества, и жена его получала от меня уроки по художеству, причем, не только сами интересовались этим художеством, но и их дети. Знакомство заключалось в том, что ходили ко мне на дом, и давал я его жене уроки. Полковник Мартынов в Саратове работал в охранном отделении в 1912-13 годах, а затем он был переведен в г. Москву в 1913 г., в годы войны 1913-14 несколько раз во время каникул мне пришлось побывать у полковника Мартынова на квартире в г. Москве, где он работал по линии охраны. У этого Мартынова была хорошая художественная библиотека, он интересовался художественной культурой. В бытность его в г. Саратове, Мартынов у меня на квартире был не часто, причем сношения были на почве помощи его семье по линии художества и искусства. Последний раз я встретился с полковником Мартыновым в 1915 г. в Москве, а больше я его не видел. И в настоящее время не знаю, где он находится.

Больше охарактеризовать знакомых дореволюционного времени, которые бы ходили ко мне и были бы интересны, не могу, хотя знакомство имел большое.

В годы революции я находился в г. Саратове, активного участия в революционном движении не принимал, работал в школе как педагог-художник, параллельно работал в своей школе-студии, а по закрытию Боголюбовского рисовального училища, продолжал работать в этой последней студии. До конца 1918 г., когда был приглашен тов. Бас<с>алыго³ работать как художник в Военный Совет искусств г. Саратова, откуда в 1919 г. был переведен в отдел искусств, где заведывал Бас<с>алыго (в органы Наробраза). В этом отделе я заведывал <...> при провинциальном отделе управления вышеуказанного отдела. На данном этапе существования моей школы она начала переживать моменты перелома в сторону приноравливания к запросам революционных требований, и по предложению тов. Бас<с>алыго было введена система приема учеников по командировкам общественных организаций. Это было в 1918-19 учебн<ом> году. В связи с этим в школе увеличился и состав слушателей, и вместе с тем обновился за счет нового приема.

Бас<с>алыго – был зав. отд<елом> искусства, который заведывал всеми театрами, кино и студиями гор. Саратова.

В бытность меня в работе в Красной Армии <...> в качестве зав. “Изо”, при содействии военных работников при существующей студии-школе было сформировано отделение для красноармейцев, которое существовало в течение полутора лет, а затем в связи с переездом красноармейских частей оно было ликвидировано, т.к. эти части, из которых набирались красноармейцы-слушатели, были не постоянны, а переезжали с одного места на другое.

Названия школы – с 1906 г. она называлась “Студия школа”, с 1919 г. она стала называться “Центральной художест<венной> студией Саргубоно”, т.к. заведывающий этой школой, б<ывший> ее владелец Корнеев по своей инициативе ее передал в ведение Губоно, причем Гу-

¹ Алексей Еремеевич Карев (1879, с. Шиловка Саратовской губернии – 1942, Ленинград) – художник и педагог. Учился в мастерской Федора Корнеева (1896), затем в Боголюбовском рисовальном училище (1897-1898). В 1918 г. был назначен комиссаром Петроградских государственных свободных художественно-учебных мастерских – бывшего Высшего художественного училища при Императорской Академии художеств. Участвовал в реорганизации Пензенского художественного училища (1919) и Боголюбовского рисовального училища (1920-1921) в Свободные художественные мастерские.

² Александр Павлович Мартынов (1875, Москва – 1951, Лос-Анджелес) – в 1906-1912 гг. начальник Саратовского охранного отделения. 21 августа 1912 г. занял должность начальника Отделения по охранению общественной безопасности и порядка в г. Москве.

³ Дмитрий Николаевич Бассалыго (1884, д. Варкавичи, Белоруссия – 1969, Москва) – партийный, государственный и театральный деятель. В 1918-1919 гг. заведующий отделом искусств Саратовского губисполкома, организатор ТЮЗа и Высших государственных мастерских театрального искусства.

боно заведывание школой возложил на ее основателя, на Корнеева. С 1922 г. школа-студия была реорганизована в “Профтехническую художественную школу Губпрофобра”, но смены заведывающего не было.

Таким образом, заведывал я, Корнеев этой школой до революции, начиная с 1906 г. по 1929 г. октябрь м-ц.

Программные вопросы – с 1919 г. в этой центр<альной> худ<ожественной> студии программой была общепринятая во всех других студиях, а именно: рисование и живопись с натуры, композиция, плакат (революционные), изучение цвета и истории искусства, задание на революционные темы.

С 1922 г. по реорганизации школы студии в профтехническую худшколу.

Состав педагогов был в 1920-21 гг.

1. Зав<едующий> и препод<аватель> Корнеев
 2. Руков<одитель> по Изо – Степашкин¹ (теперь в акад<емии> худ<ожеств> в Ленинграде).
 3. – “ – Райхман² (в Москве по худ<ожественной> работе)
 4. История искусства Перельман³
 5. По черчению Абрамов преп<одаватель> худ<ожественного> техн<икума>
- Теперьшние педагоги
6. Обществоведение – Касель⁴ зав<едующий> 4 или 2 <...>.
 - 7.

Оборудованность школы. Помещение школы было достаточно на то количество, которое имела школа, при наличии некоторого ремонта.

Учебными пособиями школа была обозначена удовлетворительно (гипс, разные предметы из домашнего обихода); библиотеки при школе не было совсем, и учащиеся книгами не пользовались и не нуждались в них.

По вопросу о станках литографии могу сказать следующее: ввиду того, что автолитография в СССР приобретает особое значение и спрос на это дело возрос, мне хотелось познакомить учащихся с этим видом работ и художества. Для этой цели мною были куплены два литографических станка в виде чугуно-железного лома. Станки я купил в конце октября прошлого года за 70 руб. в магазине случайных вещей Комитета помощи инвалидам и больным раненым красноармейцам.

Станки были <в> разобранном виде и имели поломанные неполные части, поэтому собрать один станок удалось не в полном виде, за отсутствием некоторых частей, только в июле или в июне этого – 29 года. Причем Сарполиграфпром обещал дать эти недостающие части и два камня, каковые совсем с частями станков и др. принадлежностями для литографии не имелось при покупке их.

Ввиду усиленной работы по приему в начале учебного года и большой загруженности в работе станок не удалось привести в полный законченный вид. К тому времени, когда <...> известили что школа реорганизуется и переходит в ведение художественного техникума. После этого мной было заявлено ПП ОГПУ – НВК о вышеуказанной покупке частей станка и неполной сборке такового с просьбой зарегистрирования такового на имя школы Губпрофобра.

В ответ на это тов. Феодоров, сотр<удник> ПП ОГПУ заявил, что когда станок будет взят в ху-

¹ Иван Петрович Степашкин (1882, Саратов – 1960, Ленинград) – художник и педагог, с 1926 г. работал в Ленинградской академии художеств.

² Даниил Борисович Даран (Райхман) (1894, Воронеж – 1964, Москва) – художник. В 1909–1916 гг. учился в Боголюбовском рисовальном училище, в 1921 г. переехал из Саратова в Москву.

³ См. прим. 2 на с.254.

⁴ Иосиф Абрамович Кассиль (1908, Покровск – 1938, Саратов) – литератор. Будучи студентом педагогического факультета Саратовского университета, преподавал в школе Корнеева обществоведение с сентября 1928 по сентябрь 1929 г. Репрессирован.

дожественный техникум и будет вполне закончен, тогда и следует его зарегистрировать, но на имя какого-либо ответственного лица, а не на имя школы. При этом сказал, что пусть станок берут и дело регистрации – дело художественного техникума.

По имеющимся сведениям мне известно, что эти станки принадлежали 32 дивизии, которая по упразднению литографии продала как лом каким-то татарам, а последние очевидно в магазине случайных вещей помощи инвалидам, от которых купил я. Фамилия приказчика указанного магазина Агишев, причем, Агишев сперва просил за них 150 руб., а потом отдал за 70 руб., по слухам 32 дивизия тоже просила за них 150 руб. Это говорил мастер литограф при Крайисполкоме, фамилию которого я не знаю, причем, он хотел войти в комиссию по покупке этих станков с целью передачи одного станка для литографии Крайисполкома, а так как я его больше не видел, то это совместная покупка не состоялась.

На базаре я нашел случайно и когда нашел эти станки я хотел купить один, но т.к. не известили какие части к которому принадлежат, то пришлось купить обоих.

Со станками камней не было и по сбору станки мною в июне м-це я их тоже не имел. Поэтому станки в бытность их у меня не работали. Учащиеся ими очень интересовались, спрашивали, когда они будут работать, но работать было на них нельзя из-за отсутствия камней.

В одно время я спрашивал в штабе 32 дивизии есть ли у них камни, на что мне ответили, что один камень они смогут продать, но цену, размер и качество не указали, а предложили зайти <в> другой раз. Мне зайти не пришлось, поэтому и не купил, кроме того, мне обещал дать бесплатно, для указанных учебных целей школы, два камня Полиграфпром по представлению разрешения на это ПП ОГПУ НКВ, но этих камней я точно не получу ввиду того, что школа переходит в художественно-промышленный техникум.

Станки мною были куплены для учебных целей школы, а деньги уплачены из моих средств, вследствие отсутствия средств у школы.

Для личной моей работы станки эти мне не нужны, литографию я не собирался открывать и не собираюсь».

Следствие длилось чуть больше двух месяцев. Как уже было отмечено, основное внимание уделялось не доказательству вины Корнеева, а поискам серебряных ложек, которые власть считала своей собственностью и дюжинами изымала у оставшихся без работы сотрудников школы.

12 января 1930 г. Корнеева обвинили в «ведении а/сов. агитации, скрытии от соввласти ценностей и саботировании решений соворганов».

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по следственному делу № 2546

В конце октября 1929 года <в> ПП ОГПУ Ниж<не->Вол<жского> Края поступили сведения, что гр-н КОРНЕЕВ Федор Максимович, содержащий в Саратове частную художественную школу, прикрывался таковой, скрыл громадные ценности, в а/сов<етском> духе воспитывал молодежь и злостно саботировал решения госорганов в отношении его школы.

Для прекращения подобной деятельности – П.П. ОГПУ Ниж<не->Вол<жского> Края был арестован гр. – КОРНЕЕВ Ф.М. и привлечен к следствию.

Произведенным следствием установлено следующее:

Художественная школа, основанная КОРНЕЕВЫМ Ф.М. в 1906 г., весь послереволюционный период имея вывеску – Проф<ессиональной> Тех<нической> Худ<ожественной> школы Губ<ернского> Профобра, по существу являлась частной школой, в которой сам КОРНЕЕВ являлся Заведующим и одновременно преподавателем на 80, в среднем, человек учащихся. Все содержание школы производилось за средства, взыскиваемые с учащихся, размер которых устанавливался самим КОРНЕЕВЫМ <...>.

Будучи антисоветски настроенным – КОРНЕЕВ также в а/советском духе производил воспитание молодежи в своей школе и им был приглашен в качестве преподавателя явно антисоветский тип ДЕСНИЦКИЙ¹, выгнанный из Худтехникума за а/Сов<етскую> деятельность.

При обучении КОРНЕЕВ руководствовался старой программой, выработанной им, по которой обществоведение в школе до 1928 года не производилось, а после ему уделялось совсем незначительное внимание. Вместе с этим – КОРНЕЕВ занимался парнографическими снимками и имея семь фотоаппаратов, для позирования же при рисовании была приглашена проститутка, выгнанная из Худтехникума <...>.

На протяжении 48² лет существования школы ученики ничего не получали, были недоученными, политически совершенно неграмотными, за что говорят ряд фактов, что после реорганизации школы из 85 учеников – лишь 5 – по подготовке были приняты на 1-й курс Худтехникума, а остальные на подготовительные отделения. Данное явление нельзя иначе расценивать, как вредительство в области воспитания молодежи.

В частных беседах с учениками восхвалял Западное искусство, говоря о плохой постановке искусства у нас в Совсоюзе, игнорировал общественные школьные организации, лишая возможности их работы. Срывал стенгазету, в которой ученики пытались указать на отрицательные моменты в работе школы. Ученики делились на две группы – 1) Советская молодежь, коя, по словам КОРНЕЕВОЙ, причиняла им всякие неприятности, и другая часть – поддерживающая КОРНЕЕВА, последней им уделялось большое внимание, так, напр<имер>, сыну попа ПОПКОВУ выдавал хорошие отзывы и всегда представлял ему платные работы.

Выпуск учеников сознательно задерживался в целях личного благополучия, т.к. вырученные суммы за выполненные частные заказы 75% брал в свою пользу и лишь 25% в пользу учащихся.

КОРНЕЕВ, враждебно настроенный к Соввласти, ожидающий ее свержения, проводил а/сов<етскую> агитацию, как сам, так и через жену, распространял разные провокационные слухи: – «При советской власти скоро и черного хлеба не будет и т.к. все ценное вывозиться за границу и советской дряни никогда не стану покупать».

По поводу Шахтинского дела³ КОРНЕЕВА заявила, что «не могут же старые специалисты иначе работать при Соввласти, они же не могут подчиняться коммунистам». Во время создавшихся очередей говорила: «Этого и надо было ожидать, т.к. Советское Правительство на это только и способно». КОРНЕЕВ же после предложения Горсовета освободить дом, заявил: «Пчелы ведь перед концом усиленно кусаются, вот и они (большевики) перед своим концом начали злиться» <...>.

Игнорируя работу общественных ученических организаций, КОРНЕЕВ наряду с этим постоянно использовал последний в своих личных интересах, подчинив учеников своему влиянию, подстрекал их на разные коллективные протесты против решения соворганов в отношении его школы.

Когда в 1929 году окончательно был решен вопрос о реорганизации худшколы КОРНЕЕВА в подготовительное отделение худтехникума, то КОРНЕЕВ в целях сохранения школы занялся подстрекательством учеников к протесту против решения КрайОНО о реорганизации, для чего созвал собрание учащихся, на котором ученикам вместо разъяснения о решении КрайОНО заявил: – «Школа реорганизуется, меня выгоняют, вы остаетесь за бортом, худтехникум съест Вас». В дальнейшем говорил, что никакой реорганизации не будет, это просто слова, они хотят забрать все имущество.

¹ Борис Матвеевич Десницкий (1903, Владивосток – 1985, Москва) – художник. В 1924 г. поступил в Саратовский художественный техникум. В 1927-1928 гг. читал лекции по теории изобразительного искусства в школе Корнеева. В 1929 г. переехал в Москву, работал в театре «Ромэн». Был репрессирован в 1937 г.

² Вероятно, опечатка.

³ Судебно-политический процесс 1928 года над 53 работниками угольной промышленности Донбасса, обвиненных во вредительстве, саботаже и создании контрреволюционной организации.

Прибывших представителей по описи и изъятию имущества – назвали грабителями, говоря: – «Грабят школу, грабят и меня». Кроме этого, все время подстрекал учеников к протесту, которые под его руководством составили ходатайство и с коим ходили к Крайпрокурору, <в>ред<акцию> газ<еты> <Поволж<ская> Правда> и т. далее <...>.

При изъятии же школьного имущества для худтехникума оказывал физическое сопротивление, мешая производству такового; среди имущества обнаружено два литографских станка, из коих один в собранном виде, оба не зарегистрированы, производилась ли на коих работа – следствием не установлено.

Кроме того, обнаружены три пишущие машинки и прессовый станок, при помощи коего изготовлялись разные объявления, также не зарегистрированные. Изъято громадное количество парнографических фотокарточек духовенство и разных быв<ших> чинов <...>.

Привлеченный к следствию в качестве обвиняемого гр-н КОРНЕЕВ Федор Максимович по предъявленному ему обвинению по ст. 58-10 и 58-14¹, виновным себя не признал <...>.

На основании вышеизложенного гр-н КОРНЕЕВ Федор Максимович, 1869 года рожд<ения>, б/парт<ийный>, вдов, с высшим художественным образованием, сын домовладельца. До революции содержал ресторан и гостиницу и имел художественный магазин, выполнял крупные заказы, как монастырю за 11 т<ысяч> руб. по писанию иконостасов. Имел тесную связь с жандармским полковником – МАРТЫНОВЫМ² и КОМИССАРОВЫМ³ и графом НЕССЕЛЬРОДИ⁴ и имел переписку с губернатором СТОЛЫПИНЫМ⁵, имел связь с заграницей, связан с антисоветским элементом г. Саратова.

В 1917 году скрыл от Соввласти громадные ценности, зарыв их в землю. Обладает в настоящее время большим имуществом в несколько тысяч рублей. Проживает в г. Саратове по М<алой> Казачьей ул. д. № 5. Судим за эксплуатацию наемной рабочей силы.

ОБВИНЯЕТСЯ –

в том, что, содержа частную художественную школу, гр-н КОРНЕЕВ воспитывал молодежь в а/советском духе, разлагал ее, занимаясь в значительной степени фотографией парнографических снимков – при отсутствии преподавания обществоведения в школе. Среди учеников, а также и других граждан – проводил а/сов<етскую> агитацию, говоря о скором конце советской власти, и распространял провокационные слухи.

Злостно собатировал решения советских органов о реорганизации школы в подготовительное отделение Худтехникума, занимаясь подстрекательством учеников на коллективное выступление – протест против данного решения. Оказывал физическое сопротивление при изъятии школьного имущества для Художественного техникума, прикрываясь школой, скрыл от советской власти громадные ценности, а в 1917 году серебряные и золотые вещи зарыл в землю.

Действия предусмотрены ст.ст. 58-10 и 58-14 УК РСФСР, что подлежит рассмотрению в Крайсуде, но, принимая во внимание недостаточность собранных сведений следствием и ввиду политической важности совершенного КОРНЕЕВЫМ преступления, а также считая его социально опасным элементом – на основании приказа ОГПУ № 172 от 2/IV-24 г.⁶, положения об органах ОГПУ – п. 7

¹Пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению Советской власти, а также контрреволюционный саботаж.

² См. прим. 2 на с. 255.

³ Михаил Степанович Комиссаров (1870, Москва – 1933, Чикаго) – в 1912–1915 гг. начальник Саратовского губернского жандармского управления.

⁴ См. прим. 1 на с. 252.

⁵ Петр Аркадьевич Столыпин (1862, Дрезден – 1911, Киев) – в 1903–1906 гг. саратовский губернатор.

⁶ «Положение о правах Объединенного Государственного Политического Управления в части административных высылки, ссылок и заключения в концентрационный лагерь».

ПОЛАГАЛ-БЫ

Настоящее следственное дело № 2546 направить через 5-ое отделение СО ОГПУ в несудебное рассмотрение Особого Совещания при Коллегии ОГПУ.

Составлено 12-го января 1930 г.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ СО ПП ОГПУ НВК

М. Кузьмин (?)

СОГЛАСЕН: – НАЧАЛЬНИК СО П.П.

УТВЕРЖДАЮ: – Врид П.П. ОГПУ

подпись (МАСЛОВ)

СПРАВКА: – обвиняемый КОРНЕЕВ находится в Саратовском ИТД¹ <...>.

На следующий день, 13 января 1930 г. Федора Корнеева снова вызвали на допрос. Позиция художника, которую он занял с первых дней следствия, осталась неизменной:

«По предъявленному мне обвинению по ст. 58 п. 10 п. 14 УК РСФСР виновным себя не признаю, вместе с тем показываю, протеста против реорганизации школы не выражал, а лишь возражал против неверной оценки работы школы и ее значения, руководствуясь одобрением отдела рабочего образования Главпрофобра.

Ценности зарыты мною в землю в 1917 г. не ради скрывтия их от пролетариата, а в целях сохранения от пожара и разных др. случайностей.

Виновным себя признаю лишь в том, что не были зарегистрированы пишущие машинки».

24-25 января состоялось заседание тройки, которая постановила «КОРНЕЕВА, Федора Максимовича выслать через ПП ОГПУ в Северный край, сроком на ТРИ года, считая срок с 4/ХІІ-29 г., по окончании срока ссылки запретить проживание в НВК, сроком на ТРИ ГОДА. Имущество конфисковать».

На обороте постановления сделана запись о том, что осужденный Корнеев следует этапным порядком в Архангельск.

Дальнейшая судьба художника неизвестна. В некоторых справочниках приводится дата его смерти – 1949 год, однако неясно, на чем она основана.

В помещении бывшей Корнеевской школы по адресу: Малая Казачья, 5 много лет располагался репетиционный зал театра оперы и балета. Затем здание на переименованной улице Яблочкова отдали под коммунальные квартиры. Дом полностью сгорел 1 сентября 2013 года.

¹ Исправительно-трудовой дом.

Контакты:

Анна Сафронова (гл. редактор, проза): safronova-volga21@yandex.ru

Алексей Александров (зам. гл. редактора, поэзия, критика): alexandrov-volga21@yandex.ru

Алексей Голицын (документальные исследования): agolitzin@yandex.ru

Олег Рогов (архивные публикации, критика): rgv@mail.ru

Алексей Слаповский (проза)

Сайт журнала: <http://volga-magazine.ru/>

Электронная версия журнала на сайте «Журнальный зал»:
<http://magazines.gorky.media/volga>

Подписано в печать 21 октября 2019 г.

Журнал отпечатан в типографии
ИП Сергеев

При перепечатке ссылка на «Волгу» обязательна.